АДМИРАЛ КОЛЧАК

Андрей КРУЧИНИН

жизнь, подвиг, память

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Александр Васильевич Колчак по праву является одним из наиболее известных и значительных деятелей военно-политической истории России начала XX века. Однако, несмотря на достаточно большое количество литературы об этом человеке, многие аспекты его деятельности до сих пор оставались в тени. Данная книга об адмирале Колчаке – полярном исследователе, флотоводце, военном теоретике, Верховном правителе – содержит подробный анализ его взглядов и поступков, планов и оперативных решений, внутренней и внешней политики, взаимоотношений с соратниками и оппонентами. Все выводы и заключения автора подтверждаются документами, многие из которых публикуются впервые.

- Андрей Кручинин
  - Вступление
  - Часть первая
    - Глава 1
    - Глава 2
    - Глава 3
    - Глава 4
  - Часть вторая
    - Глава 5
    - Глава 6
    - Глава 7
  - Часть третья
    - Глава 8
    - Глава 9
    - Глава 10
    - Глава 11
  - Часть четвертая
    - Глава 12
    - Глава 13
    - Глава 14
  - Часть пятая
    - Глава 15
    - Глава 16
    - Глава 17
    - Глава 18
  - Заключение
  - Краткая библиография
  - Документы и статьи А.В.Колчака

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40
  - 41
  - 42
  - 43

- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87

- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131

- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136

Андрей Кручинин
Адмирал Колчак: жизнь, подвиг, память

Памяти моего отца Сергея Павловича Кручинина

Вступление
Белый Крест адмирала

Двадцатого апреля 1919 года [1]Верховный Правитель и Верховный Главнокомандующий всеми сухопутными и морскими вооруженными силами России, сорокачетырехлетний адмирал Александр Васильевич Колчак, утвердил постановление Георгиевской Думы, собранной при штабе Сибирской Армии, об удостоении его орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия III-й степени.

Исключительное положение, которое занимал адмирал в иерархии русских национальных сил, не принявших большевизма и ведущих против него вооруженную борьбу, предопределило и непривычную процедуру награждения. Действительно, если обычно старший начальник награждает подчиненного, по собственной инициативе или по ходатайству младших по рангу начальников, которые непосредственно рассматривали вопрос о заслугах представленного к награде, – то в апреле 1919-го подчиненные просили своего Верховного принять высокое и почетное отличие, а фактически – награждали его.

«За разгром армий противника Русскими Армиями под управлением Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего адмирала А.В.Колчака, – гласило постановление Георгиевской Думы от 15 апреля 1919 года, – на основании параграфа 1 статьи 8-ой Георгиевского Статута просить Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего адмирала Колчака принять Орден Святого Георгия 3-ей степени». Утверждая постановление своим приказом, Александр Васильевич обратился к войскам: «Принимая эту высокую воинскую награду, я уверен, что доблестная возрожденная Русская армия не ослабеет в своем порыве и до конца доведет дело освобождения России от врагов и поможет ей снова стать могучей и сильной в среде великих держав мира». В сущности, этот призыв имел тот же лейтмотив, что и опубликованное пятью месяцами ранее обращение «К населению России» – первое обращение, которое издал по вступлении на свой пост Верховный Правитель и Верховный Главнокомандующий. Оно заканчивалось словами: «Призываю Вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, труду и жертвам», – и призыв этот, строгий и даже, кажется сегодня, скорбный, конечно не относился к числу тех, которым с радостью внимают в безумное, Смутное время…

Александр Васильевич Колчак получал уже третью Георгиевскую награду. 12 декабря 1905 года он был пожалован золотой саблей с надписью «За храбрость» (с 1913 года эта награда, с наименованием «Георгиевским Оружием», была «причислена к Ордену Святого Георгия»). Тогда, на Русско-Японской войне – несчастной, неудачной для России войне, – он проявил свою доблесть и воинские таланты при обороне Порт-Артура, как на море, так и командуя одной из сухопутных батарей. Геройская защита, в сущности, недостроенной крепости завершилась капитуляцией, а лейтенант Колчак изведал горечь плена…

Орден Святого Георгия IV-й степени капитан 1-го ранга Колчак получил почти ровно через десять лет, 2 ноября 1915 года, командуя Минной дивизией Балтийского флота, за успешные операции по взаимодействию с сухопутными силами у побережья Рижского залива. В годы Первой Мировой – Великой войны, Отечественной войны, как называли ее тогда, – звезда молодого флотоводца вспыхнула ослепительно-ярко и, казалось, вела его все дальше по славному пути, – но 1917 год принес с собою безумие Февраля и предательство Октября, а Колчаку, уже ставшему адмиралом, не нашлось места не только в русском флоте, но и вообще в России…

И вот теперь, в 1919-м, – третья степень «ордена храбрых», заветный шейный «белый крестик» (знак IV-й степени носился на груди, III-й и II-й – на шее), которым даже на Великой войне с ее многомиллионными армиями был награжден лишь 61 русский офицер (причем ни одного моряка – но ведь и Колчаку орден был поднесен за победы на сухопутьи…). Успехи русских войск в весеннем наступлении были несомненны; указанный Думой параграф Статута гласил: «[достойны награждения]… кто, лично предводительствуя войском, одержит над неприятелем, в значительных силах состоящим, полную победу, последствием которой будет решительное поражение противника», – и достаточно точно соответствовал заслугам Верховного Главнокомандующего, не жалевшего сил в трудах и заботах о своих армиях. И все же успехи оказались недолговечными, а надежды адмирала и его соратников на близкую победу – несбыточными. И потому последняя и высшая награда Александра Васильевича Колчака в исторической перспективе неожиданно приобретает новый, символический смысл.

Герой, военачальник, светлый витязь, обычно предстающий нашему воображению во всем великолепии боевой славы змееборца, – небесный покровитель Императорского Российского Военного Ордена даже в «официальном титуловании» своем был

Великомучеником прежде, чем Победоносцем. Ратные подвиги Святой Георгий увенчал высшим подвигом – бесстрашного исповедания Христианской веры перед лицом гонителей-язычников и мученической кончины. И по тому же крестному пути Святого Георгия шла Армия, осененная его покровительством, – малая числом, редеющая на глазах, порой выносящая муки, которые были сравнимы с муками первых христиан…

И эту Армию вел ее Верховный Главнокомандующий.

И когда Армия благословляла его «белым крестиком» – не тяжкий ли Крест возлагала она на своего вождя?

Что-то символическое можно усмотреть и в том составе Георгиевской Думы, который ходатайствовал перед адмиралом о принятии им награды. Мы увидим здесь генерала Б.П.Богословского, попавшего в плен и расстрелянного большевиками при трагическом отступлении русских войск в начале 1920 года; генерала А.Н.Пепеляева, в тяжелые – и уже недалекие! – дни катастрофы колебавшегося и своими действиями скорее разлагавшего, чем укреплявшего фронт; генерала Г.А.Вержбицкого – одного из тех, кто, невзирая ни на какие трудности и неудачи, верно и мужественно оставался на своем посту, сражался до конца и ушел из России в числе последних осенью 1922-го; генерала Р.Гайду – лихого авантюриста, на чьем счету немало славных побед, конфликт с Колчаком и владивостокский мятеж против Верховного в ноябре 1919 года под не совсем понятными (возможно, и самому мятежнику) «демократическими» лозунгами; генерала Б.М.Зиневича, который в декабре того же 1919-го, уповая на «окончание гражданской войны», во главе восставшего красноярского гарнизона преградит путь отступающим войскам адмирала, – и это будет стоить тысяч человеческих жизней… [2]

Такие разные пути предстоят им в ближайшем будущем. Но пока все они – соратники, герои, опьяненные успехом молодые генералы (самому старшему – Зиневичу – сорок пять лет, младшему – Гайде – двадцать семь!). Генералы не «гражданской войны», а борьбы за освобождение России, к которой призывает их Верховный Главнокомандующий…

И они просят его возложить на себя Белый Крест.

Но каким же был сам этот Верховный?

По многочисленным источникам, особенно относящимся к революционному периоду (а о нем, должно быть, и написано большинство воспоминаний), складывается портрет, пожалуй, не очень-то героический. Перед нами предстает человек эмоциональный, подверженный чужим влияниям, вспыльчивый до

крайности и даже, пожалуй, «через край», так что знаменитые «шторма» адмирала порой отмечаются едва ли не как самая характерная его черта. «Говорят, что когда Колчак разойдется, то ни в выражениях, ни в жестах не стесняется и штормует вовсю, применяя обширный по этой части морской лексикон»; «я пытался доложить свои доводы, но с адмиралом начался шторм, он стал кромсать ножом ручку своего кресла…»; «Адмирал начал волноваться. С обычною своею манерою в минуты раздражения, он стал искать на столе предмета, на котором можно было бы вылить накипевшее раздражение»; «вскочил на ноги и затем стал метаться по кабинету из угла в угол, словно разъяренный зверь в клетке»; «Верховный был в необыкновенно нервном настроении и во время разговора с [генералами] Дитерихсом и Сахаровым сломал несколько карандашей и чернильницу, пролив чернила на свой письменный стол»; «Колчак здесь потерял совершенно всякое самообладание, стал топать ногами и в точном смысле [слова] стал кричать…»; «в воскресенье, как мне рассказывают, он разбил за столом четыре стакана»; «… Верховный Правитель его вызвал в Омск, запустил в него тарелкой и послал командовать в 12-ую Уральскую стрелковую дивизию»… – эти и подобные им цитаты рисуют образ скорее непривлекательный и в любом случае лишенный ореола, которым была окружена фигура адмирала и в годы Белой борьбы, и позже. Но нельзя забыть и об этом ореоле, и о том, почему он все-таки появлялся и окружал правителя и полководца, не сумевшего добиться победы.

Один из тех, для кого Колчак был героем в полном смысле слова, политик и ученый П.Б.Струве, сравнивал его с «сосредоточенным в целую даровитую личность нервом, чувствительной струной, которой угрожало порваться или быть порванной», – и в этой характеристике, также не игнорировавшей черты Александра Васильевича, которые представали столь отталкивающими в рассказах его недоброжелателей, звучат уже совсем другие нотки. Струве, правда, все же считал, что «нервность натуры» адмирала «не давала [его] воле доходить до того самобытного героического напряжения, которого достиг Корнилов. Колчак был гораздо больше поставлен другими, чем стал сам на то место, на котором он стоял. У Колчака не было той неукротимой и в то же время стальной активности, какою был одарен Корнилов». Напротив, именно сталь чувствовал в Верховном Правителе выдающийся церковный мыслитель Русского Зарубежья архимандрит Константин (Зайцев): «Мягкая простота в подтянуто-деловой героичности – так, кажется, можно определить существо его личности. Некое поэтическое тепло исходило от него даже и в далеком отчуждении, но тут же

вырисовывался стальной силуэт боевого вождя, сочетающего ничем не возмутимое личное мужество с, гением пронизанной, властностью».

В этих словах, сказанных как будто совсем о другом человеке, легко заподозрить чрезмерную идеализацию, – но можно и почувствовать глубокое духовное прозрение, для которого удаленность ни в пространстве, ни во времени не может являться помехой: теряя черты, безусловно важные и необходимые для создания портрета человека со всеми его индивидуальными особенностями, облик Верховного словно освобождается от сиюминутного, бренного, сохраняя ту бессмертную сущность души, высокий строй которой и выделил, и возвысил Александра Васильевича Колчака над охваченной Смутой Россией, великого адмирала – над «взбаламученным морем», бушующим на месте погибшей Империи.

Но любого, кто размышляет о Колчаке, подстерегает угроза с потерей упомянутых выше живых черт упустить из виду и нечто, помогающее понять состояние этого человека в самые главные и самые тяжелые, роковые месяцы его жизни. Ретушь опасна, тем более когда она превращается в штукатурку, а оценки, подобные той, которую дал адмиралу архимандрит Константин, иногда побуждают не продвигаться далее них… и, разглядев подвиг Верховного Правителя, не приблизиться к постижению трагедии воина Александра. «Его лицо было гораздо резче и выразительнее…» – писала в частном письме об одной «очень оффициальной фотографии» адмирала Анна Васильевна Тимирева – женщина, чья любовь буквально озаряла последний год его жизни. – «Я понимаю, что Вам трудно представить его в жизни: надо сказать, что он был не обычный человек, и за всю мою долгую жизнь я не встречала никого, на него похожего… Ни одна фотография не передает его характер. Его лицо отражало все оттенки мысли и чувства, в хорошие минуты оно словно светилось внутренним светом и тогда было прекрасно…» И сложность характера адмирала Колчака сама становилась «историческим фактором», побуждая к действиям или отвращая от них человека, вознесенного на такую высоту.

«… Как бы ни была интересна личность адмирала, его характеристика в настоящее время не только не может быть отделена, но целиком должна поглощаться характеристикой того политического движения, которое он возглавлял», – писал менее чем через год после трагического завершения колчаковской эпопеи один из сотрудников Верховного Правителя, будучи в этом рассуждении и прав, и неправ одновременно. Личность Колчака – не из тех, что могут «поглотиться» даже описанием

крупных общественных явлений, политических катаклизмов; но столь же очевидна неразрывность связи ее с тем делом, которому отдал адмирал свои силы и жизнь. Александр Васильевич Колчак – всего лишь часть русского, Белого Дела; но часть настолько значительная, что понимание хода событий, судеб всего движения в целом невозможно без попыток разобраться в личности этого выдающегося человека, приблизиться к разгадке его образа – цельного и противоречивого в одно и то же время.

Но сможем ли мы когда-нибудь вполне понять его?.

Часть первая
Под счастливой звездой

Глава 1
В поисках своего пути

«Родился я на Обуховском заводе…»

Сегодня может показаться странным такое начало биографии русского морского офицера, поскольку флотское офицерство отличалось сословной и даже в некотором роде кастовой замкнутостью. Однако именно так приступил к рассказу о своей жизни Александр Васильевич Колчак в плену, на допросе в Иркутске, менее чем за три недели до смерти. Отец его, Василий Иванович, действительно служил на Обуховском сталелитейном заводе, сначала занимаясь приемкой артиллерийской продукции, а затем заведуя одной из мастерских. Там, в казенной квартире на окраине Петербурга, практически за тогдашней городскою чертой, 4 ноября 1874 года и родился Александр Колчак, окрещенный в Троицкой церкви «села Александровского Санкт-Петербургского уезда» 15 декабря.

Василий Иванович числился в корпусе офицеров морской артиллерии, на момент рождения сына состоя в чине штабс-капитана, в отставку же выйдя в 1889 году генерал-майором. В молодости, в годы Крымской войны, он принимал участие в обороне Севастополя, был среди последних защитников Малахова кургана, после падения которого попал в плен к французам и пробыл там более полугода (обстоятельные и увлекательно написанные воспоминания В.И.Колчака «Война и плен» увидели свет в 1904 году). Родословную же свою Колчаки выводили от турецкого паши, возможно – боснийского серба, принявшего магометанство, который в 1739 году руководил обороной от русских войск крепости Хотин в Молдавии и сдал ее фельдмаршалу Х.А.Миниху. Непрерывной генеалогии здесь, впрочем, не существует, и прямое родство сотника Лукьяна Колчака, правнуком которого был Верховный Правитель, с Илиас-пашой Колчаком документально не доказано. Тем не менее семейное предание держалось весьма упорно, и, хотя само по себе происхождение от неудачливого турецкого коменданта как будто не должно было являться предметом какой-то особой гордости, – желание прикоснуться к корням родословного древа, да и, наверное, определенная «экзотичность» этого родословия делали легенду столь устойчивой.

Надо заметить, впрочем, что яркую внешность Александра Васильевича Колчака и его неудержимый темперамент

действительно легко счесть за подтверждение южного – боснийского – или восточного – тюркского – происхождения этой семьи. Противоположным выглядит характер его матери, Ольги Ильиничны (урожденной Посоховой), которая, по свидетельству сына адмирала, очевидно, знавшего о ней по рассказам своей матери, была женщиной спокойной и строгой и особенно отличалась набожностью, стремясь передать ее и своим детям (кроме сына Александра, в семье было еще две дочери, одна из которых умерла в детстве).

«Начал я свое образование в 6-й Петроградской (Петербургской. – А.К.) классической гимназии 10[-ти] лет, – рассказывает адмирал Колчак, – дошел там до третьего класса и затем, по собственному и отца желанию, перешел в Морской кадетский корпус, который я окончил в 1894 году почти 20[-ти] лет, фельдфебелем, вторым по выпуску, с премией имени адмирала Рикорда». Впрочем, и в эти ранние годы, которые у многих молодых людей одного поколения весьма схожи между собою, в биографии Александра встречаются ярко индивидуальные черты. «Отец, когда я был в корпусе, служил на Обуховском заводе; работами на заводе я очень интересовался и заводским делом увлекался, – повествует он. – Явилась идея в свободное время пройти здесь практически курс техники. Постоянное общение на этой почве с рабочими заинтересовало меня на некоторое время вопросами рабочего движения и рабочим вопросом вообще, но все-таки этими вопросами я не занимался в смысле изучения, а впоследствии, когда я окончил кадетский корпус… эти вопросы меня снова перестали интересовать».

Это свидетельство примечательно не только тем, что из него мы узнаем о довольно неожиданном опыте, интересах и симпатиях человека, которого десятилетия спустя будут, захлебываясь «классовой» истерикой, объявлять «злейшим врагом рабочих и крестьян». За свою жизнь Александр Васильевич Колчак увлеченно занимался многим – от организации музыкальных концертов до поисков редкого самурайского меча, от гидрографии до постановки минных заграждений (поэтому, кстати, совсем не удивительно, что интерес к сталелитейному производству натолкнул его на мысль лично испробовать труд рабочих); но все, чем увлекался Колчак, было настоящим, живым делом, – и именно этой подлинности пытливый юноша, очевидно, не нашел в «рабочем вопросе», который в конце XIX – начале XX века был взят на откуп партийными начетчиками, загонявшими жизнь в схоластические рамки своих социальных догм. Александра Колчака ждали свершения более значимые, занятия

более важные, увлечения более интересные.

Учеба в Морском кадетском корпусе (в 1867–1891 годах он назывался Морским училищем, так что Колчак поступал еще в училище, а окончил уже корпус) захватила его, и недаром при выпуске гардемарин был удостоен упомянутой выше премии адмирала П.И.Рикорда (1776–1855), которая выдавалась «отличнейшему во всех отношениях воспитаннику». Сохранилось два словесных портрета Колчака, относящихся к этому периоду, и, несмотря на налет идеализации или по крайней мере на отблески того ореола, которым будет окружена трагическая фигура Верховного Правителя годы спустя, черты выдающегося человека очевидно проступают в юноше.

«В 1893 году гардемарин Колчак был назначен фельдфебелем младшей роты. Здесь я впервые с ним познакомился, будучи воспитанником младшей роты, – вспоминает адмирал М.И.Смирнов, ближайший сотрудник и друг Александра Васильевича и один из первых его биографов. – Колчак, молодой человек невысокого роста, сосредоточенным взглядом живых и выразительных глаз, глубоким грудным голосом, образностью прекрасной русской речи, серьезностью мыслей и поступков внушал нам, мальчикам, глубокое к себе уважение. Мы чувствовали в нем моральную силу, которой невозможно не повиноваться, чувствовали, что это тот человек, за которым надо беспрекословно следовать. Ни один офицер-воспитатель, ни один преподаватель корпуса не внушал нам такого чувства превосходства, как гардемарин Колчак. В нем был виден будущий вождь».

Другое описание является беллетризованным, хотя его автор, адмирал Д.В.Никитин, известный также по литературному (и нарочито-морскому) псевдониму «Фокагитов», утверждал, что оно восходит к рассказам сверстника Колчака:

«Кадет среднего роста, стройный худощавый брюнет с необычным, южным типом лица и орлиным носом поучает подошедшего к нему высокого и плотного кадета. Тот смотрит на своего ментора с упованием… Ментор этот, один из первых кадет по классу, был как бы постоянной справочной книгой для его менее преуспевающих товарищей. Если что-нибудь было непонятно в математической задаче, выход один: “Надо Колчака спросить”…

Моя конторка в нескольких шагах от Колчака. Я смотрю на него и думаю: “Где я видал раньше подобное лицо аскета с горбатым носом и горящими пламенем фанатизма глазами?” И вдруг вспомнил: это было на картинке, где был изображен Савонарола, произносящий одну из своих знаменитых речей».

Последнее сравнение, впрочем, может представлять собою литературную вольность, смешавшую два разных периода времени: известно, что прозвища «Савонарола» адмирал Колчак удостоился от своих подчиненных значительно позже, в 1916 году, и, поскольку такая «живучесть» шутливого определения (четверть века!) кажется маловероятной, допустимо предположить, что писатель Фокагитов принес достоверность в жертву беллетристическому эффекту. В годы же Мировой войны прозвище могло иметь основанием уже не портретное сходство (более или менее сомнительное) и не «пламя фанатизма», несколько странное и как будто преждевременное в глазах юноши-кадета, а черты гораздо более серьезные: суровую непреклонность в достижении цели, одухотворенность, влияние на окружающих и требование от них и себя самоотверженности до аскетизма, которые действительно роднили бывшего кадета, ставшего адмиралом, со знаменитым флорентийским религиозным деятелем XV века, казненным за антипапскую проповедь и призывы к возвращению римской Церкви к Апостольскому идеалу.

Но внешность Александра Васильевича и вправду приковывала внимание, наверное, всех, кто видел его хотя бы мельком. А.В.Тимирева в своих письмах нередко подшучивала над ней, утверждая, что «исключительной привилегией» адмирала было «походить на химеру с крыши Notre Dame [3]». Она и «Савонаролу» оценила, пожалуй, довольно поверхностно, и жаль, что мы можем догадываться о мнении самого Колчака на этот счет лишь по ее ответу: «… Мне кажется, Александр Васильевич, что Вы слишком “посмотри в корень” Вашего прозвища, оно носит характер типично-мичманского происхождения и основанием к нему, вероятно, послужила скорее некоторая общая у Вас и Савонаролы решительность профиля, чем что-либо другое». Пожалуй, юмористически относилась она и к чему-то «птичьему» во внешности адмирала, хотя здесь проскальзывают и более серьезные нотки, как, например, при сравнении одной из его фотографий 1916 года с фарфоровой статуэткой «сокола или кречета» – «птица еще больше напоминает Вас – совсем Ваши глаза и взгляд, главное». Впрочем, сходство находила Тимирева и с карикатурно-фантастическими «Птицами-сплетницами» – скульптурой И.Н.Жукова, об открытке с которой она писала Колчаку: «… одна из них сидит и улыбается совсем как Вы на другой день после какого-нибудь сверхъестественного номера – довольно и чуть-чуть сконфуженно». Другие, кажется, склонны скорее романтизировать подобные «птичьи» черты, даже люди военные и вроде бы мало расположенные к романтике, как

адмирал В.К.Пилкин: «В наружности его было что-то орлиное. Когда вдова Александра Васильевича, Софья Федоровна Колчак, услышала от меня, что в наружности ее мужа было что-то орлиное, она пришла в страшное негодование: “Как что-то орлиное? Как что-то орлиное? Взгляд, взгляд был орлиный!” И она, конечно, была права – взгляд был орлиный».

Но одного орлиного взгляда, разумеется, мало для того, чтобы завоевать авторитет, а любые блестящие задатки бесславно погибают, если обладатель их не заботится о своем развитии и совершенствовании. К счастью, это все – не о Колчаке. Кажется, молодой офицер не больно-то любил «формальную» учебу в классах и академиях или, быть может, считал прохождение курса в них слишком медленным; но учиться – совершенствоваться в непрерывном труде он не прекращал никогда.

Выйдя из Морского корпуса в 7-й флотский экипаж, Александр Васильевич с весны 1895 года плавает на броненосном крейсере «Рюрик», а с 1896-го – на клипере «Крейсер», на Балтике и Тихом океане. Побывав во время этих плаваний в Китае и Японии, он впервые чувствует интерес к чужой культуре экзотических восточных стран, хотя утверждения, будто Колчак в эти месяцы «увлекся восточной философией», кажутся все-таки преувеличенными: для такого увлечения необходимо отличное владение языком, а он не знал ни японского, ни китайского (последний, правда, пытался изучать, но насколько далеко зашло это изучение – неясно). «В свободное время» мичман, а с 1898 года – лейтенант делает первые шаги в науке, занимаясь исследованиями течений, и в 1899 году, после возвращения в Петербург, публикует в «Записках по гидрографии, издаваемых Главным Гидрографическим Управлением» свою первую статью – «Наблюдения над поверхностными температурами и удельными весами морской воды, произведенные на крейсерах “Рюрик” и “Крейсер” с мая 1897 г. по март 1898 г.». С 1899 года Колчак числится штурманским офицером 2-го разряда.

Применительно к этому периоду его жизни мы вновь слышим восторженные панегирики: «Это был необычайно способный, знающий и талантливый офицер, обладал редкой памятью, владел прекрасно тремя европейскими языками, знал хорошо лоции всех морей, знал историю всех почти европейских флотов и морских сражений»; неизвестно, был ли он уже тогда для сослуживцев «Савонаролой», но друзья в шутку именовали его «мичманом Нельсоном» в честь знаменитого английского флотоводца.

Впрочем, иногда кажется, что молодой Колчак был ближе к типу моряка, характерному даже не для конца XVIII – начала XIX

века, когда прогремела слава адмирала Нельсона, а для эпох намного более ранних. Александра Васильевича в этот период его жизни принято считать по преимуществу ученым, исследователем, но и на капитана Кука, получившего известность исключительно за свои научные экспедиции (хотя и служившего в британском военно-морском флоте), он мало похож. В лейтенанте Колчаке при желании можно увидеть морехода тех времен, когда различные «амплуа» внутри этой профессии еще не отделялись одно от другого, как у какого-нибудь Дрейка или Кавендиша – одновременно офицера на службе своей короны, путешественника-первооткрывателя новых земель и даже… авантюриста.

Последнее звучит резко, но, кажется, все-таки применимо к «мичману Нельсону». Ему хотелось сразу всего – открыть Южный полюс и отправиться в Арктику на ледоколе «Ермак» (правда, к моменту, когда Колчак вернулся на Балтику, команда ледокола была уже укомплектована, и «Ермак» в 1899 году ушел к Шпицбергену без него), изучать морские течения и перейти в коммерческий флот (служебная рутина, очевидно, тяготила порывистого офицера), «попасть на Восток на одно из судов, плавающих на охрану котиковых промыслов на Севере» или отправиться в охваченный «золотою лихорадкой» Клондайк – «не для золота, конечно, а просто чтобы найти обстановку»… и еще ему очень хочется воевать.

Поэтому он с таким энтузиазмом воспринимает начало в том же 1899 году Англо-Бурской войны – с энтузиазмом, разделявшимся тогда самыми разными кругами российской общественности. Одни видели в сочувствии «борьбе свободолюбивых буров» повод для легального проявления своих революционных настроений; другие, объясняя всю мировую политику краткою формулой «англичанка гадит», радовались сопротивлению, встреченному британской колониальной политикой на Юге Африки. Не исключено, что слабые бурские республики вызывали искреннее сочувствие и у Колчака, а любой ущерб, наносимый Великобритании, соответствовал его взглядам на внешнеполитические интересы России. Но все же собственное свидетельство Александра Васильевича говорит как будто об иных мотивах, заставлявших его стремиться в Южную Африку на помощь бурам.

«Я думаю, что каждый мужчина, слыша и читая о таком деле, должен был испытывать хотя бы смутное и слабое желание в нем участвовать. Став снова на точку зрения искателя ощущений, я испытывал неодолимое желание идти туда, где работают современные орудия с лиддитовыми и пироксилиновыми

снарядами, где происходит на деле все то, что у нас на броненосце („Петропавловске“, на котором Колчак служил с осени 1899 года. – А.К.) делается лишь “примерно”», – откровенно писал он. Профессионализм офицера, желающего приобрести опыт боевого использования новейших военных изобретений, неотделим здесь от молодого задора и авантюристического поиска «ощущений», который заставлял даже влюбленного в море лейтенанта устремиться на сугубо сухопутный южноафриканский театр войны.

Неудержимый темперамент Колчака толкал его и на поступки, которые в русском флоте того времени уже считались предосудительными. «Был ли Колчак жесток? – пишет адмирал Пилкин. – Он был бешено вспыльчив. “Чертушка!” – говорил о нем Бахирев (адмирал М.К.Бахирев, как и Пилкин и Колчак, был участником обороны Порт-Артура; во время Мировой войны – сослуживец Колчака на Балтике. – А.К.). Из песни слова не выкинешь!» Вспыльчивость приводила к тому, что «молодым офицером» Александр Васильевич «действительно жестоко дрался, и его принуждены были останавливать начальники и сослуживцы». Кулачная расправа, широко распространенная на флоте в «старое время», в начале XX века уже выводилась под строгим наблюдением морского начальства, и Колчак в этом смысле относился скорее к числу исключений из общего правила. Впрочем, он умел и обуздывать себя, что лучше всего доказывается северной эпопеею молодого лейтенанта – участием его в знаменитой «Русской Полярной Экспедиции».

Известно, что замкнутый мирок дальних экспедиций, особенно арктических, на месяцы, а то и годы отрезанных от всего света и заключенных в плен северного «белого безмолвия», способен провоцировать конфликты внутри маленьких коллективов, для которых уживчивость их членов превращается в одно из первоочередных условий не только успешной работы, но и попросту существования в столь тяжкой обстановке. И вот это-то качество неожиданно продемонстрировал «бешено вспыльчивый» Колчак во время двухлетнего плавания на шхуне (иногда ее называют яхтой) «Заря» в 1900–1902 годах.

Именно перспектива принять участие в путешествии известного исследователя барона Э.В.Толля, наверное, удержала лейтенанта от южноафриканской авантюры. Еще во время краткосрочного пребывания в Петербурге в 1899 году Колчак пытался попасть в состав этой экспедиции, но, не получив определенного ответа, ушел на «Петропавловске» на Дальний Восток. Дошел бы он тогда до места назначения и занялся бы снова гидрологическими исследованиями или по дороге списался

бы с корабля, чтобы поискать «ощущений» в Трансваале, – сказать сегодня уже невозможно; но во время стоянки «Петропавловска» в греческом порту Пирей броненосец догнала телеграмма одного из членов экспедиции, лейтенанта Ф.А.Матисена, с предложением Колчаку должности вахтенного офицера «Зари». Вопрос об откомандировании в распоряжение Императорской Академии Наук был решен по ходатайству ее президента, Великого Князя Константина Константиновича (не менее известного как поэт «К.Р.» – «Константин Романов»), которому морское министерство не стало отказывать. После непродолжительной стажировки в изучении магнитного поля Земли (кроме гидролога и строевого офицера, экспедиции требовался помощник магнитолога, кандидата наук Ф.Г.Зееберга) и краткой командировки в Норвегию, для консультаций со знаменитым путешественником Фритьофом Нансеном, Колчак 25 июня 1900 года вышел на «Заре» из Кронштадта. Началось плавание в неисследованные моря, может быть, к неизведанным землям.

«1. Надо отправить подходящее судно, – формулировал цели предстоявшей экспедиции барон Толль в 1898 году, – через Карское море и мимо мыса Челюскин в устье Лены, до удобного места зимовки на этой реке.

2. Экспедиция начнет свое плавание из устья Лены на север, снарядившись тремя или четырьмя лучшими усть-ленскими заранее заказанными собачьими нартами, небольшим числом оленей…

3. Достигнув в августе месяце Санниковой Земли и высадив экспедицию со всем ее провиантом на 2 года (на всякий случай), судно вернется к материку и по пути, проходя около берега острова Котельного, оставит на его северном конце провиантское депо на случай неудачи плавания следующего года. Затем судно вернется опять в устье Лены до места зимовки.

4. Одна партия экспедиции начнет выполнение своей задачи на Санниковой Земле, совершая на санях и лодках разные экскурсии с целью научных исследований; другая же партия строит доставленное на судне домище для зимовки.

5. Весной и летом следующего года продолжаются геологические, физико-географические и топографические работы, по возможности до острова Беннетта, а часть сотрудников экспедиции заканчивает на месте зимней станции метеорологические и магнитные наблюдения круглого года.

6. Летом того же года судно отправится вторично из устья Лены на Санникову Землю и увезет экспедицию домой, взяв на обратном пути, по возможности, новый курс по восточной стороне Новосибирских островов…»

Проект этот, как видно, проникнут непоколебимой уверенностью в том, что легендарная земля, якобы увиденная на горизонте русским промышленником Яковом Санниковым в 1811 году, существует и – более того – достижима если и не легко, то по крайней мере с разумными затратами и усилиями. Разделял ли эту убежденность начальника экспедиции лейтенант Колчак? В докладе, сделанном им в феврале 1903 года, Александр Васильевич высказывается довольно скептически: «Главная цель экспедиции состояла в обследовании части Ледовитого океана, расположенной к северу от Новосибирских островов. Вторая задача состояла в зимовке на Таймырском полуострове и обследовании этой наименее изученной арктической части Азиатского материка… Упомянутая выше часть Ледовитого океана, помимо полной необследованности, привлекала еще слухами о существовании каких-то земель, в разное время виденных промышленниками с Новосибирских островов. Слухи эти, появившиеся еще в начале прошлого столетия и распространенные промышленником Санниковым, несмотря на опровержение их лейтенантом Анжу в 1820-х годах… получили особенное значение после открытия экспедицией Де-Лонга в 1881 году острова Беннетта к северу от Новой Сибири и извещения барона Толля о сильных признаках гористой земли к северу от острова Котельного». Впрочем, сказано это было уже по окончании Русской Полярной Экспедиции, финал которой оказался трагическим…

Трудности начались с первых же шагов, хотя непреодолимыми они не были. Сравнивая плавание «Зари» с путешествиями Н.Норденшельда на яхте «Вега» (1879) и Ф.Нансена на шхуне «Фрам» (1893), Колчак писал впоследствии:

«Русская Полярная экспедиция барона Толля в 1900 г. встретила еще бóльшие препятствия; этот год был крайне неблагоприятен в смысле распространения льда, и яхта этой экспедиции “Заря” вынуждена была пробираться вплотную к совершенно не обследованным берегам западного Таймыра, встречая затруднения со стороны полного отсутствия гидрографических исследований [этих мест] не меньшие, чем от масс льда.

В том же самом месте, где в 1893 г. был остановлен неподвижным льдом “Фрам”, “Заря” встретила перемычку из сплошного льда и за поздним временем, которое ушло на вынужденные исследования неизвестных заливов и проливов, должна была стать на зимовку.

На второй год (1901 г.) “Заря” со вскрытием моря без особых затруднений обогнула мыс Челюскин и пересекла Сибирское море

(сейчас принято название «море Лаптевых». – А.К.) к востоку от Таймырского полуострова по параллели гораздо севернее путей Норденшельда и Нансена».

Плавание «Зари» и две ее зимовки – 1900/1901 и 1901/1902 годов – прошли в интенсивной научной работе. Колчак «не только лучший офицер, но он также любовно предан своей гидрологии», – отмечал Толль. На карте Арктики появился остров Колчак, названный начальником экспедиции в память о заслугах Александра Васильевича (в советское время остров был переименован, а недавно ему было возвращено первоначальное название); здесь же заметим, что сам лейтенант во время своих полярных странствий окрестил другой остров и мыс именем своей невесты – Софии Федоровны Омировой, дожидавшейся его в Петербурге. Суровые испытания, далекие и рискованные походы на собачьих упряжках и пешком с целью топографической съемки, геологических, гляциологических и иных исследований, лишения и цинга (Колчака она, к счастью, миновала) были буднями Русской Полярной Экспедиции.

Но среди научных изысканий, прославивших Александра Васильевича, не забудем еще об одной исполнявшейся им миссии, которая может показаться неожиданной, но которая, очевидно, была исключительно важной как для отрезанной от всего мира горстки людей, так и для самого офицера. «По праздникам, обыкновенно через воскресенье, на нижней палубе совершалось перед завтраком богослужение, состоявшее из чтения и пения молитв, – рассказывает врач экспедиции В.Н.Катин-Ярцев. – За священника был лейтенант Колчак, а в его отсутствие – квартирмейстер Толстов». Понимать это буквально, конечно, не следует, мирянин не может в полной мере заменить рукоположенного иерея, но для политического ссыльного Катина-Ярцева были важны, наверное, не богослужебные тонкости, а глубокая религиозность и – более того – воцерковленность молодого офицера, о которой сын Колчака много лет спустя напишет как о «довольно строгом, даже аскетически-монашеском мировоззрении».

Оно, впрочем, отнюдь не исключало жизнелюбия, жадной любознательности, пылкого стремления к познанию окружающего Божиего творения. Интересно, что на фотографиях периода экспедиции на «Заре» у Александра Васильевича еще нет той гордой, созданной для медалей и памятников осанки, которая будет свойственна ему впоследствии. Пока в фигуре заросшего густою черной бородой лейтенанта можно почувствовать какую-то непоседливость, неуспокоенность, он чаще всего сидит в свободной позе, иногда чуть ссутулившись или подобравшись,

как будто в постоянной готовности сорваться с места и двинуться по делам, которых в его жизни так много и которые влекут его с такою силой…

Но главное дело лейтенанта Колчака в Арктике, и даже не дело, а деяние, подвиг – еще впереди. Трагический финал Русской Полярной Экспедиции, о котором упоминалось выше, был связан с решением барона Толля, покинув «Зарю», отправиться к северу лишь с тремя спутниками. Плавание шхуны в короткие недели арктической навигации не принесло свидетельств о существовании Земли Санникова, и это, должно быть, стало серьезным ударом для впечатлительного и, кажется, неврастеничного руководителя экспедиции. Современный исследователь полагает даже, что «другого выхода, как мы сейчас понимаем, у Толля не было. Он слишком много авансов выдал Академии наук, прессе, коллегам, и вернуться без открытия Земли Санникова уже не мог». С другой стороны, проблема эта, скорее всего, существовала в основном в воображении барона, поскольку вряд ли его коллеги-ученые недооценили бы произведенные измерения и собранные коллекции на том основании, что экспедиция не совершила громкого и эффектного открытия; ассигнования же, выделенные на путешествие «Зари», в значительной степени оправдывались изучением побережья Таймыра и навигационной обстановки вблизи него, что могло иметь практический результат для освоения «Северо-Восточного прохода» – пути в Тихий океан вдоль берегов Сибири (этому вопросу, в частности, будет посвящена работа Колчака, написанная в 1907 году).

Но вряд ли Толль в тот момент мог рассуждать подобным образом. Историк считает, что «как только Толль принял решение идти на остров Беннетта с Зеебергом и двумя каюрами, Протодьяконовым и Гороховым, с этого момента начальнику экспедиции сделалось все окружающее безразлично». «Толль не хотел больше плавать на судне, а хотел просто от него избавиться… Не верю в его планы – это план необузданной фантазии!» – писал лейтенант Матисен. Одержимость исследователя смешивалась с эмоциями, и в результате барон и его спутники 23 мая 1902 года покинули «Зарю» и двинулись на север, к маленькому островку Беннетта. Больше их никто никогда не видел…

Предпринятые в августе попытки подойти на шхуне к острову и снять оттуда партию Толля не удались из-за отсутствия прохода в ледяных полях. «Заря» с остальными членами экспедиции ушла в устье Лены; «в этой экспедиции я пробыл до 1902 года и вернулся оттуда через устье Лены, Якутск и Иркутск [4]в

Петроград в декабре 1902 г.», – расскажет впоследствии Колчак. Одна экспедиция завершилась, чтобы немедленно начаться другой.

Уходя с «Зари», Толль и его спутники имели с собою двухмесячный запас провизии. Однако оставалась надежда, что охотой на птиц, белых медведей, северных оленей, стада которых заходили на острова по льду, четыре человека могли обеспечить себя достаточным количеством провианта, чтобы без чрезмерных лишений перезимовать на острове Беннетта. А коль скоро оставалась надежда, следовало думать об оказании помощи путешественникам и о способах, которыми это можно было бы сделать.

Против идеи послать для спасения Толля и его спутников «Зарю» решительно восстал Матисен, «мотивируя свой отказ» возглавить такую экспедицию «полной неуверенностью в возможности достижения намеченной цели». Изношенная шхуна уже однажды потерпела неудачу в попытке приблизиться к острову, и новая попытка вместо спасения оставшихся там угрожала бы жизни самих спасателей. Другой план, одним из инициаторов которого выступил Колчак, предусматривал поход к острову Беннетта на одной или нескольких лодках, а по льду – на санях. Эта экспедиция, разумеется, должна была быть малочисленной, что вызвало довольно зловещие комментарии о «сокращении риска людьми». Было выдвинуто и третье предложение – использовать для поисков ледокол «Ермак», причем инициатор его постройки адмирал С.О.Макаров, конечно, поддержал идею отправки ледокола на выручку Толля. Однако большая осадка корабля (свыше семи метров) делала чересчур рискованным его плавание в мелководном Сибирском море, вблизи островов, а в случае вынужденной зимовки многочисленную команду (85 человек) было бы слишком трудно прокормить. Остановились на проекте шлюпочной экспедиции, возглавить которую вызвался двадцативосьмилетний лейтенант Колчак.

«Предприятие это было такого же порядка, как и предприятие барона Толля, но другого выхода не было, по моему убеждению, – напишет он три года спустя. – Когда я предложил этот план, мои спутники отнеслись к нему чрезвычайно скептически и говорили, что это такое же безумие, как и шаг барона Толля. Но когда я предложил самому взяться за выполнение этого предприятия, то Академия наук дала мне средства и согласилась предоставить мне возможность выполнить этот план так, как я нахожу нужным».

Подготовка спасательной экспедиции заняла сравнительно

немного времени, и уже в мае 1903 года Колчак выступил с материка к Новосибирским островам, имея конечною целью остров Беннетта. Общая численность экспедиции составляла 17 человек, а в первом самостоятельном плавании лейтенанта в его распоряжении было шесть подчиненных и вельбот.

Оказавшись во главе экспедиции, Колчак держит себя решительно и уверенно во всем, вплоть до стиля служебной переписки, которую он ведет с Академией Наук. Тон молодого офицера вызывает даже раздражение казначея Академии, вполне естественно для своей должности заботящегося о строгой отчетности и беспокоящегося о выделенных на экспедицию ассигнованиях:

«Прекрасная фраза “Я покорно прошу не отказать так сделать и надеюсь, что отсутствие формы не является препятствием”. Не правда ли, фраза эта пахнет предписанием…

Ох уж эти лейтенанты, предписывающие Академии! С легким сердцем этот самый Колчак передерживает более 500 рублей и ограничивается тем, что в письме к академику Шмидту (Ф.Б.Шмидт был председателем «Комиссии для снаряжения Русской Полярной Экспедиции». – А.К.) просит возможно скорее “устроить” эту ассигновку, развязно заявляя, что “во всяком случае она необходима к осени”.

Одним словом, что ни фраза, то перл, только уж не распорядительности, а нахальства».

За Колчака в этой ситуации, разумеется, – высокая цель экспедиции, идея спасения человеческих жизней, долг перед бароном Толлем и его спутниками (не случайно и чиновник из Академии, несмотря на весь свой сарказм и негодование, вносил «предписанное» лейтенантом в сметы и признавал: «Надо же будет оформить все, что он нагородил»); но вряд ли следует полностью сбрасывать со счетов и субъективные факторы – впервые, наверное, проявившуюся властность молодого офицера и его уверенность в собственных силах, порой граничащую с пренебрежением формальностями, условностями, а то и просто чужим мнением. Но, как бы ни оценивались эти качества в петербургских кабинетах, в море летом 1903 года они оказывались, должно быть, как нельзя более кстати.

Любое плавание в арктических широтах осложняется тем, что близость магнитного полюса Земли искажает показания компаса, а почти постоянные летом туманы не позволяют ориентироваться по звездному небу. Сейчас кажется, что Колчак шел почти наугад, руководимый своею интуицией и звездой, которой не увидишь на небе, – счастливой звездою дерзкого путешественника, а ее влияние не менее важно, чем навигационные расчеты. Крайне

тяжелыми были и будни переходов с материка на Новосибирские острова и далее – к острову Беннетта. Когда шлюпка садилась на мель, «приходилось, – рассказывает Колчак, – вылезать всем в воду и тащить, насколько хватало сил, вельбот ближе к берегу; затем мы переносили палатку и необходимые вещи на берег, разводили костер из плавника, отдыхали и затем принимались снова бродить по ледяной воде, пока не удавалось вытащить вельбот на глубокое место, где мы ставили паруса и отправлялись дальше». Переход через Благовещенский пролив (между островами Фаддеевский и Новая Сибирь) Александру Васильевичу запомнился «самой тяжелой, серьезной работой, осложняемой туманом и снегом»: трое суток мореплаватели провели, «то вытаскивая вельбот на стоячие льдины, чтобы избежать напора и не быть увлеченными стремительно несущимися массами льда, то снова спуская его на воду». Последний участок маршрута ставил их перед новыми трудностями – адмирал Смирнов, должно быть со слов Колчака, пишет: «Океан оказался в этом году чистым от льдов, не было даже плавающих льдин, на которые можно было бы вылезти из вельбота, чтобы передохнуть. Приходилось все время идти на шлюпке, ветер постоянно дул свежий». Впрочем, попытки отдыха на плавучих льдинах таили не меньшую опасность – во время одной такой ночевки льдина треснула и вельбот едва не был потерян, что для путешественников означало бы неминуемую гибель.

Наконец, 4 августа вельбот Колчака подошел к острову Беннетта. При обследовании острова лейтенант чуть не погиб, провалившись в трещину ледника (его спас боцманмат Н.А.Бегичев); нервы Александра Васильевича, очевидно, были напряжены до предела, и, когда спасатели наткнулись на небольшую избушку, заглянувшему в дверь Колчаку в первый момент померещились в сумраке мертвые тела Толля и его спутников. Однако найдены были лишь следы пребывания на острове исследовательской партии – часть коллекций, план местности, сломанные инструменты и записки, последняя из которых, датированная 26 октября 1902 года, гласила: «Отправляемся сегодня на юг. Провизии имеем на 14–20 дней. Все здоровы. Э.Толль». По заключению Колчака, не заготовив за летние месяцы провианта в необходимом количестве, партия Толля оказалась перед неизбежной перспективой голодной смерти в случае зимовки на острове Беннетта; впрочем, и плавание на имевшихся у барона лодках в условиях начинавшейся полярной ночи, и переходы по зыбкому льду давали шанс хотя и отличный от нулевого, но крайне,

пренебрежимо малый, – и осенью 1905 года в одной из записок, подводящих итоги спасательной экспедиции, Александр Васильевич сделает вывод: «Три года уже прошло с того времени, как барон Толль оставил остров Беннетта, и факт его гибели со всей партией уже не подлежит сомнению, внеся еще одно прибавление к длинной записи смелых людей, положивших свою жизнь в борьбе с природой арктической области во имя научных достижений». Насколько он сам был близок к тому, чтобы стать одним из таких «прибавлений», Колчак, естественно, умалчивает…

Но заслуги лейтенанта-полярника не остались неотмеченными. «… Тяжелая и ответственная экспедиция была поручена лейтенанту Колчаку, который выполнил свою миссию самым блистательным образом, пройдя на вельботе пространство океана, отделяющее Новосибирский архипелаг от острова Беннетта, вполне благополучно, и добыл с последнего в высшей степени важные документы, оставленные там партией барона Толля», – отмечал Великий Князь Константин Константинович. По представлению Академии лейтенант был 6 декабря 1903 года удостоен ордена Святого Владимира IV-й степени («который впоследствии начальство испортило, прибавив к кресту Академии наук еще мечи за Порт-Артур», – писал впоследствии адмирал Пилкин, быть может, вспоминая точку зрения самого Колчака; рядовые участники экспедиции получили золотые медали «За усердие»). А 30 января 1906 года Совет Императорского Русского Географического Общества присудил ему «за участие в экспедиции барона Э.В.Толля и за путешествие на остров Беннетта, составляющее важный географический подвиг, совершение которого было сопряжено с большими трудностями и опасностью для жизни», высшую награду Общества – Большую Константиновскую золотую медаль (этой медали, в частности, были удостоены в свое время Норденшельд и Нансен). А между экспедицией и «научной» наградой за нее пролегла первая в жизни Колчака война…

О нападении японцев на русские корабли лейтенант узнает в Якутске; 26 февраля он прибывает в Иркутск, а уже 28-го, в день объявления Японией войны, отправляет оттуда в Академию телеграмму, выдержанную в том категорическом тоне, который, должно быть, многим в Петербурге не нравился: «Еду на войну из Иркутска документы и отчеты высылаю из Иркутска если есть распоряжения телеграфируйте срочно…» – и другую, с официальною просьбой к Великому Князю о разрешении «ехать из Иркутска на эскадру Тихого океана». Александр Васильевич говорил позже, что на его решение повлияли и известия о

предстоящем вступлении в командование на Дальнем Востоке адмирала Макарова: «Получив сведения, что командующим флота на Тихом океане назначен Макаров, я по телеграфу просил Академию наук отчислить меня от Академии и одновременно просил морское ведомство о назначении меня в Порт-Артур в распоряжение Макарова», – хотя здесь, безусловно, имело место и уже известное нам стремление Колчака к непосредственной боевой работе, которая ожидалась прежде всего в русском дальневосточном форпосте – Порт-Артуре. Не проведя в Иркутске и двух недель, буквально на ходу обвенчавшись, наконец, с приехавшей к нему из Петербурга Софией Омировой, Колчак отправился на Дальний Восток. Софии Федоровне, ждавшей жениха из полярных странствий, теперь предстояло ждать супруга с войны…

Лейтенант Колчак прибыл в Порт-Артур 18 марта, через три недели после вступления Макарова в командование. Как рассказывает адмирал Смирнов (в 1904 году – младший флаг-офицер штаба командующего флотом в Тихом океане), Александр Васильевич рвался «на активную должность – на миноносец, но адмирал Макаров сказал, что после столь трудной экспедиции Колчаку необходимо несколько отдохнуть и пожить в человеческой обстановке на большом судне, и назначил его на крейсер “Аскольд”». Мнения об этом назначении расходятся. Согласно одной точке зрения, должность вахтенного начальника на «Аскольде», где сам Макаров «отдыхал и ночевал после каждого многотрудного дня, проведенного на броненосце “Петропавловск”», была следствием явного благоволения адмирала: «Этим назначением командующий хотел предоставить лейтенанту возможность отдыха после полярной экспедиции и приблизить его к себе, чтобы познакомиться получше». Другая версия, напротив, представляет дело в виде скрытого конфликта: «Колчак не просил чего-то чрезмерного: командование миноносцем – лейтенантская должность. И Макаров действительно предполагал заменить часть командиров миноносцев», – а подлинная причина отказа («Макаров, как с долей обиды рассказывал потом Колчак, “упорно” не хотел назначать его на миноносец») якобы лежала в области, ничего общего с текущей войною не имевшей: «Макаров смотрел на Колчака как на прыткого молодого человека, который перебежал ему дорогу, когда готовилась экспедиция на поиски Толля. Поэтому и возникло желание попридержать слишком резвого лейтенанта, поставить его на место», – с выводом: «Макаров не всегда точно оценивал людей».

Такую интерпретацию можно считать или не считать

правдоподобной – неоспоримых подтверждений она, конечно, не имеет и, как все версии, основанные на психологической реконструкции, весьма уязвима, – но для того, чтобы несколько «попридержать» Колчака, могли найтись и более объективные причины. Здоровье лейтенанта, несмотря на его высокий боевой дух, действительно внушало опасения (вспомним хотя бы постоянные «купания» в ледяной воде!), и перенесенное Колчаком вскоре тяжелое воспаление легких, а затем появившиеся признаки суставного ревматизма вполне оправдывают беспокойство адмирала, если считать его искренним, а не «дипломатическим». Нельзя забывать и о том, что в течение нескольких лет лейтенант фактически не нес настоящей строевой службы и не совершенствовался в своих профессиональных навыках. Опыта самостоятельного командования в боевой обстановке у него не было, минным офицером он никогда не служил, гидрографические заслуги к ведению военных действий никакого отношения не имели, а личного мужества, столь ярко проявленного Колчаком во время спасательной экспедиции, нередко бывает недостаточно для командования кораблем – дела, сопряженного с высочайшей ответственностью и риском не только для своей жизни, но и для десятков жизней подчиненных офицеров и матросов.

Уже поэтому Макаров мог не спешить с назначением, да и репутация лейтенанта во время службы последнего на «Аскольде», если командующий ею интересовался, вряд ли побуждала к быстрому его повышению. Именно об этом периоде Пилкин (сам порт-артурец) вспоминает, что Колчак «жестоко дрался» и даже «в баллотировочной комиссии ст[арший] офицер “Аскольда” Теше возражал против производства Колчака и положил ему черный шар, ставя ему в вину жестокое обращение с командой» (правда, воспоминания сослуживца Александра Васильевича по «Аскольду» позволяют предположить и другие причины конфликта: «Чрезвычайно требовательный в своих отношениях по службе, крайне нервный и подчас резкий, он не поладил со старшим офицером и просил убрать его с корабля»). Как бы то ни было, «упорное» нежелание Макарова продвигать Колчака продолжалось недолго: уже 31 марта «Петропавловск», на котором вышел в море адмирал, подорвался на японской мине и погиб вместе с большинством членов экипажа, в том числе и командующим флотом.

17 апреля Колчак был переведен на минный заградитель «Амур», хотя скорее всего это назначение изначально предполагалось временным, поскольку уже 21-го лейтенант получил должность, к которой так стремился, – командиром

миноносца «Сердитый». А к маю относится проект, по воспоминаниям адмирала С.Н.Тимирева, также увлекший Колчака.

«Мы оба были в Порт-Артуре, – рассказывает Тимирев, – где в конце мая 1904 года должны были участвовать в одной и той же экспедиции на транспорте “Ангара”… Разработка плана этой экспедиции (прорыв блокады и действия на путях движения японских транспортов в Желтом море и Тихом океане) в значительной степени принадлежала А.В.Колчаку… К сожалению, экспедиция наша не состоялась, так как в последнюю минуту адмирал Витгефт (командовавший флотом после Макарова), вначале относившийся сочувственно к нашему плану, отменил его, испугавшись рискованности предприятия».

Идея рейдерских операций на коммуникациях противника вполне отвечала беспокойному и даже авантюрному характеру Колчака, который вообще тяготился обороной или маневренною войной. Его душа требовала наступления, схватки с врагом лицом к лицу, и однажды на восторженное замечание сослуживца – «мальчишескую беспричинную радость» от хорошего хода корабля – он «угрюмо» ответил: «Чего же хорошего? Вот если бы мы шли так вперед, на неприятеля, было бы хорошо!»

Но и в условиях более рутинной боевой работы Колчак зарекомендовал себя отличным офицером. По свидетельству Пилкина, у Александра Васильевича вообще «была инициатива, была смелость замысла. Еще в Артуре он их выказал. Капитан II ранга Иванов нарушил прямое приказание командующего Витгефта – не удаляться более 6 миль от крепости, и на заградителе “Амур” поставил в 12 милях заграждение, на котором взорвался впервые ряд японских судов. “Макаров est venge2.. ” [5]– плясал и кричал прикомандированный к нашему флоту капитан Comerville, видевший с Золотой Горы взрывы броненосцев “Фушима” и “Яшима”.

Колчак поставил минную банку в 22 милях от Артура, на которой взорвался неприятельский крейсер “Токосаго”».

Первое самостоятельное командование Колчака боевым кораблем продолжалось до 18 октября с перерывом на тяжелое воспаление легких, которое уложило лейтенанта в госпиталь примерно на месяц. 11 октября он был удостоен ордена Святой Анны IV-й степени с надписью «За храбрость» (наградного оружия), а через неделю – по собственной просьбе («чувствуя себя больным для того, чтобы продолжать морскую службу») переведен на сухопутный фронт, куда переместился центр тяжести всей кампании. Интересно, что в осажденной крепости Колчак вел записи, в которых старался учитывать опыт

артиллерийской стрельбы, и собирал свидетельства о неудачной попытке прорыва части судов порт-артурской эскадры во Владивосток, предпринятой 28 июля. С неукротимым темпераментом и боевым азартом в Александре Васильевиче по-прежнему сочетаются задатки ученого, теперь – артиллериста и стратега.

Командуя батареей разномастных орудий (калибров 37, 47, 120 мм и старых корабельных пушек), Колчак педантично ведет и дневник, из которого видно, как с каждым днем ухудшается положение защитников крепости. Помимо боевых потерь, они страдают от болезней: «Цинга увеличивается, и больных ею масса; характерно заболевание куриной слепотой – признак крайнего утомления и истощения»; «люди постоянно простужаются, не имея теплого платья… едят одну брюкву и черствые сухари». Противник подходит все ближе и ближе к Порт-Артуру. Большинство остававшихся в гавани судов повреждены минными атаками и огнем артиллерии. «… Увидел лежащий в доке “Амур”; это какой-то кошмар: судно лежит на боку с трубами и мачтами на берегу», – с содроганием, должно быть, записывает Колчак 10 декабря. «Сильные сами по себе позиции малопригодны в то время, когда не могут быть долговременно укрепленными [6], – размышляет он 19-го, – тем более что окопы и ходы сообщения не окончены, прикрытий от шрапнели и блиндажей нет, высидеть долго под японским артиллерийским огнем, которым они только и берут позиции, нельзя». А 20-го наступает трагическая развязка…

«Всю ночь продолжались громовые раскаты взрывов в порту – все уничтожалось – подрывались орудия, машины, корпуса судов…

После полудня мертвая тишина – первый раз за время осады Артура…»

Так описывал лейтенант Колчак день, когда командование вело переговоры с осаждающими о капитуляции крепости. 21 декабря в Порт-Артуре уже появились японские части, а русские офицеры, солдаты и матросы становились военнопленными.

«Слабая вооружением, – писал через полвека адмирал Б.П.Дудоров, в 1904 году служивший в Порт-Артуре на штабных должностях, – незаконченная постройкой, с недостаточным гарнизоном, совершенно отрезанная и с суши, и с моря от подвоза подкреплений, боевых припасов и продовольствия, крепость Порт-Артур в течение девяти месяцев выдерживала натиск в три раза сильнейшего врага, не щадившего никаких усилий, чтобы ее взять…

Сам враг признал героизм гарнизона, приняв условие выхода

его из крепости с оружием в руках и сохранения холодного оружия офицерским составом.

А государь повелел все время осады считать участникам ее в службу из расчета месяц за год, подобно славным защитникам Севастополя».

Путь отца – севастопольца в какой-то мере повторил сын – порт-артурец: от героической обороны в тягостный, но не позорный плен. «Да исцелит Господь ваши раны и немощи и да дарует вам силу и доготерпение перенесть новое тяжкое постигшее вас испытание», – обращался 1 января 1905 года к защитникам крепости Император Николай II. Не менее тяжкие испытания ожидали и всю Россию – лихолетье, которое было в известной степени следствием неудачной войны, но в гораздо большей – само повлекло ее печальный финал («Петербург “устал” от войны более, чем армия», – считал генерал А.И.Деникин). Наверное, это отразилось и в надписи на медали «в память войны с Японией» – «Да вознесет вас Господь в свое время», – надписи, вызывавшей и вызывающей до сих пор пошлое зубоскальство («что это за свое время?») и в действительности представляющей собою цитату из I Соборного послания Апостола Петра, весьма многозначительную, если вспомнить об ее контексте: «Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время; все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить; противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь» (I Пет. 5: 6–11). Крестный путь России в XX столетии, как будто предсказанный этой цитатой, только начинался…

Возвращаясь к Колчаку, следует, впрочем, признать, что события первой Смуты нового века практически не затронули его. «После падения [Порт-Артура], – рассказывает адмирал через пятнадцать лет, – будучи болен суставным ревматизмом, лежал в госпитале в Порт-Артуре в качестве уже военнопленного; это продолжалось до апреля 1905 года, затем в середине апреля воспользовался предоставленным Японией правом отправиться на родину и поехал через Америку в Петроград, куда и прибыл в конце мая 1905 г.; там по освидетельствовании был признан инвалидом и получил четырехмесячный отпуск для лечения на водах. До осени 1905 [года] я пробыл на водах, а затем был опять

причислен к Академии наук, занимаясь кабинетной научной работой…»

Наряду с теоретическим, труды и выводы Колчака, основанные на результатах Русской Полярной Экспедиции, имели и некоторое прикладное значение: если самая известная его печатная работа «Лед Карского и Сибирского морей» (издана в 1909 году в Петербурге, в «Записках Императорской Академии Наук») рассматривала принципиальные вопросы образования морского льда в различных условиях и его циркуляции в океане, то ряд выпущенных карт Карского моря, составленных по съемкам участников экспедиции, в том числе и Колчака, безусловно был необходим для решения текущих практических задач плавания в этих водах. Тою же проблемой занималась и созданная по распоряжению морского министра «Комиссия по исследованию Северного Ледовитого океана», в состав которой был включен и лейтенант Колчак; ей предстояло оценить возможность мореплавания «Северным проходом» и наметить программу исследований, которым предстояло бы «осветить раз и навсегда вопрос об утилитарном значении для нас этих владений вообще и о проходе этим путем к Тихому океану в частности».

В рамках этих исследований состоялся и новый поход, порученный ветеранам экспедиции Толля – Колчаку и Матисену, которые сначала наблюдали за постройкой судов, а затем и приняли командование над ними (транспортами «Вайгач» и «Таймыр» соответственно). В 1909 году оба корабля через Средиземное море и Индийский океан ушли на Дальний Восток и навигацию 1910 года провели в гидрографических исследованиях. «Экспедиция, для достижения указанных целей, и установление постоянных сообщений с прилегающими к Северному Ледовитому океану частями Иркутского генерал-губернаторства потребуют посылки транспортов к Берингову проливу к началу навигации в Северном Ледовитом океане, – отмечал Колчак в записке „О производстве гидрографического исследования Северного Ледовитого океана от Берингова пролива до устья реки Лены“. – Эти транспорты, приняв полный запас угля со специально посланного для этой цели судна, используют навигационный период на гидрографические работы в районе от Берингова пролива до устья реки Лены и ко времени прекращения плавания в Ледовитом океане уйдут во Владивосток, с тем чтобы в следующем году продолжать дальнейшие работы по исследованию Северного Ледовитого океана». Однако выполнить эту программу Александру Васильевичу не было суждено – в августе 1910 года его отзывают в Петербург. Новое назначение относилось к совсем иной области

приложения талантов и сил Колчака, области, о которой он – воин отнюдь не в меньшей степени, чем ученый, – никогда и не забывал.

Глава 2
Военный мыслитель

Потеря Порт-Артура и значительной части морских сил Тихого океана, цусимская катастрофа, которая постигла эскадру, пришедшую с Балтики, и оставила тем самым столицу Империи едва ли не беззащитной от нападения с моря, – были, разумеется, тяжелейшим ударом для офицеров флота. Горечь усугублялась буйством «общественности», которая, пользуясь дарованными Высочайшим манифестом 17 октября 1905 года свободами, не упускала случая побольнее уязвить морское ведомство, не различая правого и виноватого, да по вопиющей своей некомпетентности и не умея этого делать. В то же время налицо были и бесспорные просчеты в управлении флотом, о которых Колчак писал в 1912 году: «Если высказанный афоризм, что “военная сила, проигравшая войну, проиграла ее до начала военных действий”, и может возбудить некоторое сомнение в смысле общего значения, то справедливость применения его к минувшей войне не составляет вопроса.

Война была проиграна прежде всего потому, что о ней никто не думал и никто не готовился».

Осознание подлинных ошибок и борьба с ними, так же как и с обвинениями в ошибках мнимых, горячее желание восстановить репутацию русского флота и России как морской державы, стремление не просто «возродить» погибший с честью флот, но возродить его на современном уровне, – такие чувства владели тогда многими морскими офицерами, и, очевидно, именно они не давали Колчаку замкнуться в тиши «кабинетной научной работы». «Чувство горькой обиды и желание работать для возрождения флота ярко пробудилось в личном составе, – вспоминает настроения офицерства адмирал Смирнов. – В различных портах образовались кружки морских офицеров, поставивших себе задачей разрабатывать военно-морские вопросы в связи с реформами морского дела и воссозданием флота. Это движение встретило покровительство высшего морского начальства, и уставы кружков были утверждены. Морские офицеры были воспитаны в традициях преданности и верности Престолу и Отечеству, и они отнюдь не занимались вопросами внутренней политики, а разрабатывали исключительно вопросы стратегии, тактики, организации и техники». Из участников «частного, но полуофициального, пользовавшегося содействием морского министерства» петербургского кружка Колчак называл в качестве

«наиболее видных» В.К.Пилкина, М.М.Римского-Корсакова 3-го (председателя кружка, чьим помощником был сам Александр Васильевич) и А.Н.Щеглова, с именем которого неразрывно связано создание в России Морского Генерального Штаба.

Впоследствии, уже в эмиграции, когда имя Колчака было окружено героическою легендой, образование этого важнейшего органа стратегического планирования нередко приписывали инициативе Александра Васильевича, и капитан 1-го ранга Щеглов даже выступал в печати в довольно обиженном тоне, отстаивая свой приоритет. Однако Колчак еще в 1912 году, и также в печати, подробно отметил заслуги Щеглова, выделив его – единственного! – из тех офицеров-единомышленников, которые, без сомнения, обсуждениями и соединенными усилиями способствовали продвижению проектов Морского Генерального Штаба.

«В 1905 г. 10 декабря, т. е. тогда, когда последняя война уже стала историческим фактом, – свидетельствует Колчак, – лейтенантом Щегловым была представлена морскому министру работа под наименованием “Стратегический обзор русско-японской войны”, в которой детально была разобрана обстановка, определенная полным отсутствием в нашем флоте какой-либо подготовки к войне, и вытекающая из этого положения необходимость создания специального органа, который ведал бы этой подготовкой, – генерального штаба.

В своих дальнейших работах по этому вопросу, образовавших труд под наименованием “Значение и работа штаба на основании опыта русско-японской войны”, лейтенант Щеглов выяснил детально организацию Морского генерального штаба как штаба высшего командования, с выделением его из состава Морского министерства, и подчиненного непосредственно верховной власти, наравне с командующим морскими вооруженными силами».

Более того, недостатком созданного в апреле – июне 1906 года Морского Генерального Штаба Колчак склонен был считать отличие системы его подчинения от той, которую проектировал Щеглов (вместо предлагавшейся независимости от морского министра новая структура была включена в состав министерства). Таким образом, вряд ли приходится говорить о вольном или невольном присвоении Александром Васильевичем чужих заслуг, – скорее наоборот, роль и заслуги Щеглова им несколько гиперболизируются, ибо понятно, что инициатива одного из многих флотских лейтенантов вряд ли подвигла бы высшее начальство на столь существенные преобразования, если бы за нею не было поддержки единомышленников.

Вряд ли покажется удивительным, что после образования Морского Генерального Штаба Колчак – активный участник военно-морского кружка – получил в новом учреждении ответственный пост. В 1906–1908 годах, до вступления в командование «Вайгачем» и экспедиции на Дальний Восток, он заведовал Северным (Балтийским) столом [7]Оперативного отдела. В те же годы в Генеральном Штабе служат и Щеглов, и Пилкин, и Римский-Корсаков, и Смирнов – соратники Колчака по «борьбе за возрождение флота», как, по свидетельству Смирнова, характеризовал этот период сам Колчак.

Борьбу приходилось вести не только против министерской бюрократической косности, но и против парламентско-общественного буйства. Государственная Дума, рвавшаяся устраивать и переустраивать морское ведомство, позволяла себе даже шантажировать возможностью отказа в кредитах с циничной формулировкой: «Перед тем, как подумать о флоте, нужно подумать об обновлении Министерства и его подразделений». Не сидела сложа руки и «общественность», активно обсуждавшая вопросы, о которых не имела понятия. Журналист М.О.Меньшиков (в молодости он был штурманским офицером и ушел со службы в 1892 году) обличал: «Броненосный флот есть оружие по преимуществу наступательное… Есть и другие задачи линейного флота: захват колоний, уничтожение морской торговли противника ипр. Но в наших условиях разве можно думать о том, чтобы делать морские нашествия, высаживать десанты и т. п.?» – и уповал на флот, состоящий из миноносцев, а еще лучше – подводных лодок, которые, как поучал Меньшиков с газетных страниц, и следовало строить, отказавшись от линейных кораблей. Для рекламы подобных военно-морских идей издатель газеты «Русь» А.А.Суворин пытался привлечь и лейтенанта Щеглова, который вспоминал: «Суворин настаивал, чтобы я пропагандировал ненужность броненосцев и рекламировал бы подводные лодки, что не отвечало ни истине, ни убеждениям моим. Тогда-то я впервые на личном опыте убедился в безыдейности, беспринципности и корыстолюбии владельцев прессы…»

Отдадим должное руководству морского ведомства – оно попыталось бороться с противником его же оружием. «Морской Министр генерал-адъютант И.М.Диков решил пойти навстречу запросам общества, – рассказывает адмирал Смирнов, – и разрешил офицерам, служившим в Морском Генеральном Штабе, выступать с докладами в различных общественных собраниях и в собеседованиях членов Государственной Думы. Образовалась группа из четырех-пяти офицеров, распределивших между собой

различные основные вопросы, во главе этой группы стал А.В.Колчак». Сам Александр Васильевич свою деятельность характеризовал как имевшую более официальный характер: «Лично я был экспертом в Военной комиссии Госуд[арственной] думы и постоянно выступал докладчиком и в качестве эксперта на ее заседаниях». Тогда же, в 1908 году, Колчак публикует в «Морском сборнике» работу с названием не очень удачно сформулированным, но отвечавшим одному из основных вопросов, которые волновали тогдашнее общество: «Какой России нужен флот».

Насущность размышлений на эту тему, взвешенной мотивировки проектов и рецептов, Колчак подчеркивает с первых же строк: «Кроме крайне стесненного финансового положения, мы должны считаться еще с утратой в значительной части общества сознания необходимости не только обладания нашими пограничными водами, но и с отсутствием правильных идей о морской силе, ее значении, вплоть до сомнений в целесообразности самого существования такой силы»; «воспроизводя копию с существующего хаоса политических убеждений и взглядов на желаемый государственный строй Российской Империи, идеи о вооруженной морской силе, проповедуемые в обществах, собраниях, периодической печати и литературе, заключаются между определенными мнениями о полном излишестве и даже вреде флота для России и столь же уверенно высказываемыми положениями о необходимости немедленного воссоздания морской силы, способной к борьбе чуть ли не с великобританским флотом, правда, в большинстве случаев на чисто фантастических основаниях». Проницательно отмеченная параллель между общим смятением умов и душ и такой же сумятицей идей о будущих судьбах флота требовала хладнокровного, обоснованного ответа, и именно такой ответ стремился дать Колчак, несмотря на всю свою горячность и искренние переживания о состоянии морской силы России.

Окончательные выводы Александра Васильевича, безусловно, отдают максимализмом: «Если России суждено играть роль великой державы – она будет иметь линейный флот как непременное условие этого положения. Перед нами теперь стоит этот вопрос во всей его сложности, со всею тяжестью громадных материальных, я скажу, не затрат, а жертв, и, решаясь принести эти жертвы, надо не верить, а знать, что результатом их явится действительная сила»; «эта морская сила должна быть и будет в форме линейного флота; нашему отечеству предстоит выполнить огромную задачу его создания, которое должно быть произведено одновременно во всех частях сложного механизма флота, так как

только при этом условии можно будет рассчитывать на результаты, достойные цели». В соответствии с таким взглядом требовалось комплектовать военно-морские силы одновременно всеми типами боевых судов, начиная с дорогостоящих броненосных линейных кораблей, необходимость постройки которых отрицали, в частности, апологеты подводной войны. «Главною и основною операцией морской войны есть бой [8]с вооруженными силами противника, и линейный корабль строится и строился для этой единственной цели», – отмечает Колчак, рискуя навлечь на себя упреки тех, кто считал сражения линейных флотов ненужной для России роскошью и предлагал ограничить задачи ее военно-морских сил обороною берегов.

Максимализм Колчака на поверку покоился на фундаменте рациональных соображений и здравого расчета. Достаточно сказать, что полномасштабное воссоздание линейного флота, по его мысли, должно было предприниматься не повсеместно, а с учетом сравнительной значимости различных морских театров. С этой точки зрения Александр Васильевич считал относительно безопасными дальневосточный (рассматриваемый как «отдаленная колония», необходимость обеспечения которой казалась ему по меньшей мере спорной) и черноморский регионы («непосредственно на Черном море мы не имеем противника, с которым в настоящее время приходилось бы серьезно считаться»), все внимание сосредотачивая на балтийском.

Замкнутый мелководный театр как будто не предоставлял больших возможностей для столкновения линейных флотов, но не этим и определялась, по Колчаку, его ценность: «Обладание водами Балтийского моря принадлежит Германии, и ее морская граница от Полангена (пограничный пункт на побережьи Балтики. – А.К.) совсем не направляется на запад, а идет параллельно нашей вдоль курляндских берегов, далее по берегам Финского залива и подходит к передовым фортам Кронштадта в 50 верстах от столицы» (эта метафора Колчака подкреплялась его предшествовавшим рассуждением о том, что «вопросы и положения международного права о государственных границах отпадают при возникновении войны, когда выступает единственное право фактического обладания вооруженною силой, а следовательно, обладание морем с момента объявления войны устанавливает границы государства, владеющего морем, на берегах его противника, не имеющего этого обладания»). Считая, «что массовые перевозки войск морем и операции вторжения вооруженной силой со стороны морских границ получают с каждым днем все большее и большее значение», Колчак ставит читателя перед перспективой крупномасштабного германского

десанта в непосредственной близости от Петербурга, которая угрожала оказаться вполне реальной в случае, если бы русское побережье Балтики осталось незащищенным.

Таким образом, максимализм Колчака неожиданно оборачивается умеренностью, доходящей почти до цинизма «реальной политики»: вряд ли офицер, проливший свою кровь в Порт-Артуре, мог со спокойной душою допускать возможность дальнейших потерь на восточной окраине России, но холодным расчетом ему был продиктован вопрос – «Являются ли наши берега Японского и Охотского морей такими важными для жизни государства, что потеря их была бы невознаградима?» – и, в предположении, что «распространение России на берега Тихого океана» станет лишь делом отдаленного будущего, – строгий вывод: «создание мощной силы, способной бороться за обладание морем в Тихом океане, едва ли является целесообразным». Тот же расчет увидим мы и в идее линейного флота Балтийского моря, столь убежденно выдвигаемой Колчаком.

Подводные лодки и миноносцы, усиленно рекламируемые дилетантами как оружие оборонительной войны, и еще в меньшей степени – специализированные «суда береговой обороны» (броненосные мониторы, вооруженные крупнокалиберною артиллерией) в действительности могут быть лишь вспомогательными средствами, – утверждает он. Оперируя цифрами сравнительной стоимости различных типов кораблей, процентов попадания при стрельбе самодвижущимися минами (торпедами), дальности минного залпа и артиллерийского огня, скорострельности, скорости крейсеров, миноносцев, подводных лодок, радиуса действия последних, а также историческими примерами из недавних войн, Колчак обосновывает свой вывод о равной необходимости существования всех классов боевых кораблей: линкоров, крейсеров (броненосных и легких) и минных судов, к которым относятся и подводные. Простым примером он иллюстрирует свою мысль: «Положим, что мы захотели бы ограничиться частью указанной морской силы и создали бы хоть один минный флот [9]. Неприятель, располагающий линейным флотом, конечно, не стал бы посылать против этого флота линейные корабли, а выслал бы легкие крейсеры и минные суда, которые бы и уничтожили минный флот, существующий без поддержки; если бы мы придали к минным судам легкие крейсеры, неприятель придал бы к соответствующим типам броненосные крейсеры, с которыми легкие крейсеры были бы бессильны [бороться], и т. д.».

Но насколько прогнозы Александра Васильевича были подтверждены развитием событий, в частности – начавшейся

через шесть лет Мировою войной? На первый взгляд кажется, что Колчак ошибся: глобальный конфликт, в котором среди прочих противоборствовали две сильнейшие морские державы – Великобритания и Германия, не дал ни одного примера крупных сражений линейных флотов, за исключением Ютландского (18–19 мая 1916 года, между англичанами и немцами), имевшего довольно неопределенный результат. Напротив, минные заграждения оказывали на ход боевых действий значительное влияние, а развязанная немцами тотальная подводная война к 1917 году поставила Англию, по словам первого морского лорда адмирала Дж. Джеллико, перед угрозой «гибели от голода». Все это как будто противоречит выводам Колчака; однако насколько велика была его ошибка в действительности?

Прежде всего, очевидно, что от активных боевых действий германский линейный флот удерживало наличие, а вовсе не отсутствие такого же у его противников. Умеренность германской морской стратегии в отношении не только Англии, но и России нельзя не связать с уровнем противостоящих сил, иначе любые минные заграждения на Балтике были бы немцами безбоязненно вытралены, а путь их крейсерам и линкорам к русской столице – открыт. Кроме того, при любом стратегическом планировании делать ставку на пассивность и нерешительность будущего противника категорически противопоказано, и Колчак был совершенно прав, когда призывал готовиться к войне с решительным и дерзким врагом, не боящимся сражений линейных флотов, крупномасштабных десантных операций и проч. Из «стратегии сокрушения» и «стратегии выжидания, измора» в руководстве германских военно-морских сил в 1914–1916 годах победила вторая, но и первая имела влиятельных сторонников, – а значит, сбрасывать со счетов возможность активной морской войны для русского командования было бы непростительною ошибкой.

Что касается подводных лодок, то можно признать недооценку Колчаком перспектив их развития. По поводу самостоятельности субмарин «в качестве главного агента войны» он отзывается категорически – «ясно, что лодка до этого еще не доросла, да и вряд ли когда-нибудь дорастет»: «Подводная лодка в открытом море слепа, слепа в стратегическом отношении, так как произвести разведку она не может по многим причинам, из коих первая – что у нее нет хода [10], а вторая – нет средств связи, которые находятся только в периоде разработки». В то же время темпы усовершенствования субмарин, хотя и были довольно высокими, еще не выводили этот класс кораблей на уровень, о котором говорит Колчак, – возможности борьбы против

надводных кораблей в открытом море: «… Практически современная подводная лодка обладает 15-уз[ловым] ходом [11]на поверхности и 10-уз[ловым] ходом под водой, и в этом-то и заключается ее слабость. Ведь ход для минного судна необходим для выбора позиции по отношению к противнику, обладающему ходом до 22 уз[лов] (линейные корабли) и даже 26 (броненосные крейсеры)». Указанные ограничения на скорость движения подводных судов в сущности не были преодолены даже десять лет спустя, а германские субмарины завоевали свою кровавую славу прежде всего атаками на транспорты при блокаде Англии – введение же системы конвоев резко снизило их результативность. Таким образом, даже ошибаясь в технических прогнозах, Колчак имел все основания весьма сдержанно относиться к подводным лодкам, тем более в условиях беззастенчивой и некомпетентной их рекламы Сувориным или Меньшиковым.

Таковы были взгляды Александра Васильевича на будущий русский флот. А какое место для себя самого отводил Колчак в его рядах? Вопрос не праздный, поскольку сегодня можно услышать утверждение, будто он «был, бесспорно, прекрасным оперативным штабным работником, что наглядно продемонстрировала его служба в Морском генеральном штабе и штабе морских сил (с августа 1914 г. – флота) Балтийского моря»… а вот командующим – весьма посредственным и даже попросту неудачным. К сожалению, нам неизвестны прямые свидетельства Александра Васильевича об его отношении к штабной работе, но с некоторой степенью допущения сделать вывод на этот счет позволяет прочитанный им в Морской Академии курс «Служба Генерального Штаба» (отпечатан для служебного пользования в 1912 году).

В числе реформ, проведенных по окончании Русско-Японской войны, были и преобразования в Императорской Николаевской Морской Академии; так, «курс военно-морских наук» был преобразован в «военно-морской отдел» (наряду с гидрографическим и кораблестроительным). И, пожалуй, именно «служба Генерального Штаба», читавшаяся его слушателям Колчаком, в наибольшей степени соответствовала сущности отдела, предназначенного для подготовки будущих флотоводцев и генштабистов (не случайно лекции Александра Васильевича были адресованы слушателям дополнительного курса – наиболее успешно окончившим два предыдущих). Работа Колчака давала первое в России систематическое учение о Морском Генеральном Штабе, его задачах и формах деятельности. Посмотрим же, какие требования предъявляет автор к штабным работникам, и сопоставим их с тем, что нам известно о самом Колчаке, его

склонностях, характере и темпераменте.

«Высказанная точка зрения на единство военного управления, понимаемого как “командование”, с основанием в виде единоличной творческой работы по военному замыслу, определяет и сущность работы штаба как специального вспомогательного органа, деятельность которого всецело ограничивается волею командования. Исходя из положения об идейном творчестве, мы обращали внимание на совершенную недопустимость постороннего влияния на эту сторону деятельности командования, и штаб по своей сущности ни в каком случае не должен ее касаться», – подчеркивает Александр Васильевич. – «Работа штаба поэтому должна являться совершенно лишенной чьей-либо субъективности или индивидуальности – она должна составлять одно целое с деятельностью командования. Штаб есть только средство командования, но ни в каком случае не что-либо самостоятельное, так как уже само представление о штабе как коллективной организации исключает всякую допустимость этой самостоятельности в деле военного управления. Точно так же совершенно несвойственны штабу как военному органу какие-либо функции совещательного характера – его работа должна быть определенной и строго ограниченной свободой творческой деятельности командования. Короче говоря, штаб должен понимать, видеть и действовать во всех случаях так, как его командование».

Еще более выразительны императивные выводы, формулируемые Колчаком: «работа штаба должна быть по возможности безлична и не носить следов индивидуальности его состава»; «работа штаба должна вестись в определенной установленной форме, ограничивающей воззрения личного его состава и ограждающей командование от влияния этого состава на самостоятельную деятельность начальника»; «единственной нормой штабной работы является свобода творчества командующего по выработке военного замысла, на которую штаб не должен иметь какого бы то ни было влияния». Эти принципы вполне соответствуют германской школе фельдмаршала графа Г. фон Мольтке (Мольтке Старшего), выдающегося военачальника, обладавшего, должно быть, идеальной психологией штабного работника: даже являясь фактическим главнокомандующим, он сознательно уступал формальный приоритет номинально возглавлявшему прусские вооруженные силы королю Вильгельму. А насколько соответствовал изложенным принципам Александр Васильевич Колчак?

Ответ напрашивается сразу же – не соответствовал

совершенно! И дело не только в честолюбии, вполне вероятно присущем Колчаку (оговоримся, что для военного человека эта черта сама по себе не предосудительна, а в то время она считалась даже полезной, в соответствии с известною поговоркой о маршальском жезле в солдатском ранце); прежде всего будущий адмирал, насколько можно судить, жаждал самостоятельных действий, свободы решений, возможности ничем и никем не стесненного творчества – оперативного и организационного не в меньшей степени, чем научного. Поэтому важнее, чем известность или «популярность» (она приходила к Колчаку сама собой и вполне по заслугам, без каких-либо его специальных усилий), было для него, наверное, право как выдвигать те или иные идеи или проекты, так и самостоятельно воплощать их; но столоначальником Морского Генштаба Александр Васильевич все же имел свободу лишь ограниченную. Да и само это учреждение, вопреки предложениям Щеглова и убеждениям Колчака, было подчинено не непосредственно «верховной власти» – Императору как Державному Вождю Армии и Флота, а морскому министру.

К этому следует прибавить и индивидуальные качества Колчака, о которых его доброжелатель отзывается как о «нелюбви к усидчивой работе», а сослуживец, намного более критически настроенный, и вовсе выносит суровый приговор: «Колчак… абсолютно не признает системы там, где без нее не обойтись, оттого что он слишком впечатлителен и нервен, оттого что он совершенно не знает людской психологии. Его рассеянность, легкомыслие и совершенно неприличное состояние нервов дают богатейший материал для всевозможных анекдотов. Такой человек, как он, не может оказать благотворное влияние на общий ход событий, потому что деятельность его спорадична, очень редко обоснована и почти всегда всем крайне неприятна». Разумеется, если бы столь уничтожающая характеристика была бы полностью верна, Колчак, не имевший ни протекций, ни покровителей, не смог бы не только служить в Генеральном Штабе, но и вообще удержаться во флоте; при неспособности к усидчивому и систематическому труду он не стал бы гидрографом-экспериментатором; а занимаясь «крайне неприятной всем деятельностью» – не завоевал бы себе в морской офицерской среде авторитета, которым пользовался бóльшую часть своей жизни. И все же, если пытаться выделить рациональное зерно, то можно предположить, что для Александра Васильевича должно было быть интереснее генерировать идеи, чем их тщательно разрабатывать, намечать новые пути и проходить ими первому, чем осваивать их и приспосабливать для идущих следом. Но с этой точки зрения штабная служба, должно

быть, быстро начинала его тяготить, и противопоставлять Колчака – «прекрасного штабного работника» Колчаку – более или менее удачному командующему – вряд ли справедливо. О службе его в штабе адмирала Н.О.Эссена речь еще впереди, здесь же остается лишь высказать предположение, что возвратился (как оказалось, временно) к полярным исследованиям и ушел из Главного Штаба Колчак с легким сердцем.

Вряд ли удерживали тогда Александра Васильевича на его посту и перспективы дальнейшего общения с думскими комиссиями. «По назначении морским министром Воеводского начались между Государственной думой и министерством конфликты, – рассказывает Колчак, – что самым вредным образом отразилось на осуществлении судостроительной программы, в выработке которой я принимал самое активное участие; находя, что при таких условиях продолжать работу в морском Генеральном штабе будет бесполезно, я решил вернуться к научной работе…» Похоже, однако, что при восстановлении хронологии событий память подвела адмирала (цитата взята из протокола допроса в январе 1920 года), а вместе с этим сместились и некоторые акценты.

Взаимоотношения с Думой адмирала С. А. Воеводского, в бытность его как товарищем морского министра, так и (с 8 января 1909 по 18 марта 1911 года) министром, действительно складывались не совсем удачно. Но еще до назначения его министром произошло событие, которое Н.В.Савич, член думской комиссии по государственной обороне, занимавшийся в ней морскими вопросами, характеризовал кратко: «Весною 1908 года Колчак проиграл бой в Гос[ударственной] Думе». Отстаивая тогда просьбу об ассигновании средств на строительство броненосного флота, Александр Васильевич проявил качества, неожиданные и в строевом офицере, и в путешественнике-первопроходце, и в кабинетном ученом: «Говорил он, – свидетельствует адмирал Пилкин, – очень хорошо, всегда с большим знанием дела, всегда думая то, что он говорил, и всегда чувствуя то, что думал… Речей своих не писал, образы и мысли рождались в самом процессе его речи, и потому он никогда не повторялся. Глубокое убеждение и настоящая сила всегда слышались в словах Колчака». Однако и его красноречию не удалось переубедить членов Думы, у которых реальная забота о нуждах военного ведомства (просимые ассигнования были отпущены на усиление сухопутной армии) сочеталась с предубеждением против ведомства морского.

«Комиссия по обороне вынесла [12]определенное и категорическое решение – средства на постройку современного броненосного флота будут даны лишь тогда, когда прекрасные

слова и благие намерения морского генерального штаба воплотятся или, по крайней мере, начнут воплощаться в дело, в действительность, в реальное осуществление реорганизации и реформы ведомства…» – повторяет Савич уже знакомую нам точку зрения. Впечатление от речей Александра Васильевича оставалось сильное («Колчак был страстным защитником скорейшего возрождения флота, он буквально сгорал от нетерпения увидеть начало этого процесса, он вкладывал в создание морской силы всю свою душу, всего себя целиком, был в этом вопросе фанатиком»)… но цели своей они не достигали. И вряд ли будет чрезмерно смелым предположение, что для самолюбивого и преданного делу офицера эта неудача также стала звеном в цепи причин, подтолкнувших его к уходу в море.

В связи с этим правомочен вопрос о взглядах Александра Васильевича на государственное устройство России, на политическую систему, с которой ему, пожалуй, впервые довелось так близко соприкоснуться. В 1920 году он сам даст своим тогдашним настроениям характеристику на первый взгляд достаточно развернутую, но в сущности не очень информативную: «Думаю… что изменившаяся в 1906–1907 году политическая обстановка, в частности, существование Государственной думы, способствовали созданию благоприятной атмосферы для той работы по воссозданию флота и его боевой способности, о которой я в своих показаниях говорил ранее. В общем, лично я никаких политических выводов из неудач Японской войны не делал, но приветствовал создание таких учреждений, как Государственная дума, как способствовавших работе по созданию военного могущества страны. Неудачи японской войны и революция 1905 года не изменили моего отношения ни к монархии, к которой я относился как к существующему факту, не вдаваясь в отношение к ней по существу, и считал себя как военный обязанным выполнять принятую присягу, ни к существующей династии и царствовавшему императору Николаю II. Такое же отношение к монархии, к династии и к Николаю II сохранялось у меня и далее. История с Распутиным глубоко возмущала офицерскую среду и в частности меня, но общее отношение к монархии и династии оставалось и тогда прежнее, т. е. отношение офицера, верного присяге; так было до самой Февральской революции 1917 года; никакого участия в политическом движении какого-либо характера я по-прежнему не принимал».

Следует ли верить тому, что Колчак и вправду «приветствовал» образование Государственной Думы? Ведь первые два созыва ее были явно неспособными к конструктивной

работе и играли в целом разрушительную и антигосударственную роль. Александру Васильевичу довелось сотрудничать с «Третьей Думой» – и именно эти впечатления он сохранил, отнеся их даже к «смутным» 1906–1907 годам. Однако и с этим опытом сотрудничества все не так очевидно, как может показаться. В ком-то из членов комиссии по обороне Колчак, должно быть, почувствовал искренний патриотизм, заботу о «создании военного могущества страны», неприятие бюрократического застоя и косности. Однако далеко не все думские деятели отличались элементарной компетентностью в вопросах, о которых брались судить, а это у Александра Васильевича – разносторонне эрудированного человека и, что бы ни говорили об его «неусидчивости», профессионала высокого класса – должно было вызывать неприязнь. Нельзя забыть и об уязвленности от «проигранного боя», которая для эмоционального Колчака также скорее всего имела немалое значение в его отношении как к отдельным депутатам (его оппонентам), так и к целым политическим течениям и группам. Поэтому, если с рациональной точки зрения Дума могла восприниматься им как союзник в борьбе против министерского ретроградства, то с точки зрения эмоциональной – симпатии Колчака к «российскому парламенту» выглядят весьма сомнительными.

Тех, кто допрашивал адмирала в январе – феврале 1920 года, такие тонкости, впрочем, не интересовали. Не поднимавшиеся выше примитивных ярлыков социалисты требовали ярлыков и от «подследственного» и, по-видимому, даже обвиняли его в стремлении уклониться от определенного ответа: в протоколе записано – «На прямой вопрос, был ли я монархистом по своим убеждениям, отвечаю: да, до Февральской революции 1917 года считал себя монархистом». Об отношении к «старому режиму» Колчак упоминал и будучи Верховным Правителем: 28 ноября 1918 года, выступая перед представителями печати, он сказал: «Я сам был свидетелем того, как гибельно сказался старый режим на России, не сумев в тяжкие дни испытаний дать ей возможность устоять от разгрома». Неся отпечаток «времени и места» – обстановки революционной Сибири, где преобладали, по крайней мере на поверхности, антимонархические настроения, – эти слова, наверное, все же отражают и собственную оценку Колчаком монархии, пусть и сделанную post factum, но приоткрывающую критерии, по которым он судил о государственной власти.

Колчак, по сути дела, упрекает «старый режим» (заметим в скобках, что к 1917 году существенную часть последнего уже составляла Дума, которая здесь, похоже, не подразумевалась) лишь в недостаточной силе, неспособности сохранить порядок

вещей и государственный строй, а если продолжить эту мысль логически, – и в неспособности предотвратить революцию или, после ее начала, успешно противостоять ей. И поэтому колчаковское «думал и думаю, что создание военного могущества страны стоит вне зависимости от политического строя и возможно при всяком государственном правопорядке» лишь с очень большою натяжкой можно представлять как позицию «аполитичного военного профессионала». Говорить о «всяком правопорядке», наверное, допустимо с точки зрения отвлеченной теории, но что касается живого человека Александра Васильевича Колчака – для него, судя по всему, был достоин права на существование отнюдь не «всякий» государственный режим, а лишь отличающийся патриотизмом и достаточною силой, чтобы сделать этот патриотизм действенным и защитить от посягательств как сам себя, так и свою страну.

А с этой принципиальной точки зрения у любого парламентского строя в глазах военного человека больше недостатков, чем преимуществ. В «Службе Генерального Штаба», постулируя недопустимость вручения реальной власти даже в руки военного совета и отстаивая диктаторскую самостоятельность полководца в принятии решений, Колчак с отвращением пишет: «Классический пример австрийского гофкригсрата [13]достаточно всем известен, и тем не менее не далее как в 1911 г. во Франции серьезно обсуждался вопрос об организации высшего командования в виде коллективного органа из случайных представителей правительства, нечто гораздо хуже гофкригсрата, состоявшего все-таки из военных членов». Поэтому любые демократические тенденции должны были таить для него угрозу вторжения в военную сферу – невежественного и бесцеремонного.

Насколько они полезны или вредны в гражданской сфере и в мирное время, Колчак, скорее всего, не задумывался (и в этом смысле действительно был «аполитичен»); об общем же мироощущении его с неожиданной стороны свидетельствует записка о «состоянии нижних чинов в Морском ведомстве», составленная Александром Васильевичем во время службы в Морском Генеральном Штабе. Колчак считал полезным искусственное формирование специального «морского сословия» для наследственной службы нижними чинами во флоте, то есть установления формы военной повинности, чем-то аналогичной той, которая существовала для казачьих войск. В условиях, когда сословная структура общества уже начинала почитаться архаичной, когда в само́м казачестве выделялась собственная «интеллигенция» и даже «революционная демократия», а рядовые

казаки подчас утрачивали сословную психологию служения, когда традиции разрушались на глазах, – симпатии Александра Васильевича оказывались резко консервативными, а по отношению к общему направлению так называемого «прогресса» – прямо реакционными. То же, пожалуй, следует сказать и о столь важной для мыслящего офицера области, как философия войны.

«Война есть одно из неизменных проявлений общественной жизни в широком смысле этого понятия. Подчиняясь, как таковая, законам и нормам, которые управляют сознанием, жизнью и развитием общества, война является одной из наиболее частых форм человеческой деятельности, в которой агенты разрушения и уничтожения переплетаются и сливаются с агентами творчества и развития, с прогрессом, культурой и цивилизацией», – пишет в 1912 году капитан 2-го ранга Колчак; а в 1916 году адмирал Колчак в приказе флоту Черного моря выскажется еще определенней:

«Для нас, которых Родина воспитала для войны и призвала теперь к выполнению долга и обязательств перед Нею, война должна быть желанным временем, лучшим периодом нашей жизни, ее главной целью.

Любовь к войне, к военной деятельности и боевой работе, благородное стремление к подвигу и славе воинской заложены в душе каждого человека, особенно молодого и здорового. Для таких лучших представителей своего народа, которых Родина ставит в ряды защитников и осуществителей своих прав, война дает высокое удовлетворение в сознании исполненного величайшего долга, который может быть у человека, примиряющее со всеми тягостями и лишениями военного времени».

Вряд ли следует интерпретировать настроения Колчака исключительно так, как это делает современный историк: «Естественно, что любая война – это трагедия. Но для Колчака как для военного моряка высочайшего класса это была и возможность проверки в действии всего того, над чем он так усиленно работал в мирное время». Все гораздо сложнее. Подобный «профессиональный эгоизм» – радоваться войне, поскольку на ней можно проверить, как к ней же готовились, – выглядит слишком уж аморально; но и в размышлениях Александра Васильевича звучат чувства, находящиеся за пределами патриотизма, так что тезис «война – наивысшее проявление долга перед Отечеством» тоже раскрывает сущность этих размышлений лишь отчасти. Не случайно (вспомним о взглядах Колчака на сословную структуру общества) он в 1918 году упрекнет «наше офицерство» (предвоенное) именно в том, что оно «было демократизировано и

не имело подобия и тени военного сословия, воинственности, склонности и любви к войне, что совершенно необходимо. Оно было не дисциплинировано и совершенно не воинственно».

Разумеется, «идея войны» и «идея патриотизма» у Колчака в большинстве случаев соседствуют. «Я говорил сегодня в обществе весьма серьезных людей о великой военной идее, – читаем в черновике одного из его писем, – о ее вечном значении, о бессилии идеологии социализма в сравнении с этой вечной истиной, истиной борьбы [14]и вытекающих из нее самопожертвования, презрения к жизни во имя великого дела, о конечной цели жизни – славе военной, ореоле выполненного обязательства и долга перед своей Родиной». Злая ирония судьбы слышится в том, что эти рассуждения датируются августом 1917 года, когда Колчак ощущал себя отверженным, не принятым, вытолкнутым Россией, погружавшейся в безумие революции. А еще четыре месяца спустя он напишет: «Война дает мне силу относиться ко всему “холодно и спокойно”, я верю, что она выше всего происходящего, она выше личности и собственных интересов, в ней лежит долг и обязательство перед Родиной, в ней все надежды на будущее, наконец, в ней единственное моральное удовлетворение. Она дает право с презрением смотреть на всех политиканствующих хулиганов и хулиганствующих политиков, которые так ненавидят войну и все, что с ней связано в виде чести, долга, совести, потому что прежде всего и в основании всего они трусы [15]». И все же его «апология войне» (выражение самого Колчака) выглядит настолько яркой, что слова о служении Отечеству не кажутся уже самыми сильными и важными.

Не случайно поэтому, что боевая обстановка воспринимается Александром Васильевичем как моменты наивысшей полноты жизни, обострения чувств и ощущений, и не случайны строки из его писем любимой женщине: «… Я уже писал Вам и говорил, что я, как ни странно, но во время военной работы вблизи неприятеля или в районе его, вспоминая Вас, переживаю вновь то чувство радости и счастья, точно я нахожусь вблизи Вас. Я понимаю, что это, может быть, нелепо, но, вероятно, я невольно чувствую себя как-то более достойным этого счастья, когда занят войной, когда нахожусь в обстановке военной работы, чем в обычных условиях будничной серой жизни», – и даже: «… Разве не прекрасна война, если она дает такую радость, как поклонение Вам, как мечту о Вас, может быть, даже и несбыточную…» Следует подчеркнуть, что все это написано не пятнадцатилетним гимназистом или кадетом, знающим войну по книжным описаниям и батальным полотнам, а зрелым человеком, обстрелянным офицером,

которому хорошо знакома и будничная «изнанка» боевых действий, в том числе (вспомним порт-артурский опыт Колчака!) на сухопутьи, где война с бытовой точки зрения и по своему более затяжному, монотонному характеру бывает психологически едва ли не тяжелее, чем на море.

Этот идейный милитаризм Колчака нередко связывают с его интересом к восточной культуре и, в частности, самурайской идеологии «бусидо» и «воинствующему буддизму». Однако опубликованные письма (вернее, черновики писем) Александра Васильевича, в которых подробно рассказывается об этом интересе, относятся к рубежу 1917–1918 годов, более ранний же опыт знакомства с восточной культурой он описывает так: «Я еще в первое плавание на восток довольно много читал по этому предмету – литература, особенно японская, очень велика, но надо знать, что́ стоит и что́ не стоит читать. Строго говоря, изучить буддизм можно, зная только китайский язык и древнеиндийские наречия, как и санскрит, что касается до сект, то необходим местный язык секты», – а о ранних лингвистических своих упражнениях отзывается довольно критически: «Я вспомнил свои занятия в первое плавание на Восток буддийской литературой и философскими учениями Китая (заметим, Китая, а не японскими воинскими кодексами. – А.К.), я даже пытался когда-то заниматься китайским языком, чтобы иметь возможность читать подлинники». Конечно, для мыслящего человека (а Колчака трудно к таковым не причислить) иногда бывает достаточно небольшого зерна, а вовсе не углубленного и досконального изучения чего-либо, чтобы развить собственную систему взглядов, – и все же, кажется нам, корни колчаковского милитаризма следует искать не в столь экзотических для европейца областях.

Применительно к европейской мысли подобные взгляды обычно принято именовать «ницшеанством», хотя откровения Фридриха Ницше написаны слишком экзальтированным, «приподнятым» стилем, слишком очевидно рассчитаны на эпатирование читателя, слишком явно принадлежат не области живой практической мысли (Колчак же во всех своих увлечениях прежде всего практик!), а скорее псевдоромантической поэзии, – чтобы рассматриваться здесь всерьез. «Люби́те мир как средство к новой войне, и мир короткий – сильнее, чем мир продолжительный»; «вы утверждаете, что благая цель освящает даже войну? Я же говорю вам: только благо войны освящает всякую цель»; «война и мужество совершили больше великого, чем любовь к ближнему. Не сострадание, а храбрость ваша спасала доныне несчастных»; «так живите жизнью повиновения и

войны! Что толку в долгой жизни! Какой воин захочет пощады!» – декламирует Заратустра у Ницше, но тут же окружает свою патетику услужливыми оговорками, позволяющими увидеть в этой «войне» не более чем метафору: «И если не можете вы быть подвижниками познания, будьте по крайней мере воинами его»; «своего врага должны вы искать, на своей войне сражаться, за свои убеждения»; «да будет труд ваш – борьбой, а мир ваш – победой!»

Прибавим к этому патетический анархизм Ницше («Государством зовется самое холодное из всех чудовищ. Холодно лжет оно; и вот какая ложь выползает из уст его: “Я, государство, я – это народ”», «только там, где кончается государство, начинается человек» и проч.) – и еще сильнее усомнимся в «ницшеанстве» Колчака. Наконец, обратим внимание, что сам Ницше был не более чем кабинетным мыслителем, никогда, насколько известно, не поверявшим свою соблазнительно-воинственную декламацию делом, – и увидим: «война» его относится к чему-то метафизическому, в то время как колчаковская война – сурова и предметна, как часть существования земных государств и их жизненной практики.

Конечно, в отсутствии прямых свидетельств нельзя определенно говорить о каком-либо влиянии в столь таинственной сфере, как этика, философия, мировоззрение. И все же применительно к Колчаку нам кажется правдоподобным одно предположение о таком влиянии – или, по меньшей мере, параллелизме во взглядах на сущность войны и ее роль в жизни человечества и человека.

Наследие уже упоминавшегося на этих страницах фельдмаршала Мольтке Старшего в «межвоенный» (от Японской до Мировой) период привлекало самое пристальное внимание Колчака. Мольтке был единственным (не исключая и знаменитых флотоводцев!), кто удостоился в «Службе Генерального Штаба» специального параграфа, в котором излагалась вкратце и его биография. Изучение Александром Васильевичем трудов германского военачальника нашло шутливое отражение даже в письме Софии Федоровны Колчак мужу: «Подари мне то, что тебе самому нравится, но только не Мольтке, т. к. этот немец мне порядочно надоел одним своим видом… Ну да Бог с ним, когда-нибудь оболью его керосином и подожгу (в случае войны с Германией)…» И стоит обратить внимание, что, помимо прикладных задач, исторических примеров и применения их к практике, наследие фельдмаршала содержит и тот предмет, который сейчас интересует нас больше всего – философию войны.

«Военные поучения» Мольтке (они вышли в русском переводе

в 1913 году, хотя Колчак при желании мог читать их в оригинале – например, по берлинскому изданию 1911 года) начинаются жестоким и лаконичным тезисом: «Вечный мир – это мечта, и даже далеко не прекрасная; война же составляет необходимый элемент в жизни человечества», – а Александр Васильевич в 1917 году процитирует эти слова, причем явно по памяти: «Вечный мир есть сон, и даже не прекрасный…» Прислушаемся же к рассуждениям Мольтке повнимательнее…

«В войне, – пишет фельдмаршал, – проявляются высшие добродетели человека, которые иначе дремлют и гаснут: отвага и самоотречение, верность долгу и готовность жертвовать даже жизнью; боевой опыт остается и закаляет доблесть воина навсегда.

Но, с другой стороны, кто мог бы отрицать, что всякая даже не победоносная война наносит народу чувствительные раны? [16]Ведь ни захват земель, ни какие бы то ни было миллиарды не могут возместить человеческих жизней и утешить семейные горести; война – ремесло сурово-насильственное.

Но кто в этом мире может избегнуть несчастья, кто может не подчиняться роковой необходимости? Разве и то, и другое не являются по промыслу Божьему условиями нашего земного существования? Нужда и горе ведь неотъемлемые элементы земной жизни.

Во что превратилось бы человеческое общество, если бы суровый опыт не заставлял его мыслить и действовать! Не устами Валленштейна, а Максима Пикколомини восклицает великий поэт: “Der Krieg ist schrecklich wie des Himmels Plagen, doch ist er gut, ist ein Geschick wie sie” (Война так же ужасна, как небесные бедствия; но она хороша и, подобно стихийным явлениям, суждена свыше) [17].

Человеколюбивое стремление облегчать страдания, приносимые войною, заслуживает полного уважения. Кто, однако, знает войну, согласится с тем, что она не может быть подведена под теоретическую норму. Уменьшения ее ужасов прежде всего можно ждать при постепенном смягчении нравов, а оттуда [–] гуманности каждой отдельной личности. Таким образом, смягчение нравов несомненно отразится на способах ведения войны: лишь при этих условиях, а не установлением только права войны [18], война будет гуманнее. Всякий закон обусловлен авторитетом, наблюдающим за его исполнением и применением, но такой силы нет, чтобы принудить соблюдать международные соглашения.

… Поэтому гуманность на войне можно ожидать только в связи с высотою религиозного и нравственного воспитания

каждого гражданина в отдельности, при высоких моральных качествах начальников, которые сами для себя создают законы гуманности и поступают согласно им, насколько это допускают ненормальные условия войны, где огромную роль играет индивидуальность. Из истории народов мы видим, что гуманное ведение войны является следствием всеобщего смягчения нравов.

… Величайшим благом войны безусловно является быстрый ее конец; чтобы этого достигнуть, необходимо пользоваться всеми хотя сколько-нибудь терпимыми средствами.

… Можно надеяться, что при постепенном улучшении нравов к военным действиям будут прибегать все реже и реже, но вовсе отказаться от них ни одно государство не может.

Ведь жизнь человека, да и всей вообще природы, представляет собою борьбу вновь нарождающегося с существующим, – и не иначе слагается жизнь отдельных народов. Пока нации живут обособленно, несомненно будут возникать раздоры, которые не могут быть устраняемы иначе как оружием.

Я считаю войну последним, но вполне правомочным средством, чтобы отстоять существование, независимость и честь государства».

Мольтке не отрицает возможности возникновения, так сказать, «произвольных» войн, развязываемых по прихоти политиков и парламентов или требованиям «народных масс» (приводя в качестве примера настроения французского общества накануне Франко-Прусской войны). «Если бы всюду правительства были достаточно сильны, чтобы обуздать страсти народов, рвущихся к войне!.» – восклицает он. Однако и мощная государственная власть, как мы видим, по мнению фельдмаршала неспособна окончательно обеспечить свою страну от военной угрозы и предотвратить приносимые войной бедствия. По сути дела, в своих рассуждениях Мольтке приходит как к пессимистическому выводу о воинственных инстинктах, едва ли не имманентных человеческой природе, так и к почти фаталистической констатации бессилия перед стихийною сущностью войн.

Пожалуй, именно в слове «стихия» и кроется квинтэссенция философии германского теоретика. Войны предстают у него столь же губительными, как ураганы, потопы и другие разрушительные катаклизмы, столь же слепыми и столь же таинственными по своей природе. Человек может и должен смягчать характер военных столкновений (в этом своем рассуждении Мольтке – поистине человек XIX века с его упованиями на «нравственный прогресс», столь безжалостно растоптанными следующим столетием!), но полностью избежать их не способен, как не

способен предотвратить появление смерча. Последствия их ужасны, но «смысл» скрыт от нас тайною Божьего Промысла.

В этом – другая важная черта интересующих нас взглядов. Некоторый позитивизм (та же вера в прогресс, который якобы должен обнаруживаться в области религиозно-нравственной наравне с технической сферою, или рассуждения о борьбе как условии и даже, кажется, форме существования) соседствует у Мольтке с религиозной основой всех его построений, и помимо апелляции к Промыслу в них, очевидно, подразумевается и вера в бессмертие души.

В самом деле, без нее никакая апология войны – царства смерти, эпидемии убийств – немыслима, как, впрочем, немыслимо и какое бы то ни было мировоззрение, кроме панического пессимизма. Философия «умрешь, и из тебя лопух вырастет» представляет существование человечества вопиющей и ужасающе жестокой бессмыслицей, поскольку гуманистические рассуждения о счастьи будущих поколений могут быть для уходящего в вечное небытие индивидуума не более чем слабым и неубедительным утешением. Напротив, твердая вера в посмертную жизнь и более того – в загробное воздаяние может усилить те настроения, которые заставляют преклониться перед добродетелями, по мысли Мольтке «дремлющими и гаснущими» в мирное время, – самоотречением, самопожертвованием, верностью даже до смерти.

Поэтому мы не стали бы, подобно современному историку, делать выводы об утрате Колчаком веры в бессмертие души, основываясь на одной фразе из письма его супруги («… Для меня главное [–] спокойствие духа, той самой души, которую ты берешь на себя смелость отрицать»; к какому высказыванию Александра Васильевича это относится, неизвестно): с такою утратой трудно было бы совместить как колчаковскую апологию войны, так и, скажем, его скептическое отношение к «чистому буддийскому атеизму». Рассказывая (в конце 1917 года) о целях одной из буддийских сект, адмирал характеризует их следующим образом: «укрепление моральной стороны сознания (я умышленно не говорю души [19], – ибо это понятие сектой совершенно отрицается) для борьбы с жизнью», – и отстраненная позиция рассказчика как будто не дает оснований предположить, что он разделяет с восточными философами отрицание «этого понятия».

Для Колчака как человека с достаточно тонкой душевной организацией связанные с войной моральные вопросы должны были иметь немалое значение, и его вдохновенные пассажи, процитированные нами выше, следует считать не

легкомысленною декламацией, а плодами раздумий и жестокого жизненного опыта. Возможно, с этими размышлениями и исканиями Александра Васильевича связан рассказ его сына: «У него были духовники-монахи, и я слышал, как он, будучи командующим Черноморским флотом, навещал одного старца в Георгиевском монастыре в Крыму» (заметим, что Балаклавский Георгиевский мужской монастырь находился в двенадцати верстах от Севастополя – ставки Командующего флотом, и туда нужно было ездить специально).

Итак, если наше предположение о генетическом родстве философии войны по Мольтке и по Колчаку обоснованно, можно лучше представить себе суть последней. Война в ней – не метафизическое ницшеанское понятие с довольно расплывчатым смыслом, а вполне реальное грозное явление, схожее со стихийными бедствиями и наиболее полно воплощающее закон борьбы и страданий, свойственный земной жизни человека. Поэтому бояться войны или стремиться уклониться от нее для военного столь же противоестественно, как бояться морской стихии – для моряка (именно применительно к Александру Васильевичу такая параллель выглядит наиболее подходящей); и только в испытаниях и борьбе с этой стихией человеческий дух способен подняться до своих высших ступеней мужества и самопожертвования. Такие или подобные настроения и могут быть названы «любовью к войне», и неудивительно, что Колчак требовал их от офицерства вообще и сам именно с этим чувством встретил новую войну, которой суждено было получить названия «Великой», «Европейской», «Мировой», «Отечественной»…

Но помимо любой философии, для Колчака в надвигавшихся событиях заключался и намного более конкретный, даже прикладной смысл. «После прелюдии 1905, 1906 гг. было ясно, что спасение России лежит в победоносной войне», – напишет он в 1918-м. По-видимому, Александр Васильевич считал, что с политической точки зрения грядущие катаклизмы стимулируют подъем народного духа, общенациональное сплочение, при котором доблесть и самоотречение найдут подобающее место, а партийное политиканство, замешанное на животном страхе («ведь в основе гуманности, пасифизма, братства рас лежит простейшая животная трусость, страх боли, страдания и смерти»), отсеется, как никуда не годная мякина. Помимо этого, победоносная война означала и устранение или по крайней мере существенное ослабление внешнеполитических противников, которые в борьбе против России могли делать и ставку на ее внутреннее разложение. Эту угрозу Колчак также прекрасно видел и уже в 1912 году предупреждал:

«Государство может, как показывают факты, не только готовиться само к войне и осведомляться о соответствующей деятельности противника, но и вести в определенном смысле подготовку этого противника.

Эта подготовка весьма сложна, но она осуществима, и нет сомнения, что высокоорганизованные государства ведут эту работу. Последняя заключается в создании определенной моральной обстановки, неблагоприятной для военной деятельности. Почва, на которой может быть развита эта деятельность, чрезвычайно обширна, здесь на первом плане стоят различные социальные учения с ярко выраженным противоправительственным, противогосударственным и антимилитаристическим направлением, политические партии, рассматривающие военные вопросы с точки зрения интересов партийной борьбы, а первым средством служит уже упомянутое чисто коммерческое учреждение – печать, вообще всегда покорная капиталу и готовая служить тому, кто больше заплатит.

Имеются совершенно определенные сведения о связи, например, социал-демократических организаций, в некоторых случаях ими самими неясно представляемой, с иностранными государственными организациями тайной полиции, об оплате соседним государствам [20]затрат на предвыборную партийную борьбу тех народных представителей, деятельность которых представляется с рассматриваемой стороны полезною, поддержка стачек и забастовок, особенно железнодорожных, имеющих огромное значение в мобилизационный период, и т. д. Разложение морального элемента и даже его ослабление, если мы вспомним его значение, указываемое стратегией, – слишком серьезная задача, чтобы оставить без внимания средства для его выполнения, которые к тому же всегда стоют гораздо дешевле, чем неудачная или даже затянувшаяся война. Знакомство с моральной обстановкой нашего государства в минувшую войну (Русско-Японская война. – А.К.) достаточно ярко освещает значение этих вопросов и указывает на средства их осуществления, равно как и борьбы с ними».

Похоже, что накануне Великой войны предчувствие какого-то особенного ее значения у Колчака уже было…

Глава 3
На балтийском театре

Встретил эту войну Александр Васильевич по-прежнему на штабной должности, хотя уже на новой. Впрочем, перед этим был и непродолжительный «строевой» период. Сам адмирал, упомянув о трудах по «подготовке флота к войне» в Морском Генеральном Штабе, рассказывает далее: «Выполнив основную работу, я решил перейти на строевую службу и весной 1912 г. по своей просьбе был назначен командиром эскадренного миноносца “Уссурийца”, которым командовал в течение года, а весной 1913 года был приглашен Эссеном на должность флаг-капитана по оперативной части в штабе главнокомандующего Балтийским флотом Эссена; одновременно я командовал эскадренным миноносцем “Пограничник”; это продолжалось в течение года, после чего признаки надвигавшейся войны весной 1914 года заставили адм[ирала] Эссена приказать мне сдать командование и перейти непосредственно в его штаб на [крейсер] “Рюрик”, оставаясь там флаг-капитаном и всецело занимаясь выполнением обязанностей по этой должности». Помимо уточнения дат – когда бы адмирал Н.О.Эссен ни заинтересовался штабными способностями Колчака, назначение последнего на должность начальника оперативного отделения штаба Командующего морскими силами Балтийского моря последовало лишь 9 декабря 1913 года, а в должности флаг-капитана по оперативной части (уже штаба Командующего флотом) он состоял с 1 января 1915-го, – стоит и задуматься о расстановке акцентов в процитированном рассказе Колчака.

Из его слов может сложиться впечатление, что к моменту перехода в строй все возможное в Генеральном Штабе было сделано и серьезной работы там больше не оставалось. Однако в действительности дела шли вовсе не так блестяще, и косвенно признает это сам Колчак, вспоминая: «К моменту войны выработанная в свое время при моем участии судостроительная программа была выполнена только наполовину, благодаря, с одной стороны, характеру деятельности министра Воеводского, а с другой стороны [–] старой бюрократической волоките, тогда вообще господствовавшей». На Воеводского Александр Васильевич нападает как бы по инерции – с 19 марта 1911 года министром был уже адмирал И. К. Григорович, так что служба Колчака в Петербурге после возвращения с Дальнего Востока протекала уже под его началом, а оправдывать тяжелым наследством предыдущего министра недостатки, не устраненные

за три с лишним года, вряд ли справедливо; недостатки же эти красноречиво характеризовал сослуживец Колчака Тимирев:

«Я нисколько не сомневался и даже знал, что в Морском Генеральном Штабе план войны с Германией был подробно разработан и был детально известен командовавшему тогда Балтийским флотом адмиралу Эссену и его Штабу; но какая цена была этому плану, раз базы оставались неподготовленными, материального снабжения было недостаточно и, наконец, не была закончена постройкой главная сила Балтийского флота – его дредноуты; в составе Минной Дивизии существовал только один серьезный истребитель “Новик” [21], а мореходные подводные лодки имелись лишь в проекте… Балтийский флот, может быть, избег разгрома исключительно благодаря смелой решительности адмирала Эссена, взявшего на свою ответственность еще до официального объявления войны (но когда уже для всех была очевидна ее неизбежность) отдачу распоряжения о постановке грандиозного минного заграждения при входе в Финский залив».

Колчак рассказывал, что после распоряжения Эссена о спешной подготовке «к выполнению ранее выработанного нами плана ближайших военных операций Балтийского флота» ввиду неминуемого и скорого начала войны решение о постановке заграждений, не дожидаясь приказа из Петербурга, было принято по его, Колчака, инициативе. Вообще вопрос о соотношении ролей командующего и его штаба или влияний кого-либо из штабных офицеров слишком сложен и в большинстве конкретных случаев, наверное, просто неразрешим для историков; но применительно к ситуации лета 1914 года на Балтике можно поверить, что голос Колчака действительно был отдан за немедленную постановку мин (а уж отстаивать свое мнение он, как мы знаем, умел горячо и убедительно). В самом деле, на основании анализа европейской обстановки Александр Васильевич и его единомышленники в Морском Генеральном Штабе прогнозировали скорое начало войны (в качестве вероятного срока еще за пять-шесть лет до этого называя 1915 год); с другой стороны, слабости русской морской обороны должны были быть прекрасно известны Колчаку. Отсюда следовали как трезвая оценка очередного европейского кризиса, так и стремление максимально обезопасить свои берега, главную базу и столицу от нападения в первые дни войны. (Адмирал Смирнов писал впоследствии: «С началом мобилизации был успешно выполнен план загражденья выхода из Финского залива минами – между островом Наргэн и мысом Паркалауд было поставлено восемь линий, состоявших из 6000 мин. Благодаря этим минам неприятельский флот, несмотря на подавляющее

превосходство сил над нами, в течение всей войны ни разу не пытался форсировать вход в Финский залив».)

Можно предположить, что именно неполная реализованность планов обороны на Балтике, а вовсе не завершение «основной работы» в этом направлении, и повлекла переход Колчака на строевую должность в 1912 году. Здесь можно вновь увидеть его порывистый характер, нелюбовь к рутинной (тем более – не очень-то благодарной) работе или даже отступление перед трудностями. Однако не следует забывать, что уходил Александр Васильевич не «куда-то», и даже не в свою любимую Арктику, в относительно безопасные плавания тех же «Таймыра» и «Вайгача», а на миноносец Балтийского флота – того самого, состояние которого таким безрадостным тоном описывает Тимирев. Уже не имея возможности с капитанского мостика «Уссурийца» влиять на общие планы борьбы, Колчак фактически переводил себя в число не только подчиненных – исполнителей чужих приказов, но и, возможно, первых жертв грядущей войны, в неизбежности которой он был так твердо уверен.

Сложно сказать, удовлетворила ли его новая роль (хочется сказать, что вряд ли, и однообразная строевая «лямка» скорее всего была не по нему) и насколько желание Эссена перевести Колчака в свой штаб встретило отклик. Репутация Командующего, впрочем, была такова, что офицеру, разочарованному в службе в Генеральном Штабе, он должен был импонировать как нельзя больше.

«При всех своих достоинствах адмирал Эссен был прежде всего человеком “живого” дела и не терпел кабинетной работы и канцелярщины, – вспоминает адмирал Тимирев. – Не совсем правильно он отождествлял всякую штабную работу с “канцелярщиной”, почему и терпел ее лишь как неизбежное зло. Естественно, что он подбирал и ближайших сотрудников, проникнутых таким же взглядом на вещи, если же и оказывались люди другого направления, то они в большинстве случаев очень быстро заражались общим духом». Это, разумеется, вполне соответствовало темпераменту Колчака, и к Эссену он относился, кажется, с таким же пиететом, как десятью годами ранее – к Макарову. Но для работы штаба это имело не всегда благоприятные последствия, и если в целом Тимирев характеризует ее как «бессистемную, нервную, несогласованную», то на взаимоотношениях Колчака с его непосредственным начальником – возглавлявшим штаб адмиралом Л.Б.Кербером – он даже находит нужным остановиться специально:

«… А.В.Колчак, обладавший изумительной способностью составлять самые неожиданные и всегда остроумные, а подчас и

гениальные планы операций, – не признавал никакого начальника, кроме Эссена, которому он всегда непосредственно докладывал. На этой почве у Колчака с Кербером всегда выходили конфликты, причем Эссен, уважавший и ценивший их, пожалуй, одинаково, совершенно неожиданно оказывался в роли примирителя обоих своих горячих и неуступчивых помощников.

При таких-то ненормальных условиях протекала многотрудная работа Штаба».

Между прочим, этим свидетельством в значительной степени обесцениваются рассуждения современных историков, стремящихся «поставить на место» Колчака указаниями на формальное распределение должностей. Оспаривая утверждения, согласно которым Александр Васильевич в первые годы войны был «мозгом и душой боевых действий на Балтике», они настаивают: «Мы ни в коей мере не пытаемся умалить роль А.В.Колчака как генератора оригинальных, а порой дерзких оперативных идей, некоторые из которых легли в основу замыслов и решений на операции и боевые действия Балтийского флота в кампаниях 1914 и 1915 годов. Однако отметим, что флаг-капитан по оперативной части (современный аналог – начальник оперативного управления штаба флота) в соответствии со своими функциональными обязанностями не принимал решений на применение сил флота и не управлял ими. Управление силами, в том числе в ходе минно-заградительных действий в южной части моря в первые месяцы войны, успех которых принято полагать заслугой А.В.Колчака, являлось естественной прерогативой командующего флотом адмирала Н.О. фон Эссена». Уходя от обсуждения по-настоящему серьезной проблемы об относительном вкладе различных чинов штаба в разработку планов боевых действий, авторы подменяют ее указанием на «функциональные обязанности», которые, как мы видим, на практике далеко не ограничивали деятельность столь инициативного и темпераментного человека, как Колчак.

Признавать ли отношения внутри штаба адмирала Эссена нормальными или ненормальными (конечно, второе, более того – сложившаяся ситуация противоречила теоретическим взглядам самого Колчака на обезличенность штабной работы), но они обеспечивали Александру Васильевичу возможность весьма активного вмешательства в различные стороны управления флотом, а при том, что круг морских офицеров был все-таки довольно ограниченным, – очевидно, способствовали приобретению Колчаком авторитета и популярности у тех, кто, подобно ему, был сторонником решительных и дерзких способов борьбы. И потому, даже признавая несомненную

преувеличенность восторженных строк адмирала Смирнова – «Можно сказать, что история деятельности Колчака в Балтийском море есть история этого флота во время войны. Каждое боевое предприятие совершалось по планам, им разработанным, в каждую операцию он вкладывал свою душу, каждый офицер и матрос понимал, что его ведет Колчак к успехам», – следует не удивляться этой характеристике, а задуматься о тайнах человеческих взаимоотношений и влияний, которые далеко не всегда находят отражение в должностных расстановках или иных документах.

Не более страшным оказывается и следующее «разоблачение», сделанное критиками «легенды о Колчаке». «… В знаменитой “новогодней” (13–14 января 1915 г. [22]) постановке [мин] в юго-западной Балтике А.В.Колчак не командовал отрядом крейсеров… а входил в состав походного штаба контр-адмирала В.А.Канина (флаг на крейсере “Россия”), который управлял участвовавшими в операции силами». На самом деле того факта, что Колчак в этой операции занимал подчиненное положение, не отрицает и панегирист Александра Васильевича адмирал Смирнов, – причина же восхищения действиями Колчака заключается в той роли, которую он сыграл опять-таки вопреки должностной расстановке.

«… В ночь на Новый Год (1915) старый тихоходный крейсер “Россия”, имея на палубе большое количество мин загражденья, должен был поставить их западнее острова Борнхольм на подходах к Килю, – рассказывает Смирнов. – На крейсере держал флаг адмирал – начальник отряда минных заградителей, на ответственности которого было выполнение операции. Колчак тоже находился на крейсере. Вечером он лег спать, приказав разбудить себя, когда крейсер будет подходить к месту постановки мин. Не доходя около 50 миль до назначенного места, адмирал получил доклад, что радиотелеграфисты слышат усиленные радио-переговоры между неприятельскими кораблями, которые находятся очень близко от “России”. Адмирал решил, что идти дальше чрезмерно рискованно, отменил операцию, и крейсер лег на обратный курс. Один из офицеров доложил об этом Колчаку. Он немедленно взбежал на командный мостик, убедил адмирала во что бы то ни стало продолжать выполнение операции, хотя бы ценой собственной гибели. Адмирал согласился и приказал повернуть на прежний курс. Около полуночи мины были поставлены точно по плану, и крейсер “Россия” затем благополучно вернулся в Финский залив, разойдясь ночью с неприятельскими кораблями».

Смирнов не стал называть фамилию адмирала Канина, быть

может, не желая бросить какую бы то ни было тень на его репутацию (Канин умер в Марселе за несколько лет до выхода в свет книги Смирнова «Адмирал Колчак»). Однако имена обоих «действующих лиц» новогодней постановки были, конечно, хорошо известны всем морякам, а контраст между азартным и мужественным Колчаком и умеренным до бесцветности Каниным был настолько велик, что породил легенду об этом походе.

«Начальник отряда решает повернуть назад, вот уже корабли покатились на обратный курс, – писал в 1930 году адмирал М.А.Кедров. – Проснувшийся Колчак срывается со своего кресла: “Куда? А выполнение задания? Именем командующего флотом предлагаю вам сдать мне командование отрядом, если вы считаете операцию уже невыполнимой”. И разгневанный начальник оперативной части бросает на штурманский стол имевшееся у него предписание командующего флотом».

Эту легенду решительно оспаривал адмирал Пилкин: «Все, кто только знал пылкого, но благородного командующего флотом адмирала Н.О.Эссена, никогда не поверят, что он мог, поручая ответственному начальнику выполнение какой-нибудь операции, приставить к нему своего рода комиссара с секретными полномочиями в случае чего его сменить. Не мог и рыцарски благородный, прямой и честный А.В.Колчак принять на себя роль тайного соглядатая… Наконец, сам В.А.Канин! Если бы описанная в статье М.А.Кедрова сцена действительно бы имела место, неужели же В.А.Канин, убедившись, что командующий флотом совершенно ему не доверяет, мог бы продолжать служить под начальством Н.О.Эссена до самой его кончины». Приводя укоризненную фразу Колчака: «Ваше Превосходительство, ведь мы почти у цели» («этого скромного указания было достаточно для Канина») и благодарность адмирала («Благодаря Вам, Александр Васильевич, – сказал Канин в присутствии офицеров, собравшихся в самый Новый год после постановки мин, – мы исполнили свой долг до конца»), Пилкин подчеркивал:

«Честь и слава Колчаку, но честь и слава [и] Канину, нашедшему в себе мужество перед всеми признать заслугу своего подчиненного. Действительно, только благодаря скромному напоминанию Колчака операция была закончена благополучно и долг исполнен до конца. Колчак помог Канину вовремя сказанными убедительными словами. Вся якобы эффектная, но никогда не имевшая места безобразная, грубая, глубоко недисциплинированная сцена, описание которой появилось в русских газетах, когда молодой капитан I ранга грозит своему начальнику, адмиралу, сменить его, сцена компрометантная для духа и нравов нашего флота, явно выдуманная, давно

опровергнута свидетелями. Доблесть Колчака не нуждалась в рекламе».

Добавив, что Александр Васильевич все же не отличался кротостью и, даже не угрожая Канину смещением, – после этого выглядели бы невозможными их дальнейшая совместная служба и взаимно-доброжелательные отношения, – мог не удержаться в рамках «скромного указания», обратим внимание еще на два обстоятельства. Качества адмирала Канина, скорее всего, были хорошо известны (Тимирев, стараясь относиться к нему с максимальной объективностью, может из положительных свойств адмирала назвать лишь «здравый смысл, служебный опыт, технические знания и хозяйственные способности»); и поэтому капитан 1-го ранга Колчак в этом походе мог оказаться на «России» хотя и не в качестве «соглядатая» или «комиссара с секретными полномочиями», но все же вследствие скрытого желания Эссена «подкрепить» мягкого Канина волевым Колчаком.

Другое обстоятельство относится к разряду бытовых, но не становится от этого менее красноречивым. «Колчак, который отсыпался на походе от бессонных ночей…» – пишет Пилкин, заставляя задуматься, какова же была его служба в штабе адмирала Эссена, если боевая операция, помимо всего прочего, давала возможность… немного отдохнуть?

И уже никто не может оспаривать у Александра Васильевича лавров февральской операции по постановке минного заграждения в Данцигской бухте – снова под самым носом у противника! – где он официально командовал «полудивизионом особого назначения». Тогда один из крейсеров прикрытия «перескочил через камни севернее острова Готланд», получив пробоину в днище; возглавлявший бригаду крейсеров адмирал М.К.Бахирев отдал приказ возвращаться, и Эссен также склонялся к такому решению. «“Операция отменяется”, – было радио Эссена Колчаку, бывшему уже на параллели Ирбенского пролива и в снежную пургу, во льдах идущему с миноносцами к Данцигу. “В особо благоприятных условиях погоды, – телеграфировал Колчак, – прошу разрешения операцию продолжать”. Было разрешено».

Итак, разработку операций Александр Васильевич стремился сочетать с непосредственным участием в боевых действиях, что должно было импонировать Командующему флотом, который и сам не любил засиживаться на базе в Гельсингфорсе. «Примеру Эссена следовал и Колчак, – свидетельствует адмирал Тимирев, – непоседливой натуре которого претила спокойная штабная жизнь: он пользовался каждым намеком на “авантюру”, чтобы хоть на несколько дней уехать из Гельсингфорса». А авантюр хватало: эти

первые военные осень и зима оказались необыкновенно плодотворными, несмотря на состояние, в котором Балтийский флот встретил войну (а может быть, достижения и выглядели еще эффектнее именно на фоне такой картины). Пилкин вспоминал: «Немцы не хотели верить, что русские моряки на старых калошах – судах, принимавших участие еще в Японской войне, современники которых у немцев давно уже стояли блокшивами в их портах, если не были разобраны, осмеливались в зимние ночи, пробиваясь через лед, выходить в море и под самыми неприятельскими берегами, на немецких путях сообщения ставить мины, на которых один за другим взрывались суда неприятеля».

Мы уже знаем, что опыт второй в его жизни войны не изменил взглядов Колчака на сущность вооруженных столкновений народов; а отразились ли на этих взглядах новые условия и новые изобретения, накладывающие отпечаток на всю картину боевых действий?

Один пассаж из черновика колчаковского письма, датируемого мартом 1917 года, позволяет подумать, что некоторые негативные впечатления от военных новшеств у Александра Васильевича все-таки были. «Подлодки и аэропланы портят всю поэзию войны; я читал сегодня историю англо-голландских войн – какое очарование была тогда война на море. Неприятельские флоты держались сутками в виду один другого, прежде чем вступали в бои, продолжавшиеся 2–3 суток с перерывами для отдыха и исправления повреждений. Хорошо было тогда. А теперь: стрелять приходится во что-то невидимое, такая же невидимая подлодка при первой оплошности взорвет корабль, сама зачастую не видя и не зная результатов, летает какая-то гадость, в которую почти невозможно попасть. Ничего для души нет. Покойный Адриан Иванович (адмирал А.И.Непенин. – А.К.) говорил про авиацию: “одно беспокойство, а толку никакого”. И это верно: современная морская война сводится к какому-то сплошному беспокойству и предусмотрительности, т. к. противники ловят друг друга на внезапности, неожиданности и т. п.». Основываясь на этих рассуждениях, можно увидеть в Александре Васильевиче чуть ли не ворчливого поклонника старины или разочарованного романтика «века паруса»; но не будем столь буквально понимать слова Колчака.

В его сетованиях есть некоторая доля иронии, юмора, наигранности, скрытая усмешка, потому что, каким бы «бестолковым беспокойством» ни представлялись разрушавшие поэзию аэропланы и подводные лодки, сами эти изобретения

были так занимательны и предлагали живым и непоседливым так много интересного! Вряд ли случайно перед началом войны Александр Васильевич находился не где-нибудь, а «на отряде подводного плавания в Балтийском порту», во время же боевых действий, когда не было возможности устроить очередную «авантюру», с удовольствием пробовал себя в роли летчика-наблюдателя. Одна из таких воздушных прогулок чуть было не привела к трагическим последствиям: «Как-то он полетел вместе с летчиком, – вспоминает Тимирев, – для испытания новой бомбы, которую надлежало сбросить на опытном поле за городом (Гельсингфорсом. – А.К.). Однако предварительно они еще покрутились над городом, и здесь, уж не помню, по чьей вине, бомба сорвалась и упала в чей-то огород, взрывом перепугав до полусмерти окружающее население; жертв, по счастию, не было. Колчак был чрезвычайно сконфужен, так как легкомыслие, в сущности, было вопиющее; историю кое-как замяли». Игра с оружием действительно была не из тех, что делают честь взрослому человеку… и все же – не тогда ли подсмотрела внимательная наблюдательница у Александра Васильевича улыбку, свойственную ему «на другой день после какого-нибудь сверхъестественного номера» – «довольную и чуть-чуть сконфуженную»?

С другой стороны, существует и рассказ об этом же происшествии, из которого следует, что произошло не озорство, а опасная для жизни летчиков авария («проба не удалась, бомба повисла на шнуре»), и вряд ли следует безоговорочно считать случившееся плодом «легкомыслия». Интерес к авиации вообще, по-видимому, не раз ставил жизнь Колчака под угрозу: «Другой раз, – рассказывает современник, – Колчак улетел на рекогносцировку, у летчика не хватило бензина, и флаг-капитан очутился за тридевять земель на каком-то необитаемом острове; пришлось добираться по способности до места своей службы». И за скромным «добираться по способности» можно увидеть настоящий подвиг или очередное рискованное приключение, которыми вообще была столь богата биография Александра Васильевича…

Скоропостижная и безвременная смерть адмирала Эссена от воспаления легких 7 мая 1915 года, казалось, еще больше развязывала Колчаку руки, поскольку новым Командующим флотом был назначен никто иной, как Канин, – человек, вполне подверженный влиянию Александра Васильевича. Со стороны даже казалось, будто «оживление в работу Штаба вносили Колчак и Непенин (начальник службы связи Балтийского флота. – А.К.), которые действовали теперь уже почти самостоятельно: Канин

относился к ним с безграничным доверием и уважением, как к “высшим существам”», – хотя здесь, наверное, и есть некоторое преувеличение. И все же Колчаку явно становится тесно в штабе…

Когда ввиду травмы адмирала П.Л.Трухачева временно освободилась должность начальника Минной дивизии, ее доверили именно Александру Васильевичу, и тот наверняка не мог этому не обрадоваться. «Колчак неоднократно говорил своим друзьям, – вспоминает Тимирев, – что венцом его желаний всегда было получить в командование Минную Дивизию: он чувствовал, что там он будет на месте, и о большем не мечтал». Сложно сказать, мог ли недавний «мичман Нельсон» действительно ограничивать свои мечты таким заманчивым, но все же невысоким постом; однако по сравнению с работой в штабе Канина новое назначение, видимо, было глотком свежего воздуха. Вступив в исполнение обязанностей 10 сентября, Александр Васильевич сразу же обратил внимание на координацию действий с сухопутным командованием – генералом Р.Д.Радко-Дмитриевым. Здесь следует подчеркнуть широту мышления Колчака-генштабиста, которому увлечение лихими действиями миноносцев не помешало поддерживать взаимодействие с сухопутным фронтом. Учитывая, что отдельные критики даже тогдашнюю армию упрекали в том, что, скажем, «артиллеристы считали себя как бы мастерами пушкарского цеха, обособленного от войск, и свою артиллерийскую тактику мыслили вне всякой связи с общевойсковой», – такое взаимодействие корпоративно отграниченных друг от друга сухопутных и морских офицеров безусловно делало честь командованию и той, и другой стороны.

Не Колчак положил начало этому сотрудничеству, – или, вернее сказать, на строевой должности командующего дивизией он лишь включился в исполнение этих задач, которые вряд ли мог игнорировать, еще работая в штабе. Но в сложившуюся атмосферу он решительно внес дух инициативы и боевой активности, беспокоившей не только бесцветного Канина, но и волевого Непенина. Предложенная Александром Васильевичем десантная операция против упиравшегося в море левого фланга немцев казалась чрезмерно опасной – командование было против нее, «справедливо полагая, что, не дав существенных результатов, она может спровоцировать новое наступление немецкого флота на Рижский залив»… «но Колчаку слишком не по душе было вынужденное бездействие, и он настоял на своем». Высадке в ночь на 9 октября у мыса Домеснес двух рот, драгунского эскадрона и подрывной команды не следует приписывать слишком уж большого значения, но она продемонстрировала возможность

подобных операций более крупными силами и произвела на противника необходимое впечатление, заставив его с беспокойством смотреть в сторону Рижского залива (подошедшие немецкие силы были разбиты почти без потерь для десанта, который после этого погрузился на корабли и ушел обратно в море).

Более серьезную помощь оказали сухопутному фронту корабли Колчака в течение следующих недель, в тяжелой ситуации поддерживая его огнем своей артиллерии, имевшим поистине губительный характер. «Стрельба блестяща, все бежит, переносите огонь на заградительный, дороги залиты кровью», – эта телефонограмма командующего правофланговым отрядом приводилась мемуаристом-эмигрантом уже по памяти и вряд ли отличается текстуальной точностью, но общее настроение тех минут она должна передавать. «В конце концов за целый ряд подвигов, которые трудно было подвести под какие-либо статуты, Колчак по Высочайшему повелению, помимо Георгиевской Думы, был награжден орденом Св[ятого] Георгия», – пишет адмирал Тимирев, – и, по-видимому, действительно правильнее не связывать эту награду с какой-то одной операцией, а считать ее признанием заслуг Александра Васильевича за весь период осеннего возглавления Минной дивизии (заметим, что распоряжение Императора было сделано по докладу армейского командования, а не морского начальства Колчака).

Возвращение Колчака на штабную работу, последовавшее за выздоровлением адмирала Трухачева, оказалось непродолжительным: уже в декабре Трухачев получил новое назначение, и 19 декабря 1915 года Александр Васильевич вновь принял Минную дивизию – уже «действительным командиром», а не «исполняющим должность». «Редкое назначение приветствовалось столь единодушно всем флотом и даже обществом (морским, конечно), как назначение Колчака на Минную Дивизию. И надо сказать, что он вполне оправдал те надежды, которые на него возлагались: никогда миноносцы не работали так интенсивно и успешно, как при нем», – пишет Тимирев, вообще окружающий Колчака – командующего дивизией ореолом какого-то бога войны: «Он был создан для службы на миноносцах, это была его стихия… Его оперативные замыслы, связанные с миноносцами, всегда были неожиданны, смелы и рискованны, но в то же время ему всегда сопутствовало счастье; однако это не было слепое счастье, а своего рода предвидение, основанное на охотничьей верности глаза и привычке к успеху. Его молниеносные налеты на неприятельские транспорты в шведских водах, атаки на неприятельские миноносцы, самые

смелые постановки мин под носом немцев можно было сравнить с лихими кавалерийскими набегами или атаками».

Темперамент Колчака был действительно «кавалерийским» – чего стоит хотя бы рассказ о том, как весной 1916 года он «проклинал лед», мешавший кораблям пройти в Рижский залив, а подчиненные собирались нарисовать шуточную картину: командующий дивизией бьет кулаком по льдине, «чтоб скорее таяла»; и все же написанные в таком тоне воспоминания как будто специально напрашиваются на обвинения в идеализации. Следует признать, что боевая работа Александра Васильевича во главе Минной дивизии и вправду далеко не всегда оценивалась столь же высоко. В частности, полным провалом Колчака иногда считают нападение на германский караван торговых судов у берегов Швеции ночью с 31 мая на 1 июня 1916 года – тот самый «молниеносный налет», который восхищал Тимирева.

Нейтральная Швеция на деле сочувствовала Германии, что находило отражение и в ее морской политике. «… Следуя шведскими береговыми водами, – вспоминал современник, – суда (немецкие транспорты. – А.К.) из глубины Ботнического залива до Готланда могли спускаться той полосой моря, где русские суда не имели права производить каких-либо операций. Да и немецкие военные суда не стеснялись, когда это было им удобно, двигаться территориальными водами Швеции». Добавим к этому прямые поставки шведами немцам железной руды, необходимой для военной промышленности, – и неудивительным окажется, что после получения по дипломатическим каналам разведывательных данных о предстоявшем движении каравана судов с рудой русское командование приняло решение об их «захвате или уничтожении». Командовать операцией должен был адмирал Трухачев, а Колчаку предстояло руководить действиями трех эскадренных миноносцев («Новик», «Победитель» и «Гром»).

В описании событий, разыгравшихся 31 мая, адмирал Тимирев расточает неумеренные восторги, приписывая Колчаку потопление «5 судов (из них два вспомогательных крейсера)», что не подтверждается германскими источниками (хотя шведская пресса как будто сообщала о чем-то подобном); отметим и сдержанность самого Александра Васильевича, который упоминал впоследствии лишь «экспедицию к шведским берегам для нападения на германский караван, кончившуюся затоплением вспомогательного крейсера противника». Сдержан и панегирист Колчака адмирал Смирнов: «… Рассеял пароходы и потопил одно из конвоирующих судов». Сегодняшние же историки выносят Колчаку-флотоводцу очередной приговор, с запозданием предписывая ему отсечь караван, недавно вышедший из

Стокгольма, от шведских вод (что не было сделано) и упрекая командующего эсминцами в преждевременном «предупредительном выстреле впереди по курсу концевого судна», чем атака была лишена внезапности, а транспорты с рудой получили возможность «без потерь отойти в территориальные воды нейтрального королевства». После начала стычки Колчак, вдогонку обстреляв уходившие к берегу транспорты, которые выставили дымовую завесу, вступил в бой с конвоем, результатом чего и стало потопление одного из кораблей прикрытия (этот вооруженный пароход был принят за отставший транспорт).

Теоретическое «переигрывание» на географической карте былых сражений, впрочем, не представляется нам достаточно плодотворным методом; в перечне же возможных причин тех ошибок, которые допустил Колчак, помимо «недостатка боевого опыта» и даже «нежелания делить лавры победителя» с Трухачевым, казалось бы, следовало обратить внимание на еще одну, прямо указанную теми же авторами, – «опасение атаковать нейтральных шведов» – и непосредственную близость чужих территориальных вод (последнее обстоятельство упоминает в качестве фактора, усложнявшего обстановку, и адмирал Тимирев, хотя одновременно делает и весьма спорное утверждение о «темноте ночи» – на тех широтах майские ночи вовсе не так уж темны). И действительно, Александр Васильевич позднее признавался: «… Я, имея в виду возможность встречи со шведскими судами… решил пожертвовать выгодой внезапности нападения и вызвать со стороны идущих судов какой-нибудь поступок, который дал бы мне право считать эти суда неприятельскими».

Если именно здесь искать причину, почему Колчак не захотел обходить караван со стороны чужой морской границы и вместо этого попытался выстрелом остановить его для досмотра (кстати, задавался ли кто-нибудь вопросом, можно ли было изначально полностью доверять разведывательным данным, на основании которых была предпринята операция?), а затем не бросился вдогонку к шведскому берегу, – то следует предположить, что в этой операции Колчак-генштабист явно возобладал над Колчаком – любителем «авантюр» и «кавалерийских набегов» своих миноносцев.

«Кроме Германии, мы имеем на Балтийском море исторического векового врага – Швецию, – писал он еще в 1908 году. – В силу естественных последствий обладания морем политика Швеции в настоящее время подчинена политике Германии, и ее вооруженные морские силы, специализированные

для действия в шкерных районах Балтийского бассейна, явятся грозным резервом германского флота, представляя уже теперь сами по себе силу, которую мы при нашем бессилии не можем игнорировать». Таким образом, Колчак должен был считать выступление Швеции на стороне Германии достаточно вероятным, а последствия его – достаточно тяжелыми: помимо упомянутых факторов морской войны, чего стоило бы одно только увеличение протяженности сухопутного фронта на всю длину границы Великого Княжества Финляндского, где недовольство русским владычеством имело давние традиции и немалую силу!

Впрочем, проявил ли Колчак осторожность, вообще-то мало ему свойственную, или действительно, заторопившись, стал делать оплошность за оплошностью, – впечатления от операции 31 мая должны были быстро потускнеть в свете новых событий – неожиданного и, кажется, даже нежеланного назначения. Ведь он, совсем недавно (10 апреля 1916 года) произведенный в контр-адмиралы, был вполне доволен развитием своей карьеры и занимаемой должностью, к тому же захвачен мыслями об очередной «авантюре»: «по инициативе Колчака было приступлено в нашем Штабе к разработке плана новой крупной десантной операции в тылу германских позиций в Рижском заливе». Заметим, что если полугодом раньше Колчак рвался от штабной работы к непосредственному участию в боях, то теперь ему мало было лично предпринимать «авантюры», и он в каком-то смысле вторгался в сферу деятельности адмирала Непенина, к которому, по воспоминаниям Тимирева, при Командующем флотом Канине перешла «фактически вся оперативная часть».

Непенин отнюдь не относился к числу безоглядных поклонников колчаковских «авантюр» и порой даже оппонировал его идеям в тоне далеко не служебном: «… Ты опять задумал какую-то операцию… Крови захотелось? Так я пришлю тебе барана, зарежь его на шканцах». Непенин, вообще грубоватый до нарочитости и часто несправедливый к сослуживцам и подчиненным, здесь, конечно, перегибает палку: объяснять боевой темперамент Колчака «кровожадностью» вряд ли допустимо. В то же время определенная жестокость в его характере, по-видимому, присутствовала, или, вернее, – он принимал жестокий характер войны как данность, как раз и навсегда установленные правила и законы. «… Из песни слова не выкинешь, и Колчак не поднял, после потопления неприятеля, плававших и цеплявшихся за его миноносец немцев, – рассказывает Пилкин. – “Crime de guerre” [23]? Правда, была опасность от подводных лодок, и надо было скорей уходить»

(тогда все-таки подняли из воды нескольких германских моряков, после чего Колчак получил сообщение от начальства о присутствии «в этом районе» вражеской подводной лодки, а возможно, и надводных кораблей). Но чем бы ни руководствовался летом 1916 года молодой адмирал, – предстоявший десант обещал быть по-настоящему интересной и масштабною операцией… как вдруг неожиданное известие из Ставки Верховного Главнокомандующего спутало все карты.

«Мы сидели за столиком и мирно беседовали, – вспоминает адмирал Тимирев вечер в ревельском Морском собрании в конце июня 1916 года, – когда вдруг появился флаг-офицер Колчака и передал ему записку. Колчак прочел и извинился, что его экстренно вызывает Командующий Флотом. Он еще добавил: “странно, кажется, мы с ним обо всем договорились”… После его ухода вскоре пришел Непенин, который ненадолго куда-то отлучался. Он сообщил, что только что получена телеграмма прямым проводом из Ставки о назначении Колчака Командующим Черноморским Флотом с производством в вице-адмиралы; Начальником же Минной Дивизии назначался Кедров (командир “Гангута”) с производством в контр-адмиралы. Мы все были как громом поражены – так неожиданно для всех нас было подобное назначение. Через некоторое время появился Колчак и без особой радости в голосе, наоборот, скорее мрачно подтвердил справедливость сообщенного Непениным. Наши поздравления Колчака, естественно, более походили на соболезнования. В последующем разговоре Колчак высказал, что ему особенно тяжело и больно покидать Балтику в такое серьезное и ответственное время, когда на Северном Фронте идет наступление, тем более что новая его служба представляется ему совершенно чуждой и слишком трудной вследствие полного его незнакомства с боевой обстановкой на Черном море».

Александр Васильевич был незнаком не только с обстановкой, но и с самим этим театром военных действий. Он никогда не плавал на Черном море, не имел, насколько известно, друзей, которые бы там служили, и вряд ли когда-либо проявлял к южному морскому театру повышенный интерес: до войны Колчак, как мы помним, писал о нем в тоне едва ли не пренебрежительном. Главный прогноз Александра Васильевича, правда, не подтвердился – если в 1908 году можно было полагать, что «непосредственно на Черном море мы не имеем противника, с которым в настоящее время приходилось бы серьезно считаться», то после прорыва к Константинополю из Средиземного моря германских быстроходных крейсеров «Гебен» и «Бреслау» в августе 1914 года ситуация резко изменилась. Осуществивший

этот прорыв немецкий адмирал В.Сушон принял командование над объединенными германо-турецкими силами на Черном море (формально «Гебен» и «Бреслау» были проданы туркам и изменили названия на турецкие) и, начав 16 октября боевые действия против России, развил немалую активность, обстреливая русские берега, выставляя минные заграждения, действуя на коммуникациях. Русское морское командование, впрочем, быстро перехватило инициативу и к началу 1916 года фактически контролировало черноморский театр… и все же враг там еще оставался, и это был сильный и опасный враг.

В принципе, Колчак как будто предвидел усиление врагов России на Черном море, когда писал, что серьезный противник «мог бы появиться там, приведя свои вооруженные силы с других морей, где противопоставление соответствующей силы могло бы остановить его намерения» (стратегическим же противником России он, как мы знаем, уже давно считал Германию). При таком подходе течение войны на южных морских рубежах Александр Васильевич должен был связывать с неполной реализацией судостроительной программы для Балтийского флота, которую он так увлеченно и, в общем-то, не очень успешно отстаивал в свое время. Но для попытки представить себе настроение Колчака в момент получения известий о переводе на Черное море еще интереснее вывод, которым он за пять лет до этого завершал свои размышления о южном театре:

«С чисто военной стратегической точки зрения единственный узкий вход в Черное море благоприятствует защите его неприкосновенности и задержанию превосходных сил более слабыми. С другой стороны, замкнутость Черного моря придала бы морской вооруженной силе характер изолированности и, следовательно, лишила бы флот значительной доли политического могущества, так как этот флот не мог бы непосредственно влиять ни на один объект высокой политической важности».

Запомним последние слова, поскольку вскоре придется увидеть, насколько кардинально изменит Колчак свои взгляды на этот вопрос; пока же остается резюмировать, что до войны он считал черноморский театр второстепенным, бесперспективным и… неинтересным. Правда, весной 1917 года он вспоминал в частном письме, как, уезжая на юг, чувствовал, «что мои никому не известные мысли реализуются и создаются возможности решить или участвовать в решении великих задач», – однако здесь все-таки допустимо предположить ошибку памяти, когда пафос и азарт последующих десяти месяцев оказываются перенесенными на момент отъезда.

В свою очередь, и высшее командование, даже задумываясь о переменах в руководстве флота Черного моря, еще в январе 1915 года не числило капитана 1-го ранга Колчака не только среди кандидатов на пост Командующего – это и понятно! – но и среди потенциальных начальников штаба флота. Каковы же были причины столь стремительного его выдвижения, не оправданного ни выслугой (два с половиною месяца в чине контр-адмирала), ни служебным стажем (отсутствие опыта командования крупными соединениями кораблей и даже просто кораблем 1-го ранга)?

Судя по воспоминаниям Тимирева, имела место обыкновенная интрига, к которой, однако, согласно тому же Тимиреву Колчак почти наверняка не был причастен. «К этому времени морской отдел Ставки был расширен, – рассказывает мемуарист, – и туда были назначены два офицера, специально ведавшие морями: Балтийским – кап[итан] 2 р[анга] Альтфатер и Черным – кап[итан] 2 р[анга] Бубнов. Вышло так, что эти два сравнительно молодых офицера и создавали “мнение Ставки” по морским делам, в особенности по вопросам, не имевшим прямого отношения к операциям. Оба они наметили своих кандидатов для назначения на высшую должность, каждый в своем море. Альтфатер стал проводить Непенина… а Бубнов – Колчака. Возникает вопрос: почему же Альтфатер не остановился на Колчаке, человеке во всяком случае более подходящем для должности Командующего Балтийским Флотом, чем Непенин. Ответ на него, мне кажется, напрашивается сам собой по мотивам личного характера. Колчак, как более искренний и чуткий, давно раскусил Альтфатера и не питал к нему симпатий. Непенин же, легко поддававшийся влиянию лести, – благоволил к Альтфатеру. Бубнов же согласился на кандидатуру Колчака, который хорошо к нему относился. Своих же черноморских кандидатов, могущих соперничать с Колчаком в популярности, – очевидно не было».

На воспоминания Тимирева о В.М.Альтфатере могло, конечно, наложить отпечаток и то обстоятельство, что последний уже в адмиральском чине пошел на службу Советской власти. Колчак, знавший Альтфатера еще по Порт-Артуру, где они некоторое время вместе служили на «Аскольде», незадолго до смерти отзывался о его переходе к большевикам лаконично: «Альтфатер мог как определенный монархист и карьерист действовать из личных карьерных побуждений». Карьеризм Альтфатера должен был быть еще более неприятен Александру Васильевичу как направленный на достижение близкого положения к Императору и использующий связи даже не служебного, а придворного характера; Колчак же мог испытывать к этой среде предубеждение, поскольку еще весною 1915 года

попытка Эссена «воспользоваться Высочайшим смотром, чтобы провести в адмиралы Колчака» сорвалась, как говорили, «вследствие каких-то трений, существовавших между Эссеном и придворной партией, имевшей тогда на Царя большое влияние». Принято считать, что Александр Васильевич не слишком-то хорошо разбирался в людях, – но скрывать свои чувства он умел еще хуже и, однажды «раскусив» Альтфатера, вряд ли был способен сдерживать проявления неприязни – да, возможно, и не хотел. Что же касается капитана 2-го ранга А.Д.Бубнова («Бубнова 2-го» – его однофамилец «Бубнов 1-й» командовал кораблем на Черном море), то здесь играли роль уже соображения принципиального характера.

Бубнов (офицер Ставки характеризовал его как «здешнего остроумца с примесью Ноздрева») принадлежал к числу горячих сторонников «Босфорской операции» – вначале блокады или минирования пролива, а затем и десанта, который должен был дать в руки России Константинополь и выход в Средиземное море. Следует заметить, что к моменту назначения Колчака на Черное море проблема Константинополя и Проливов (Босфора и Дарданелл) уже обсуждалась дипломатами России и ее союзников, причем отправною точкой служили русские требования, сформулированные еще весной 1915 года: «… Вопрос о Константинополе и Проливах должен быть окончательно разрешен в смысле вековых стремлений России. Всякое его разрешение, которое не включало бы в состав Русской Империи города Константинополя, западного берега Босфора, Мраморного моря и Дарданелл, а равно и южной Фракии по черту Энос – Мидия, было бы не удовлетворительно. Подобным же образом, по стратегическим соображениям, часть Азиатского побережья, заключающаяся между Босфором и рекою Сакариею и между пунктом, подлежащим определению, на берегу Измидского залива, острова Имброс и Тенедос должны будут быть присоединены к Империи».

Захваченный босфорскими проектами и сохранивший эту увлеченность на несколько десятилетий, Бубнов в мемуарах, написанных уже после Второй Мировой войны, рисует удручающую картину управления Черноморским флотом, Командующий которым, адмирал А.А.Эбергард, якобы чрезмерно доверился начальнику оперативного отдела своего штаба, капитану 2-го ранга К.Ф.Кетлинскому (здесь кстати заметим, что такое же положение занимал в свое время Колчак при Эссене, и этим еще раз доказывается условность «должностной расстановки» в ее отношении к реальным влияниям внутри управления войсками или флотом). Кетлинский же, по мнению

Бубнова, препятствовал «более энергичным действиям против Босфора», и «это было тем более странным, что Кетлинский был одним из талантливейших офицеров нашего флота»; «упорство Кетлинского в этом вопросе было настолько загадочным – если не сказать больше, – что в лучшем случае можно было подозревать в нем недостаток личного мужества, необходимого для ведения решительных операций», – пишет Бубнов.

Подобные слишком далеко заводящие намеки вряд ли делают честь их автору, но до известной степени помогают понять состояние духа, в котором находился офицер Ставки, и его убежденность в необходимости смены черноморского командования. При этом Бубнову изменяло элементарное чувство справедливости, поскольку действия адмирала Эбергарда и его подчиненных отнюдь не соответствовали тому ярлыку «пассивности» и неумеренной «осторожности», который неоднократно навешивался на них как тогда, так и в наши дни.

Начнем с того, что операции против Босфора, в том числе и десантные, включались в число важнейших задач Черноморского флота задолго до 1914 года, а сразу же после появления «Гебена» и «Бреслау» в Дарданеллах, то есть за два с половиною месяца до вступления Турции в Мировую войну, Эбергард испрашивал разрешения на ввод русских кораблей в Босфор, дабы принудить турок к сохранению нейтралитета, и в дальнейшем настаивал на необходимости атаковать германо-турецкие крейсера, под каким бы флагом они ни появились в Черном море, и активно действовать у Босфора, чтобы по меньшей мере надежно блокировать его (с началом боевых действий, когда обнаружилось преимущество эскадренного хода кораблей Сушона над русским флотом, важность такой блокады получила дополнительное подтверждение). Эбергард настаивал на захвате болгарских портов Бургаса и Варны для превращения их в базу Босфорской операции. Эбергард успешно боролся с турецкими грузовыми перевозками на Черном море. Эбергард бомбардировал форты Босфора, а германо-турецкие корабли не осмеливались выйти навстречу для боя. Эбергард в 1914–1915 годах выставил более семи тысяч мин для обороны своих берегов и почти столько же – у берегов противника, и тот же «Гебен» 25 декабря 1914 года подорвался на русском заграждении, выставленном у Босфора, получив значительные повреждения (правда, интенсивность постановок заметно снизилась в 1915 году по сравнению с 1914-м). И недаром русский офицер много лет спустя лаконично подытоживал деятельность двух Командующих: «Адмиралом Эбергардом был очищен восток Черного моря, адмирал Колчак принялся за его запад…»

И все же устранение Эбергарда и назначение на его место Колчака было решено.

«Для тех, – пишет капитан 2-го ранга А.П.Лукин, – кто близко знал старого командующего и мог поэтому воочию судить и оценивать его деятельность на посту командующего флотом, широкий горизонт его государственного ума, обширные познания, опыт, холодную выдержанность перед лицом опасности и, наконец, его исключительное благородство, – для тех эта смена явилась полной неожиданностью…

Для тех же, кто далеко стоят от обстановки и условий, в которых протекала его деятельность, и кто судил о ней постольку, поскольку она отвечала чаяниям и заветным стремлениям русского общественного мнения, – для тех эта смена казалась необходимой и была ими муссируема и подготовляема».

По мнению Лукина, настроения тогдашнего общества, требовавшего взятия Константинополя и восстановления «Креста на Святой Софии», и побудили верховное командование сместить Эбергарда с его поста; роль Бубнова при этом специально не рассматривается, а между тем правдоподобно предположение, что именно он, может быть вместе с адмиралом А.И.Русиным (начальником морского штаба Верховного Главнокомандующего), и явился выразителем этих мнений, направив их против старого Командующего Черноморским флотом. Составленный в Ставке обширный доклад (названный Лукиным «обвинительным актом») был рассмотрен Императором и… решил судьбу Эбергарда. Что же касается выбора Колчака в качестве его преемника, здесь влияние Бубнова представляется неоспоримым, даже если считать рассказ адмирала Тимирева несколько преувеличенным.

Бубнов и Колчак были знакомы по военно-морскому кружку, вместе служили в Морском Генеральном Штабе, преподавали в Академии. Бубнов, всю жизнь прослуживший на Балтике, мог недостаточно хорошо знать черноморских офицеров, а мог и не очень доверять им, предполагая возможность сохранения тех же настроений, которые он приписывал Эбергарду и с которыми собирался столь решительно бороться. Поэтому предположение Тимирева об отсутствии «черноморских кандидатов, могущих соперничать с Колчаком в популярности», кажется верным лишь наполовину – в расчет явно принималась «популярность» не у самих «черноморов» (конечно, слышавших о Колчаке, но вряд ли перед ним преклонявшихся), а у офицеров морского штаба Ставки… да, может быть, и у невоенной «общественности», – например, думской, которой имя Колчака было хорошо известно с довоенных времен как горячего патриота и одновременно борца с «рутиной» и «бюрократией».

Еще более правдоподобно звучат другие предположения Тимирева: «Я почти уверен, что Колчак до своего назначения ничего о нем не знал, а также не предполагал, какие хитросплетенные интриги ведутся в Ставке. Прошло всего несколько месяцев, как он получил назначение, о котором давно мечтал, и было вполне естественно ожидать, что его оставят в покое хотя бы до закрытия навигации. Если ему и приходила в голову мысль о каком-либо будущем повышении по службе, то наверное это касалось лишь Балтийского флота: слишком уж было несообразно ожидать, чтобы адмирала, хотя бы и сверх-выдающегося, во время самого разгара войны вырвали из знакомой обстановки и назначили в совершенно чуждую, да еще на высший командный пост»; «неожиданностью назначения в Ставке били наверняка: там знали, что Колчак не такой человек, чтобы во время войны отказаться от боевого назначения, хотя бы и нежелательного для него самого». Справедливость этих рассуждений как будто подтверждается действиями Бубнова, которому показалось недостаточным провести назначение Колчака: он лично отправился в Ревель, где Александр Васильевич сдавал командование дивизией, – по собственному признанию, «чтобы сопровождать его на пути к его новому назначению и, не теряя времени, изложить ему во всех деталях обстановку в Черном море, с которой он не был знаком, так как никогда в этом море не служил».

Возможно, что Колчак к этому времени уже был ориентирован относительно роли Кетлинского, какой она представлялась Бубнову и его единомышленникам. В свете этой информации выглядела необходимой смена флаг-капитана по оперативной части, и Александр Васильевич обратился к командиру эсминца «Казанец» капитану 2-го ранга М.И.Смирнову (будущему адмиралу) – также своему старому знакомому по военно-морскому кружку и Морскому Генеральному Штабу. «Я считаю, что командующий флотом и флаг-капитан должны иметь одинаковые взгляды на ведение войны, я знаю ваши взгляды и потому предлагаю вам ехать со мной», – так передается Смирновым предложение Колчака, которое было им сразу же принято, несмотря на то, что с новым начальником Минной дивизии адмиралом М.А.Кедровым Смирнов также был близко знаком (они вместе были командированы в Англию в начале войны)… а может быть – именно поэтому: большой популярностью и симпатиями Кедров не пользовался.

«Очень способный офицер и прекрасный работник, он всегда с редкой настойчивостью стремился к одной цели: сделать блестящую карьеру. Как все убежденные карьеристы, он был сух и

скорее недоброжелателен по отношению своих сослуживцев и подчиненных [24]. Он обладал сильной волей и настойчивостью, но не был талантлив: его деятельность лишена была творчества и вдохновения. Кроме того, он был сравнительно молод (почти на четыре года моложе Колчака. – А.К.) и своим назначением садился на шею многим офицерам Минной Дивизии, которые были и старше его, и много опытнее и заслуженнее», – вспоминает о Кедрове Тимирев; «способный математик, но ненасытный честолюбец», «ненадежный», – характеризует его же Пилкин, под «математическими», очевидно, имея в виду артиллерийские, а может быть, и навигационные способности Кедрова. Эти отзывы, кажется, все-таки отличаются некоторой односторонностью – Кедров был, не говоря о перечисленных качествах, еще и заслуженным боевым офицером, сражавшимся в Порт-Артуре, а после прорыва из блокированной крепости броненосца «Цесаревич», на котором он служил, и интернирования в Циндао, – добровольно поступившим на эскадру адмирала З.П.Рожественского и участвовавшим в Цусимском сражении. Даже если считать все это проявлением честолюбия и карьеризма, уважения такая биография не могла не вызвать… но отношения с сослуживцами и подчиненными у Кедрова, похоже, действительно не складывались.

Конечно, и Колчак был начальником по меньшей мере сложным. «Хватили горячего», – говорили о службе с ним офицеры «Вайгача», да и впоследствии в морской среде с готовностью передавали разговоры о том, как он в гневе «“объяснял” кому-нибудь что-нибудь по системе “топтания фуражки”». Но все же в нем было что-то, не переданное или даже непередаваемое письменными источниками, что искупало эти тяжелые минуты и, вопреки приведенному нами ранее мнению недоброжелателя («деятельность его… почти всегда всем крайне неприятна»), пробуждало уважение и симпатию. Быть может, «бешено вспыльчивый» темперамент даже импонировал офицерам Минной дивизии, шутливо именовавшим себя «дикими зипами» («под этим слегка напоминающим племена Южной Африки названием подразумеваются защитники Ирбенского прохода»), – и, конечно, не случайно один из них спустя пять месяцев после перевода Колчака на Черное море провозгласил на Георгиевском празднике довольно своеобразный тост: «Господа, я ничего не хочу сказать про теперешнего начальника дивизии, но вот старого я действительно любил. Точка».

Со своей стороны Колчак также испытывал подобные чувства. «Лично я никогда не желал бы командовать лучшей боевой частью, чем Минная дивизия, – писал он в прощальном приказе, –

с ее блестящим офицерским составом, с отличными командами, с ее постоянным военным направлением духа („любовью к войне“? – А.К.), носящим традиции основателя своего, покойного ныне адмирала Николая Оттовича [Эссена]. И теперь, прощаясь с Минной дивизией, я испытываю те же чувства, как при разлуке с самым близким, дорогим и любимым в жизни». Покидая свой пост, в общем, принято говорить нечто подобное… но в процитированных строках несомненно звучит и живой голос, пробивается искреннее чувство.

Отъезд с Балтики становился испытанием для чувств Александра Васильевича и совсем в другом отношении. В первые месяцы войны он познакомился с женой своего боевого товарища, Анной Васильевной Тимиревой, и знакомству этому суждено было изменить жизнь обеих семей.

… Сложно, да и бессмысленно пытаться полностью представить себе чувства адмирала Тимирева в 1922 году, когда он, уже в изгнании, в Шанхае, по свежей памяти записывал свои воспоминания о Великой войне, о морской офицерской среде, о своих сослуживцах и среди них едва ли не в первую очередь – об Александре Васильевиче Колчаке… о Колчаке – зная, что Анна Васильевна ради него оставила семью. Это могло наложить свой тяжелый или горький отпечаток; но с другой стороны – смерть и страдания сглаживают или примиряют многое, а имел ли Тимирев в тот момент точные сведения о своей бывшей супруге, за любовь к Александру Васильевичу заплатившей десятилетиями тюрем, ссылок, концлагерей? И наоборот, ощущая сознательно или подсознательно возможность своего предубеждения к старому сослуживцу, переживший его адмирал мог, из желания достигнуть наибольшей объективности, невольно впадать в преувеличенно-хвалебный тон. Но все же, как бы то ни было, мемуары адмирала Тимирева при взгляде со стороны кажутся вполне взвешенными, и если на одних страницах книги звучит нескрываемое уважение или даже восхищение воинскими талантами Колчака, то другие, как мы уже знаем, содержат оценки весьма критические или рассказы об эпизодах, которые панегирист должен был бы скрыть (случай с авиационной бомбой). Впочем, пока до этих мемуаров еще остается более пяти лет войн и революций, да и до окончательного выбора Анны Васильевны Тимиревой и Александра Васильевича Колчака – еще целых два года…

Тогда, в 1916-м, буквально накануне отъезда адмирала на Черное море, произошло лишь первое объяснение. Предыдущие месяцы знакомства, как вспоминала потом Тимирева, не давали повода думать, что отношение к ней Колчака «более глубоко, чем

у других» («я была молодая и веселая тогда, знакомых было много, были люди, которые за мной ухаживали…»), да и после того, как адмирал покинул Балтику, она вроде бы сомневалась, будет ли получать от него письма: «Другая жизнь, другие люди. А я знала, что он увлекающийся человек».

Последняя характеристика, кажется, справедлива, – то ли в шутку, то ли всерьез еще до войны София Федоровна Колчак писала мужу: «За кем ты ухаживал в Ревеле на вечере? Удивительный человек: не может жить без дам в отсутствие жены! Надеюсь, что о существовании последней ты еще не забыл…» – но теперь Колчак относился к своим чувствам намного более серьезно, – кажется, даже серьезнее, чем Анна Тимирева; по крайней мере беспокойств, сомнений и даже терзаний они, видимо, доставляли ему больше. А она вспоминала впоследствии:

«Мне было тогда 23 года; я была замужем пять лет, у меня был двухлетний сын. Я видела А[лександра] В[асильевича] редко, всегда на людях, я была дружна с его женой. Мне никогда не приходило в голову, что наши отношения могут измениться. И он уезжал надолго; было очень вероятно, что никогда мы больше не встретимся. Но весь последний год он был мне радостью, праздником. Я думаю, если бы меня разбудить ночью и спросить, чего я хочу, – я сразу бы ответила: видеть его. Я сказала ему, что люблю его. И он ответил: “Я не говорил Вам, что люблю Вас”. – “Нет, это я говорю: я всегда хочу Вас видеть, всегда о Вас думаю, для меня такая радость видеть Вас, вот и выходит, что я люблю Вас”. И он сказал: “Я Вас больше, чем люблю”».

Вспоминала Анна Васильевна и о Софии Федоровне Колчак: «Она была очень хорошая и умная женщина и ко мне относилась хорошо. Она, конечно, знала, что между мной и Александром Васильевичем ничего нет, но знала и другое: то, что есть, очень серьезно, знала больше, чем я. Много лет спустя, когда все уже кончилось так ужасно, я встретилась в Москве с ее подругой, вдовой контр-адмирала Развозова, и та сказала мне, что еще тогда С[офия] Ф[едоровна] говорила ей: “Вот увидите, что Александр Васильевич разойдется со мной и женится на Анне Васильевне”. А я тогда об этом и не думала…» Упоминает она также, что Колчак «только раз сказал о том, что все написал С[офии] Ф[едоровне]» (это было много позже, уже в Сибири); «потом он мне сказал, что С[офия] Ф[едоровна] написала ему, что хочет только создать счастливое детство сыну. Она была благородная женщина». Обычно только эти строки становятся основанием для реконструкции их отношений, но скорее всего, в действительности все было намного сложнее.

Не нужно забывать, что мы слышим голос только одной

стороны, к тому же звучащий более чем через полвека после описываемых встреч и событий; да и воспоминания А.В.Тимиревой грешат неточностями даже в описании того, что должно было запомниться ей очень хорошо. Так, неправдоподобна фраза, якобы произнесенная ее мужем, когда он впервые указал ей на проходившего мимо Колчака (а было это в начале Великой войны): «Ты знаешь, кто это? Это Колчак-Полярный. Он недавно вернулся из северной экспедиции» (четыре года, проведенные Александром Васильевичем в Петербурге, очень странно было бы характеризовать словами «недавно вернулся из экспедиции»). А описывая свою дружбу и частые встречи с Софией Федоровной в Гельсингфорсе и Ревеле, Анна Васильевна совершенно не упоминает того факта, что как раз в 1915 году семью Колчаков постигло горе – не дожив до двухлетнего возраста, умерла их дочь Маргарита (это было уже вторым ударом – в 1909 году они потеряли дочь Татьяну, не достигшую и года, и из всех детей дожить до старости было суждено только старшему – Ростиславу, родившемуся в 1910 году).

Обычно не придается значения тому, что и письма Анны Васильевны адмирал, судя по его пометкам, читал в Севастополе со сложными и, кажется, подчас тяжелыми чувствами. Вряд ли случайна, например, фраза Тимиревой – «Не знаю, Александр Васильевич, так ли я пишу и поймете ли Вы меня так, как я думаю» (письмо от 14 сентября 1916 года), – и то, что в раздумьи Колчак выводит рядом «нет». Во фразе «Я знаю, что так, как прежде, мы никогда уже не будем встречаться, знаю, что для того, чтобы увидеть Вас даже мельком, нужна случайность совсем фантастическая, но я в глубине души верю, что это будет – хотя Вы не хотите этого, и сама я ничего для этого не буду предпринимать» (письмо от 1–2 января 1917 года), адмирал несколько раз обведет слова «хотя Вы не хотите этого», а в другом письме, от 17 января («Если судьба пошлет мне случай и возможность увидеть Вас, я приму его с радостью, но искать его не буду, т. к. все равно это ни к чему не приведет»), выделит «искать его не буду», «все равно», «ни к чему не приведет»… Впрочем, мы не станем с бесцеремонным любопытством вторгаться в частную жизнь адмирала и ограничимся фразой, сказанной уже в наши дни его внуком: «Это была большая любовь, глубоко личная жизнь моего деда. Больше я ничего прибавить не могу». Вместе с тем, сохранившаяся переписка 1916–1918 годов (письма Анны Васильевны и черновики писем Александра Васильевича) является ценнейшим источником, раскрывающим не только их чувства друг к другу, но и многое из

той обстановки, в которой приходилось жить обоим, так что пройти мимо них ни один биограф Колчака, конечно, не может.

… А пока, после состоявшегося объяснения и, быть может, находясь еще под его впечатлением, адмирал в сопровождении Бубнова и Смирнова направился в Ставку Верховного Главнокомандующего, чтобы по случаю нового назначения представиться Государю и получить инструкции, которыми ему предстояло руководствоваться на Черном море.

Глава 4
Флотоводец

«В пути мы трое, – вспоминает Бубнов дорогу в Ставку, – объединенные единством взглядов по нашей совместной службе в Морском Генеральном Штабе и связанные взаимными чувствами симпатии, подробно обсудили обстановку в Черном море, и А.В.Колчак со свойственной ему ясностью ума и решительностью принял определенную точку зрения на направление операций в Черном море, каковую немедленно по своем прибытии в Севастополь стал неукоснительно проводить в жизнь». Несомненно, что старый сослуживец приложил все усилия, дабы сделать Колчака сторонником «Босфорской операции», а адмирал после принятия командования и вправду действовал в этом направлении решительно и целеустремленно; однако Бубнов ли сказал то решающее слово, которое глубоко повлияло на Александра Васильевича и побудило его работать не за страх, а за совесть? По крайней мере, повествуя о постановке ему задач, адмирал впоследствии совсем не вспоминал об этих разговорах в поезде и говорил лишь о том, что произошло уже в Ставке.

«В Ставке я явился сперва к начальнику штаба Алексееву, а затем к Государю, – свидетельствует Колчак. – Это было в конце июня – начале июля 1916 г. Алексеев посвятил меня в общее военное положение, а затем я получил от него и Государя руководящие указания. Мне было дано задание десанта в Босфор для захвата его. Государь, когда я спросил его об этом задании, сказал, что к этому необходимо вести подготовительную работу».

Заметим, что Александр Васильевич не раз упоминал лиц, в его рассказе не игравших существенной роли; поэтому предположение, будто имя Бубнова было им опущено как не имевшее широкой известности (в сравнении с генералом М.В.Алексеевым и Императором), не представляется нам убедительным. Следует также обратить внимание на то, что Алексеев (начальник штаба Верховного Главнокомандующего), хотя и допускал принципиальную возможность десанта на Босфоре, еще весной 1916 года считал его преждевременным, ссылаясь на растянутость сухопутного фронта, «далеко еще не выясненное политическое и военное положение Румынии», невозможность выделить для десанта необходимые силы – речь шла о нескольких корпусах! – недостаток тоннажа и значительную протяженность морских коммуникаций, все еще уязвимых для ударов «Гебена», «Бреслау» и немецких подводных

лодок. Поэтому остается придти к выводу о весомости именно Государева слова и о том, что в первом приказе Черноморскому флоту, отданном Колчаком (он вступил в командование 9 июля 1916 года), звучали не дежурно-верноподданнические, «этикетные» слова, а отголоски реальной беседы Императора со своим адмиралом, во время которой Николай II благословил Александра Васильевича иконой (к сожалению, сведений о ее дальнейшей судьбе у нас не имеется):

«Государь Император преподал мне как Верховный Командующий указания и предначертания о деятельности флота Черного моря и изволил высказать свое мнение о значении флота Черного моря в настоящей войне и о задачах его, сводившихся к великим историческим целям.

Я не буду ни называть, ни говорить о них, но пусть каждый из нас помнит и знает, что Государь Император верит, что Черноморский флот, когда ход событий войны приведет его к решению исторической судьбы Черного моря, окажется достойным принять участие в этом решении».

Итак, давняя точка зрения, будто Черноморский флот неспособен «непосредственно влиять ни на один объект высокой политической важности», отныне и навсегда была Колчаком решительно оставлена. На полтора года Константинополь станет для него манящим миражем, символом победы и воинской славы, делом чести. Горячий и увлекающийся адмирал, быть может, и хотел бы с первых же дней пребывания на новом посту обратиться к решению именно этой задачи, но перед ним стояло слишком много более мелких, хотя и не менее важных для хода войны на Черном море.

Утверждали, будто Эбергард, узнав, кто станет его преемником, сказал: «Всякое другое назначение показалось бы мне обидным». Вполне вероятно, что старый адмирал действительно слышал о Колчаке и ценил его, но все же звучащее в этой фразе уважение выглядит несколько преувеличенным: назначение офицера с другого флота, молодого и недостаточно опытного, в обход достойных кандидатов-«черноморов», которых Эбергард наверняка мог бы предложить, если бы его об этом спросили, носило все-таки оттенок обиды, и более аутентичными представляются сухие слова бывшего Командующего флотом, сохраненные памятью капитана 2-го ранга Лукина: «Вместо меня вашим командиром будет молодой энергичный адмирал Колчак. Он использует имеемую подготовку и, даст Бог, уничтожит германо-турецкий флот». И Колчак ринулся в бой…

Это не метафора и не преувеличение. В первые же сутки по приезде Александра Васильевича в Севастополь радиоразведка

донесла о появлении в Черном море крейсера «Бреслау». «Адмирал Колчак хотел немедленно выйти с флотом в море для встречи с “Бреслау”, – вспоминает Смирнов, – но оказалось, что выход флота в море в ночное время не организован, а также что выходные фарватеры не протралены и протраление их займет шесть часов времени, поэтому если начать траление на рассвете в три часа, то флот может выйти в море в девять часов утра. Ничего не оставалось делать, как ждать… Адмирал Колчак тотчас же дал указания начальнику охраны Севастопольских рейдов организовать ночной выход флота в море, с тем чтобы эта новая организация уже действовала через двое суток, когда мы будем возвращаться с моря. Мне он приказал разработать план преследования “Бреслау”». Быть может, эти часы нервного ожидания не лучшим образом сказались на Колчаке, когда на следующий день он вывел, наконец, в море дредноут «Императрица Мария» (под флагом Командующего), один из крейсеров и пять эскадренных миноносцев под командой начальника Минной бригады адмирала М.П.Саблина.

Игнорируя прямое свидетельство Смирнова о том, что разработка плана операции принадлежала ему, сегодняшние критики Колчака, разумеется, не упускают случая еще раз поставить адмирала на место: он-де должен был («вероятно, целесообразней было…») выдвинуться непосредственно к Босфору, дабы там дождаться возвращения неприятельского крейсера из его рейда, – а предотвратить последствия действий «Бреслау» (его целью считались русские коммуникации в восточной части Черного моря) должны были бы при этом корабли, базировавшиеся на Батум и в тот момент не только не находящиеся под непосредственным контролем Колчака, но и попросту ему еще не известные (как и их командиры). Не углубляясь в дебри переигрывания истории, заметим, что в плане, предложенном Смирновым и принятом Командующим, просматривается следующая оперативно-тактическая идея: концентрация сил в личном распоряжении Колчака (лишь в случае неудачных поисков в течение целого дня этим силам предстояло бы разделиться, дабы одновременно прикрыть Батум и Новороссийск) и перехват противника еще до того, как тот приблизится к своей предполагаемой цели, дабы в любом случае помешать немецкому капитану выполнить свою задачу.

Разделять силы не пришлось: примерно через семь часов поиска шедший на эсминце «Свирепый» адмирал Саблин радировал об обнаружении «Бреслау» и вскоре вступил с ним в артиллерийский бой на дистанции 80 кабельтовых [25](дальность минного залпа составляла 28 кабельтовых, и потому минная

атака была невозможна). Вскоре противник стал виден и с «Марии», которая открыла огонь, но не имела достаточного боевого счастья. Даже не пытавшийся вести бой с могущественным противником, уходивший на предельной скорости «Бреслау» был, по воспоминаниям одного из его офицеров, дважды почти накрыт залпами русского дредноута, и это свидетельство снимает с Колчака часть нареканий по поводу неудачного (на самом деле – наполовину удачного: ведь свою задачу «Бреслау» не выполнил!) исхода боя. Не остается ничего более, как признать, что на стороне немецкого крейсера был такой неопределенный и неуловимый, но от этого не менее реальный боевой фактор, как везение…

После того как вражеский корабль окутался облаком завесы, Колчак сделал попытку уничтожить его минной атакой, но она не удалась, и «Бреслау» сумел укрыться в Босфоре. Относительно управления миноносцами вообще следует упомянуть, что Командующий флотом допустил серьезную ошибку, начав распоряжаться ими помимо адмирала Саблина и затеяв слишком сложный маневр. При этом Колчак плохо ориентировался в своих новых кораблях и не представлял себе их возможностей, что было им признано на заседании флагманов и капитанов, созванном для обсуждения результатов боя. Лукин так описывает это заседание:

«Взволнованным голосом адмирал Саблин начинает свой доклад с указания, что в этой операции инициатива была изъята из его рук, что не он командовал минной бригадой, а сам командующий распоряжался ею, давая непосредственно от себя директивы отдельным миноносцам.

– Так, вы, Ваше Превосходительство, приказали “Беспокойному” идти на пересечку “Бреслау”, причем дали ему неосуществимую [26]задачу, ибо, чтобы выполнить ее, миноносец должен был развить ход больший, чем данный им на испытании. В результате у него развалились кладки.

– Я вполне признаю свою ошибку, – соглашается Колчак. – Не освоившись еще с миноносцами, я спутал их».

Если рассказ достоверен, то неожиданная кротость Колчака, который, по словам того же Лукина, «был вне себя» после получения известия о неудачной атаке, может объясняться только его сконфуженным или даже подавленным состоянием. Однако дальнейший ход обсуждения должен был полностью переадресовать негативные эмоции Александра Васильевича черноморскому адмиралу, который теперь станет для Колчака чуть ли не личным врагом.

Саблин, ссылаясь на свой опыт и опыт морских операций вообще, утверждал, что минные атаки в условиях погони не

приводят к успеху (по Лукину, «заканчивает указанием, что, занимаясь всю свою жизнь изучением вопроса, он приходит к выводу, что минные атаки неосуществимы ни днем, ни ночью, разве только какой-нибудь шальной случай»). Колчак, похоже, почувствовал раздражение, помешавшее ему вспомнить, как за восемь лет до этого некий талантливый морской офицер рассуждал о возможностях боевого применения миноносцев:

«Скорость артиллерийского снаряда в настоящее время можно принять в 3000 ф[утов] в сек[унду], скорость [самодвижущейся] мины, в среднем принимаемая в 30 узл[ов], будет около 50 ф[утов] в сек[унду]. Дальность артиллерийского снаряда 120 каб[ельтовых], мины – 20 каб[ельтовых]. Снаряд проходит 20 каб[ельтовых] в 4–5 секунд, мина то же расстояние проходит в 4–5 минут.

В современных башнях выстрел 12-д[юймового] орудия производится через 40 секунд, в 120-мм – около 10–12 секунд. Для вторичного выстрела миной из аппарата на миноносце, в зависимости от его устройства, требуется от 15 до 30 минут, причем заряжание под выстрелами совершенно невозможно: миноносец должен выйти из сферы огня, зарядить свои аппараты и тогда только повторить атаку. Опыт войны доказывает, что повторная атака тем же миноносцем – вещь совершенно немыслимая, хотя бы чисто со стороны морального состояния участников атаки».

«Признается во всяком случае одна непреложная истина, являющаяся выводом из опыта всех последних войн: открытая дневная атака минными судами артиллерийских платформ невозможна и может быть допустима только после артиллерийского боя по отношению к противнику, элементы нападения коего и ход ослаблены».

«Вывод из всего боевого опыта следующий: самодвижущуюся мину можно применить только случайно, при отсутствии надлежащей охраны, и с весьма вероятным успехом [–] после боя на ослабленные боем суда для эксплуатации одержанной уже победы».

Столь обширные цитаты на столь специальную тему пришлось привести, поскольку автором их – тем самым талантливым моряком – был никто иной, как Александр Васильевич Колчак, а за прошедшие годы, при всем военно-техническом прогрессе, положение в минном деле еще не успело кардинально измениться. Как видим, собственные выкладки Колчака, подкрепленные примерами из различных кампаний, скорее подтверждали точку зрения, приписываемую Саблину (и даже в наиболее пессимистическом ее варианте), чем ей

противоречили. Поэтому предположение Лукина – «доклад адмирала Саблина произвел на командующего неблагоприятное впечатление. Вероятно, тут и возникла мысль о необходимости сменить его. Ибо нельзя командовать оружием, в силу и успех которого не веришь сам», – выглядит не совсем верным: кроме воззрений на эффективность минных атак, между двумя адмиралами вставало и еще что-то…

По-видимому, сразу же сложилась ситуация, когда два человека, волею судьбы и начальства призванные к сотрудничеству, просто органически к нему неспособны. Саблин явно раздражал Колчака, который жаловался морскому министру Григоровичу: «… Из всех начальников контр-адмирал Саблин больше всего озабочивает меня своим пессимизмом и разочарованностью. У него все является невыполнимым, или не достигающим цели, или не оправдывающим риска и т. п.». Еще дальше пошел адмирал Смирнов, в воспоминаниях об Александре Васильевиче рассказывавший: «… Начальник минной бригады подал адмиралу Колчаку докладную записку, в которой заявил, что считает идею заграждения Босфора минами бесцельной, вредной и рискованной. Пришлось выполнять план без его участия» (особенно выразительно обвинение выглядит в сопоставлении с тем фактом, что именно Саблин был одним из первых, кто ставил мины в «предпроливной зоне» – еще 23 октября 1914 года!). Но нарисованный неприглядный образ сразу же развеивается при сопоставлении с биографией Михаила Павловича Саблина – строевого офицера, обстрелянного в трех войнах (начиная с «похода в Китай» 1900–1901 годов), хорошо известного своим мужеством, хладнокровием и выдающейся силою воли.

Служивший в Русско-Японскую войну на эскадренном броненосце «Ослябя», он тонул вместе с кораблем в Цусимском бою, но был поднят из воды на миноносец. «И он признавался мне, что долго, долго спустя, когда входил на палубу корабля… чувствовал, что ноги у него отнимаются», – писал о Саблине адмирал Пилкин. В принципе, было бы неудивительно, если бы офицер после такого смертельного риска и таких потрясений, как тогда говорили, «потерял сердце» и оказался неспособным к службе на корабле; и именно поэтому так важно приведенное свидетельство, которое говорит, в сущности, о силе духа Саблина, не только переборовшего слабость, но и неоднократно подвергавшего себя впоследствии превратностям морской войны и рисковавшего при этом жизнью.

Один из таких случаев произошел 11 сентября 1915 года, когда эсминцы «Счастливый», «Гневный» и «Дерзкий» под флагом

Саблина неподалеку от Босфора встретились в море с «Гебеном» и сразу же попали под огонь всех его калибров. Не имея возможности подойти достаточно близко для минной атаки, адмирал стал зигзагами уходить из зоны поражения, ведя довольно бесполезный огонь из кормовых пушек.

«Миноносцы отвечали своими 100-мм орудиями, – пишет об этом бое Лукин. – Для “Гебена” это были детские мячики. Но это бодрило людей. Занятые стрельбой, они не замечали смерти, заглядывавшей им в глаза.

За них в эти глаза смотрел адмирал. Скрестив руки, стоял он на мостике, готовый привести в исполнение свой сигнал…»

Этот сигнал был лаконичен, суров и даже жесток: «В случае выбытия из строя одного [миноносца], с двумя другими иду в атаку». Мы уже знаем, что́ думал Саблин о перспективах минных атак в дневное время, и сейчас эта перспектива также, наверное, была для него безумием, самоубийством. Но сигнал, в сущности, провозглашал: я никого не брошу (а ведь один из его кораблей, получив повреждение, стал уже отставать!); погибнем все или никто – и если погибнем, то глядя смерти в лицо, в последней атаке, как подобает миноносцам. И решение адмирала было из тех, которые в горячке боя способны вдохнуть в сердца твердость, силу и волю к борьбе.

Заслуги Саблина и его мужество были хорошо известны – не случайно он одним из первых среди черноморских моряков уже 3 декабря 1914 года, через полтора месяца после начала войны на этом театре, был награжден Георгиевским оружием (Император утвердил приказ Командующего флотом 24 декабря) «за смелые действия на путях сообщения неприятеля с явною для себя опасностью», а 24 февраля 1915 года вошел в состав Думы Георгиевского оружия – органа, рассматривавшего представления к этой награде и выносящего решение об их соответствии Статуту (то есть был признан достойным оценивать подвиги других). И в контр-адмиралы капитан 1-го ранга Саблин был 18 апреля 1915 года произведен «за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий».

Похож ли этот человек на ноющего пессимиста, изображенного Колчаком и Смирновым?! Задаваясь таким вопросом, можно предположить, что Саблин просто отличался скептическим складом ума, заставлявшим прежде всего обращать внимание на возможные сложности и отрицательные стороны любого нового предприятия. Это отнюдь не исключало ни честного исполнения адмиралом своего долга, ни проявлений инициативы; но в соприкосновении с азартным, порывистым и нетерпеливым характером Колчака сдержанность и скепсис

Саблина давали такую гремучую смесь, от которой могло не поздоровиться не только обоим адмиралам, но и окружавшим их подчиненным. К тому же, по свидетельству Лукина, «крутой и прямолинейный нрав адмирала Саблина был всем известен», а о темпераменте Колчака мы уже достаточно наслышаны.

К деловым спорам и разногласиям могло примешиваться и чувство взаимной ревности. Саблин не случайно говорил, что занимался вопросом о применении мин «всю свою жизнь»: он действительно был профессиональным минером с завидным стажем и опытом. Он окончил Минный офицерский класс, еще с 1898 года состоял минным офицером 1-го разряда, в 1893–1906 годах плавал на миноносцах, минном транспорте «Дунай», минных крейсерах «Казарский», «Гридень», «Абрек», минным офицером на эскадренном броненосце «Чесма», канонерской лодке «Кубанец», крейсерах «Память Меркурия», «Россия», «Дмитрий Донской», на «Ослябе»… По специальности довелось ему служить и на сухопутьи – во время «китайского похода», будучи офицером «Дмитрия Донского», он «в отряде Генерал-Маиора Волкова при занятии крепости “Шанхай Гезан”… уничтожал там фугасы и минные заграждения».

С ноября 1906-го по ноябрь 1907 года Саблин командовал миноносцами, с марта 1909-го по сентябрь 1912-го был начальником дивизиона миноносцев. 4 августа 1914 года он получил назначение на пост командующего Минной бригадой и 12 августа вступил в командование; напомним, что стояли тревожные дни, когда от Балтики до Галиции уже полыхала война, а адмирал Эбергард настаивал на превентивных операциях у Босфора, – и значит, такое назначение должно было говорить о высоком доверии Командующего флотом. Вдобавок к этому, в начале 1916 года Саблин заведовал краткими минными офицерскими курсами, за что 28 июня получил благодарность Эбергарда. Неудивительным было бы, если бы Михаил Павлович скептически смотрел на идеи Колчака, до 1912 года не служившего на миноносцах, а тот, в свою очередь, естественно не мог посчитать пренебрежимым свой опыт, полученный во главе Минной дивизии. Нормальным рабочим и служебным отношениям все это также не способствовало.

Наконец, Саблин, кажется, имел основания при смене Командующего флотом надеяться на продвижение по службе. В 1912–1914 годах он откомандовал линейным кораблем «Ростислав» (и в 1913-м удостоен за это Высочайшего благоволения), с 14 апреля 1916 года совмещал с командованием Минной бригадой еще и должность начальника противолодочной обороны. Высочайшим приказом от 21 июля 1916 года адмирал

Саблин был назначен «Начальником 2-й бригады линейных кораблей и исполняющим должность Начальника Дивизии Линейных Кораблей Черного моря», и, хотя назначение состоялось уже при Колчаке, вряд ли Александр Васильевич желал, да и был в состоянии провести его через Ставку менее чем за две недели, так что выдвижение Саблина также естественно было приписать Эбергарду. Показательно и то, что в послужном списке Саблина под датой 4 августа 1916 года значится: «Приказанием Команд[ующего] Черноморским флотом за № 783 назначен Начальником 2-й бригады линейных кораблей вместо Вице-Адмирала Новицкого», – уже без упоминания о командовании дивизией линкоров. Вряд ли Колчак, неожиданно появившийся на Черном море, к тому же, как представляется, креатура Бубнова, которого «черноморы» не любили, мог расположить к себе Саблина, – сам же Александр Васильевич, имея все возможности избавиться от адмирала, который его не устраивал, не замедлил ими воспользоваться.

5 августа Саблин сдал Минную бригаду капитану 1-го ранга князю В.В.Трубецкому, 7-го – принял бригаду линкоров (в командование дивизией действительно так и не вступил)… а 31 октября – был назначен «состоять при Морском Министре» и переведен из Черноморского флота в Балтийский с зачислением во 2-й Балтийский флотский экипаж. Жалобы Колчака Григоровичу, очевидно, не пропали даром…

Справедливость требует, впрочем, признать, что Саблин имел и среди черноморских офицеров не только сторонников. «В Черном море им как будто бы были недовольны… Кто? Поклонники Трубецкого, кажется, начальником которого Саблин был и который, вероятно, против Саблина интриговал», – задумывался адмирал Пилкин. Но если смену Саблина Трубецким можно приписать Колчаку лишь под большим сомнением, то уход боевого адмирала с Черного моря, похоже, не допускал двух толкований. «Колчак Саблина не оценил, и М[ихаил] П[авлович] ушел “по соображениям принципиальным”, – вспоминает Пилкин. – Я его встретил в Гельсингфорсе. Он мне начал рассказывать. Я был на его стороне, но, конечно, надо выслушать обе стороны». Разумеется, и Командующий флотом имел свои основания и аргументы в этом конфликте, хотя сам конфликт все-таки, как представляется, делает мало чести адмиралу Колчаку.

И это столкновение, судя по всему, было далеко не единственным. «В адмиральском кабинете, в открытом море на мостике, всюду, где впервые появлялся адмирал, происходили драмы», – вспоминал флаг-офицер Колчака; а другой моряк рассказывал, что «молодежь восторгалась адмиралом, а люди

постарше только кряхтели и желали ему от души сломить шею». И все-таки основания для восторгов, несмотря на любые драмы, были у многих, – тех, кто, несмотря на рутину тянущейся уже два года войны, сохранил огонь в душе и неуспокоенность.

Посмотрим хотя бы на тот же бой с «Бреслау» 9 июля 1916 года. Выносимый сегодня приговор Колчаку («тактические просчеты командующего флотом наложились на откровенно слабый оперативный замысел поисковых действий», «личные тактические просчеты А.В.Колчака привели к срыву решения поставленных задач» и т. п.) совершенно игнорирует еще одно из следствий этого боя, разумеется, не имеющее отношения к тактике или оперативной мысли, но от этого не менее значимое. Речь идет о психологическом эффекте решительных действий Колчака, который, не успев по-настоящему принять командование таким сложным механизмом, как целый флот, при первом известии о появлении опасного врага лично бросился ему наперерез.

С этой точки зрения были не столь уж важны и тактические ошибки (действительные или мнимые), и даже сам результат боя: ускользнул ли «Бреслау» или был бы потоплен – это не могло уже изменить ореола, окружившего фигуру Александра Васильевича с первых же шагов на новом поприще. И потому не стоит удивляться, что легенду, будто адмирал «прямо из купе вагона сел на судно и вывел флот в море для исполнения боевой задачи», поддерживал даже офицер, служивший в штабе Колчака. Для легенды дело было не в деталях, а в духе решимости, риска, инициативы и – что очень важно! – личного участия в боевых операциях, который отныне неразрывно был связан с именем Колчака. Не нужно, конечно, считать, что дух этот был чужд «черноморам»; но не нужно и пренебрегать эффектом такой «визитной карточки» молодого и незнакомого им адмирала. «… Встреченный предубежденно черноморцами, обидевшимися, что их едет учить балтиец, он сумел своим тактом (это, кажется, все-таки не совсем заслуженная Колчаком похвала. – А.К.), а главное, решительными активными действиями, сломить этот лед и расположить к себе сердца новых подчиненных (не всех, но многих. – А.К.)», – свидетельствует современник.

Эффект не ограничивался одним флотом Черного моря: на Балтике тоже стало известно о погоне за «Бреслау», и Канин, кажется, воспринимавший новое назначение Александра Васильевича с долей иронии (при отъезде адмирала он почему-то посоветовал провожавшим дамам «купить ему средство от загара»), теперь писал Колчаку: «Поздравляю Вас с хорошим вступлением в должность. Выйти в море для преследования

неприятеля в первое же утро по подъеме флага – очень хороший признак и вполне соответствует Вашему активному характеру и образу действий». Так что даже неудача (или «неполная удача») с преследованием «Бреслау» как будто начинала превращаться в победу Александра Васильевича…

Существенным для завоевания авторитета у новых подчиненных представляется нам и приказ, отданный Колчаком во вторую годовщину начала Великой войны. Отражение в нем колчаковского «милитаризма» и «философии войны» мы уже обсуждали, а сейчас стоит обратить внимание на мысли о характере действий флота и необходимых качествах, которые должен воспитать в себе военный моряк.

«Война неизменно связана с лишениями и страданиями, – пишет адмирал, – и главная тяжесть ее лежит не в чисто боевой деятельности, на которую охотно идет большинство людей, а в непрерывной напряженной работе, лишенной зачастую радостей и удовлетворения, которые дает применение оружия.

Условия текущей войны таковы, что многим участникам ее не приходится непосредственно сталкиваться и даже видеть неприятеля; боевые действия занимают сравнительно короткие промежутки времени, особенно в условиях современной морской войны, где решительные бои, протекающие с громадной напряженностью и силой, длятся несколько часов, предшествуемые месяцами длительной и сложной подготовительной работы…

В этом конечном результате общей работы находится удовлетворение и сознание исполненного долга каждого ее участника, независимо от того, применял ли он оружие непосредственно или подготовлял это применение.

И я, как командующий флотом, обращаюсь к личному его составу не с призывом к подвигам и боевой деятельности, ибо верю, что этот призыв не нужен и каждый в бою исполнит как только может лучше свои обязанности; я был свидетелем в первый день своего командования, как больные, находившиеся в лазарете линейного корабля “Императрица Мария”, бросили койки и заняли места по боевому расписанию по сигналу боевой тревоги, и для меня ясно, как будет вести себя личный состав Черноморского флота в боевой обстановке, но я призываю всех к повседневной тяжелой будничной работе и труду, часто незаметному, не вознаграждаемому, не дающему сразу результатов, но необходимому, и без которого немыслимы ни успешная боевая деятельность флота, никакие операции, ни достижение конечной цели войны – победы.

Подготовительный военный труд и работа, как и боевая

деятельность, из него вытекающая, должны определяться одними и теми же свойствами: применением полного напряжения сил участников этой работы для выполнения ее наилучшим образом в кратчайший срок, ибо в военное время нет других работ и военное дело не допускает посредственных качеств работы или промедления в ее выполнении; всякая работа военного времени есть работа срочная; взаимной поддержкой, определяемой согласованностью и внутренней связью одной работы с другой в отношении средств и времени, что является предметом особого внимания и обязанностью каждого начальника или руководителя; тайной или секретностью, обязывающей каждого участника военной работы не сообщать ни о положении ее, ни о целях, ни о ее результатах.

Выполнением порученной работы в указанном духе, соединенным с настойчивостью и упорной решимостью доводить всякое дело до конца, жертвуя при надобности своими личными интересами для дела, каждый выполнит свой долг и обязательства перед Государем Императором и Родиной, так же как и тот, кому выпадет счастье сделать это с оружием в руках, при орудии или минном аппарате, на мостике, в боевой рубке, машинном или кочегарном отделении корабля.

Наступает третий год войны, и та работа, о которой я говорю, для многих становится тяжелой, многие испытывают усталость и тяжесть ее, но отдыха нет, не будет и не должно быть до окончания войны, достойного нашего Верховного Вождя и Великой Родины нашей.

В твердой вере, что Господь Бог, творящий ныне Свой суд над народами, не оставит нас Своей помощью, пусть каждый почерпнет силы для бесповоротной решимости продолжать свою военную работу до конца, время которого мы не знаем, но который должен быть победой».

Даже если сам Колчак не всегда соответствовал предъявляемым здесь требованиям (он все-таки был слишком нетерпелив, порою до неуравновешенности), приказ этот демонстрирует глубокое понимание его автором особенностей службы, при которой военно-морские силы значительную часть времени находятся как бы в состоянии сжатой пружины, вне прямого соприкосновения с противником. Задача, поставленная Александром Васильевичем себе и своим подчиненным, в сущности сводится к тому, чтобы «пружина» не «деформировалась» в условиях мнимого бездействия, не утеряла «упругости» – боевого духа, профессионализма и строгой дисциплины, столь необходимых для успешного ведения боевых действий. Добавим к этому выраженное Колчаком в те же месяцы

убеждение, что «основные черты воинского созерцания находят себе полное подтверждение в основаниях христианской религии», а «военный человек не может не быть человеком религиозным и верующим» (здесь нет тавтологии: Александру Васильевичу мало абстрактной веры деиста, фаталиста, агностика – речь идет именно о воплощении веры в конкретных формах религии; может быть, примерно о том же говорил во время войны и генерал Алексеев: «а я вот счастлив, что верю, и глубоко верю, в Бога и именно в Бога, а не в какую-то слепую и безличную судьбу»); добавим заботы адмирала о духовном окормлении и религиозном просвещении матросов и его требование, чтобы корабельный священник был «ближайшим помощником командира в деле воспитания всех чинов корабля», – и, думается, это обрисует нам в основных чертах взгляды Колчака на психологию военно-морской службы и ее духовное содержание.

А в связи с этим уместно задуматься и над следующим вопросом. Общим местом в рассуждениях о причинах и ходе Февральского мятежа 1917 года и кровавых событиях в Балтийском флоте стало указание на то, что матросы в условиях вынужденного зимнего бездействия оказывались подвержены антиправительственной агитации и в мятежные дни сыграли роль горючего и даже взрывчатого материала огромной силы. С другой стороны, Черноморский флот, как известно, сохранил душевное здоровье намного дольше; так уместно ли объяснять последнее обстоятельство только «климатическими» различиями (на Юге навигация, естественно, намного более продолжительна, а бездействие, соответственно, – короче), или здесь в какой-то мере сказались и понимание Командующим флотом Черного моря психологии своих подчиненных и забота о сохранении их духовного здоровья?

Но вернемся к летним месяцам 1916 года. В приведенных нами приказах Колчак не говорил вслух о планах, связанных с Босфором и подготовкой десанта, но офицеры Черноморского флота, конечно, понимали, к чему клонились предпринимаемые Командующим меры. А сущность этих мер, как и сомнения в их целесообразности, с которыми приходилось встречаться и для которых предстояло разрабатывать контраргументы, были позже подробно изложены адмиралом Смирновым:

«Существовало распространенное мнение, что минные заграждения, не обороненные постоянным присутствием вооруженной силы (кораблей, находящихся в море), могут быть без особого труда вытралены неприятелем, а так как вследствие удаленности нашей главной базы флота [–] Севастополя [–] на 260 миль от Босфора мы не можем постоянно держать

достаточной силы в море у Босфора, то наше минное заграждение не может быть действительным. Кроме того, поставленные нами мины стеснят в будущем вход нашего флота в Босфор в тот момент, когда мы будем вести операцию по завладению Босфором, далее [–] наши мины стеснят действия наших же подводных лодок у Босфора, наконец, операции по постановке мин крайне рискованны и вызовут у нас большие потери, так как берега у Босфора укреплены сильными артиллерийскими батареями. Все эти соображения, конечно, имели значение, но рассуждения адмирала Колчака были таковы:

1) Ставить мины в таком большом количестве, чтобы неприятель не успевал их вытраливать. Для этого приспособить мелкосидящие суда, чтобы ставить мины на тех же местах, где они уже были поставлены раньше.

2) Весь флот разделить на две или три группы, чтобы одна группа судов постоянно держалась в море и наблюдала за Босфором.

3) Мины ставить возможно ближе к неприятельским берегам и ни в коем случае не дальше пяти миль от берега, чтобы не лишить себя возможности бомбардировать Босфорские укрепления с моря.

4) Опыт Дарданелльской операции англичан показал на невозможность прорыва флота через узкие проливы без содействия армии. Поэтому план овладения в будущем Босфором намечался следующий: высадить армию на побережьи Черного моря и завладеть укреплениями пролива с сухого пути, а затем уже вводить флот в пролив, после занятия укреплений с берега, когда очистка проходов в минном поле не представит для нас больших затруднений.

5) Никакой успех на войне не может быть достигнут без риска потерь».

Разумеется, и минные постановки у Босфора не остались в наши дни без внимания строгих критиков адмирала, которые, указывая на преувеличенность отзывов об их эффективности (случаи, когда противнику удавалось протралить проходы, все-таки имели место), кажется, склонны вообще подвергнуть сомнению целесообразность действий Колчака. Стоит, однако, прислушаться и к голосу противоположной стороны – тех, кто оценивал эту эффективность на собственном опыте, часто – весьма печальном.

«… Постановка минных заграждений у Босфора и Варны русскими морскими силами летом и осенью 1916 года явилась операцией во всех отношениях замечательной, – считает германский моряк. – … Их линии заграждений тянулись до

самого очертания побережья вплотную к берегу, и новые ставились так близко от прежде поставленных, что ловкость, отчетливость и уверенность, с которой русские избегали своих же на малую глубину ранее поставленных мин, поистине достойна удивления». Постановкой на небольших глубинах восхищался впоследствии и другой офицер германо-турецкого флота: «Имея особый опыт в минном деле, русские ставили мины на глубинах в 180 метров (590 футов), что до тех пор считалось невозможным». Не будем приписывать отличную выучку черноморских минеров одному адмиралу Колчаку – как мы уже знаем, успешные минные операции производились и до него, – но, вне всякого сомнения, он с честью продолжил традиции своих предшественников и имеет полное право на лестную характеристику результатов этой работы, также принадлежащую противнику: «Вследствие неприятельской оградительной деятельности большие корабли были вынуждены к бездействию».

С не меньшим энтузиазмом – хочется сказать даже «азартом» – подошел Колчак и к подготовке десанта на Босфоре, для чего в Севастополе предстояло сформировать особую дивизию (подобные формирования предполагалось осуществить и на Балтике, дабы затем перебросить их на Юг). Свои трудности, и немалые, были и здесь: для перевозки необходимого количества войск, артиллерии, обозов явно не хватало тоннажа. В начале августа, когда планы десанта были еще более крупномасштабными (6 дивизий, 6 артиллерийских бригад и 3 артиллерийских парка), Колчак, сделав соответствующие расчеты, показал Ставке, что перевезти такие силы в два приема можно было только отказавшись от транспортных рейсов, которыми снабжалась Кавказская армия. Пойти на это, разумеется, никто не мог, и адмирал обуславливал возможность десанта рядом требований, в том числе мобилизацией частных барж и парусников для каботажных перевозок у кавказского побережья, постройкой большого числа десантных плавучих средств (барж, ботов, судов типа «Эльпидифор»), наконец, завершением строительства железной дороги и шоссе Батум – Трапезунд и переносом центра тяжести грузовых перевозок на сухопутные линии. Очевидно, что все это откладывало вопрос о Босфорской операции по меньшей мере до весны 1917 года, да и Черноморская дивизия, которой предстояло играть в нем решающую роль, начала свое формирование лишь в октябре.

Идеологи десанта рисовали себе эту дивизию исключительно в радужных тонах. Командир одного из ее полков вспоминал: «Штаты были самые современные – на основании богатого опыта войны, командиры полков намечены исключительно георгиевские

кавалеры, командиры баталионов – штаб-офицеры, имеющие не менее шести орденских боевых наград, ротные командиры – кадровые офицеры с фронта, унтер-офицеры – кавалеры нескольких Георгиевских крестов и, наконец, состав солдат – исключительно из гвардии и отборных матросов». Для укомплектования дивизии требовалось около трехсот офицеров и около восемнадцати тысяч нижних чинов.

Колчак, которому на Балтике так и не разрешили произвести ни одного крупномасштабного десанта, явно жаждал испробовать этот вид боевых действий на новом месте, тем более что решаемая задача – захват Проливов и Константинополя – теперь представлялась ему такой заманчивой! «Мы создадим настоящую морскую пехоту, лихую и знающую дессантное дело», – вспоминает современник слова адмирала. – «… По согласию Ставки скоро прибудут в дивизию пятнадцать тысяч гвардейцев, также японские ружья, пулеметы, бомбометы и траншейные орудия. Боевое крещение я думаю дать сначала на фланге кавказской армии, где огнем судов мы приготовим плацдарм, а затем… – наша дивизия соединится с Балтийской, образуется морской дессантный корпус, и он откроет ворота Константинополя…»

Все, однако, складывалось далеко не так легко и красиво: «Как всегда, на требование лучшего командиры частей и кораблей (которые должны были выделять пополнения для дивизии. – А.К.) присылали таких людей, от которых хотели отделаться. Офицеры с фронта прибыли хотя и с боевыми отличиями, но в массе такие отпетые алкоголики, что безудержные скандалы стали хроническим явлением жизни в Севастополе…» Не лучшим оказался и контингент, присланный из запасных батальонов Гвардии (тех самых запасных батальонов, которые вскоре так легко пойдут на мятеж в Петрограде, одержимые одним стремлением – как бы не попасть на фронт!). 20 февраля 1917 года Колчак вновь формулировал свои требования к будущей операции, теперь сосредотачиваясь на составе десантных войск: «В состав десантного отряда назначаются войска лучшего качества с испытанными боевыми начальниками, безусловно целые организационные единицы, но никак не сборные [27]. Непременным условием должно быть богатое снабжение десантных войск артиллерией, пулеметами, техническими средствами и особенно средствами связи». Сложно сказать, насколько такие требования могли быть удовлетворены, но Колчак, кажется, предпочитал смотреть в будущее с оптимизмом и даже в конце апреля 1917 года еще считал некоторые из имевшихся в его распоряжении частей, несмотря на

революционное разложение, пригодными для активных десантных операций (конечно, меньшего масштаба).

… В сентябре 1916 года петроградский журналист А.А.Пиленко, посетивший Севастополь, опубликовал статью о Колчаке, которую А.В.Тимирева сочла «банальной до грусти». Может быть, именно с ее легкой руки сейчас принято иронизировать над «жонглированием потертыми словесными штампами» в том очерке и над сравнением адмирала с Суворовым. Однако, если посмотреть на это сравнение непредвзято, оно вовсе не покажется надуманным или, тем более, «глупее глупого».

«В газетах уже появилось много статей о “стальном адмирале”, – пишет Пиленко, – и – я доподлинно это знаю – А.В.Колчак искренне негодовал на “вздорные россказни” (он при мне стучал по газете и грозил “написать в штаб, чтобы этого больше не разрешали”); поневоле ограничусь самым малым… Как я ни боюсь упреков в трафаретности, но не могу не сказать, что стремительная повадка адмирала и, в особенности, сразу врезывающийся в память профиль невольно и неудержимо напоминают мне Суворова: тот тоже был весь из нервов, захваченных железной рукой хладнокровия и отваги; у того, мне представляется, тоже было такое выражение, что, мол, это все пустяки, а я вот знаю суть дела. Как это соединяется с несомненною скромностью, почти застенчивостью, – я объяснить не умею».

Итак, «стальным» или не «стальным» был адмирал, походил он на Суворова или нет, – но «выражение, что, мол, это все пустяки, а я вот знаю суть дела», как и органическое неприятие Колчаком рекламы и самолюбования, думается, подмечены журналистом очень верно. Александр Васильевич знал себе цену, был уверен в своих силах, к каждому делу, за которое брался, подходил решительно и без колебаний… и, кажется, твердо верил в Бога и в свою звезду.

Обманывала ли его до сих пор эта последняя вера? Вряд ли – судьба пока была благосклонна к Колчаку, хотя никто не может сказать, что благосклонность не была им заслужена. Путь Александра Васильевича не только не был усыпан розами – адмирал знал и минуты сомнений, и разочарования, и неудачи, но они еще не были настолько сильны, чтобы надолго вывести Колчака из равновесия. Быть может, ему помогало его жизнелюбие и неудержимый, азартный интерес к самым различным областям человеческой деятельности. Мир был велик и удивителен, и в нем столь многое привлекало внимание и позволяло при неудаче в одном – обращаться к другому: от

стратегического планирования – к кораблестроению, от думских дебатов – к полярным экспедициям… «Он прекрасно рассказывал, и о чем бы ни говорил – даже о прочитанной книге, – оставалось впечатление, что все это им пережито», – вспоминала А.В.Тимирева. Отголосок этого можем услышать и мы в письмах Александра Васильевича, поражавших «разнообразием предметов» – «от очередных операций до цветов… от Савонаролы до последних событий в Добрудже и до поклонения звездам», от холодного оружия до симфонических концертов, от полетов на гидроплане до миграций угря обыкновенного…

Наверное, этим же объясняется и жизнерадостный, по преимуществу оптимистический настрой Колчака в предреволюционные годы. «Никто не умеет веселиться так, как Вы, с такой торжественностью, забывая о времени, о пространстве и вообще обо всем на свете», – писала ему Анна Васильевна на Святках 1916 года, а десятилетия спустя вспоминала: «Он входил – и все кругом делалось как праздник; как он любил это слово!» Счастливая звезда сияла Колчаку – путешественнику, ученому, воину, – и лишь однажды она затмилась, как будто пророча грядущие трагедии.

7 октября 1916 года на Севастопольском рейде вследствие пожара, повлекшего детонацию части боеприпасов, затонул флагманский корабль Черноморского флота – дредноут «Императрица Мария». Предпринятые под личным руководством Колчака, прибывшего на горящий корабль, попытки потушить пламя не увенчались успехом. Жертвами катастрофы стали более трехсот человек из команды «Марии». Вопрос о причинах случившегося обсуждается до сих пор, причем в качестве объяснений предлагаются версии о самовозгорании пороховых зарядов, несчастной случайности, халатности матросов, которая якобы могла привести к короткому замыканию, наконец – о вражеской диверсии (последняя, разумеется, выглядит эффектно и выигрышно на фоне скучных бытовых и технических подробностей и в течение многих лет пользуется едва ли не наибольшей популярностью). Сам же Колчак терялся в догадках как в те дни, так и два года спустя; и в любом случае никакие версии, догадки, расследования не могли смягчить чудовищной силы удара, который обрушился тем осенним утром на Командующего флотом.

«Мое личное горе по поводу гибели лучшего корабля Черноморского флота так велико, что временами я сомневался в возможности с ним справиться, – писал Александр Васильевич морскому министру. – Я всегда думал о возможности потери корабля в военное время в море и готов к этому, но обстановка

гибели корабля на рейде и в такой окончательной форме действительно ужасна. Самое тяжелое, что́ теперь осталось, и вероятно, надолго, если не навсегда, – это то, что действительных причин гибели корабля никто не знает и все сводится к одним предположениям. Самое лучшее было бы, если [бы] оказалось возможным установить злой умысел, по крайней мере было бы ясно, что́ следует предпринять, но этой уверенности нет, и никаких указаний на это не существует».

Несмотря на свои переживания, Александр Васильевич мужественно держался и не выпустил из рук командование флотом, но переживания были поистине ужасны. «Он замкнулся в себе, перестал есть, ни с кем не говорил, так что окружающие начали бояться за его рассудок. Об этом начальник его штаба немедленно сообщил по прямому проводу нам в Ставку», – вспоминает Бубнов, в те дни срочно командированный в Севастополь и заставший там адмирала уже в новом состоянии духа, «которое теперь начало выражаться в крайнем раздражении и гневе». Нарисованную Бубновым картину можно было бы посчитать преувеличенной (Смирнов, например, в своей биографии Колчака вообще обходит катастрофу молчанием), но об обратном свидетельствуют письма А.В.Тимиревой.

«Дорогой Александр Васильевич, Вы пишете: “Пожалейте меня, мне тяжело”»; «Вы говорите, что жалеете о том, что пережили гибель “Марии”»; «мне тяжело и больно видеть Ваше душевное состояние, даже почерк у Вас совсем изменился…» – не достаточно ли этих слов, чтобы почувствовать терзания адмирала? Не красноречивое ли свидетельство – просьба о жалости, исходящая от гордого Колчака? И разве не менее красноречиво говорит о состоянии Александра Васильевича тот кризис в его отношениях с Анной Васильевной, который разразился вскоре после гибели дредноута?

«Не знаю, жалость ли у меня в душе, – писала она 14 октября, после получения достоверных известий от самого Колчака, – но видит Бог, что, если бы я могла взять на себя хоть часть Вашего великого горя, облегчить его любой ценой, – я не стала бы долго думать над этим»; «если это что-нибудь значит для Вас, то знайте, дорогой Александр Васильевич, что в эти мрачные и тяжелые для Вас дни я неотступно думаю о Вас с глубокой нежностью и печалью, молюсь о Вас так горячо, как только могу, и все-таки верю, что за этим испытанием Господь опять пошлет Вам счастье, поможет и сохранит Вас для светлого будущего». Менее чем через неделю, после получения нового письма из Севастополя, Анна Васильевна убеждает: «Вы говорите о своем личном горе от потери “Марии”, я понимаю, что корабль можно любить, как

человека, больше может быть даже, что потерять его безмерно тяжело, и не буду говорить Вам никаких ненужных утешений по этому поводу. Но этот, пусть самый дорогой и любимый, корабль у Вас не единственный, и если Вы, утратив его, потеряли большую силу, то тем больше силы понадобится Вам лично, чтобы с меньшими средствами господствовать над морем… Я знаю, что все это легко говорить и бесконечно трудно пересилить свое горе и бодро смотреть вперед, но Вы это можете, Александр Васильевич, я верю в это, или совсем не знаю Вас»; «Вы пишете, что Вам хотелось когда-нибудь увидеть меня на палубе “Марии”; сколько раз я сама думала об этом, но если этому не суждено было быть, то я все-таки надеюсь встретиться с Вами когда-нибудь – для встречи у нас остался еще весь Божий мир, и где бы это ни было, я увижу Вас с такой же глубокой радостью, как и всегда». В какой-то момент ей показалось, что самый опасный для Колчака период остался позади: «Дорогой Александр Васильевич, – говорится в письме от 23 октября, – сегодня получила Ваше письмо от 18-го и прочла его с большой радостью. Вы пишете мне об очень печальных вещах, Александр Васильевич, но я вижу, что Вам легче, что Вы думаете о будущем, строите планы, и я бесконечно рада этому». Однако вслед за этим в переписке наступила пауза, а письмо Тимиревой Колчаку от 9 ноября определенно свидетельствует о каком-то новом надломе в душе адмирала.

«… Сегодня получила наконец после долгого ожидания письмо от Вас, глубоко огорчившее меня, – пишет Анна Васильевна. – Оно жестко, холодно и просто враждебно по отношению ко мне, – но это все ничего, у меня нет ни горечи, ни обиды, мне только бесконечно больно видеть Вас в таком состоянии полной безнадежности. Вашей виновности, о которой Вы говорите мне не первый раз, я не признаю. Если Вы ответственны за все, что происходит под Вашим командованием, это еще не значит, что во всех несчастьях лично Вы виноваты, тем более в тех, где помочь Вы фактически не имели возможности… Вы пишете, что сознательно отказываетесь от моего отношения к Вам и моих писем; я на это скажу, что только от моих писем Вы можете отказаться, если Вам тяжело и неприятно их получать и Вы действительно хотите забыть меня совсем [28]– скажите слово, и я никогда не напомню Вам о себе больше. Но думать о Вас по-прежнему с неизменной нежностью и постоянной тревогой за Вас – этому помешать не в Вашей власти. Вы говорите: “В несчастьи я считаю лучше остаться одним”. Александр Васильевич милый, неужели правда мое внимание и ласка так неприятны Вам, что Вы хотите совсем оттолкнуть меня. Я так далека от Вас, и мне

абсолютно ничего от Вас не надо – неужели все-таки я Вам в тягость?

Меня мучит мысль, что я могла чем-нибудь огорчить Вас в последних письмах, что Вы говорите со мной так враждебно; но Вы же знаете, Александр Васильевич, что ни за что на свете я не хотела бы сделать Вам больно, если же Вам было что-нибудь неприятно в них – простите мне невольную вину. Возражать Вам на тему о том, чего Вы достойны и чего нет – я не буду; скажу только, что Вы всегда высоко стояли в моих мыслях, и я не знаю за Вами поступка, который ронял бы Вас в моих глазах. Несчастье есть несчастье, если его невозможно предотвратить, а не вина и не "позорное деяние", как Вы говорите. И я совсем не судья Вам, а только очень большой и верный друг, и право же, Александр Васильевич милый, совсем не заслужила, чтобы Вы так холодно отстраняли меня от себя. Это совсем не упрек, ведь я знаю, как трудно, как тяжело Вам теперь, Вы могли бы говорить мне все что угодно – я не в состоянии поставить Вам в вину ничего. Желаете ли Вы этого или нет, мое отношение к Вам остается неизменным. До свидания, друг мой, дорогой Александр Васильевич. Пусть Господь сохранит Вас и пошлет Вам мир душевный. Я же помню и молюсь за Вас как всегда…»

Похоже, Тимирева не очень понимала, что происходит с адмиралом. Еще раньше она услышала в его словах нотки какого-то мистического страха («Вы говорите о расплате за счастье – это очень тяжелая расплата, не соответст[вующая] тому, за что приходится платить. Будем думать, Александр Васильевич милый, что это жертва судьбе надолго вперед и что вслед за этим ужасом и горем будут более светлые дни») и прочла нечто, ее глубоко поразившее: «Вы пишете о том, что Ваше несчастье должно возбуждать что-то вроде презрения, почему, я не понимаю. Кроме самого нежного участия, самого глубокого сострадания я ничего не нахожу в своем сердце… Кроме ласки, внимания и радости я никогда ничего не видела от Вас, милый Александр Васильевич; неужели же правда Вы считаете меня настолько бессердечной, чтобы я была в состоянии отвернуться от самого дорогого моего друга только потому, что на его долю выпало большое несчастье?» Буквальное, а возможно, и неверное прочтение каких-то слов Колчака, которых мы не знаем, должно было повергнуть Анну Васильевну в подлинное смятение, и стоит только подивиться ее самообладанию, чуткости и заботливому такту. Очевидно, в первый раз она невольно допустила в сильном и умном Колчаке такой недостаток великодушия, который заставил бы его заподозрить любимую женщину в способности «отвернуться» от флотоводца, подвергшегося удару судьбы.

Той же логикой руководствуются и современные авторы, категорически утверждая: «Профессия настолько захватила адмирала, что в музыке он признавал только героическое, сведения о цветоводстве черпал из истории войн, а свои отношения с женщинами строил, исходя из принципа, что любви достоин только воин-победитель». Опираясь, должно быть, на слова Бубнова («Со свойственным ему возвышенным пониманием своего начальнического долга он считал себя ответственным за все, что происходило на флоте под его командой, и потому приписывал своему недосмотру гибель этого броненосца, хотя на самом деле тут ни малейшей вины его не было»), другой исследователь говорит о «комплексе вины», мешавшем Александру Васильевичу «жить и полноценно исполнять свои обязанности», – как будто не обращая внимания, что в такой степени «комплекс» уже становится близок к помешательству, которое вряд ли можно было «стряхнуть», «придя в себя». И хотя окончательного ответа и полностью достоверной реконструкции здесь дать, конечно, нельзя, – стоит задуматься, какие предположения о душевном состоянии и даже мировоззрении Колчака было бы все-таки допустимо сделать?

Не будем пытаться дать однозначное объяснение. Среди факторов, оказывавших влияние на Александра Васильевича, не следует отбрасывать даже сознания объективной, а не надуманной вины или хотя бы провинности, коль скоро среди вероятных причин пожара на «Императрице Марии» было и бытовое разгильдяйство матросов, а сам Колчак в поданной 4 ноября записке писал об обилии на флоте молодых неопытных мичманов и связанном с этим «полном отсутствии авторитета и влияния офицеров на команду, создающем крайне серьезное положение на многих судах в отношении воспитания и духа команды» (сравним также мнение адмирала Григоровича, высказанное в письме Колчаку от 18 ноября: «… установившийся на этом корабле порядок службы и те грубые отступления от требований Морского устава, которые и Ваше превосходительство усмотрели по этому делу, могли не только обусловить собой возможность катастрофы… но и приблизить ее наступление, если таковая была неизбежной»). Сложно сказать, насколько такое положение вообще могло быть исправлено за неполных три месяца пребывания Александра Васильевича на посту Командующего (а Григорович писал ему 7 ноября: «Должен искренне и прямо Вам сказать, что никогда и ни у кого не было и мысли считать Вас ответственным за эту катастрофу. Не дело командующего флотом входить в детали службы отдельного корабля, у командующего флотом гораздо более ответственное

дело, служба на корабле, его порядок – это дело командира…»); но обостренное чувство своей ответственности за ненормальный разрыв между офицерами и нижними чинами вполне похоже на щепетильного Колчака.

Не будем полностью отвергать и правомочность буквального прочтения Тимиревой того самого неизвестного нам письма Александра Васильевича. Более чем через год в одном из его черновиков вновь встречается упоминание о «каком-то чувстве, похожем на стыд, чувстве боязни вызвать у Вас презрительное сожаление или что-то похожее на это»; такая боязнь, конечно, была несправедливой, а может быть, и оскорбительной по отношению к Анне Васильевне, – но подобные эмоции редко анализируются человеком с рациональной точки зрения, да и сами они, как видно, далеко не были столь несправедливо простыми. Не случайно в процитированной фразе стыд стоит раньше боязни, ощущение собственного несоответствия самим же заданному высокому уровню – впереди опасений, что «сожаление» любимой женщины будет носить оттенок «презрения».

Но не забудем и еще об одном. Два с лишним года войны, на которой он почти всегда выступал в роли руководителя, до некоторой степени – хозяина человеческих судеб и жизней, скорее всего, просто не могли не усилить «милитаристской» составляющей в мировоззрении Колчака. В нем уже появляется «какое-то чувство, похожее на веру в индивидуальность военного начала», «индивидуальность войны». Это «индивидуальное начало» жестоко и несправедливо, но адмирал принимает и соглашается с его жестокостью, быть может, так же, как он принял бы жестокость бушующей стихии – как данность окружающего мира, посланную для испытания сил человека. «… Виноват тот, – напишет он впоследствии, подчеркивая слово „виноват“, – с кем случается несчастье, если даже он юридически и морально ни в чем не виноват. Война не присяжный поверенный, война не руководствуется уложением о наказаниях, она выше человеческой справедливости, ее правосудие не всегда понятно, она признает только победу, счастье, успех, удачу, – она презирает и издевается над несчастьем, страданием, горем, – “горе побежденным” – вот ее первый символ веры».

И в октябрьские дни 1916 года адмирал Колчак, должно быть, впервые ощутил на себе несправедливость этого правосудия. Сразу заметим, что оно действительно ближе к буйству слепой стихии или неотвратимой бессмыслице античного рока, чем к Христианской идее Промысла, – хотя и пути Промысла сокрыты от человеческих взоров. Колчак как будто попал под огонь противника, под удары Зевсовых молний, – или посчитал, что

находится в таком положении. И более года спустя он напишет в черновике письма Анне Васильевне (и мы никогда не узнаем, попадет ли это в беловой вариант) еще об одной боязни – «боязни, чтобы даже тень или что-либо, имеющее отношение к моему несчастью, не могло бы коснуться того, что мне было самым дорогим, самым лучшим, – Вашего отношения ко мне».

И тогда уже кажется правдоподобным, что «жесткое и холодное» письмо Александра Васильевича, как и его декларированное стремление «остаться одному», действительно было сознательным – если и не разрывом, то отдалением от Тимиревой, но отдалением, вызванным вовсе не раскаяниями в собственной «слабости» (современные авторы высказывают догадку, будто Анна Васильевна «больше всего… боялась, что, выйдя из кризиса, он не простит себе проявленной слабости, о которой знает близкий ему человек, и это приведет к разрыву»). Адмирал Колчак был достаточно сильным человеком, чтобы позволить себе такую слабость; и, как сильный человек, он предпочел страдать («Были дни, когда я был близок к отчаянию и когда я желал забыть Вас, но результат получался совершенно обратный – это было очень больно, а боль и страдания совсем не способствуют забвению…»), чтобы не подвергнуть и ее тем ударам мистической силы, которые он принимал на себя, будучи воином, и «правоту несправедливости» которых был готов признать – но опять-таки только для себя лично.

А после этого вряд ли стоит придавать повышенное значение каким бы то ни было внешним влияниям. Без сомнения, нельзя недооценить поддержку, которую Колчак получил от Государя – как сразу после катастрофы (Император телеграфировал в Севастополь: «Скорблю о тяжелой потере, но твердо уверен, что Вы и доблестный Черноморский флот мужественно перенесете это испытание»), так и несколько позже, когда прибывший в штаб флота Бубнов передал адмиралу «милостивые слова Государя» («Государь приказал… передать А.В.Колчаку, что он никакой вины за ним в гибели “Императрицы Марии” не видит, относится к нему с неизменным благоволением и повелевает ему спокойно продолжать свое командование»). Не забудем и письмо адмиралу от Архиепископа Таврического и Симферопольского Димитрия и Епископа Севастопольского Сильвестра: «Вместе с Вами безмерно скорбим и мы, наш дорогой отважный вождь, и, братски обнимая Вас, вслед за святым Христовым Апостолом громко говорим Вам: “Мужайтесь и да крепится сердце Ваше”… Проявите же и ныне присущие Вам славное мужество и непоколебимую твердость. Посмотрите на совершившееся прямо как на гнев Божий, поражающий не Вас одного, а всех нас – Его, Творца и

Промыслителя, русских чад, и, оградив себя крестным знамением, скажите: “Бог дал, Бог и взял, да будет благословенно Имя Его во веки”»; «храните же себя, наш любимый вождь, и да пошлет свыше Отец наш небесный каплю благодатной росы Своей для попаления возгоревшегося в неповинном сердце Вашем жестокого огня печали»; «не печальтесь же, наш родной вождь, Господа ради не забывайте, что весь народ Вас любит и верит в Вас, Вы принадлежите не себе, а всему русскому народу, посему Вы обязаны хранить свою жизнь, свое здоровье. Все это говорим мы Вам как епископы Божьей Церкви, выразители совести Богом и Царем вверенной [29]нашему духовному руководительству части русского народа» (7 октября). Справедлива и сегодняшняя оценка писем Тимиревой: «… Проявив чуткость и такт, не задевая его самолюбия и при этом сохраняя выдержку и хладнокровие, Анна Васильевна сумела найти такие слова утешения, которые смогли восстановить в адмирале утраченную веру в себя». И все-таки размышления, «чьи слова подействовали сильнее, Николая II или Анны Васильевны», кажутся нам праздными. В той мучительной борьбе, которую вынес адмирал Колчак в октябре – ноябре 1916 года, он сознательно остался один на один со своим невидимым противником, и никто никогда не скажет, чего стоила ему эта борьба; единственная же поддержка, которая могла оказаться в те дни действенной, исходила не из писем и телеграмм: помочь адмиралу могли только те, кто молился за воина Александра. И воин выстоял.

Впечатления от гибели «Императрицы Марии» с течением времени, похоже, несколько сгладились, и летом 1917 года Колчак уже мог относительно спокойно сравнивать севастопольскую катастрофу с похожими происшествиями в британском флоте: «Причины так же неизвестны, как и во всех подобных случаях. В английском флоте это 4-й случай, и надо думать, что дело лежит в каких-то внутренних изменениях пороха. Худо то, что у англичан происходит при частном взрыве общая детонация боевых запасов, чего не было, напр[имер], на “Имп[ератрице] Марии”…» А может быть, та, уже отошедшая в прошлое катастрофа в восприятии Александра Васильевича потускнела в сравнении с новой – страшным пожаром, охватившим уже не дредноут, а целую страну…

… На программке концерта, чудом сохранившейся в течение стольких лет вместе с письмами А.В.Тимиревой Колчаку, рукой Анны Васильевны после пометки «26 июня [1917 года]» написано:

> Сдайся мечте невозможной —
> Сбудется, что суждено.

Сердцу закон непреложный
Радость – страданье одно.

Вопреки предположению современных исследователей об авторстве самой Тимиревой, «поскольку, как известно, стихотворные опыты у нее были», – строки принадлежат Александру Блоку и взяты из его драмы «Роза и Крест», постановка которой готовилась в 1915–1917 годах, но так и не была осуществлена. Возможно, Анна Васильевна воспринимала эти стихи примерно так же, как героиня драмы (согласно пояснительной записке самого Блока): «Радость – любить, страданье – не знать любви». Но адмиралу Колчаку больше подошли бы другие слова той же баллады:

Смотрит чертой огневою
Рыцарю в очи закат,
Да над судьбой роковою
Звездные ночи горят.
… … … … …
Всюду – беда и утраты,
Что́ тебя ждет впереди?
Ставь же свой парус косматый,
Меть свои крепкие латы
Знаком Креста на груди!

Впереди были и Крестовый поход, и Крестный путь.

Часть вторая
«С Россией кончено…»

Глава 5
Шторм

Адмирал Колчак не принимал участия в телеграфном совещании Главнокомандующих фронтами, 2 марта поддержавших идею отречения Императора Николая II в пользу Цесаревича Алексея Николаевича при регентстве Великого Князя Михаила Александровича, хотя сами известия о происходившем в столице до него к тому времени уже доходили. «Февральский переворот 1917 г. застал меня в Батуме, – рассказывает Колчак, – где я получил первые известия о нем из шифрованной телеграммы Григоровича, морского министра; в телеграмме сообщалось, что власть взята в руки Временным комитетом Государственной думы. Я доложил об этой телеграмме главнокомандующему Кавказской армией [Великому Князю] Николаю Николаевичу и доложил, кроме того, что должен вернуться вследствие этих известий в Севастополь. На пути в Севастополь было перехвачено германское радио о петроградских событиях, в котором события эти были изображены очень сгущенными красками. Вечером по приходе в Севастополь была мною получена телеграмма Родзянко (М.В.Родзянко – председатель Государственной Думы и глава ее Временного комитета, самочинно образовавшегося в дни февральского мятежа. – А.К.) о происшедшем перевороте. Затем последовали опять перехваченные радио из Константинопольского порта с преувеличенными сведениями о событиях в Петрограде и на фронте. Эти радио побудили меня дать приказ по флоту, чтобы верили только сведениям, исходящим от меня, и я давал по флоту сообщения [о] текущих событиях; этим предупреждено было распространение ложных сведений, тем более что мои сообщения пользовались доверием. Скоро последовали и телеграммы об отречении Николая и затем – от князя Львова (Г.Е.Львов, глава Временного Правительства первого состава, чье назначение формально было проведено указом Императора еще до отречения. – А.К.) – об образовании Временного правительства. По получении этой телеграммы я созвал команды броненосцев “Георгия Победоносца” и “Екатерины”, сообщил им эти телеграммы, заявил, что каковы бы ни были наши убеждения, мы должны подчиниться совершившемуся, продолжить свою работу и оказать новой власти всю необходимую поддержку, приглашал всех к исполнению боевых приказов и заявлял, что я первый подчиняюсь новой власти и поддерживаю ее. Моя речь произвела

на команды благоприятное впечатление, и мне дано было обещание по-прежнему вести всю боевую работу».

Впрочем, первое оповещение флота и населения о происходившем на севере было сделано Колчаком еще до окончательного оформления переворота, и надо сказать, что тон этого оповещения был отнюдь не «революционным». Командующий Черноморским флотом вовсе не спешил присоединиться к новому движению, завершал же свой приказ, отданный 2 марта (а опубликованный в газете – 3-го), вполне монархическим призывом:

«В последние дни в Петрограде произошли вооруженные столкновения с полицией и волнения, в которых приняли участие войска Петроградского гарнизона. Государственной Думой образован временный комитет под председательством председателя Государственной Думы Родзянко для восстановления порядка…

В ближайшие дни преувеличенные сведения об этих событиях дойдут до неприятеля, который постарается ими воспользоваться для нанесения нам неожиданного удара. Такая обстановка повелительно требует от нас усиленной бдительности и готовности в полном спокойствии сохранить наше господствующее положение на Черном море и приложить все труды и силы для достойного Великой России окончания войны…

Приказываю всем чинам Черноморского флота и вверенных мне сухопутных войск продолжать твердо и непоколебимо выполнять свой долг перед Государем Императором и Родиной.

Приказ прочесть при собраниях команд на кораблях, в ротах, сотнях и батареях, а также объявить всем работающим в портах и на заводах».

Адмирал Смирнов подчеркивал, что Колчак не стремился пресечь поступление в Севастополь новых известий из столиц, но попытался взять дело оповещения масс в свои руки, что, в общем-то, должно было казаться единственно правильным решением в той обстановке. Созвав совещание флагманов и старших начальников Севастопольской крепости и порта, Командующий «дал указания старшим начальникам сообщать подчиненным о ходе событий, чтобы известия о них приходили к командам от их прямых начальников, а не со стороны, от разных смутьянов и агитаторов». Восторженно отзывался о поведении Александра Васильевича в первые дни революции генерал А.И.Верховский, тогда в чине полковника занимавший должность начальника штаба Черноморской дивизии. «Наш командующий флотом адмирал Колчак поступил превосходно, – читаем мы в его дневнике. – Чувствуя нарастающее на кораблях и в полках

волнение, он приказал прибыть к нему по два выборных от корабля и полка. Долго и обстоятельно говорил с ними, просто и откровенно рассказал все, что произошло в Петрограде, и в заключение наметил свою главную цель: “перед лицом врага сохранить боевую силу Черноморского флота”. Делегаты встретили его речь очень сочувственно. Они сами еще не знают толком, что́ они должны делать и к чему стремиться. Речь адмирала сразу дала направление умам. Прощаясь, он разрешил делегатам собираться в здании полуэкипажа для обсуждения своих нужд и о результатах ставить его в известность… Этот шаг его сразу определил основную линию поведения масс. Вместо борьбы они встретили доверие, доброжелательство, встретили и разумное руководство. Вместо того, чтобы нарастающая революционная энергия направлялась на борьбу с властью, она направится на подавление анархических сил, вырастающих из глубин темной недоверчивой массы». Сам Верховский принял перемены с энтузиазмом (что и позволило ему сделать неплохую революционную карьеру, вплоть до поста военного министра в одном из последних составов Временного Правительства); ну, а что можно сказать о позиции Колчака, если смотреть на нее не глазами революционного полковника?

В размышлениях об этом вернемся на несколько месяцев назад. Следует признать, что к началу 1917 года авторитет Императорской власти сильно поколебался даже в умах офицерства и высшего командования. Да, положение на фронте внушало оптимистические надежды, и даже скептиков волновал в основном вопрос, как пройдет после победы демобилизация многомиллионной армии; да, хотя Государя считали исключительно номинальным Верховным Главнокомандующим, но начальники штаба – Алексеев, а в период его тяжелой болезни – генерал В.И.Ромейко-Гурко – заслуженно почитались выдающимися штабными работниками и военачальниками, так что и здесь никакого беспокойства не должно было возникать; но вот обстановка в тылу возбуждала самые черные подозрения и тревоги… да, в общем, и была весьма тревожной, только не в том отношении, как считали многие в Действующей Армии и Флоте.

Политические круги, группировавшиеся вокруг некоторых членов Государственной Думы, руководителей Земско-городского союза и Военно-промышленных комитетов (общественных организаций, созданных для помощи фронту), в течение войны неоднократно предпринимали форменные атаки на верховную государственную власть, дабы прорваться к управлению страной. Важной составною частью этого «общественного» наступления была травля неугодных членов правительства и распространение

компрометирующих слухов, затрагивавших даже Государыню Александру Феодоровну, обвиняемую в прямой измене. Клеветнические обвинения в адрес Государыни раздавались и с думской трибуны, да и вообще в этом незадачливом «парламенте» становились хорошим тоном дерзкие, порой оскорбительные нападки на представителей власти.

Не будем отрицать очевидного факта – многие члены кабинета министров, сменявшие друг друга в 1915–1917 годах, действительно не соответствовали тем требованиям, которые предъявляла Великая война, а факт «министерской чехарды» – правительственных кризисов и смены кабинетов в конце 1916 – начале 1917 года – достаточно красноречиво доказывает, что в управлении Империей далеко не все было благополучно. И все же, становясь на объективную точку зрения, трудно не признать: намного больше вреда приносило дезорганизующее политиканство думских и «общественных» деятелей с их вождями – председателем Думы М.В.Родзянко, снискавшим у своих же коллег клички «самовара» (когда он молчал) и «барабана» (когда начинал говорить); недалеким упрямцем П.Н.Милюковым, считавшим себя профессиональным политиком и почти всегда ошибавшимся в политических прогнозах; злобно ненавидящим Императорскую чету А.И.Гучковым, щеголявшим показным бретерством и мнимой близостью к высшему офицерству; князем Г.Е.Львовым, скромным возглавителем «Земгора», на посту министра-председателя Временного Правительства неожиданно начавшим проявлять «толстовские» воззрения на жизнь общества и государства… Подрывая и разрушая единство внутри воюющей державы, эти люди и их помощники старались вести активную пропаганду в среде армейского и флотского офицерства через литографированные или рукописные копии речей, пускаемую по рукам переписку, слухи и сплетни и проч. Думается, что все это просто не могло миновать столь видную фигуру, как Александр Васильевич Колчак.

Один из каналов, по которым к нему поступали отголоски тыловых страстей и дебатов, легко устанавливается документально. В ноябре 1916 – феврале 1917 года деятельностью Думы увлеклась… Анна Васильевна Тимирева, часто находившаяся в этот период в Петрограде и, видимо, скучавшая там. Со свойственной ей непосредственностью она стала включать в свои письма, наряду с другими новостями и мыслями, и восторженные впечатления от думских заседаний, на которых присутствовала среди публики (в Российской Империи это было возможно), и от того, что́ на этих заседаниях и вокруг них говорилось:

«Вся ligne de conduite [30]нашего правительства за последнее время производит впечатление в лучшем случае преступного легкомыслия, если не циничного глумления над страной, да что об этом говорить. Вся надежда на Думу, не дай Бог, если ее разгонят, – что это будет только» (16 ноября); «… сейчас в Думу такая вера, такая надежда, что она сумеет положить предел творящемуся безобразию, поможет в деле войны…» (22 ноября); «то, что делается сейчас наверху, хуже всех военных неудач, потому что это их причина в значительной степени»; «… упорно говорят, что распутинская партия настаивает на сепаратном мире и будет добиваться его, как только распустят Думу. Тому, что это будет, я не верю, да все-таки почти никто не верит. Зато есть ли теперь кто-нибудь, кто думает, что при данных обстоятельствах, если не изменятся условия самым коренным образом, войну можно выиграть?» (9 декабря); «… вот Вам образец того, что можно здесь услышать: что Вы скажете о распоряжении армии “фронтом в тыл” на всякий случай. Оговорка – конечно, не целиком, а наиболее надежными частями» (13 февраля 1917 года) …

Здесь перед нами почти классический пример антиправительственной агитации (вольной или, будем надеяться, невольной, по наивности) в тех ее формах, которые процветали в русском образованном обществе накануне Февральского переворота: патриотическая тревога за ход войны, категорическое, но отнюдь не аргументированное убеждение, что правительство ни к чему не способно и даже ведет какую-то (какую?) вредную деятельность, намеки на угрозу сепаратного мира и на якобы существовавшие планы использования фронтовых частей для подавления оппозиции, непоколебимая вера в таланты, бескорыстие и самоотверженность оппозиционеров и ненависть к «распутинской партии» и самому Г.Е.Распутину, которая у кроткой Анны Васильевны в письме, помеченном 21–22 декабря, прорывается неожиданным: «Единственное, что меня сильно порадовало [в] эти дни – это смерть Распутина». А два месяца спустя Тимирева будет рассуждать уже о государственном устройстве, описывая Александру Васильевичу начавшийся в Петрограде солдатский мятеж:

«Тоже слух – говорят, что Дума уже распущена. Может быть, это было бы и лучше – по крайней мере, хороший и единственный в своем роде момент, чтобы, несмотря на роспуск, собраться и взять власть в свои руки.

“Та” власть показала себя вполне несостоятельной и вряд ли справится с поднявшейся бурей, да и чем она может справиться?

Войска против нее. Я глубоко убеждена, что все это подстроено нарочно с тем, чтобы заключить сепаратный мир, да так оно и будет, если не найдется людей, которым поверит народ и армия, способных стать у власти» (27 февраля).

«… Сегодня царь должен в 3 часа приехать в Государственную Думу и там держать речь… Господи, Александр Васильевич, какое это может быть громадное, безмерное счастье. Александра Федоровна – тоже по слухам, конечно, – куда-то испарилась – и Бог с ней. Ведь это возрождение всех надежд, возложенных на войну, ведь солдаты поголовно говорят, что “дайте здесь управиться, потом пойдем немцев бить, только бы не знать, что за спиной измена”…

Меня очень обрадовала телеграмма, посланная Родзянкой командующим флотами. Хотя Тимирев говорил, что, кажется, Непенин уже ответил о присоединении Балтийского флота, а про Вас ему ничего не известно, и обещал справиться и позвонить по телефону. Если бы Вы знали, Александр Васильевич милый, как я жду этого звонка, хотя меня больше интересует форма ответа, т. к. содержание можно угадать – по крайней мере, я так хочу этому верить. У меня к Вам просьба, Александр Васильевич милый, пришлите мне приказ по флоту по поводу всего вышеизложенного, если можно, конечно, – мне так хочется его прочитать…» (1 марта)

Позволительно усомниться, что приведенный нами выше приказ, отданный Колчаком после получения телеграммы от Родзянко, восхитил бы Анну Васильевну – да и сама она, кажется, все-таки была не очень уверена даже в его «содержании» (осторожная оговорка «я так хочу верить» в столь восторженном письме довольно красноречива). Очевидно, адмирал более трезво, чем его далекая собеседница, оценивал события и их перспективы, – и все-таки… если даже Колчак и не относился с чрезмерной серьезностью к «политическим» страницам писем Анны Васильевны, – у него могли быть и более серьезные источники, излагавшие нечто подобное им на менее наивном уровне (Тимирева в ноябре упоминала о «не пропущенных цензурой думских речах» как о предмете особого интереса офицеров балтийской Минной дивизии). А потому можно и посчитать достаточно искренними слова, сказанные адмиралом в январе 1920 года:

«Сам факт принятия власти комитетом Государственной думы во время Февральской революции я приветствовал, так как состав правительства перед самой революцией я не считал способным к успешному ведению войны. Когда совершилось отречение Николая II и образовалось Временное правительство, я

счел себя свободным от присяги прежней власти и первым в Черноморском флоте принес присягу Временному правительству. Я приветствовал революцию как гарантию возможности подъема энтузиазма в народе и в армии и этим самым возможности довести войну до победного конца, ибо уже перед революцией для меня стало ясно, что монархия к такому победному концу привести не может, – вернее, не монархия, а создавшийся при ней у нас в России государственный порядок, и что должно произойти в создавшемся положении какое-либо изменение. Полагая, что вновь образовавшаяся власть носит временный характер, я считал, что новый государственный строй должен быть установлен каким-либо учредительным органом, Учредительным собранием или Земским собором, словом, выраженной [31]через такой орган волей народа; считал, что монархия восстановлена не будет, что установится строй республиканский, и такой строй считал приемлемым и наиболее соответствующим создавшейся обстановке».

Таким образом, на рубеже 1916–1917 годов предубеждение против слабой государственной власти, не переносимое, впрочем, на монархию в целом, у Колчака должно было сложиться, – но в какие бы то ни было реальные действия оно не вылилось. Адмирал был поглощен заботами о подготовке к предстоявшим весной операциям, которые, как мы знаем, глубоко его волновали. Поэтому и в первые дни «завоеванной свободы» он, казалось бы, должен был интересоваться только узко-«прикладными» вопросами сохранения боеспособности Черноморского флота и приданных ему армейских частей… однако не все было так просто. Колчак оставался Колчаком, и замыкаться в кругу своих непосредственных забот, когда пошатнулась держава, он, похоже, не захотел; согласно одному из сохранившихся свидетельств, не был он и столь лояльным к новой власти и «демократическим завоеваниям».

«Когда в 1917 г., – цитирует историк С.П.Мельгунов письмо капитана 2-го ранга Лукина, написанное, очевидно, в конце 1920-х или начале 1930-х годов, – дошли до Севастополя первые зарницы революции, герцог С[ергей] Г[еоргиевич] Лейхтенбергский (пасынок в[еликого] кн[язя] Н[иколая] Н[иколаевича]) был экстренно командирован в Батум на специальном миноносце для свидания с Ник[олаем] Никол[аевичем] (Великий Князь – Главнокомандующий Кавказской армией – одним из последних указов отрекшегося Императора был назначен Верховным Главнокомандующим. – А.К.). Эта миссия была секретная и настолько срочная, что командиру миноносца дано было предписание “сжечь котлы, но

полным ходом доставить герцога к отходу батумского поезда". Тогда ходили слухи, что в контакте с Балтийским флотом (о массовых убийствах офицеров на Балтике в первые же революционные дни, должно быть, еще ничего не было известно. – А.К.) и некоторыми войсковыми частями Черноморский флот должен был перейти в Батум и там и по всему побережью произвести демонстрации в пользу Ник[олая] Ник[олаевича] и доставить его через Одессу на румынский фронт и объявить императором, а герц[ога] Лейхтенбергского – наследником. Такие слухи циркулировали во флоте в эпоху, когда Петроград был отрезан и еще было не известно, чем все это кончится».

Надо, впрочем, заметить, что рассказ выглядит довольно сомнительным. Биографы как Великого Князя Николая Николаевича, так и Колчака умалчивают о чем-либо подобном, да и сам Лукин в своем сборнике очерков из жизни флота, вышедшем позже книги Мельгунова, не только не развивает столь интересной темы, но и вообще больше не упоминает о попытке Александра Васильевича или миссии Герцога Лейхтенбергского; к тому же в своих сочинениях Лукин обнаруживал явную склонность к беллетризации, что для мемуариста и историка вообще кажется нам предосудительным. Тем не менее вряд ли следует и полностью отвергать столь подробный рассказ, допускающий интерпретацию действий Колчака не как «реставраторской» контрреволюции в прямом смысле слова, а как предложения о широкомасштабной военной демонстрации «юга» в противовес солдатскому мятежу «севера», с декларацией поддержки нового Верховного Главнокомандующего и вообще – государственнического течения.

После этого позволительно задаться вопросом, имел ли в виду адмирал, когда 11 марта писал Анне Васильевне: «Десять дней я занимался политикой и чувствую глубокое к ней отвращение, ибо моя политика – повеление [32]власти, которая может повелевать мною», – только работу по поддержанию спокойствия во вверенном ему флоте, а также – что́ в действиях адмирала вызвало раздраженную реплику Николая Николаевича, произнесенную 7 марта: «он прямо невозможен» (оперативные планы и предложения Командующего Черноморским флотом как будто не встречали ранее столь негативных его отзывов)…

Впрочем, в любом случае, «посадить на престол» такого человека, как Великий Князь Николай Николаевич, без его ведома и согласия было, разумеется, невозможно, а сам он не пожелал давать своего имени ни для каких монархических предприятий. Поэтому попытка Александра Васильевича, если она

соответствовала рассказу Лукина, с самого начала выглядит покушением с негодными средствами; однако, уже без ставки на Великого Князя, идея военной демонстрации обсуждалась тогда и другими высокими чинами. Так, в середине марта неофициальное совещание старших кавалерийских начальников, чьи войска находились на Румынском фронте, предполагало в день присяги новой власти обратиться «от лица всей собранной в Бессарабии конницы к временному правительству с адресом, побуждающим его к более энергичному проявлению своей воли», но проект этот не реализовался, возможно, из-за отказа участвовать в его осуществлении генерала графа Ф.А.Келлера, чей авторитет в русской коннице стоял на недосягаемой высоте. А вскоре, 23 апреля, генералы А.М.Крымов и К.К.Маннергейм даже обсуждали возможность переброски войск в Петроград «для наведения порядка и спасения от полного развала Российской Империи». Перевезти несколько конных дивизий по железной дороге и тем более – провести их через полстраны походным порядком в условиях развивающейся смуты и продолжающейся войны с «врагом внешним» оказалось немыслимым, но энергичный и искренний патриот Крымов не хотел смиряться…

«Есть основания предполагать, – пишет хорошо осведомленный Деникин, – что возникшая по инициативе генерала Крымова на Юго-Западном фронте офицерская организация, охватившая главным образом части 3[-го] конного корпуса и Киевский гарнизон (полки гвардейской кавалерии, училища, технические школы и т. д.), имела первоначальной целью создание из Киева центра будущей военной борьбы… План его, по-видимому, заключался в том, чтобы в случае падения фронта идти со своим корпусом форсированными маршами к Киеву, занять этот город и, утвердившись в нем, “кликнуть клич”. Все лучшее, все, не утратившее еще чувства патриотизма, должно было отозваться…»

Запомним фамилию Крымова и его планы, к которым нам еще предстоит вернуться, а пока обратимся вновь к положению на Черном море. Развитие революционных событий демонстрировало, что беспокойство наиболее прозорливых офицеров было вполне оправданным, а любое промедление оказывалось поистине смерти подобным. Так, Севастополь уже был осчастливлен творением самозванного петроградского «Совета рабочих и солдатских депутатов», вернее, кучки журналистов и «профессиональных революционеров» из «Исполкома Совдепа» (уродливые сокращения начинали наводнять язык с поразительной быстротой) – «Приказом № 1 по гарнизону Петроградского [Военного] Округа всем солдатам

гвардии, армии, артиллерии и флота для немедленного и точного исполнения, а рабочим Петрограда для сведения», опубликованным 1 марта и немедленно распространенным по всей России.

«Совет рабочих и солдатских депутатов, – говорилось в „Приказе“, – постановил:

… Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и отдельных службах разного рода военных управлений и на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей.

… Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету Рабочих и Солдатских Депутатов и своим комитетам.

… Всякого рода оружие, как то: винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее, должны находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам [33], даже по их требованиям.

… В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане.

В частности, вставание во фронт и обязательное отдание чести вне службы отменяется.

… Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше превосходительство, благородие и т. п., и заменяется обращением: господин генерал, господин полковник и т. д.».

Часто смысл «Приказа» сводят только к отмене чинопочитания и «муштры» (отдание чести, постановка во фронт, титулование офицеров). На самом деле, уже и этого было бы достаточно, чтобы увидеть в «Приказе № 1» сильный удар по всей армейской и флотской структуре, поскольку «муштра» на поверку оказывается важной составляющей военного организма, собирая и сплачивая нижних чинов и приучая их к беспрекословному повиновению, которое незаменимо в боевой обстановке: сознательного мужества, необходимого для офицера, нельзя требовать от солдата или матроса, быть может случайно попавшего в строй и тем не менее обязанного выполнять свой долг. Но все же подлинный и главный смысл «Приказа № 1» – не отмена постановки во фронт, а насильственное и императивное внедрение в умы нижних чинов враждебности к своим офицерам, которые в новой, «свободной» стране становятся персонами

настолько одиозными, что им – костяку и мозгу вооруженной силы государства – оказывается даже опасным доверять оружие! Очевидно, что такая армия не только не может воевать – она не может просто существовать, она должна быть распущена как можно скорее, иначе станет опасной как для самой себя, так и для окружающих. Но как распустить несколько миллионов человек, если идет война, а в тылу партийные экстремисты призывают к «углублению революции»?!

Капитан 2-го ранга Лукин, изображая матросский и солдатский митинг в Севастополе, по своему обыкновению прибегает к беллетристическим приемам, хотя и основывается, должно быть, на свидетельствах очевидцев; фраза же Колчака «я разъяснил командам, что этот приказ необязателен как исходящий не от власти; со мной команды соглашались» превращается у него в живописную картину выступления на митинге Командующего флотом:

«Твердым, отчетливым голосом адмирал сказал:

– Этот приказ для меня не приказ. Это не закон и не акт, который следует выполнять… В силу настоящего положения Советы Рабочих и Солдатских депутатов могут возникать в любом городе, – почему, в таком случае, приказ Петроградского Совета является обязательным, а не обязателен приказ Одесского Совета или всякого другого. Во всяком случае, – тут голос Колчака возвысился, – я буду выполнять только те приказы, которые буду получать либо от правительства, либо от Ставки».

Сильная, а подчас и резкая, властная речь еще имела, особенно на первых порах, власть над толпою, и недаром адмирал Пилкин писал: «Глубокое убеждение и настоящая сила всегда слышались в словах Колчака. Вот почему впоследствии даже распропагандированная толпа матросской вольницы на юге долго не могла выйти из-под влияния искреннего простого слова Колчака. Адмирала встречали и на кораблях Черноморского флота восторженно, прислушивались к каждому слову, клялись сохранить народное достояние и порядок, но… измена проникала сперва медленно, потом все быстрее». Матросская, солдатская, рабочая масса была очень восприимчива к крикливым лозунгам, хлесткой фразе, беззастенчивой и агрессивной агитации, и состязаться с крайними левыми течениями одному русскому адмиралу было трудно, да, пожалуй, и противопоказано: следовало сохранять достоинство Командующего флотом. В то же время борьба за умы вовсе не казалась проигранной – слишком уж причудливо бродили в головах нижних чинов новые идеи, лозунги и даже просто неизвестные прежде слова, так что не случайно эти дни давали богатейшую пищу для анекдотов: о том,

как врывавшиеся в частные дома с обыском солдаты кричали «долой самодержавие – да здравствует царь-батюшка!»; об унтер-офицере из солдатского комитета, «расшифровавшем» слово «интернационал» как «интересы нации» (стоит ли удивляться, что такой интернационал приветствовали вполне искренне?); об обращении – и совершенно всерьез! – на солдатском митинге «товарищи евреи-дезертиры!»; о том, как некий революционный поручик объявил об установлении для солдат «восьмичасового рабочего дня» (?!), вследствие чего часть нижних чинов пришла в ужас, решив, что их теперь будут заставлять заниматься строевой подготовкой по восемь часов… Все заинтересованные и незаинтересованные политические партии и организации наперебой объясняли толпе, что она непременно должна что-то делать, творить (или скорее вытворять), но что именно – не всегда объясняли, и, возможно, прав был Верховский, когда писал о недоумении солдат и матросов, «к чему стремиться». И адмирал Колчак пришел к выводу о необходимости захватить инициативу.

5 марта он привел севастопольский гарнизон к присяге Временному Правительству; в тот же день на солдатско-матросском митинге был избран «Временный Военно-Исполнительный Комитет». Похоже, что сначала адмирал отнесся к нему с вполне объяснимым недоверием, но 7 марта на собрании офицеров после «заявления командующего флотом» о необходимости сохранения дисциплины и подчинения центральной власти раздались голоса в пользу сотрудничества с новым комитетом. Примечательна мотивировка выступавших: «сохраняющийся в Севастополе относительный порядок держится только на личном авторитете и обаянии командующего флотом», «между тем пропасть, отделяющая рядовой состав от офицеров, становится все шире и глубже». После этого Колчак согласился командировать в состав комитета ряд офицеров, и 8 марта был образован «Центральный Военно-Исполнительный Комитет» из пятнадцати офицеров, четырех кондукторов, двадцати пяти матросов и солдат и десяти рабочих (выделение в самостоятельную статью кондукторов – своего рода элиты унтер-офицерского состава, производимых в это звание по экзамену, – позволяет предположить, что в число «матросов и солдат» при данном подсчете включены и унтер-офицеры).

«С возникшим с первых же дней переворота Советом матросских депутатов Черноморского флота у меня отношения первое время были хорошие, добрососедские… – расскажет позднее Колчак. – Я считал, что учреждение полезное и будет способствовать сохранению спокойствия и порядка во флоте; постановления Совета, прежде их введения в жизнь, обычно

представлялись мне, с моими указаниями по поводу них считались;… добрые отношения сохранялись и с Советом рабочих депутатов Севастопольского порта». Правда, со стороны севастопольского Совета наблюдались попытки подчинить себе Военно-Исполнительный Комитет, оставляя ему лишь «права административного органа» флота (?), но 30 марта оба органа объединились в «Совет депутатов армии, флота и рабочих», причем понятно, что в таком городе, как Севастополь, влияние моряков неизбежно должно было стать преобладающим.

Воздействовать на матросов обе враждующие силы – государственническое и экстремистское течения – пытались, в общем, сходным образом, и не следует категорически обвинять правительственно-оборонческо-военный лагерь в неумении подбирать аргументы или излагать их языком, понятным «народным массам». Вот, к примеру, что говорилось в выпущенной севастопольским Советом 12 апреля листовке «Какой нам нужен мир?»:

«В последние дни в Севастополе горячо обсуждается вопрос о том, на каких условиях мы можем заключить мир, и главное, нужны ли нам Босфор и Дарданеллы… Во время нашей войны с Японией Германия заставила нас под угрозой войны заключить торговый договор, по которому мы уплачивали немцам миллиардную контрибуцию… А на Босфоре и Дарданеллах немцы поставили своих офицеров, генерала Сандерса, свои пушки, свой флот: Гебена и Бреслау. Без шуму и крику немцы заняли выход из русского Черного моря и надели удавку на шею России… Война началась от того, что: 1) немцы хотели нас поработить постепенным захватом земель, торговым договором, влиянием на всю нашу жизнь, внося всюду деспотизм и рабство; 2) немцы заставляли нас тратить одну треть всех народных денег на военные нужды; 3) немцы, захватив Босфор, надели нам удавку на шею…»

Авторы обращения апеллируют почти к тем же меркантильным чувствам, что и революционеры-экстремисты. В оборонческом лагере раздавались, конечно, и слова о верности долгу, о сохранении союза с другими державами Антанты, но наряду с ними, как видно из процитированного, народу объяснялось, что экономические тяготы в значительной степени связаны с германской политикой, что ставшие на митингах пресловутыми Дарданеллы нужны не министру Временного Правительства Милюкову, а России, для которой немецкий контроль над проливами является «удавкой», и проч. Нельзя сказать, чтобы эта пропаганда не находила сочувственного отклика: команды боевых кораблей выносили резолюции о том,

что «Боспор и Дарданеллы нужны России во имя ее свободы, международной справедливости и мира на Ближнем Востоке», и требовали: «Нам нужен свободный выход из Черного моря». И все же Колчак предпочитал занимать матросские умы не листовками и резолюциями, а непосредственным выполнением служебных обязанностей, для чего стремился почаще выводить флот в боевые операции (эффективность этой меры признавал впоследствии один из матросов-большевиков: «Частые походы отрывали массы от политики…»).

В общем, это сочетание разносторонней пропаганды и боевой активности пока еще импонировало матросам, не только поддерживая уважение к адмиралу, но и побуждая приписывать ему поступки, совершенно немыслимые для Александра Васильевича: «Может, опять Миколашку наговорить хотят?» – передает современник матросские пересуды о совещании командного состава. – «Н-но, браток, там сам Колчак!» – «А что тебе Колчак?» – «Н-но, браток, Колчак не даст. Колчак сам в есеры записался!»

К социалистам-революционерам адмирал, конечно же, не примкнул, хотя деятельность этой партии на Черном море, где она имела немалое влияние, считал вполне терпимой и небесполезной: заманчивые для крестьянского уха слова о «земле и воле» местные вожди эсеров сочетали с твердой позицией «революционного оборончества». В свою очередь, флот сам был близок к тому, чтобы становиться «элементом порядка», и это подчас выглядело неожиданно. Офицер Черноморской дивизии не без удивления отмечал: «… Та самая матросская буйная вольница, которую все боялись в мирное время, пьяная, гульливая и задорная, теперь действительно еще держала “знамя Революции”… и, сколько можно было требовать после революции, – добросовестно несла службу».

И все же, очевидно, чувствуя слабость и государственной власти, и «общественной» власти доминирующих политических течений, – Колчак в том же апреле говорил новому военному и морскому министру Гучкову, объезжавшему фронт и посетившему, в частности, Одессу (где с ним и встретился Командующий флотом), «о начавшемся разложении» и о том, «что если этот процесс будет продолжаться, мы долго не продержимся». За разговором последовал вызов в столицу, где наихудшие подозрения только упрочились.

В Петрограде Гучков предложил Александру Васильевичу принять командование уже разложившимся Балтийским флотом, матросы которого пребывали, судя по всему, в состоянии духа, пограничном между наглым сознанием вседозволенности и

страхом воздаяния за многочисленные убийства, совершенные ими в кровавые февральские дни: достаточно сказать, что захватившая власть в Кронштадте толпа всеми силами сопротивлялась попыткам взять что-либо из запасов крепости для укрепления оборонительной позиции, ибо все время ожидала «осады со стороны реакционной гидры». Как рассказывал впоследствии Колчак, Гучкову он ответил, «что в Черноморском флоте – разложение, подобное разложению в Балтийском флоте, – вопрос ближайших дней, и что едва ли мое назначение в Балтийский флот чему-нибудь поможет, но что я готов подчиниться приказу Гучкова, если это необходимо».

Сложно сказать, действительно ли адмирал был настроен столь пессимистически или тут сказался ретроспективный взгляд, знание того, как развивались события далее. Но возможно, что Александр Васильевич воспроизвел свои слова максимально точно, а вывод о печальном и недалеком финале Черноморского флота родился у него спонтанно, под влиянием столичных новостей. Правительство не могло справиться с дикой анархией, развивавшейся в непосредственной близости и угрожавшей самому его, правительства, существованию, – так стоило ли строить какие-либо надежды на то, что процесс умирания государства остановится где-то на полпути и не дойдет до Черного моря?!

Пытаясь лучше понять политическую обстановку, Колчак направился к Родзянко – тому самому «председателю Временного комитета Государственной Думы», который в дни крушения Империи с барабанной самоуверенностью утверждал, что контролирует все происходящее, и призывал командующих флотами подчиниться ему. Теперь Родзянко не нашел ничего лучшего, чем направить адмирала к Г.В.Плеханову, старому марксисту, во время Великой войны бывшему эмигрантом-«оборонцем», а после Февраля вернувшемуся в Россию. Плеханов растерянно объяснил, «что происходит чисто стихийный процесс брожения среди масс, что бороться с ним очень трудно и едва ли партийные группы здесь что-нибудь могут сделать», – а после ухода Колчака рассказывал своим единомышленникам о состоявшейся беседе в довольно юмористическом тоне:

«Он мне очень понравился. Видно, что в своей области молодец. Храбр, энергичен, не глуп. В первые же дни революции стал на ее сторону и сумел сохранить порядок в Черноморском флоте и поладить с матросами. Но в политике – он, видимо, совсем не повинен. Прямо в смущение привел меня своею развязной беззаботностью. Вошел бодро, по-военному, и вдруг

говорит: “Счел своим долгом представиться Вам как старейшему представителю партии социалистов-революционеров… ” Войдите в мое положение! Это я-то социалист-революционер! Я попробовал внести поправку: “Благодарю, очень рад. Но позвольте Вам заметить… ” Однако Колчак, не умолкая, отчеканил: “… представителю партии социалистов-революционеров. Я – моряк, партийными программами не интересуюсь. Знаю, что у нас во флоте среди матросов есть две партии: социалистов-революционеров и социал-демократов. Видел их прокламации. В чем разница – не разбираюсь, но предпочитаю социалистов-революционеров, так как они – патриоты. Социал-демократы же не любят отечества, и, кроме того, среди них очень много жидов… ” Я впал в полное недоумение после такого приветствия и с самой любезной кротостью постарался вывести своего собеседника из заблуждения. Сказал ему, что я – не только не социал-революционер, но даже известен как противник этой партии, сломавший немало копий в идейной борьбе с нею… Сказал, что принадлежу именно к нелюбимым им социал-демократам и, несмотря на это – не жид, а русский дворянин и очень люблю свое отечество. Колчак нисколько не смутился. Посмотрел на меня с любопытством, пробормотал что-то вроде: ну, это не важно, и начал рассказывать живо, интересно и умно о Черноморском флоте, о его состоянии и боевых задачах. Очень хорошо рассказывал. Наверное, дельный адмирал. Только уж очень слаб в политике…»

Несмотря на несколько снисходительный тон, рассказ Плеханова представляется чрезвычайно важным для характеристики Колчака. Вряд ли Александр Васильевич испытывал какое-либо расположение к социалистам, осведомленность же об их разделении на социал-демократов и социал-революционеров, как видим, и вовсе считал для себя совершенно излишней роскошью, однако дело было не в этом. Наверное, адмирал смог бы не менее иронично, чем Плеханов, изложить содержание разговора, но уже со своей точки зрения, для которой оттенки программ и количество сломанных копий «в идейной борьбе» безусловно отступали на задний план при виде разверзшейся под ногами пропасти. Теперь спасти Россию могла только горячая и действенная любовь к ней – и в словах Плеханова для Колчака, очевидно, «любви к отечеству» оказывалось достаточно, остальное же безусловно относилось к разряду «ну, это не важно». Однако социалистический патриотизм оказывался бессильным, неспособным, а то и не желающим обуздать анархию, ибо отвлеченные принципы «свободы» и

рабское, догматическое преклонение перед «инициативой» или хотя бы «стихийным брожением» пресловутых «масс» становились для него важнее, чем угроза живому национально-государственному организму России.

Еще хуже было то, что подобную позицию заняли и некоторые члены Временного Правительства, а остальные не посмели им противиться. В этом Колчак должен был убедиться на очередном заседании Совета министров, проходившем под вопли вооруженной толпы, манифестировавшей по улицам Петрограда с требованиями отставки Милюкова и Гучкова. Генерал Л.Г.Корнилов, Главнокомандующий войсками столичного округа (назначенный еще Государем в последние часы перед отречением), настаивал на решительном отпоре вооруженной рукою, и Гучков как будто также склонялся к этой идее, но…

«Когда эта манифестация апрельская принимала все более грозный вид, – рассказывал бывший военный министр, – у меня состоялось заседание Временного правительства, где я доложил положение дел и очень спокойно заявил… что, если будет вооруженное вторжение – мы даем вооруженный отпор… Коновалов (министр торговли и промышленности. – А.К.) подошел ко мне и громко говорит: “Александр Иванович, я вас предупреждаю, что первая пролитая кровь – и я ухожу в отставку”. Подошел Терещенко (министр финансов. – А.К.) и сказал то же самое. А я все говорил – мы не нападаем, а на нас нападают…

… У меня от соприкосновения с кн[язем] Львовым получилось впечатление, что он неисправимый непротивленец, он крепко верил, что все это стихийное само собой уляжется, что известные добрые качества, здравый смысл заложен в русской народной массе, что он в конце концов возьмет верх, эксцессы связаны с бурным весенним потоком, а потом спокойно потечет… Другое – просто физическая трусость. Вот если бы кто другой подавил движение… но сами участвовать в этом, принимать на себя ответственность!»

Одной этой сцены уже было бы довольно для такого экспансивного и легко выходящего из равновесия человека, как Александр Васильевич; однако на этом дело не кончилось. Следующие дни прошли в разъездах: сначала во Псков на совещание высшего командования, созванное Алексеевым (Временное Правительство принудило Великого Князя отказаться от должности Верховного Главнокомандующего, и теперь ее занимал бывший начальник штаба Ставки); затем – обратно в Петроград, куда прибыл и Алексеев, на обсуждение проекта «Декларации прав солдата»; и всюду можно было услышать

только удручающие новости.

«… Общее мнение было такое, – вспоминал Колчак, – что ожидавшийся от революции подъем энтузиазма в войсках не произошел… что развал неудержимо растет, что дальше продолжать войну при таких условиях крайне трудно, но продолжать ее необходимо, тем более что приняты определенные обязательства перед союзниками, а прекращение войны с Германией со стороны России повлечет разгром союзников, а затем и тяжкие условия мира для России». Сразу заметим, что последнее соображение представляется совершенно правильным: если об условиях сепаратного мира с Российской Империей, согласись на него русский Государь, еще можно было спорить, то разговор с дезорганизованной после-Февральской Россией был бы совсем другим (Брест-Литовский мир менее года спустя наглядно покажет неумеренность германских аппетитов и стремление немцев к расчленению России). Итак, воевать было нужно… но как можно было воевать в подобных условиях?

«Декларация прав солдата» открыто вносила в ряды армии политическую рознь: разрешение членства в «любой политической, национальной, религиозной, экономической или профессиональной организации, обществе или союзе», свобода агитации и пропаганды (в том числе антивоенной и сепаратистской) и тому подобные новшества заставляли охарактеризовать этот документ однозначно: «Декларация – последний гвоздь, вбиваемый в гроб, уготованный для русской армии». Неудивительно поэтому, что обсуждение ее проекта запомнилось Колчаку как «очень короткое»: «В самом начале чтения проекта встал генерал Алексеев и заявил, что он не может обсуждать вопросы, как окончательно разложить армию, и что поэтому отказывается слушать далее проект. После этого все присутствующие, тоже поднявшись с мест, заявили, что отказываются обсуждать этот документ, присоединились к мнению ген[ерала] Алексеева. На этом чтение документа кончилось, кончилось и само совещание». Увы, кроме Алексеева – честного и прямого, хотя и не обладавшего достаточной решительностью и силою воли, – в армии хватало генералов-оппортунистов, и в мае декларация была опубликована в качестве государственного акта. Сделал это уже новый министр, сменивший ушедшего в отставку Гучкова, – А.Ф.Керенский, адвокат и почему-то член петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Колчак же к тому времени в ответ на попытку выяснить, состоится ли все-таки его назначение Командующим Балтийским флотом, получил распоряжение «возвратиться на Черное море».

Интересно, что незадолго до этого Гучков обдумывал возможность и более высокого назначения Александра Васильевича – на пост управляющего морским министерством, но опасался, не повлечет ли уход адмирала с Черного моря ухудшения обстановки там. «Я лично остановился бы на Колчаке… – вспоминает бывший министр. – С самого начала я подумал, что без гражданской войны и контрреволюции мы не обойдемся, и в числе лиц, которые могли бы возглавить движение, мог быть Колчак». Но в конце концов изо всех возможных решений Гучков выбрал, в сущности, не являвшееся решением: возвращение Александра Васильевича на Юг при продолжавшемся развале центра вряд ли могло изменить что бы то ни было…

Чувствовал это, кажется, и Колчак, позднее говоривший, что Гучков «лучше других понимал создавшееся положение вещей, но также не находил средств борьбы с ним». Единомышленниками Александр Васильевич считал не военного министра (сколько бы тот впоследствии ни расписывал собственную прозорливость и намерение подготавливать контрреволюцию еще весною 1917-го) и его коллег по кабинету, а совсем других людей: «Среди военных кругов раздавались голоса, что нужно поставить физический предел движению против войны и что вооруженных сил для борьбы с этим движением путем репрессий у правительства было еще достаточно; такое мнение высказывал Корнилов, его разделял я, и думаю, что тогда, в апреле 1917 г. [34], это было еще возможно…» Но подобные планы оказывались невыполнимыми, коль скоро военачальники сохраняли лояльность государственной власти, не желая еще одного раскола общества и теперь уже неминуемой эскалации гражданской войны, – власть же предавала военачальников на каждом шагу, причем было совершенно неважно, делалось ли это из слабости, прекраснодушия или по злому умыслу. Характерным был рассказ генерала Крымова, в первые дни революции вызванного в столицу: «Я предлагал им в два дня расчистить Петроград одной дивизией – конечно, не без кровопролития… Ни за что: Гучков не согласен, Львов за голову хватается: “помилуйте, это вызвало бы такие потрясения!” Будет хуже…»

Как же тут было бороться?! И хотя капитулировать перед обстоятельствами адмирал Колчак отнюдь не собирался, а приспособленчество к меняющимся настроениям черни было для него, наверное, органически невозможно, хотя надежды удержать Черноморский флот под своим контролем он еще не оставил, – у Александра Васильевича в эти дни, конечно, было очень тяжело на душе. Дополнительный удар нанес генерал Алексеев, когда

Колчак попробовал заговорить с ним о перспективах босфорской операции. Возможный ответ он, наверное, мог предугадать и сам, но Алексеев как будто нарочно облек этот ответ в наиболее жесткую форму: «… Во всей армии нет полка, – сказал старый генерал, – в котором я мог бы быть уверен, и Вы сами не можете быть уверены в своем флоте, что он при настоящих условиях выполнит Ваши приказания». Крест ставился на мечте, после памятного разговора с Государем владевшей Колчаком; шла прахом многомесячная работа; горизонты были еще более мрачными; почувствовавший унизительное бессилие адмирал теперь с гораздо бóльшим основанием, чем после гибели «Императрицы Марии», мог считать себя опозоренным, а честь свою – уязвленной… И именно в эти дни он лишился поддержки, на которую, быть может, надеялся.

… Осенний кризис в отношениях между Колчаком и Тимиревой, видимо, тогда не был до конца преодолен. Еще в январе Анна Васильевна писала в Севастополь о недавнем послании адмирала, которое произвело на нее впечатление «какой-то тайной (вернее, довольно явной) горечи». Судить о неизвестном нам письме по ответу всегда довольно трудно, но упомянутое в ответе «обещание» Александра Васильевича «быть более осторожным и осмотрительным в выражении своих мыслей», оценка Колчаком получаемых им писем как «милостивого снисхождения» и в особенности больно задевшая Анну Васильевну фраза «это очень удобная форма отношений – ни к чему не обязывает и может даже доставить удовольствие, как проявление великодушия, тому, кто его оказывает» – более чем красноречивы. Воздержимся от попыток реконструировать мысли и чувства адмирала в столь деликатной области, однако трудно не заметить, что процитированное весьма похоже на попытку оттолкнуть Тимиреву и положить конец их роману в письмах.

Сложно также представить себе реакцию Колчака на такие, например, строки об убитых в Гельсингфорсе и Кронштадте морских офицерах в письме Тимиревой от 5 марта: «Стараешься убедить себя, что все это “частные случаи”, что без этого не могло обойтись, – но когда эти “частные случаи” касаются людей, кот[орых] знаешь и хорошо относишься, то это очень маленькое утешение» (напомним, что нам неизвестно, считал ли адмирал мятеж в столице настолько же необходимым и благотворным, как его собеседница). Да и в дальнейшем у Анны Васильевны проскальзывают фразы, которые выглядят по меньшей мере недостаточно тактичными: «Жизнь здесь идет, как всегда; за последнюю неделю застрелились на крейсерах 2 молодых офицера, один на “Баяне” у Сергея Николаевича [Тимирева].

Кажется, это начинает входить в моду во флоте» (письмо от 12 мая). Конечно, в подобные формы иногда облекается и горечь, и даже отчаяние, но Колчака все-таки можно было бы, наверное, избавить от подобных слов о его боевых товарищах.

Но, как бы то ни было, в апреле, будучи в Петрограде, адмирал не смог удержаться от встречи с Анной Васильевной. Она произошла накануне того совещания, на котором Колчак услышал от Алексеева, по сути дела, приговор состоянию армии и флота; произошла уже после разнообразных, но равно тяжелых переживаний, связанных с обстановкой в столице и правительстве; но долгожданная встреча эта, о которой обоими в письмах было сказано немало хороших слов, обманула надежды – по крайней мере, надежды Александра Васильевича.

«Я был у Вас, но я не имел возможности сказать Вам хоть несколько слов, что́ я ожидаю и какое значение имеет для меня следующий день», – напишет потом Колчак. После совещания он снова сделал попытку встретиться, и снова попытка оказалась неудачной. Возможно, Александр Васильевич просто приехал не вовремя, – но встреча обернулась для него новым ударом. «Если бы Вы могли уделить мне пять минут, – пишет Колчак, – во время которых я просто сказал бы Вам, что́ я думаю и что́ переживаю, и Вы ответили бы мне – хоть: “Вы ошибаетесь, то, что Вы думаете, – это неверно, я жалею Вас, но я не ставлю в вину Вам крушение Ваших планов”, – я уехал бы с прежним обожанием и верой в Вас, Анна Васильевна. Но случилось так, что это было невозможно. Ведь только от Вас, [–] и ни от кого больше мне не надо было в эти минуты отчаяния и горя – помощи, которую бы Вы могли мне оказать двумя-тремя словами. Я уехал от Вас, у меня не было слов сказать Вам что-либо». Не найдя для Александра Васильевича «пяти минут», «двух-трех слов», Тимирева не приехала и проводить его на вокзал, хотя «мысль» об этом у нее была.

«Я ведь ждал Вас, – с болью пишет Колчак, – не знаю почему, мне казалось, что Вы сжалитесь надо мной, ждал до последнего звонка. Отчего этого не случилось? – я не испытывал бы и не переживал бы такого горя. И вот Вы говорите, что я грубо и жестоко отвернулся от Вас в этот день. Да я сам переживал гораздо худшее, видя, может быть неправильно, что я после гибели своих планов и военных задач Вам более не нужен».

Было ли это проявлением необоснованной, чрезмерной и даже, пожалуй, болезненной мнительности адмирала? Наверное, да, – но не забудем, что Анна Васильевна уже знала о возможности подобных его переживаний… и все-таки не смогла поддержать Колчака в апрельские дни так, как старалась она его поддержать полгода назад, в октябре – ноябре.

«Из Петрограда, – писал Александр Васильевич 4 мая в черновике письма, скорее всего, не отправленного, – я уехал с твердой уверенностью в неизбежности государственной катастрофы и признанием несостоятельности военно-политической задачи, определившей весь смысл и содержание моей работы. Одного этого достаточно, но если прибавить к этому совершенно отрицательное положение тех немногих личных вопросов, выходивших за пределы моей служебной деятельности командующего флотом, то предоставляю судить, в каком состоянии я уехал из Петрограда, имея 2 $^{1}/_{2}$суток почти обязательного безделья в своем вагоне-салоне».

Что́ было в том единственном письме, которое Колчак отправил-таки из Севастополя, нам неизвестно. «Оно ужасно», – писала 13 мая в ответ Анна Васильевна. – «… Оно напоминает мне другое Ваше письмо, написанное с той же, я бы сказала, жесткостью и враждебностью в очень тяжелые для Вас дни, когда Вы и вообще хотели прекратить нашу переписку». Доброе и участливое, хотя и проникнутое неизбежной горечью обиды, письмо Тимиревой говорило, однако, лишь об «ужасном настроении», в котором писал ей Колчак, и о «причинах, вызывающих его», но вряд ли среди этих причин числилось то взаимное непонимание, которое имело место в Петрограде. Не стоит поэтому удивляться, что эффект этого письма был обратным тому, на который, должно быть, надеялась Анна Васильевна. И можно только догадываться о переживаниях адмирала, выводившего в очередном (отброшенном впоследствии) черновике:

«Ваше письмо от 12/13 мая, в коем Вы изволите выразить мнение свое о создавшейся новой фазе наших отношений и высказываете благопожелания о благополучном разрешении возникших эвентуально положений, я прочел с величайшим вниманием и обдумал, насколько возможно, объективно и беспристрастно сущность последних.

Поэтому некоторое опоздание в ответе может быть не поставлено мне в большую вину и даже не осуждаемо строго ввиду крайней серьезности, с которой я признал необходимым отнестись к почтенным словам Вашим, определившим несколько дней, потребных для правильного суждения поставленных Вами вопросов…»

А в другом черновике Александр Васильевич отвечает на «вопросы» уже без этой убийственной и якобы холодной иронии, но с отнюдь не меньшей болью:

«1) “Правда ли, что наша переписка потеряла для меня совсем прежнюю ценность?”

Да, ее ценность и значение счастья, радости и лучшего, что я имел, теперь утратились.

2) “Какой смысл в этих письмах и какая в них радость?” В моих письмах нет и не может теперь быть ни смысла, ни радости.

3) “… Лучше прекратить ее (переписку) совсем, чем писать, принуждая себя к этому”.

… “Прекратить переписку с Вами”, но дело в том, что выговорить или написать [эти] слова мне представляется даже теперь невероятною болью; если того, что я пережил за прошедший месяц, мало, то пускай будет и это. Раз Вы спрашиваете, то мне остается только идти навстречу, и, как ни тяжело и больно, я отвечу: лучше прекратить».

… К чему мы уделяем столько места описанию личных переживаний Александра Васильевича, которые, быть может, тактичнее было бы обойти молчанием? Дело в том, что без них нельзя понять общего его состояния, а значит – и воздать должное той борьбе, которую он, адмирал и Командующий, возобновил сразу же по прибытии в Севастополь, после тех самых «двух с половиною дней» одинокого отчаяния в вагоне поезда.

«… Вот уже месяц, как я совершенно вышел из сколько-нибудь нормального состояния, – записывает он 22 мая [35]. – Не надо забывать, что я еще командую флотом, я очень занят, все время выполнял операции и выходил в море, – я почти не могу спать; прибавьте всеобщий бедлам и непрерывную возню с преступными кретинами… Временами мною овладевает полнейшее равнодушие и безразличие ко всему – я часами могу сидеть в каком-то странном состоянии, похожем на сон, когда решительно ни о чем не думаешь, нет ни мыслей, ни волнений, ни желаний. Надо невероятное усилие воли, чтобы принудить себя в это время что-нибудь делать, решать, приказывать…»

Чего стоила Александру Васильевичу необходимость «решать и приказывать», и как он преодолевал вдруг появившуюся душевную пустоту, – или приходила к нему горькая сила одинокого человека, ощутившего крушение всех надежд и потерю всего, что было смыслом его жизни? – мы никогда уже не узнаем. Но «решать и приказывать» приходилось, и для большинства окружающих он оставался все тем же Колчаком, «железным адмиралом», только что-то менялось в лице, и внимательный наблюдатель отмечал, как брови его «слагались в страдальческий, невыносимо страдальческий треугольник». И, не столько решая или приказывая, но все же как человек, власть имеющий, – адмирал 25 апреля созвал в громадном здании севастопольского цирка собрание членов Офицерского союза Черноморского флота, а также делегатов от матросов, солдат и рабочих, дабы сказать им

то, что не было приятным для революционеров и утешительным для контрреволюционеров, но что сказать было необходимо, ибо слишком редко в революционные дни говорят правду.

Ни слова лести, ни одного реверанса в сторону Временного Правительства, ни намека на попытку приспособиться (хотя бы и из самых благих побуждений!) к господствующим в «освобожденной России» настроениям не было в словах адмирала. «Я хочу сказать флоту Черного моря о действительном положении нашего флота и армии, о том, что́ из такого положения вытекает, как нечто совершенно определившееся, и какие последствия влечет это положение в ближайшем будущем. Я буду говорить об очень тяжелых и печальных вещах, и я долго думал, говорить ли о них совершенно откровенно, так как многих слабых людей это сообщение могло бы привести в состояние, близкое к отчаянию, к представлению, что все потеряно и выхода из создавшегося положения нет. Но я не буду считаться с ними – я буду говорить для сильных и твердых людей, способных хладнокровно и спокойно смотреть в глаза надвигающейся катастрофе, обдумать и взвесить ее значение, а затем делом и поступками ее предотвратить», – такова принципиальная позиция адмирала, и она сохранится до конца, в течение всех грядущих смутных лет России, которой и полтора года спустя, уже Верховным Правителем, он не сможет предложить ничего, кроме тернистого пути «труда и жертв».

Колчак ставит диагноз: «Мы стоим перед распадом и уничтожением нашей вооруженной силы во время мировой войны, когда решается участь и судьба народов оружием и только при его посредстве. Причины такого положения лежат в уничтожении дисциплины и [в] дезорганизации вооруженной силы и последующей возможности управления ею или командования». Колчак предупреждает: «… Явление дезорганизации комсостава, крайняя трудность и даже невозможность военной работы, удаление и вынужденный уход многих опытных начальников и офицеров, лучшие из которых ищут места в армиях наших союзников для выполнения долга перед Родиной, с одной стороны, и явления сношения с неприятелем и дезертирство, с другой, создают грозные перспективы в будущем». Колчак обличает: «Жалкое недомыслие, глубокое невежество, при полном отсутствии военной дисциплины, сознания долга и чести, вызвали это “братание” (с противником на сухопутном фронте. – А.К.)…» Колчак ставит слушателей перед альтернативой: «… Если дух армии изменится в лучшую сторону, если мы сумеем создать в ближайшие дни дисциплину, восстановить организацию и дать возможность

комсоставу заняться оперативной работой, мы выйдем из предстоящих испытаний достойным образом. Если же мы будем продолжать идти по тому пути, на который наша армия и флот вступили, то нас ждет поражение со всеми проистекающими из этого последствиями». Колчак иронизирует: «Суждения обитателей, собравшихся в горящем доме, о вопросах порядка следующего дня приходится признать несколько академичными». Колчак убеждает: «Текущая война есть в настоящее время для всего мира дело гораздо большей важности, чем наша великая революция. Обидно это или нет для нашего самолюбия, но это так, и, совершив государственный переворот, нам надо прежде всего подумать и заняться войной, отложив обсуждение не только мировых вопросов, но и большинство внутренних реформ до ее окончания». Наконец, Колчак указывает выход: «Первая забота – это восстановление духа и боевой мощи тех частей армии и флота, которые ее утратили, это путь дисциплины и организации, а для этого надо прекратить немедленно доморощенные реформы, основанные на самомнении и невежестве»…

Но был ли услышан адмирал Колчак?

Глава 6
Изгнание

На первый взгляд казалось, что Колчак одержал бесспорную победу, последствия которой, наверное, многим представлялись тогда необратимыми. Нечто подобное прозвучало даже в письме самого адмирала, написанном 30 мая: «Мне удалось поднять дух во флоте, и результатом явилась Черноморская делегация, которую правительство и общество оценило как акт государственного значения. Против меня повелась кампания – я не колеблясь принял ее и при первом же столкновении поставил на карту все – я выиграл: правительство, высшее командование, Совет Р[абочих] и С[олдатских] Д[епутатов] и почти все политические круги стали немедленно на мою сторону». Действительно, продемонстрированное на собрании в севастопольском цирке единство офицерства, матросской массы и городских представителей, готовность сформировать делегацию, которая донесла бы и до остальной страны идею национального единства во имя победы, – могли вселить долю уверенности и в душу Александра Васильевича, вообще склонявшегося, как мы знаем, к пессимистическим прогнозам и к тому же переживавшего личную драму. Современники же рисовали еще более впечатляющую картину.

«Горячая речь Колчака, – рассказывает капитан 2-го ранга Лукин, – дышала такой искренностью, таким страданием, что невольно западала в душу. Его смелые, страстные слова, напоминание о забытой [36]России, униженной и оскорбленной, захватили цирк. Глаза и уши пожирали его. Напряжение нервов достигло апогея.

Когда же Колчак в конце своей речи обратился к Черноморскому флоту с призывом подняться как один за Россию, – весь цирк вскочил. Поднялось нечто невообразимое. Все бросились к ложе Колчака…

– Да здравствует Россия! На фронт! На фронт!»

Лукина можно заподозрить в предвзятости, идеализации, излишней восторженности; но и советский писатель А.Г.Малышкин, в 1917 году после окончания школы прапорщиков служивший в Севастополе, рассказывает примерно о том же, только с «идеологически-выдержанными» комментариями:

«Потом на помост, рядом с адмиралом, ворвался чернобородый, разбойничьего вида, в матросском синем воротнике, свирепо грохнул кулаком о перила:

– Товарищи, прекратим трение по данному вопросу. Будя нам канат травить! Холосуй! И да здравствует наш верный батька, адмирал Колчак. Усе!

И руки, сотни рук выхлестнулись в воздух с восторженным хрустом, недвижно реяли растопыренными пятернями все время, пока адмирал шествовал к выходу, осененный ими, как знаменами. Это голосовали не только делегаты кораблей и батарей. Тут голосовала сама вольготная матросская жисть, лентяйное полеживание на синем теплом бережку, прибавка к жалованью, борщ, в котором ложка торчит стоймя, бульвары с музыкой, а на бульварах баловливая, к матросу падкая бабья сласть.

И как тут было не голосовать, если дыхание давилось от яростной, грудь распирающей гордости! Адмирал знал, чем воспламенить матросское, избалованное морем и бульварами воображение. Черноморский флот, только один Черноморский флот может еще мужественной рукой поддержать родину на краю жуткой бездны, вернуть на путь счастья и славы. Завтра же нужно выбрать делегатов для дела всероссийской важности, послать их на самые ненадежные участки фронта, в гибнущий Кронштадт, в Петроград, на фабрики, в казармы. Делегаты должны всюду сказать: “Черноморский флот – вот он: офицер об руку с матросом зовет вас очнуться от безумия, сплотить расколотые врагом ряды во имя великих идеалов революции, во имя свободы, равенства и братства!” Роль флота обретала потрясающие исторические масштабы. Севастополь готовился стать для России второй собирательницей Москвой. Будущее могло быть чудеснее Босфора…»

Малышкин, не задумываясь, смешивает борщ и патриотизм; но эффект речи Колчака, конечно, не был обусловлен какими бы то ни было «бытовыми» соображениями. Мы уже видели, что командование в своей пропаганде обращалось и к «материальным», «экономическим» аргументам, – однако сейчас адмирал говорил слова суровые и жестокие, которые на шкурников, весь мир оценивающих с точки зрения качества борща, влияния иметь как раз не могли. Несправедлив и огульный упрек в безмятежном бездействии флота, поскольку боевые операции, всегда сопряженные с риском, были явлением достаточно частым, чтобы не давать командам облениться на берегу. А значит, энтузиазм был неподдельным, и одним из примеров его было воззвание команды линейного корабля «Георгий Победоносец», на котором (за исключением боевых походов) располагался штаб Колчака:

«Положение дел в Петрограде, на фронте (и в Балтийском

флоте), судя по докладу адмирала Колчака, признано угрожающим нашей свободе и родине. Необходимо сейчас же, не медля ни одного часа, ни одной минуты, ибо медлить в этот тяжкий момент – величайшее преступление перед родиной, – сплотиться во имя организации порядка и поднятия дисциплины, отбросив все личные и партийные счеты… Поэтому судовой комитет корабля “Георгий Победоносец” полагает: 1) всем кораблям и частям Черноморского флота и севастопольского гарнизона присоединиться к нам; 2) отправить телеграмму Временному Правительству и Совету Рабочих и Солдатских депутатов с просьбой принять, не медля, меры для организации порядка, поднятия дисциплины и обуздания лиц, подобных Ленину, агитирующих против Временного Правительства и требующих сепаратного мира; 3) просить севастопольский военно-исполнительный комитет, совет депутатов армии и флота [и] рабочих о прекращении вредной деятельности лиц, проповедующих сепаратный мир, и 4) послать представителей в Петроград, в Балтийский флот и на фронт с призывом сплотиться для отражения коварного и грозного врага и для всемерной поддержки союзников в борьбе с Германией».

Голос из Севастополя прозвучал достаточно громко, и эхо его прокатилось по всей стране. Заволновались балтийские «братишки», уязвленные обвинениями в трусости и потворстве изменникам, и 4 мая принимается постановление команды линейного корабля с тем же – уже ставшим символическим! – названием «Севастополь», через две с половиной недели единогласно подхваченное «общим собранием команд судов морских сил Рижского залива»: «Единственная сила, могущая спасти страну и вывести ее на светлый путь, есть сознание ответственности каждого из нас без исключения за каждое слово и за каждое действие»; «просить Петроградский Совет солдатских и рабочих депутатов обратиться с более ясным и категорическим воззванием к армии для прекращения братания»; «считать врагами родины и свободы тех, кто кричит: “долой войну во что бы то ни стало” и “долой правительство”, и их лозунги [–] провокационными»; «очистить родину от шпионов и провокаторов»; «чтобы предотвратить гражданскую войну, не допустить формирования “Красной гвардии”, так как существование ее выражало бы недоверие к революционной армии и флоту», и проч. На поддержку и воодушевление этих здоровых сил, на борьбу с пораженчеством и политическим экстремизмом и направил адмирал Колчак свою «Черноморскую делегацию».

Генерал Верховский определяет ее численность в «26

офицеров и 171 матросов и солдат», более точный же подсчет дает 28 офицеров, 14 кондукторов, 78 матросов, 41 солдата, 23 рабочих и 6 делегатов от Совдепа (в середине мая к ним добавилось еще сто человек). «Люди, которые едут, – писал Верховский, – полны горячей любви к родине, полны желания смыть тот позор измены, который теперь навис над нами. Они полны решимости идти в атаку с первыми штурмующими линиями, чтобы своим примером зажечь энтузиазм и увлечь малодушных». В то же время полагаться исключительно на порыв и стихийные чувства матросской массы Командующий Черноморским флотом тоже не собирался, – а взгляды его на методы пропаганды до известной степени иллюстрирует история «матроса 2-й статьи Федора Баткина».

«По происхождению – еврей; по партийной принадлежности – соц[иалист]-рев[олюционер]; по ремеслу – агитатор, – писал о Баткине генерал Деникин. – В первые дни революции поступил добровольцем в Черноморский флот, через два, три дня был выбран в комитет, а еще через несколько дней ехал в Петроград в составе так называемой Черноморской делегации. С тех пор в столицах – на всевозможных съездах и собраниях, на фронте – на солдатских митингах раздавались речи Баткина. Направляемый и субсидируемый Ставкой, он сохранял известную свободу в трактовании политических тем и служил добросовестно, проводя идею “оборончества”».

По другим данным, адмирал зачислил Баткина во флот чуть ли не в день формирования Черноморской делегации, что представляет роль «матроса» еще менее самостоятельной. Впрочем, и здесь все не так прямолинейно и просто. Партийный агитатор, конечно, был агентом Колчака, однако Александр Васильевич выбрал на роль своего агента человека, обладавшего не только агитаторскими способностями.

С молодых лет увлекшись социалистическими идеями и революционной работой, будущий матрос еще до начала Великой войны был вынужден эмигрировать. В 1914 году он учился в Льежском политехническом университете, но после нападения Германии на нейтральную Бельгию не усидел на месте и поступил добровольцем в бельгийскую армию. Видеть ли в этом патриотическое «оборончество», желание личной причастности к борьбе против державы, враждебной России, или попросту авантюризм, – но в любом случае боевые ранения, после которых Баткина демобилизовали, для Колчака должны были безусловно свидетельствовать в его пользу и уж по крайней мере никак не вязались с укоренившимся стереотипом «ряженого матроса»: «… нашли присяжного поверенного, одели в клеш и возят: смотрите,

как у нас матросики красно говорят, какие они ре-во-лю-ционные!» Точно так же и в 1917 году Баткин не ограничился безопасными тыловыми митингами в Москве и Петрограде, отправился на фронт и был награжден Георгиевским крестом IV-й степени «за то, что своим присутствием внес подъем духа, вступив в ряды гренадер, и в тяжелый момент обходил окопы под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, воодушевляя солдат 13-го [37]Лейб-Гренадерского Эриванского полка». И все это характеризует не только Баткина как агента Колчака, но и Колчака, даже для пропагандистских задач выбравшего именно такого агента.

О командировках на фронт членов Черноморской делегации пишет и Лукин, по своему обыкновению быстро впадая в патетику: «Появление в окопах неведомых и невиданных доселе солдатами фронта людей в синих воротниках и георгиевских лентах на фуражках произвело ошеломляющее впечатление. Забытое имя – Россия [38]понеслось по окопам». Впрочем, тут же автор вынужден сделать печальное дополнение: «Потеря этих людей оказалась гибельной для Черноморского флота. Лишенный своего лучшего кадра, он уже не мог противостоять нахлынувшим на него демагогам и покатился в бездну». К аналогичному выводу приходит и адмирал Смирнов: «… Уход их из Черноморского флота ухудшил положение во флоте, так как подняли голову темные, разрушительные силы».

Отсюда как будто напрашивается вывод, что адмирал Колчак отправкой делегации не только не решил поставленной задачи (патриотический подъем имел характер всего лишь кратковременной эйфории), но и, ослабив флот, разрушил своеобразный иммунитет, что привело к роковым последствиям. В то же время говорить о возможности сохранения в лице Черноморского флота какого-то островка порядка и дисциплины посреди взбаламученной революционной стихии, конечно, тоже нельзя – его рано или поздно все равно захлестнули бы те же волны, что уже бушевали в Кронштадте и Петрограде. Колчак сделал крупную и рискованную ставку, но иных развернувшаяся игра уже не принимала.

Невозможно сегодня сказать, смогли бы (и как долго) солдаты, матросы, офицеры Черноморской делегации противостоять экстремистской и пораженческой пропаганде, останься они в Севастополе, где антигосударственные лозунги становились все агрессивнее. И вскоре помимо отмеченных генералом Верховским сожалений, «что революция здесь прошла “неправильно”, не то что у балтийцев. Без убийств офицеров какая же революция?» – сожалений пока еще отвлеченных, не

подталкивавших к конкретным действиям, – случилось нечто, на первый взгляд парадоксальное: «… Команда миноносца “Жаркий” выбросила своего блестящего, доблестного командира»… «за то, что он слишком храбр». Как же это могло случиться?

«Командой миноносца “Жаркий”, – рассказывает о тех же событиях Колчак, – было предъявлено требование, сопровождавшееся отказом выйти в море, сменить командира [старшего лейтенанта] Веселаго, с мотивом, что он слишком смел и рискует судном… Кончилось дело тем, что сам Весел[аго] заявил, что он не может более оставаться командиром, и просил его сместить, а я его просьбе уступил…» И вряд ли Александр Васильевич, с его «любовью к войне», мог представить себе что-либо более страшное. Во флоте – в его флоте! – торжествовала позорная трусость, и не было средств с нею бороться. Должно быть, подобные случаи сильнее прочих подталкивали его к тяжелому решению, которое было принято в связи с прискорбным, но все же не столь вопиющим фактом.

«Центральный комитет Совета депутатов армии, флота и рабочих в Севастополе, – телеграфировал адмирал Временному Правительству 12 мая, – за последнее время своей деятельностью сделал невозможным командование флотом…

Сегодня Центральный комитет потребовал от помощника Главного командира [Севастопольского] порта [генерала] Петрова исполнения не подтвержденных мною постановлений комитета и, получив от него отказ в исполнении таковых, арестовал его, несмотря на мое требование не делать этого. Считая, что этим поступком и рядом предшествовавших постановлений Центральный комитет вступил на путь не поддержания дисциплины и порядка во флоте, а разложения флота, при котором власть командования совершенно дискредитирована, причем я лишен возможности осуществлять управление флотом, прошу заменить меня другим лицом для командования флотом».

Улаживать конфликт взялся сам новый военный и морской министр Керенский, объезжавший фронт и прифронтовые военные округа. Побывав в Одессе, он направился в Севастополь, где приступил к деятельности, снискавшей ему титул «главноуговаривающего». Уговаривать пришлось обе стороны – и «революционную демократию», и Командующего флотом: «В Севастополе Керенский объезжал суда, говорил речи, но впечатления на команды сколько-нибудь серьезного, несмотря на хороший прием его командами, он не произвел, – рассказывает Колчак. – Однако сам он после этого говорил мне, что все должно уладиться, так как команды дают ему обещания выполнять

боевую работу, и опять просил меня остаться во флоте. Я согласился. После отъезда Керенского ничего не изменилось, а скоро начались уже серьезные события».

События были связаны с появлением 24 мая в Севастополе делегации балтийцев, представлявшей наиболее большевизированную часть матросской массы. Их речи, хоть и не сразу, начинали оказывать влияние на толпу, в революционные эпохи почти всегда взбудораженную и наэлектризованную. Перед лицом угрозы экстремизма на какое-то время одумался даже севастопольский комитет, склонный теперь скорее принимать сторону Колчака. А адмирал 4 июня телеграфировал в Петроград Керенскому:

«Не имевшая сначала успеха агитация большевиков, прибывших в Севастополь с депутацией балтийских матросов, в течение последних дней получила сильное распространение…

Прошу Вашего содействия [в том, чтобы] срочно направить в Севастополь выехавшие в Москву депутации от Волынского полка, партии “Единство”, беженцев из плена и других государственных социалистических партий».

Может показаться, что Командующий поступил нелогично, приглашая на Черное море петроградских «оборонцев» вместо того, чтобы вернуть свою делегацию, которой после пребывания на фронте, наверное, нашлось бы что сказать тыловым ораторам. Однако на самом деле Александр Васильевич, осознанно или неосознанно, пытался использовать очень важный психологический фактор, характерный для смутных времен: центр сопротивления не должен ощущать себя одиноким, противопоставленным остальной стране, поскольку такое ощущение действует обескураживающе и лишает воли к борьбе. Столичные союзники и должны были оказать недостающую моральную поддержку. Аналогичным образом будет рассуждать полгода спустя генерал А.М.Каледин, организуя сопротивление на Дону и прося у кубанского казачества хотя бы символической помощи: «Необходимо нашим казакам показать, что Кубань с нами… Необходимо получить для Ростова хотя бы два только пластунских батальона». Каледин не дождался помощи; не успела она и в Севастополь, предотвратить катастрофическое развитие событий, пережить которое Александру Васильевичу, должно быть, было бы намного труднее, не получи он другой помощи – уже неожиданной для него, но от этого едва ли не более ценной.

Известия о намерении адмирала оставить командование Черноморским флотом и о вызвавшей это решение ненормальной ситуации распространились довольно быстро, и 17 мая Анна Васильевна Тимирева написала ему взволнованное письмо, забыв

о произошедшей размолвке и беспокоясь лишь о том, как перенесет Колчак новые удары судьбы. «… Вы сами знаете, как бесконечно дороги Вы мне, как важно для меня все, что касается и происходит с Вами, как я жду, чем все разрешится. В конце концов, я знаю, что Вы сделаете то, что будет нужно и можно, а какие бы перемены ни происходили в Вашей жизни, что бы ни случилось с Вами, – для меня Вы все тот же, что всегда, лучший, единственный и любимый друг. Если Вы и уйдете из Черного моря, то я глубоко верю, что Вы найдете себе дело, быть может, большее, чем там», – писала она, и письмо пришло как раз вовремя. Получив его 29 мая, Колчак на следующий день с облегчением и радостью пишет в ответ: «… Я чувствую себя точно после тяжкой болезни – она еще не прошла, мгновенно такие вещи не проходят, но мне не так больно, и ощущение страшной усталости сменяет теперь все то, что я пережил за последние пять недель». Оба, как бы по молчаливому уговору, признали петроградское взаимное непонимание чем-то вроде недоразумения, и это, должно быть, было наилучшим выходом; наилучшим, ибо неизвестно, как бы вынес адмирал Колчак с его пятинедельной тяжестью на душе тот позор для Черноморского флота, который обрушился на него 6–7 июня.

Уже в предшествующие дни митинги в Севастополе – неотъемлемый признак революции – становились все агрессивнее. «… Какие-то неизвестные[,] для меня посторонние люди выступали с речами против войны и за ее прекращение, как выгодной только определенному классу, – рассказывает Александр Васильевич. – Затронут был и я – выдвинуто было и обвинение меня в том, что я – аграрий (земельный собственник. – А.К.). Я взял слово и опровергал это обвинение, указывая на то, что никакого недвижимого имущества у меня нет, а вся движимость погибла в Либаве [39], что у меня ничего, кроме того, что находится в каюте, нет». Конкретные обвинения в адрес конкретных лиц вообще нередко оказывались слишком легко опровергаемыми, но самое страшное заключалось в том, что как ораторам, так и внимавшей им толпе были вовсе не нужны подлинные факты – для принятия решений, в том числе самых радикальных, вполне хватало чего-то голословного, но звучного и хлесткого.

«Уполномоченные митинга обвиняют офицеров в том, что они втайне мечтают о возврате к старому», – излагали вывод ночного сборища, состоявшегося 6 июня и насчитывавшего несколько тысяч человек, «Известия» севастопольского Совдепа. Зачинщики требовали отстранения адмирала Колчака и его начальника штаба (Смирнова, принявшего эту должность 3

апреля) и поголовного разоружения офицеров. На следующий день разоружение началось.

Последний приказ адмирала (ибо занимать должность Командующего таким флотом было уже выше его сил) звучал строго и лаконично: «Считаю постановление делегатского собрания об отобрании оружия у офицеров позорящим команду, офицеров, флот и меня. Считаю, что ни я один, ни офицеры ничем не вызвали подозрений в своей искренности и существовании тех или иных интересов помимо интересов русской военной силы. Призываю офицеров, во избежание возможных эксцессов, добровольно подчиниться требованиям команд и отдать им все оружие. Отдаю и я свою георгиевскую саблю, заслуженную мною при обороне Порт-Артура. В нанесении мне и офицерам оскорбления не считаю возможным винить вверенный мне Черноморский флот, ибо знаю, что безумное поведение навеяно заезжими агитаторами. Оставаться на посту командующего флотом считаю вредным и с полным спокойствием ожидаю решения правительства». Приказ офицерам подчиниться желанию мятежной толпы был вызван тем разобщенным положением, в котором находился командный состав: «… Никакой опасности офицеры собой не представляют хотя бы уже потому, что они малочисленны и разбросаны кучками по судам», – пытался Колчак образумить матросов (успеха эти попытки, конечно, не возымели). Не было ни плацдарма для сопротивления, ни, у большинства офицеров, даже моральной готовности к нему; неизвестно даже, была ли в этот момент такая готовность у самого Командующего. В первые месяцы революции еще существовала надежда, что Временное Правительство способно стать настоящим правительством, а «революционная демократия» сумеет сохранить хотя бы относительное здравомыслие. Но теперь эти надежды были разбиты, и у многих – уже навсегда.

Процитированный приказ Колчака проливает дополнительный свет и на поступок, который в биографии Александра Васильевича стал одним из самых известных. «Судовой комитет флагманского корабля явился к Адмиралу Колчаку в каюту с требованием выдать его оружие, – рассказывает Смирнов о событиях на „Георгии Победоносце“. – Адмирал просто прогнал их вон. Затем он приказал поставить команду корабля во фронт и произнес речь, в которой указал на гибельные для родины поступки матросов, разъяснил оскорбительность для офицеров отобрания от них оружия… После этого он выбросил саблю в море». Не предполагая в Александре Васильевиче двуличия, следует допустить, что его намерение сдать оружие,

декларированное в приказе, было решением хотя и тяжелым, но вполне определенным, – и не позерство, не расчет на дешевый театральный эффект, а живое чувство подтолкнуло адмирала к гордому и красивому, очевидно, совершенно спонтанному поступку.

Осознание невозможности отдать Георгиевскую саблю должно было придти в те минуты, когда Колчак – в последний раз! – в своей каюте взял в руки золотое оружие. Позже он будет в одном из писем рассказывать о японском «культе холодной стали, символизирующей душу воина», и, быть может, что-то подобное почувствовал адмирал и в этот момент. Дальнейшее было быстрым, решительным и импульсивным. «… А разве не величествен был жест Колчака, когда он выбросил в море свое георгиевское оружие, которое взбунтовавшаяся матросня хотела у него отобрать. “Не от вас я его получил, не вам и отдам”, – сказал адмирал, не думая, что за этим жестом мог легко наступить и его черед быть выброшенным за борт», – писал даже современник, довольно неприязненно относившийся к Александру Васильевичу, и… кажется, ошибся в одном: Смирнов, приводя по памяти слова Колчака, обращенные к матросам, – «он им своего оружия не отдаст, и они его не получат ни с живого, ни с мертвого», – заставляет думать, что Командующий достаточно хорошо представлял себе возможность немедленного и рокового исхода.

Матросы, однако, к такому все-таки еще не были готовы, и на палубу «Георгия Победоносца» не пролилась кровь Георгиевского кавалера Колчака. Но и командование для него было уже окончено – и, приказав своему преемнику (адмиралу В.К.Лукину, более устраивавшему матросов) вступить в исполнение обязанностей, он съехал на берег в ожидании дальнейших событий. Ожидание, очевидно, было крайне тягостным: трагическая судьба адмирала Непенина, арестованного бунтовщиками и убитого при конвоировании по городу без намека на какое-либо разбирательство, была еще свежа в памяти…

«В этот же вечер я поехал с судна к себе на городскую квартиру, – рассказывает Колчак. – Туда вечером явились двое уполномоченных от исполнительного комитета Совета для осмотра квартиры и изъятия секретных бумаг и документов, которые в квартире у меня не находились, а были все на судне. Они осмотрели мой кабинет и удалились. В этот же вечер один из офицеров сообщил мне, что состоялось постановление о моем аресте. Не желая подвергаться аресту при жене и детях [40], я вернулся обратно на корабль (то есть в самую гущу взбудораженной матросской толпы! – А.К.), где и остался

ночевать. Часа в три ночи получилась телеграмма, помнится от Керенского, направленная в копиях в Совет и другие места, очень резко составленная, с требованием возвращения офицерам оружия и прекращения творящихся безобразий… мне же давалось приказание временно передать командование старшему, а самому прибыть в Петроград для доклада».

Керенский поспешил занять позицию сурового, решительного, бескомпромиссного и, главное, нелицеприятного государственного деятеля (из Петрограда это было так легко!). В печати сообщалось, что он потребовал принятия мер до «ареста зачинщиков» включительно, – однако не преминул продемонстрировать «сильную руку» (если бы сильная рука действительно нашлась в те дни, судьба России могла бы пойти совсем по другому пути) и… адмиралу Колчаку. Смирнов вспоминает, что телеграмма из столицы была составлена в выражениях оскорбительных или по крайней мере воспринята именно так и им, и бывшим Командующим: «Вице-Адмиралу Колчаку и Капитану 1 ранга Смирнову, допустившим явный бунт в Черноморском флоте, немедленно прибыть в Петроград для доклада Временному Правительству», – и здесь важна не текстуальная точность (мемуарист сам оговаривается, что цитирует по памяти), а именно восприятие, уже, кажется, определившее дальнейшее отношение Александра Васильевича к Временному Правительству и лично к Керенскому, который через месяц (8 июля) возглавит кабинет министров.

Можно возразить, что Керенский просто назвал вещи своими именами: если на флоте разразился мятеж, значит, Командующий флотом его допустил. Можно и настаивать – как это подчас делается, – что Колчак вообще «бросил» свой пост в военное время, чего как флотоводец делать не должен был. Однако военный министр имел бы моральное право упрекать (ибо формулировка «допустили бунт» безусловно является упреком), если бы сам он или правительство в целом до этого проявили бы твердую волю в поддержании порядка в стране, не вносили бы дезорганизацию в военную среду, не уповали бы исключительно на ораторское красноречие как замену дисциплинарного устава… Что же касается допустимости ухода Колчака – прежде всего не следует отказывать военному в праве испытывать какие-то человеческие чувства (в Императорской Армии и Флоте это право молчаливо признавалось) и следовать голосу чести, если честь его была задета и оскорблена. А кроме того, передав должность «из рук в руки», адмирал до официальной смены оставался в Севастополе, и нужно ли сомневаться в том, что в случае появления, скажем, «Гебена» или «Бреслау» у крымских берегов

Колчак не пребывал бы в бездействии и не вмешался бы, даже если бы его никто не позвал?

Кстати, появление такое не заставило себя долго ждать: вечером 7 июня адмирал Колчак – навсегда! – покинул Севастополь, выехав в Петроград, а 12-го, после того как немцы протралили минные заграждения у Босфора, «Бреслау» вышел в Черное море и совершил налет на Феодосию. Смог бы Колчак или нет воспрепятствовать этому – вопрос спорный (учитывая состояние, в котором находился флот); но бесспорно, что без Колчака воспрепятствовать оказалось некому…

Краткий «петроградский» период биографии адмирала часто сводят лишь к принятию предложения о командировке в Соединенные Штаты Америки, упирая в основном на слово «кондотьер», неоднократно употребленное Александром Васильевичем в черновиках писем применительно к себе самому. Первое знакомство русского флотоводца с американским адмиралом Дж. Гленноном, возглавлявшим военно-морскую миссию, которая прибыла в Россию в связи со вступлением США в Мировую войну, действительно должно было состояться как раз по дороге из Севастополя в столицу; Гленнон приезжал на Черное море «для изучения постановки минного дела и борьбы с подводными лодками», но угодил как раз к конфликту матросов с офицерами, так что его миссия, «ознакомившись с положением дел, немедленно уехала». Сложно, однако, сказать, насколько Александр Васильевич в те дни был расположен к общению с американцами, а наиболее откровенный и серьезный разговор с ними он сам определенно относил к 17 июня. Из недели, прошедшей до этого разговора с момента приезда Колчака в Петроград, нам известно лишь о его докладе Временному Правительству, а из последующих сорока дней – в сущности, и того меньше. А между тем эти дни представляются весьма важными как для дальнейшей кристаллизации позиции адмирала, так и с точки зрения неиспользованных – но совсем не по его вине! – возможностей.

Решительный тон телеграммы Керенского если и мог кого-нибудь смутить, то уж, конечно, не Колчака, и на заседании Временного Правительства бывший Командующий Черноморским флотом отнюдь не выглядел оправдывающимся. «… Говорил резко, – вспоминает Александр Васильевич, – заявляя, что деятельность правительства сама способствует разложению флота и что проще было бы распустить команды, что виной всего является политика правительства, которая ведет к подрыву авторитета командования и не направлена к борьбе с той провокационной агитацией, которая ведется под прикрытием

свободы слова и собраний. Я был выслушан при гробовом молчании, затем меня благодарили за доклад и отпустили. Никакого обсуждения доклада в моем присутствии не было». На Черное море направили комиссию под председательством адвоката-социалиста А.С.Зарудного (товарища министра юстиции) и на этом успокоились; комиссия вернется в столицу в конце июня с выводом, «что сущность севастопольской истории в сравнении с делом великого исторического переворота ничего не стоит» (иронический пересказ Колчака), и с призывом к адмиралу проявить «героическое самопожертвование» и вернуться во флот, где, как становилось ясно, никто и ничего менять не собирался. Колчак ответил отказом.

К этому времени он уже «имел совершенно секретный и весьма важный разговор» с сенатором Э.Рутом, возглавлявшим специальную американскую миссию в России, и адмиралом Гленноном, руководившим, как мы знаем, миссией военно-морской. Сообщив о подготовке новой операции по захвату Босфора и Дарданелл, американцы, в сущности, предложили оставшемуся не у дел Колчаку, которого знали и ценили как выдающегося специалиста, поступить в их флот. С этим и связано пресловутое словечко «кондотьер», снова и снова с болезненной настойчивостью повторяемое адмиралом на радость его критикам и хулителям.

«Итак, я оказался в положении, близком к кондотьеру, предложившему чужой стране свой военный опыт, знания и, в случае надобности, голову и жизнь в придачу»; «мне нет места на родине, которой я служил почти 25 лет, и вот, дойдя до предела, который мне могла дать служба, я нахожусь теперь в положении кондотьера и предлагаю свои военные знания, опыт и способности чужому флоту»; «я отдаю отчет в своем положении – всякий военный, отдающий другому государству все, до своей жизни включительно (а в этом и есть сущность военной службы), является кондотьером с весьма сомнительным [отражением] на идейную или материальную сущность этой профессии», – читаем мы в черновиках его писем. Он как будто специально растравляет душевную рану, терзая себя миражем взятия Проливов: «… Моя мечта рухнула на месте работы и моего флота, но она переносится на другой флот, на другой, чуждый для меня народ… Моя родина оказалась несостоятельной осуществить эту мечту… Быть может, лучи высшего счастья, доступного на земле, – счастья военного успеха и удачи, – осветят чужой флаг, который будет тогда для меня таким же близким и родным, как тот, который теперь уже стал для меня воспоминанием». Адмирал усиливает, даже, пожалуй, утрирует «внепатриотическую» идею военного

успеха ради самого успеха, как будто – уязвленный и оскорбленный – намеренно усугубляя внутренний надлом в своей гордой и сильной душе…

Но почему мы не считаем возможным принять слова Александра Васильевича буквально и согласиться с ними, признав, что он просто называет вещи своими именами, даже если имена эти и звучат не слишком благородно? Дело тут не в отношении к Колчаку и не в стремлении что-то приукрасить или подретушировать в его биографии: версии о «кондотьере» противоречат вполне объективные свидетельства, и свидетелем выступает никто иной, как адмирал Колчак.

Начнем с самого начала: кондотьер – тот, кто нанимается на чужую службу, переходит в войска иного государства или правителя. Именно об этом, как известно со слов Александра Васильевича, говорили с ним Рут и Гленнон. Однако «он счел это неудобным», после чего ему предложили «быть инструктором флота». И согласился он, как мы знаем из собственноручно написанного им документа (причем ближайшего по времени к «весьма важному разговору с американцами»), не только не из каких-либо корыстных или честолюбивых побуждений, но даже и не из «чувства милитаризма» или «служения войне».

Эта цитата хорошо известна, но обычно ее обрывают, не доводя до конца: «Я хотел вести свой флот по пути славы и чести, – записывает Колчак между 18 и 24 июня, – я хотел дать родине вооруженную силу, как я ее понимаю, для решения тех задач, которые так или иначе рано или поздно будут решены, но бессильное и глупое правительство и обезумевший – дикий – неспособный выйти из психологии рабов народ этого не захотели. Мне нет места здесь – во время великой войны, и я хочу служить родине своей так, как я могу, т. е. принимая участие в войне, а не пошлой болтовне, которой все заняты». Принято сосредотачивать внимание на первой фразе, причем отношение к ней практически всегда оказывается неприязненным или прямо враждебным; но все спекуляции должны смолкнуть перед той бурей и смятением чувств, которые владели адмиралом. Здесь нет ни гордыни, ни высокомерия, ни презрения к людям – здесь лишь живая искренняя боль воина, чье многолетнее служение Отечеству оказалось отвергнутым, а чувства долга, преданности и самопожертвования – поруганными… и все-таки, вопреки всему, – воина, не желающего отказаться от этого служения.

Не забудем: Россия вела войну коалиционную, в которой усиление (совершенствование) каждого из союзников усиливает общий лагерь. Вступившие в войну весною 1917 года Соединенные Штаты бросали на чашу весов тысячи жизней своих

солдат и офицеров и, как ожидалось, мощь своего флота. В условиях, когда революция ослабляла Россию с каждым днем, а армия и флот разваливались на глазах, пренебрегать возможностью усилить нового союзника было бы чрезмерной роскошью. И потому вряд ли стоит удивляться, что после ходатайств американцев и согласия Колчака, 27–28 июня министром-председателем Львовым и управляющим морским министерством, социалистом-революционером В.И.Лебедевым, было принято решение о командировке Александра Васильевича во главе военно-морской миссии для передачи американскому флоту «опыта нашей морской войны, в частности минной войны и борьбы с подводными лодками». Можно (и нужно!) посетовать, что для подобного инструктажа покидал Россию такой адмирал, как Колчак… но это уже было, видимо, неизбежным следствием того пути, по которому пошла революция, и того страха контрреволюции, который уже связывался с именем Колчака.

Мы помним рассказ о том, что еще в первые дни после переворота Командующий Черноморским флотом планировал – в сущности, контрреволюционную! – военную демонстрацию. Тогда Колчак чувствовал за собою силу флота и формирующейся дивизии; теперь эта сила развеялась, как дым, оставив лишь боль и горечь в душе. «Его едва можно было узнать… – пишет Н.В.Савич, помнивший Колчака по выступлениям в думской комиссии и вновь встретившийся с ним в столице. – Все, чем он жил, над чем он работал, что так любил, так старательно создавал, все разом рухнуло, обратилось в прах и разложение». Из воспоминаний не вполне понятно, относится ли этот портрет адмирала к его первому после революции (апрельскому) или второму (июльскому) приезду в Петроград, – но если даже речь и идет об апреле, ясно, что летом состояние Александра Васильевича должно было неизмеримо ухудшиться. Однако не только боль и горечь владели Колчаком, но и гнев, охватывавший при мысли о национальном позоре и разложении русской военной силы. И еще усугублять его должен был разразившийся в Петрограде бунт.

3–4 июля столицу заполонили вооруженные большевизированные толпы. В этом всплеске смуты, должно быть, слишком сильной была неорганизованная, анархическая составляющая, на что упирали впоследствии большевики, стремясь отречься от участия в «июльских днях»; однако, коль скоро «события», действительно угрожавшие перерасти в открытый мятеж, уже начались, левоэкстремистское крыло революционеров постаралось ими воспользоваться, и один из его вождей, журналист Л.Д.Бронштейн (он же «Троцкий»), писал

впоследствии, что на второй день «демонстрация развернулась еще шире, и уже с участием нашей партии».

Правда, Временное Правительство в кои-то веки проявило твердость… или, вернее, не проявило твердость само, а позволило проявить ее командованию Петроградского военного округа. Вооруженные демонстрации, уже открывавшие стрельбу по правительственным войскам, были разогнаны вооруженною же рукою, а на руководство большевицкой партии обрушились репрессии (правда, не очень тяжелые и не доведенные до конца). Сложно сказать, с надеждою или горечью смотрел на все происходившее обреченный на бездействие адмирал Колчак… и несомненно, что в хаосе событий он и не подозревал о появлении на петроградской сцене – и быть может, совсем рядом! – человека, которому суждено будет сыграть в его судьбе немалую роль.

Двадцатисемилетний есаул Забайкальского казачьего войска Григорий Михайлович Семенов приехал в столицу с проектом формирования из забайкальских бурят и монголов добровольческих национальных частей для поддержки разваливавшегося фронта. В Петрограде ему представилось немало возможностей познакомиться не только с революционной толпой, но и с теми, кто имел непосредственное отношение к новой власти. Посещения петроградского Совдепа заставили Семенова сделать вывод, что «это был верховный революционный орган, заполненный дезертирами с фронта и агентами германской разведки»; присматриваясь к обстановке, оценивая ее и принимая решения с кавалерийской быстротой, он уже вскоре, помимо обсуждения проектов бурят-монгольских формирований, разработал и не менее насущный с его точки зрения план.

«… Ротой юнкеров занять здание Таврического дворца, арестовать весь “совдеп” и немедленно судить всех его членов военно-полевым судом, как агентов вражеской страны… Приговор суда необходимо привести в исполнение тут же на месте, – развивает Семенов свою мысль, отнюдь не оставляя сомнений, каким должен был быть ожидаемый приговор, – чтобы не дать опомниться революционному гарнизону столицы и поставить его перед совершившимся фактом уничтожения совдепа». Помимо потенциального противника, поставить перед фактом планировалось и потенциального союзника – переворот мыслился в пользу Верховного Главнокомандующего генерала А.А.Брусилова (Алексеев был отстранен от должности Временным Правительством), к которому следовало немедленно по ликвидации «верховного революционного органа» обратиться с предложением диктаторских полномочий, чтобы генералу пришлось «по долгу Верховного Главнокомандующего или

принять его (предложение. – А.К.), или расписаться в собственной несостоятельности». В конечном счете, по мнению есаула, именно неудачная кандидатура диктатора и провалила всю затею, поскольку вопреки семеновским планам Брусилова известили о перевороте заранее, а тот не решился на волевые действия.

Но почему же вообще заговорщики, серьезные или несерьезные, стояли перед вопросом о кандидатуре будущего диктатора, если устранение дезорганизующей силы в лице Совдепа, казалось бы, должно было тем самым автоматически укрепить позиции уже реально существующего Временного Правительства? Ответ дать, кажется, возможно, несмотря на некоторую путаницу, окружающую обычно семеновский проект.

Враги Семенова, да и он сам впоследствии подчеркивали, что главной целью планировавшегося есаулом переворота была ликвидация главы большевиков – бывшего адвоката В.И.Ульянова (он же «Ленин»). Однако после стрельбы на петроградских улицах, когда даже Временное Правительство, казалось, поняло всю опасность радикальных революционных течений, был выписан ордер на арест Ленина, и, таким образом, его задержание в июле 1917 года было бы само по себе не переворотом и не выступлением против «Петросовета», а выполнением официального постановления законных органов юстиции. Очевидно также, что в период кратковременного пребывания Семенова в Петрограде вождь экстремистов не мог иметь никакого отношения к легальному и лояльному Совдепу: ведь лидеры Петросовета отнюдь не желали верховной государственной власти и неизбежно связанной с нею ответственности. Советские структуры в тот момент вряд ли были слишком серьезными «нарушителями спокойствия» и даже представляли собою силу, если угодно, государственническую (конечно, лишь в том смысле, в каком вообще можно было говорить о государственности в стремительно разваливающейся России). Поэтому удар по Петросовету в середине июля 1917 года был бы фактически ударом по Временному Правительству.

Понимал ли это есаул Семенов? Похоже, что да. В написанных двадцать лет спустя мемуарах он откровенно расставит точки над i, говоря о намерении, «если потребуется, арестовать Временное правительство». В значительной степени именно поэтому замыслы переворота ни во что не вылились, а неплохо владевший собою и скрытный есаул покинул Петроград в конце второй декады июля, отправившись в родное Забайкалье. Разочаровавшись в Брусилове, энергичный и предприимчивый Семенов все же вряд ли разочаровался в самой идее военной диктатуры и, похоже, уже тогда задумывался о кандидатуре

Колчака (тем более, что в столице есаул останавливался у своего знакомого – лейтенанта флота В.В.Ульриха, и в их разговорах наверняка не раз звучало имя прославленного адмирала).

Прежде чем продолжить рассказ, остановимся, чтобы задуматься: а не стоял ли кто-либо за спиною Семенова, из какой «школы» вышел предприимчивый офицер и руководствовался ли он исключительно собственным патриотизмом, или идея военного переворота отвечала чьему-либо более влиятельному в армии мнению?

Кажется, ответ на этот вопрос существует: более полутора лет одним из начальников Семенова был никто иной, как упоминавшийся уже на этих страницах Крымов. Он мог держать в памяти молодого офицера, отличавшегося личной храбростью, умом, сообразительностью, способностью хранить в тайне свои мысли и чувства, а также, по характеристике его бывшего командира полка барона П.Н.Врангеля, умением «быть весьма популярным среди казаков и офицеров». Да и характер несостоявшегося «семеновского переворота» кажется нам вполне «крымовским», – вспомним весеннее предложение генерала «расчистить Петроград одной дивизией»! В конце 1916 года Семенов переводился на Кавказский фронт, но уже в мае 1917-го вернулся к своему прежнему месту службы… и если Крымов счел есаула заслуживавшим доверия, то при командировке в столицу последний мог узнать много интересного и даже получить определенные инструкции.

Мы помним о том, что генерал был одним из тех, кто в первые недели революции рассматривал вопрос вооруженного противодействия охватывавшей страну смуте; помним и об «офицерской организации» Крымова. Отметим также, что в эти месяцы Крымов приходит к «полному отрицанию возможности достигнуть благоприятных результатов путем сговора с Керенским и его единомышленниками»: «В их искренность и в возможность их “обращения” он совершенно не верил». Позже Деникин сравнит его с мечом, который «хотел разить, утратив веру в целебность напрасных словопрений и исходя из взгляда, что страна подходит к роковому пределу и что поэтому приемлемо всякое, самое рискованное средство…»

Почему на все это стоит обратить внимание? Оговорившись, что даже принадлежность есаула Семенова к крымовской «организации» или «военному центру» остается предположительной, а указаний на какой-либо интерес генерала к личности Колчака нет никаких, нельзя в то же время не отметить: позиция (и даже эмоции!) Крымова весьма напоминает позицию Александра Васильевича после севастопольского краха

его надежд и трудов. «В Петрограде, – рассказывает Смирнов, – возник ряд патриотических организаций, которые подготовлялись к подавлению большевистских организаций силой оружия и к устранению из состава правительства “друзей большевиков”. Эти организации пригласили Колчака объединить их деятельность и стать во главе движения. Колчак согласился. Началась работа в этом направлении. Колчак решил остаться в России…»

Впрочем, серьезности тех сил и средств, которые мог сосредоточить в своих руках опальный адмирал, отнюдь не следует преувеличивать. Если Крымов собирался опереться на подчиненные ему войска, то Александр Васильевич был по сути дела лишен непосредственных контактов даже с моряками, а «организации», выдвигавшие его на первые роли, похоже, были в действительности лишь группами энтузиастов, вряд ли способными реализовать свои намерения. «… Я не избег общей участи и состоял в рядах “тайной” офицерской организации, коим в те дни в Петербурге имя было легион», – напишет впоследствии один из участников Белого движения даже о весне 1918 года, когда уже была создана и активно действовала ВЧК; и его слова, так же как и его ирония, еще в большей степени приложимы к безалаберному лету 1917-го.

Рассказ об одной из таких «организаций», якобы связанных с адмиралом Колчаком, исходит от довольно анекдотической личности – П.Р.Бермондта, на пике своей политической карьеры (осенью 1919 года) именовавшего себя «полковником князем Аваловым», а впоследствии «принявшего» от своих же подчиненных и генеральский чин. В мемуарах Бермондт описывает свое знакомство с Александром Васильевичем, правда, безбожно путаясь в датах и даже месяцах: «Я с удовольствием узнал… что Его Превосходительство, получив известия о моей деятельности (сущность которой нигде не раскрывается. – А.К.), выразил желание поговорить со мною и предложить работать вместе». Последующее изложение несколько удивляет повышенным вниманием к деталям в сочетании с бессодержательностью, когда пытаешься понять смысл беседы:

«Придя на квартиру адмирала, я в первой же комнате был встречен им самим, и на мне испытующе остановилась пара больших, спокойных, не моргающих и проницательных карих глаз. Я никогда не забуду этого взгляда, проникающего в глубину души и заставляющего невольно чувствовать важность настоящего момента. Адмирал сел в кресло около письменного стола и посадил меня [на]против, после чего сейчас же приступил к разговору.

Лейтенант Попандопуло встретил меня в столовой, и там мы

все вместе еще пили чай, после чего я простился, причем адмирал поцеловал и перекрестил меня».

Воспоминания Бермондта были опубликованы восемь лет спустя, когда подробный рассказ, в чем все-таки заключалась его совместная с Колчаком работа, не мог бы уже повредить ни тому, ни другому. Поэтому неясно, почему мемуарист не захотел или не смог сообщить на этот счет ничего более внятного, и позволительно заподозрить, что простым представлением Бермондта адмиралу все дело в действительности и закончилось. Сочетание как будто искреннего монархизма и патриотизма с не менее органичными фанфаронством и легковесностью вообще делает мемуары Бермондта источником довольно сомнительным; но и другой рассказ, определенно указывающий на существование в Петрограде «колчаковской ориентации», также невольно оставляет ощущение какой-то недостаточной серьезности происходившего.

Полтора десятилетия спустя генерал Г.И.Клерже вспоминал, как однажды летом 1917 года на полуконспиративном заседании одного из петроградских кружков он неожиданно для себя услышал, «что, мол, созревшее движение, в условиях современной ответственной обстановки в России, возглавить должен никто иной, как уже известный на всю Россию герой Рижского залива Адмирал А.В.Колчак». Заявление показалось Клерже странным: «о Генерале Л.Г.Корнилове, имя которого было в то время на устах у всей России, в этом заседании, к крайнему удивлению, ничего ни разу не было сказано… Выходило так, как будто все движение до сего времени исходило только от имени Адмирала Колчака и под его непосредственным контролем и руководством». Более того, рассказ мемуариста создает впечатление, что и для самого Александра Васильевича, уже принявшего решение об отъезде заграницу, такие восхваления и такая роль были неожиданными и нежелательными, и он лишь «просил членов заседания поддерживать с ним самую тесную связь и, в случае успешного завершения движения, телеграфировать ему для того, чтобы он смог немедленно вернуться обратно в Россию».

По сути дела, рассказ Клерже, быть может нечувствительно для него самого, рисует Колчака в довольно неприглядном виде – «свадебным адмиралом», который предпочитает остаться в стороне, дабы возглавить «движение» только в случае его победы и не раньше. В свете приведенного выше свидетельства Смирнова, однако, такая точка зрения кажется все-таки несправедливой, тем более что серьезность самой «организации» или кружка могла показаться Александру Васильевичу сомнительной.

В то же время, принимая приглашение посетить заседание,

Колчак должен был в какой-то мере разделять «программу» или взгляды членов кружка; и тем интереснее свидетельство назначенного Временным Правительством начальника столичной военно-окружной контрразведки, социалиста-революционера и приват-доцента Н.Д.Миронова, согласно которому «организация» Клерже и его единомышленников имела монархический характер, то есть, по меньшей мере, в политическом спектре должна была находиться «правее» армейского командования и созданного при Ставке Союза офицеров Армии и Флота, которые все еще занимали лояльную позицию по отношению к центральной государственной власти. В сопоставлении с этим приобретает дополнительный интерес общение Александра Васильевича с генералом В.И.Гурко, отстраненным от командования после протеста против «декларации прав солдата». Несмотря на репутацию «друга Гучкова», Гурко сочувственно относился к отрекшемуся Императору и за написанное в таком тоне частное письмо Государю был 21 июля по распоряжению Временного Правительства арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Как раз накануне состоялось его знакомство с Колчаком, и вполне правдоподобным выглядит предположение современного историка, что именно эта встреча стала «последней каплей, переполнившей чашу терпения присяжного поверенного (Керенского. – А.К.)»: вряд ли случайно как раз 21 июля адмирал получил срочную телеграмму, призванную в очередной раз продемонстрировать суровость и решительность министра-председателя. «Предлагаю Вам, – говорилось в ней, – с чинами вверенной Вам миссии в кратчайший срок отбыть к месту назначения – САСШ [41], донеся предварительно о причинах столь долгой задержки отъезда».

Адмирал Смирнов соотносит распоряжение о немедленном отъезде с еще одной тревожной новостью: «Однажды вечером мы получили известие, что наша организация раскрыта Керенским. На другой день Адмирал Колчак получил собственноручное письмо от Керенского с приказанием немедленно отбыть в Америку». Почти в унисон звучит и рассказ Бермондта: им якобы «были получены сведения от своей разведки (? – А.К.), что на работу адмирала Колчака обращено внимание, и революционные круги решили ее пресечь, арестовав Его Превосходительство и всех его сотрудников, в том числе и меня». Дальнейшее мемуарист изображает так: «На открытое выступление адмирал не согласился, считая преждевременным и обреченным на неуспех, а поэтому, воспользовавшись предложением американцев поступить к ним на службу, уехал в Америку». Однако этот рассказ вызывает некоторые сомнения…

Заметим, например, что упоминавшийся выше Миронов, по долгу службы «революционного жандарма» [42]занимавшийся дотошным расследованием любых намеков на «контрреволюцию», никакой «организации Колчака» не упоминал. Можно объяснить это поздним вступлением Миронова в должность – на следующий день после отъезда адмирала из России, – но и тогда кажется странным, что революционная власть, готовая пойти на неизбежный скандал в случае ареста такой известной всей России личности, как Колчак, удовлетворилась бы его отъездом и проявила снисходительность к остальным участникам «организации», которая, если верить Смирнову и Бермондту, представлялась Керенскому столь опасной.

Более того – начинает выглядеть сомнительным и даже подозрительным поведение самого Бермондта, явившегося с предупреждением об угрозе ареста и требованием «открытого выступления». При этом оценка Колчаком сил, которые могли бы стать под его начало, как недостаточных и отказ от немедленной авантюры представляются совершенно оправданными, вовсе не свидетельствуя о нехватке у адмирала решительности или даже храбрости для таких действий. Усомниться в готовности Александра Васильевича к рискованным (но осмысленным!) поступкам не дают и воспоминания подполковника Л.Н.Новосильцова, возглавлявшего офицерский союз и в июне (примерно 24–28-го числа) поднесшего адмиралу – взамен выброшенного им в море – Георгиевское оружие с надписью «Рыцарю чести от Союза офицеров Армии и Флота». Но после этого подполковник еще раз посетил Колчака, теперь уже – «для совершенно секретной беседы»…

«Он интересовался, – рассказывает Новосильцов, – что́, собственно, сделано, – какие планы. Говорил, что если надо, то он останется, но только если есть что-либо серьезное, а не легкомысленная авантюра. Я должен был ему объяснить, что серьезного пока еще ничего не готово, что скоро ничего ожидать нельзя. Я посоветовал ему уехать, а затем вышло так, что Керенский предложил ему уехать чуть ли не в одни сутки. Колчак соглашался даже перейти на нелегальное положение, если бы это было надо, но надобности скоро не предвиделось, в Америке он мог принести больше пользы, и он уехал».

Итак, создается даже впечатление, что руководство Союза офицеров Армии и Флота, вынашивавшее планы обуздания анархии и установления военной диктатуры, фактически предпочло отстранить Колчака, очевидно, во имя своего «кандидата» – генерала Корнилова. Нельзя сказать, правда, чтобы «корниловцы» (которые, собственно, и были заговорщиками и

подлинными игроками в политической игре в значительно большей степени, чем сам генерал, чье окружение они составляли) полностью отвергали адмирала и не связывали с его именем никаких расчетов. Колчака видели морским министром в проектировавшемся «кабинете Корнилова», а накануне общественно-политического кризиса, разразившегося в августе, в Ставке Верховного Главнокомандующего «был набросан проект Совета народной обороны» во главе с Корниловым и при участии генерала Алексеева, адмирала Колчака и представителей «революционной демократии» – А.Ф.Керенского, Б.В.Савинкова и комиссара Временного Правительства при Ставке, штабс-капитана М.М.Филоненко: «этот Совет обороны должен был осуществить коллективную диктатуру, так как установление единоличной диктатуры было признано нежелательным». Однако, как бы то ни было, становится очевидным, что в «корниловских» кругах Александр Васильевич почитался лишь потенциальным сотрудником, весьма ценным, но не более того.

С другой стороны, по свидетельству Деникина, окончательная консолидация государственно-мыслящих сил вокруг генерала Корнилова произошла только после его назначения Верховным Главнокомандующим (18 июля), то есть менее чем за десять дней до отъезда Колчака из России (27 июля). До этого же, в течение месяца с лишним пребывания адмирала в Петрограде, он был фигурой вполне самостоятельной, и потому, рассуждая о нереализованных вариантах развития событий, следует не столько подозревать в Колчаке некоего «резидента» «корниловской партии» и строить предположения, «как бы сложилась судьба Александра Васильевича, окажись он в августе 1917 г. в Петрограде? И как бы сложилась судьба России, если бы к моменту выступления Корнилова в столице находился решительный лидер, авторитетный в войсках?», сколько предполагать возможность выдвижения и поддержки именно его как потенциального диктатора со стороны кого-либо из тех, кто позже склонился к «корниловской ориентации».

И в любом случае бесспорно одно: создававшаяся вокруг Колчака атмосфера, независимо от наличия у него реальных союзников и сотрудников или готовности к немедленным действиям, делала его крайне опасным в глазах Керенского. А министр-председатель уже утрачивал, похоже, способность к рациональному мышлению и ставил перед собою задачу, главным образом, сохранения в собственных руках той призрачной власти, которой еще обладало Временное Правительство. И потому бессмысленна ложная многозначительность намеков, подчас звучащих в рассказе об отъезде Колчака в Америку: «Временное

правительство отправляет его с некой до сих пор не вполне ясной миссией в США (официально речь шла всего-навсего об “обмене опытом” в минном деле, но по меньшей мере странно, что подобная роль предоставляется одному из ведущих адмиралов…)». На самом деле Керенский уже был готов к проведению самоубийственной политики, достигшей апогея в августе и предопределившей бесславный конец «февральской» власти; а адмирал, уехав заграницу, проницательно сформулирует сущность своей «миссии»: «… Мое пребывание в Америке есть форма политической ссылки, и вряд ли мое появление в России будет приятно некоторым лицам из состава настоящего правительства…»

Глава 7
Катастрофа

Итак, Александр Васильевич пришелся не ко двору практически всем, кто в тогдашней России пытался вести «большую политическую игру». И если правительство просто выталкивало его из страны, то и государственно-мыслящая оппозиция не сделала попыток удержать прославленного адмирала. Быть может, Новосильцов и его единомышленники считали, что два хорошо известных имени – Корнилова и Колчака – повредят зарождающемуся движению, вызывая соперничество и внутреннюю рознь в его рядах, и такие рассуждения были бы вполне правдоподобными; однако при этом не учитывалось, что при неизбежном для военного человека честолюбии, присущем обоим вождям, ни один из них не был им захвачен всецело и отнюдь не стремился любою ценой заполучить верховенство. А кроме того, внутренняя готовность Колчака к решительным действиям, как видно сейчас, гораздо более соответствовала обстановке, чем упорная лояльность Корнилова по отношению к Временному Правительству. Лояльность через месяц окажется пагубной, но пока этого еще никто не предвидит…

Путь в Америку был избран через Англию, где Александр Васильевич собирался ознакомиться с достижениями британского флота. Капитан 2-го ранга Лукин утверждал, что в английском посольстве Колчака убедили ехать под чужой фамилией: «вокруг вашей миссии много шума, и немцы смогут перехватить вас». «Адмирал согласился, – продолжает Лукин, – и хорошо сделал. Тот пароход, на котором миссия должна была следовать из Христиании [43]в Англию, но на который не поспела, был задержан в Немецком море германской подводной лодкой и миноносцами. Немцы по списку вызывали русского адмирала Колчака, лейтенанта Безуара, Мезенцева и друг[их] [44]…» Конечно, все это слишком похоже на эпизод из авантюрного романа, но считать ли его фантастическим, если даже на заседании Временного Правительства (!) сам Керенский и управляющий военным министерством Б.В.Савинков потихоньку советовали генералу Корнилову не касаться важных оперативных вопросов, «так как в числе Министров есть люди ненадежные и неверные»?!

Как бы то ни было, путешествие Колчака и его сотрудников прошло без приключений. Состояние адмирала в эти дни, судя по черновикам его писем, продолжает оставаться довольно сложным:

к настоящей боевой работе он пока не стал ближе, дарданелльская операция все более и более отодвигается в область предположений, Колчак начинает сомневаться – «Что, если американцы не будут действовать активно своим флотом? Root и Glenon ведь не выражают мнение всех U[nited] S[tates] of A[merica]», – и мысли свои на этот счет характеризует как «мрачные». И все же настоящая военная обстановка действует на него благотворно: он совещается с первым морским лордом адмиралом Дж. Джеллико, летает на новейших гидросамолетах, которыми искренне восхищается, и внутреннее напряжение как будто несколько ослабевает, хотя в глубине души боль все еще сохраняется («невольно является зависть к людям, которые действительно ведут войну и работают для своей родины…»). Александр Васильевич уже рассуждает (хочется сказать – с усмешкой) о жизни морского угря, просит Анну Васильевну о поручениях по части покупок для нее «полезных и необходимых вещей, которых теперь нет у нас в России», с наслаждением погружается в воспоминания – «неужели не сон сад Ревельского Собрания, белые ночи в Петрограде…» Его черновики этого периода похожи на дневниковые записи, и иногда их так и называют; но все-таки это черновики писем, и писем, предназначенных к отправке в Россию через посредство официальной дипломатической почты, – и именно потому мы лишены свидетельств о том, как Колчак воспринял известия о событиях, произошедших на родине в конце августа.

А события имели чрезвычайную важность. В условиях сохраняющейся напряженности и ожидания большевицкого выступления в столице Временное Правительство как будто опять начало склоняться к принятию решительных мер. Поздним вечером 24 августа Савинков в Ставке Верховного Главнокомандующего говорил генералу Корнилову о недостаточной надежности петроградского гарнизона и просил «отдать распоряжение о том, чтобы 3-й конный корпус был к концу августа подтянут к Петрограду и был предоставлен в распоряжение Временного Правительства». «Конечно, необходимо действовать самым решительным способом и ударить так, чтобы это почувствовала вся Россия», – поддержал Савинкова приехавший вместе с ним полковник В.Л.Барановский, «начальник кабинета военного министра» и зять Керенского.

Казалось бы, военные могли рассчитывать на правительственную поддержку; но уже 27 августа министр-председатель, в состоянии, близком к невменяемости, перепуганный поступающими из сомнительных источников слухами о «стремлении Корнилова к диктатуре», обвинил

Верховного в попытке переворота, а находившиеся вблизи столицы войска (для их возглавления приехал Крымов с полномочиями командующего армией) – объявил мятежными. Начав искать союзников, Керенский фактически реабилитировал июльских мятежников-большевиков, попустительствуя развернувшемуся вооружению их сторонников. До 28 августа Корнилов пытался решить конфликт переговорами и лишь затем заявил, что более не подчиняется распоряжениям обезумевшего правительства. Однако, не будучи подготовленным к гражданской войне (она не входила в его планы, а полного мрачных предчувствий Крымова никто не слушал), Корнилов вскоре согласился оставить пост Верховного и был взят под стражу вместе со своими единомышленниками, – Крымов же, чувствуя себя преданным и, быть может, обрубая нити, ведущие к своей «организации», застрелился.

Остановиться на августовском кризисе – «Корниловских днях» – нас побудило не только значение, которое имели они для дальнейшей истории России, но и присутствие в самом центре событий двух человек, одного из которых два года спустя будут почти единодушно объявлять «злым гением Колчака», а другого – его несостоявшимся спасителем: полковника Д.А.Лебедева и генерала М.К.Дитерихса.

Дмитрию Антоновичу Лебедеву в это время не было и тридцати пяти лет. Весной 1917 года он служил в Ставке Верховного Главнокомандующего, где и началась его карьера не столько военная, сколько политическая. В апреле Лебедев выступил одним из инициаторов создания Союза офицеров армии и флота; в руководящие органы Союза он не вошел, но, несмотря на это, роль Дмитрия Антоновича в «Корниловские дни» выглядит довольно заметной…

Незадолго до них, 20–26 августа, Лебедев был в Петрограде и уже после того, как генерала Корнилова объявили отрешенным от Верховного Главнокомандования, вечером 27-го на совещании в Ставке «докладывал с полной убежденностью, что выступление большевиков [в столице] произойдет 28-го и не позднее 29 августа». О контактах полковника остается лишь догадываться, но интересно, что те же даты называл в качестве сроков готовившегося «выступления» известный нам генерал Клерже, осенью 1917-го находившийся под арестом вместе с Лебедевым.

Как бы то ни было, но именно Лебедева, только что приехавшего из столицы, направляют к генералу Крымову, которому он должен был передать «распоряжение о сосредоточении [3-го конного] корпуса и направлении его в район Петрограда», то есть о переходе к решительным действиям

без санкции Временного Правительства. Задание представляется чрезвычайно важным, и вряд ли следует полностью доверять объяснениям полковника: «Выбор пал на меня потому, что я был в то время свободен в том смысле, что мне, как только что вернувшемуся в Ставку, не нужно было сдавать никаких дел и вообще должности, а дело было ночью и притом спешное». Кроме того, из его собственных показаний известно и еще одно небезынтересное обстоятельство поездки: «Штатское платье при мне было потому, что я предполагал возможность посещения Петрограда, если бы все обошлось так, как предполагалось».

Следователи, ведущие «дело Корнилова», очевидно, удовлетворились приведенным объяснением, хотя оно скорее должно было вызвать новые вопросы: «если бы все обошлось так, как предполагалось» – по смыслу показаний Лебедева означало «если бы конница Крымова вошла в город», а в этом случае маскарад кажется излишним (ношение офицером штатской одежды в России было просто запрещено, и такой костюм в скромном багаже Лебедева тем более выглядит подозрительным!). И наоборот, если считать полковника одним из тех, кто осуществлял связь между Ставкой и офицерскими кружками в Петрограде, его визит в столицу еще до крымовского наступления вполне мог потребовать определенной конспирации.

Поездка Лебедева не состоялась, очевидно, потому, что, узнав о печальном положении дел под Петроградом, он направился в штаб ближайшего фронта – Северного – с запиской Крымова: «В настоящее тревожное время, когда события развертываются с чрезвычайной быстротой, мне нужна полная ориентировка… Прошу ориентировать меня через подателя сего полковника Генерального Штаба Лебедева». При этом последний выглядит уже не столько корниловским эмиссаром, сколько доверенным лицом самого Крымова. Однако по дороге полковник был перехвачен, арестован и доставлен в Петроград.

Интересно, что, несмотря на столь активную роль и заявление на первом допросе в Петрограде – «в предъявляемом мне обвинении меня в том, что я… по предварительному на то соглашению и в соучастии с другими лицами принимал участие в насильственном посягательстве на изменение существующего государственного строя в России, на смещение органов верховной в государстве власти, я виновным себя, да, признаю», – он не был присоединен к основной группе обвиняемых, собранных в городе Быхове, и оставался под стражей в Петроградском комендантском управлении, откуда и был освобожден незадолго до большевицкого Октябрьского переворота. Допустимо заподозрить влияние на судьбу Лебедева со стороны знавшего его по службе в

Ставке генерала Алексеева, который с 29 августа по 9 сентября был начальником штаба нового Верховного Главнокомандующего (адвоката Керенского), а затем состоял «в распоряжении Временного Правительства» и являлся членом «предпарламента» – «Временного Совета Российской Республики». Заметим также, что в последнем протоколе допроса в Петрограде (2 октября) Лебедев неожиданно отказался от сделанного ранее признания своей вины: «Ни в какое соглашение с генералом Корниловым я не входил, ни в каких заговорах против Временного правительства не участвовал». Сыграла ли свою роль эта перемена позиции, чьи-либо хлопоты «извне» или общая тенденция (следственная комиссия по «делу Корнилова» фактически зашла в тупик), только вскоре полковник Лебедев получил свободу, чтобы стать одним из ближайших сотрудников генерала Алексеева, который 2 ноября положил в Новочеркасске начало «Организации кадров по воссозданию Русской Армии».

А тогда, в августе, Дмитрий Антонович мог встретиться со своим будущим сослуживцем – генералом Дитерихсом, однако они разминулись: когда полковник прибыл в крымовский штаб, Дитерихс как раз уехал оттуда, дабы попытаться выяснить, что́ происходит и кому подчиняться. Вообще же положение генерала в «Корниловские дни» было незавидным, и тем важнее отметить, что на него и при этом не пало ни малейшей тени.

Сорокатрехлетний генерал-генштабист, участник Русско-Японской войны Михаил Константинович Дитерихс с мая 1916 года стоял во главе 2-й Особой бригады, которую русское командование направило на Балканы, сражаться в составе межсоюзного контингента. Убежденный монархист, Дитерихс тем не менее, как и большинство русского генералитета, лояльно отнесся к Февральскому перевороту, при получении известий о котором лишь призвал подчиненных молиться о даровании русскому народу «мудрости, спокойствия и единения, да выйти на верные пути истинного блага и величия дорогой Родине». А через два месяца в приказе по бригаде он так аргументировал необходимость продолжения войны:

«Новый порядок в России – ныне установившийся, и, если нам поможет Бог его отстоять, в крупных чертах даст гражданам России:

1) Участвовать народу через своих выборных в управлении всей страной.

2) Рабочему – доставить справедливые отношения с владельцем; правильно установленное время работы и правильную плату за работу.

3) Земледельцу – справедливое пользование землей при

работе на ней и правильный доход со своей работы.

4) Каждому остальному гражданину – справедливую оценку и плату за его труд, в чем бы он ни выражался.

5) Каждый гражданин получит возможность учиться и развивать себя, как он захочет…

Вот смысл той свободы, которой ныне добилась Россия и которую надо отстоять победой…

Без победы над ними немцы не согласятся освободить занятые ими Бельгию, Сербию, Польшу и часть земель во Франции, России и Румынии и, что еще важно, не согласятся искренно отказаться в будущем не начинать опять такой же ужасной войны, как та, которую мы ведем сейчас…

Только свергнув их теперешнее правительство, добившись у народа сознания, что каждое Государство имеет право на свободную самостоятельную жизнь, можно будет быть более уверенными, что война через несколько лет не начнется опять».

Сравнивая этот приказ с образцами «военной пропаганды», известной нам по севастопольскому периоду биографии Колчака, можно сделать даже вывод о большем «феврализме» Дитерихса или его склонности к примитивно-агитационным приемам. Генерал, очевидно, почитался вполне надежным и в Петрограде, почему в июле и был отозван в Россию с предназначением на должность Главнокомандующего войсками столичного военного округа. Однако когда 11 августа Михаила Константиновича вызвали к Керенскому, оказалось, что этот пост уже занят, зато министр-председатель успел поссориться с управляющим военным министерством Савинковым и с ходу предложил совершенно незнакомому ему и не ориентирующемуся в обстановке Дитерихсу… портфель военного министра. Будучи человеком здравомыслящим, генерал уклонился от назначения, высказав, однако, при этом уверенность в необходимости срочного и жесткого противодействия анархии, «если даже для этого придется отсечь» правый и левый «фланги» российского политического спектра.

Проезжая в разрешенный ему краткосрочный отпуск через Могилев, где находилась Ставка Верховного Главнокомандующего, Дитерихс был столь же неожиданно остановлен и получил предложение возглавить штаб формирующейся Петроградской армии при Командующем армией Крымове. Согласившись (23 августа), Михаил Константинович уже 26-го вместе с Крымовым двинулся на Петроград, в качестве начальника штаба на ходу уточняя и разрабатывая как вопросы защиты столицы, так и планы наведения порядка внутри нее.

Сложно сказать, как мог относиться Крымов к Дитерихсу. С

одной стороны, желание Керенского провести последнего в министры должно было стать в глазах нового Командующего армией просто отвратительною рекомендацией; с другой стороны, в Ставке должно было быть известно и об уважении, которым пользовался Дитерихс у генерала Алексеева, знавшего его по совместной службе до войны. Но, как бы то ни было, начальник штаба не подвел Крымова, поддерживая его в намерении ввести в столице осадное положение, а в часы смятения и противоречивых известий по приказу Командующего отправившись в штаб Северного фронта; впрочем, и там он не получил достаточно надежных ориентировок. Быть может, на основании телеграфных переговоров с Дитерихсом, который собирался возвращаться к войскам, Крымов и принял решение отправить на смену ему полковника Лебедева. А Михаил Константинович, 29 августа приехав обратно, оставался с Крымовым почти до самого конца, будучи, правда, при этом скорее пассивным зрителем разворачивавшихся событий.

Честное выполнение генералом Дитерихсом своего долга и обязанностей было настолько очевидным, что после самоубийства Крымова он не подвергся никаким гонениям и даже получил назначение в Ставку, где занял пост генерал-квартирмейстера; здесь опять уместно увидеть влияние Алексеева, который для спасения Корнилова от расправы в течение десяти дней был начальником штаба Верховного. Более двух месяцев Дитерихс и сменивший Алексеева генерал Н.Н.Духонин делали безуспешные попытки удержать фронт от окончательного развала, а когда, уже после Октябрьского переворота, Ставка была разгромлена, причем озверевшая толпа при попустительстве большевицкого «Главнокомандующего» Н.В.Крыленко буквально растерзала Духонина, – Михаилу Константиновичу пришлось скрываться, бежать в Киев и некоторое время жить там по подложным документам.

В те месяцы и Дитерихсу, и Лебедеву вряд ли могло придти в голову, что в недалеком будущем оба окажутся почти на самой вершине иерархической пирамиды русской армии, возглавляемой адмиралом Колчаком. А сам Колчак, очевидно, вынужденный в своей заграничной поездке довольствоваться скудными и отрывочными сведениями, поступавшими из России, судя по всему, не заметил даже события, которое имело немалое значение: подлинного, а не мифического «корниловского», государственного переворота. От имени Временного Правительства, которое, по сути дела, перестало существовать в кризисные августовские дни, Керенский 1 сентября объявил, «что государственный порядок, которым управляется Российское

государство, есть порядок республиканский», и провозгласил «Российскую Республику». До этого в течение полугода страна, пусть и формально, в силу подписанного Великим Князем Михаилом 3 марта государственного акта, оставалась монархией с вакантным троном, ожидавшей «народного волеизъявления» в Учредительном Собрании. Теперь же Керенский узурпировал важнейшую из функций предстоявшего Собрания – установление формы правления.

В дни смятения и утраты ориентиров юридические нормы и вопросы легитимности, очевидно, неизбежно отходят на второй план; не анализировал событий с этой точки зрения и адмирал Колчак, который не обратил внимания, что, независимо от последовавшего в октябре большевицкого переворота, Учредительное Собрание, избранное и созванное уже в условиях «сентябрьской» узурпации, не может почитаться легитимным. Позже Александр Васильевич будет предъявлять претензии не к формальному статусу и правомочиям «Учредилки», а к составу и действиям конкретного Собрания образца 5 января 1918 года: «избрало председателем Чернова и запело интернационал», «это собрание было разогнано пьяным матросом и было первым шагом к созданию большевистской советской власти».

Интересно, что именно с «черновской» «Учредилкой» адмирал связывает «создание» большевицкого режима, в действительности установившегося в результате вооруженного переворота двумя с лишним месяцами ранее. Похоже, что для Колчака отказ Учредительного Собрания от решительного противодействия большевикам и фактическое подчинение роспуску делали его «руководящие» круги ответственными, наравне с Лениным, Троцким идр., за последующую эскалацию насилия и кровопролития, позорный мир с австро-германцами и распад единого государства. А в октябре 1917 года Александр Васильевич не задумывался о «перевороте Керенского» и правах будущего «органа народного волеизъявления» и впоследствии рассказывал, как «получил телеграмму от партии к-д из Петрограда с предложением выставить мою кандидатуру по Балтийскому и Черноморскому флоту в Учред[ительное] собр[ание]»: «я ответил согласием».

Следует ли видеть в этом согласии выражение подлинных политических симпатий Колчака? Возможно, но все-таки лишь с очень большою натяжкой. Конституционно-демократическая партия до Февральского переворота представляла взгляды и устремления лево-либеральных кругов, о чем говорит и ее второе, несколько выспренное название – «партия Народной Свободы»; а признанный лидер конституционных демократов Милюков

активно участвовал в распространении клеветнических, провокационных измышлений о «глупости или измене» Императорского правительства. В таком качестве и партия, и ее вождь несут неоспоримую ответственность за катастрофу, постигшую Россию. Однако после Февраля, сразу же обрушившегося на все консервативно-монархические течения, «партия Народной Свободы» неожиданно для себя оказалась на правом фланге русской общественности, вольно или невольно втягивая в свою орбиту почти всех, кто желал противостоять антигосударственным движениям легальными методами.

О печальной роли, сыгранной партией Милюкова в дни августовского кризиса («Произошло нечто чудесное: русская общественность внезапно и бесследно сгинула», – с иронией писал Деникин), Колчак мог только догадываться. И в этом контексте, думается, не следует переоценивать его согласие на баллотировку по списку «Народной Свободы», так же как и не стоит совсем о нем забывать: по крайней мере об одном оно свидетельствует непреложно – мнимый «кондотьер» отнюдь не отстранился от участия в жизни Отечества и при первой возможности проявил готовность вновь обратиться к активной деятельности.

Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов и очередное крушение военных планов Колчака, после чего его миссия в США, куда адмирал прибыл в конце августа, свелась к малоинтересным техническим консультациям. «Вскоре я узнал, что план о посылке флота в Сред[иземное] море оставлен, и мне оставалось лишь передать важные для американского флота технические данные… По окончании этой работы я участвовал, по приглашению америк[анского] морского командования, в маневрах на Атлантическом океане, – расскажет впоследствии Александр Васильевич. – Принимали меня в Америке как гостя американской нации очень хорошо, но отношение к русским вообще было отрицательное. Я предполагал вернуться в Россию. В это время я имел беседу с [президентом] Вильсоном, который расспрашивал меня о положении в России и интересовался моим мнением о причине поражения в Рижском заливе [45], которое я мог объяснить лишь моральным состоянием команды. Ехать я решил через Владивосток…»

Рассказ ведется в спокойном тоне… но вряд ли был в те дни спокоен адмирал Колчак, и не случайно, должно быть, на фотографии, запечатлевшей его с подчиненными из «Русской морской комиссии», Александр Васильевич, как будто утонувший в глубоком сиденьи дивана, в новой форме без погон, которая была установлена в апреле 1917 года, напоминает

нахохлившуюся больную птицу. Умный и внимательный наблюдатель, он не может не замечать того, какими глазами смотрят иностранцы на него и на Россию, а это, в свою очередь, не может не удручать.

«… Пребывание за границей очень тягостно, – пишет Колчак А.В.Тимиревой из Америки, – ввиду того, что мы справедливо заслужили везде сомнение в своей способности не только вести войну, но даже справиться со своими внутренними делами. Англичане относятся к нам совершенно отрицательно, в Америке смотрят на нас лучше, но, повторяю, я не могу отделаться от чувства неловкости, когда бываю в форме русского офицера…» Здесь, конечно, все-таки следует отметить слово «справедливо» – жестокая оценка скорее всего совпадала со взглядами самого адмирала на положение в стране и в ее вооруженных силах; однако рядом с адекватностью восприятия Александр Васильевич встречал в иностранцах, причем самого высокого ранга, и поражавшую его слепоту.

«В Америке мне преимущественно пришлось работать в Морском министерстве и Морской академии (в Ньюпорте), – напишет он через полгода. – Я представлялся президенту Вильсону, государственному секретарю Лансингу, Морскому министру и некоторым политическим деятелям. Общее впечатление, которое я вынес из знакомства с американским обществом, – это полная неосведомленность о делах в России…

Американское общество особенно восхваляло Керенского, что не помешало, однако, впоследствии общественному мнению в Америке усмотреть в большевизме идеологию российского демократизма.

Вообще, находясь за границей в период, предшествующий окончательному развалу Российской государственности, я видел, что в вопросах нашей внутренней политики наиболее ясный отчет отдавали себе военные деятели… В развале нашей вооруженной силы они видели гибель государственности, а вовсе не выражение демократических настроений русского народа. Для военных людей всего мира было совершенно ясно, что революция, не сумевшая выиграть войну, когда для этого были все средства, неминуемо приведет страну к анархии, что впоследствии и произошло».

До этого «впоследствии» оставались считанные недели, а потом и дни, но возвращаться на родину Колчак собирался, движимый ощущением своей ненужности в Америке, а вовсе не какими-либо предчувствиями (исключая те предчувствия насчет общих тенденций развития революции, которые у него давно превратились в уверенность). Достаточно сказать, что, когда

незадолго до отъезда из Сан-Франциско на Дальний Восток комиссия получила известия о большевицком перевороте в Петрограде, ее члены, по свидетельству Александра Васильевича, «не особенно им доверяли».

Впрочем, новые сведения о происходившем в России не оставляли места сомнениям: произошел не просто очередной кризис или даже государственный переворот – к власти прорвалась группа наиболее агрессивно настроенных пораженцев, немедленно приступивших к осуществлению программы, которую Колчак (да и не он один!) не мог объяснить ничем, кроме германского влияния, если не просто инструкций. В первые же часы своего торжества в Петрограде большевики провозгласили нечто, пышно поименованное «Декретом о мире»; впрочем, и сами его авторы были как будто не очень уверены в названии, представляя тот же документ как «декларацию» или «обращение к народам и правительствам всех воюющих стран». Агитационное воззвание, декларирующее не более чем стремление нового правительства («Совета народных комиссаров») заключить мир на основе всеобщего отказа от «аннексий и контрибуций», создавало у солдат иллюзию, будто мир близок и легко достижим; единственным же конкретным деянием, вытекавшим из «Декрета о мире», становилась публикация секретных договоров, заключенных между собою странами Антанты, что давало определенные козыри германской пропаганде, – и как будто голос германской пропаганды звучал в словах «Декрета о мире»: «Все содержание этих тайных договоров, поскольку оно направлено, как это в большинстве случаев бывало, к доставлению выгод и привилегий русским помещикам и капиталистам, к удержанию или увеличению аннексий великороссов, правительство объявляет безусловно и немедленно отмененным».

Авантюрный характер большевицкой власти был очевидным для правительств всех воюющих держав, и следовать ее призывам никто не собирался; тогда 8 ноября глава народного комиссариата (министерства) по иностранным делам Троцкий, теперь уже нотой послам союзных держав, вновь предложил немедленно заключить перемирие. Генералу Духонину, который возглавил Действующую Армию вследствие бегства «Верховного Главнокомандующего» Керенского, было приказано «обратиться к военным властям неприятельских армий с предложением немедленного приостановления военных действий в целях открытия мирных переговоров». Не признавший Октябрьского переворота Духонин отказался выполнить это требование, и 20 ноября Ставка Верховного Главнокомандующего была разгромлена двинутыми на нее отрядами красногвардейцев,

революционизированных солдат и матросов.

Россия была выведена из войны, чего с 1914 года добивалась австро-германская стратегия, и не зря немцы считали свою помощь, оказанную российским социалистам-пораженцам, просто способом боевых действий. Статс-секретарь по иностранным делам Р. фон Кюльман осенью 1917 года свидетельствовал: «Только после того, как большевики получили от нас постоянный поток средств по различным каналам и под разными этикетками, они оказались в состоянии создать свой главный орган – “Правду”, вести энергичную пропаганду и заметно расширить первоначально узкую базу своей партии». Именно с этими настроениями немецкая сторона приступила 9 декабря к начавшимся в Бресте-Литовском (оккупированная часть России) мирным переговорам.

Нельзя отрицать, что на этих переговорах обе стороны до некоторой степени были обмануты в своих ожиданиях. Большевики вовсе не считали себя безвольным орудием в руках немцев и попытались превратить решение вопроса о мире в состязание политических ораторов, кажется, искренне надеясь на скорое начало «мировой революции». Разочаровав этим другую договаривающуюся сторону, они, впрочем, и сами были изумлены, обнаружив, что «совсем иначе понимают мир без аннексий», чем представители австро-германцев. «Последние, – рассказывает немецкий генерал М.Гофман, – придерживаются той точки зрения, что если некоторые части бывшей Российской империи добровольно через полномочные политические представительства выскажутся за отторжение от России и присоединение к Германии или другой державе, то это вовсе не будет означать аннексию». А поскольку в оккупированных Привислинских губерниях, Литве и Курляндии у немцев уже имелись под рукой марионеточные администрации, советские представители оторопело обнаружили, что «Германия собирается отторгнуть от России чуть ли не 18 губерний» и не считает такие действия аннексионистскими.

Не менее удивительна, впрочем, неосведомленность советских «дипломатов» о воззрениях на этот счет своей собственной партийной верхушки. Еще в апреле 1917 года Ленин не скрывал, что в его толковании «присоединение Курляндии к России» (то есть восстановление территориальной целостности Российского государства и освобождение от германских оккупантов Курляндской губернии) «есть аннексия», и с гордостью рассказывал, как на вопрос одного из членов Совдепа, желавшего «драться, чтобы отвоевать Курляндию»: «Неужели отвоевать Курляндию – значит быть за аннексии?» – «должен был

отвечать утвердительно».

Мы отнюдь не хотим создать впечатление, будто Колчак в те недели и месяцы имел точную информацию о действиях большевиков или тем более – о ходе переговоров. Важно другое: Александр Васильевич (хотя бы и интуитивно) решительно и проницательно распознал в большевицком «кабинете» – правительство национальной измены, окончательно ввергшее великую страну в бездну позора, поражения в войне, унижения. И быть может, его настроение поздней осенью 1917-го и последующей зимою описывалось горькими и гневными строками Максимилиана Волошина, написанными 23 ноября:

С Россией кончено… На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль…

Подобные чувства должны были обостряться по мере того, как с приближением Колчака к берегам России становились все более и более определенными известия о том, что происходило на родине. Первой остановкой на пути во Владивосток стала Япония, где Александр Васильевич задержался на два с лишним месяца и где он получил подтверждение сведений о большевицком перевороте, а затем и о сепаратном перемирии с австро-германцами. «Объявление проклятого мира с признанием невозможности вести войну – с первым основанием в виде демократической трусости – застало меня, когда я приехал в Японию, – напишет он в черновике письма к А.В.Тимиревой. – Тогда я отправился к английскому послу Sir Green'у и просил его передать английскому правительству, что я не могу признать мира и прошу меня использовать для войны как угодно и где угодно, хотя бы в качестве солдата на фронте. Что лично у меня одно только желание – участвовать активно в войне и убивать немцев».

Недели протекали в ожидании реакции Лондона, чтении новостей из Европы, прогулках по японским достопримечательностям (Колчак жил в Иокогаме, время от времени наведываясь в Токио), пока наконец 30 декабря не пришел положительный ответ. «Я с двумя своими спутниками (членами миссии Вуичем и Безуаром, присоединившимися к

адмиралу в его просьбе. – А.К.) принят на службу Его Величества Короля Англии и еду на Месопотамский фронт. Где и что я буду делать там я – не знаю [46]. Это выяснится по прибытии в Штаб Месопотамской армии, куда я уезжаю via [47]Шанхай, Сингапур, Коломбо, Бомбей», – сообщает Александр Васильевич.

Казалось бы, именно теперь становился правомочным термин «кондотьер» – наемник на службе чужого государства, тем более что и сам Колчак очередной «апологией войны» дает для этого основания. «Я не скрываю всей тяжести всей тяжелой концепции (простите, ради Бога, это слово) предстоящего будущего и “не рисую себе картин”, – пишет адмирал, – но “я служу” снова, служу войне, – единственная служба, которую я не только теоретически ставлю выше всего, но которую искренно и бесконечно люблю». Можно подумать, будто чувство облегчения, наконец-то появившейся определенности, в противовес предшествовавшему мучительному осознанию бессилия и одиночества, и окрылило адмирала настолько, что ему не пришло в голову вновь применять к себе слово, которое так терзало его летом. Однако и месяцем позже, когда облегчение прошло и сменилось вновь тягостной подавленностью, – пресловутое название «кондотьер» лишь однажды промелькнет в его многочисленных черновиках. Значит ли это, что Александр Васильевич свыкся с таким своим положением, и вообще, чем было вызвано его столь горячее желание «убивать немцев», причем именно на английской службе?

На последний вопрос, по-видимому, ответить легче всего, хотя в Америке адмирал Колчак и мог рассчитывать по меньшей мере на столь же благожелательное отношение, как в Англии. В самом деле, будучи в США (куда и вернуться в случае необходимости было намного легче), он общался с гораздо более высокопоставленными политиками, чем в Великобритании, – сам президент и государственный секретарь интересовались его мнением, в отличие от английского короля или премьер-министра. Колчак вдумчиво и с интересом знакомился с американским флотом, составив о нем, кажется, довольно благоприятное впечатление. К американцам Колчак мог чувствовать и определенную симпатию – ведь не выделял же он их «военных деятелей» из общего ряда тех, кто, по его мнению, наиболее прозорливо оценивал ситуацию в России. Интересным обстоятельством является и посещение Александром Васильевичем могилы адмирала Д.Фаррагута – дань памяти выдающегося американского флотоводца. И все же вопрос о переходе на службу в США он, похоже, даже не рассматривал всерьез.

Причина заключалась в том впечатлении, которое Колчак вынес из знакомства с общим направлением мысли в Соединенных Штатах. «… Когда я изучил вопрос о положении Америки с военной точки зрения, то я пришел к убеждению, что Америка ведет войну только с чисто своей национальной психологической точки зрения – рекламы, advertising [48]… Американская war for democracy [49]– Вы не можете представить себе, что за абсурд и глупость лежит в этом определении цели и смысла войны, – напишет он в Японии, вспоминая время, проведенное в США. – Война и демократия – мы видим, что это за комбинация, на своей родине, на самих себе. Государственные люди Америки понимают это, но они не могут иначе действовать, и потому до сих [пор] американцы не участвовали еще ни в одном сражении…»

Если Колчак искренно полагал, что Вильсон и другие руководители политики Соединенных Штатов были всего лишь скованы направленными извне, какими-то безликими тенденциями демократии и пацифизма, то он, очевидно, ошибался – и год спустя адмиралу, уже Верховному Правителю России, предстоит в этой своей ошибке убедиться; но в данном случае главное не это, а принципиальное неприятие Александром Васильевичем демократизма как в виде отвлеченных идеалов, так и в повседневной политической практике и американской пропаганде. Пассивное, все еще не очень действенное, по мнению адмирала, участие США в войне, которое не давало ему в полной мере приложить свои силы, знания, опыт, – всего лишь следствие, корни же кроются в принципах «американизма» и национальной психологии, столь категорически и презрительно отвергаемых Колчаком. Конец 1917 – начало 1918 года вообще представляется периодом кристаллизации и даже некоторого ожесточения его взглядов на устройство современного ему общества, на пагубные течения и способы их преодоления, на грядущие судьбы России и русского народа, о чем он никогда не перестает думать; и здесь мы вновь должны обратиться к вопросу о «кондотьерстве» русского адмирала.

То и дело его рисуют «киплингианскими» красками, в духе знаменитого «but there is neither East nor West, Border, nor Breed, nor Birth, when two strong men stand face to face though they come from the ends of the earth» [50], когда родина и происхождение выглядят величинами пренебрежимыми в сравнении с «вневременны́ми» и «вненациональными» силой и мужеством, – и адмирал, кажется, до некоторой степени дает для этого основания. «… Война прекрасна, – пишет он в эти дни, – хотя она связана со многими отрицательными явлениями, но она везде и

всегда хороша. Не знаю, как отнесется Она к моему единственному и основному желанию служить Ей всеми силами, знаниями, всем сердцем и всем своим помышлением», – и в этой мрачноватой романтике, уже стоящей на грани кощунственного перефразирования Евангельских слов, и вправду есть что-то от киплинговских героев и ситуаций; но исчерпывается ли этим адмирал Колчак?

«Единственная форма, в которой я мог продолжать свое служение Родине, оказавшейся в руках германских агентов и предателей, было участие в войне с Германией на стороне наших союзников», – скажет он вскоре, проясняя свою позицию. Разумеется, можно возразить, что все это говорилось уже после возвращения Колчака на русскую службу, когда ему хотелось оправдаться в своем «кондотьерстве»; однако записи, сделанные в самый разгар этого непродолжительного «кондотьерства», похоже, опровергают подобные возражения.

«Я, может быть, выражаю [51]недостаточно ясно свою основную мысль; мысль о том, что на меня же ложится все то, что происходит сейчас в России, хотя бы даже одно то, что делается в нашем флоте, – ведь я адмирал этого флота, я русский…» – мучительно подыскивает он слова в черновике письма, датированном 21 декабря 1917 года; а 2 января 1918-го, среди очередных рассуждений о войне, формулирует: «Война дает мне силу относиться ко всему “холодно и спокойно”, я верю, что она выше всего происходящего, она выше личности и собственных интересов, в ней лежит долг и обязательство перед Родиной, в ней все надежды на будущее, наконец, в ней единственное моральное удовлетворение». Стремление принять действенное участие в борьбе против врагов России дает Александру Васильевичу единственную надежду на возвращение уважения к самому себе; и, не боясь некоторой парадоксальности формулировки, скажем, что русский адмирал Колчак, оставшись без родины, мог пойти на службу войне… но не Великобритании.

Большое значение для воссоздания взглядов и душевного состояния Александра Васильевича в этот период имеет и его рассказ о беседе с японским полковником Я.Хизахидэ. Они познакомились еще во время пребывания Колчака в Японии, однако наиболее откровенный разговор двух офицеров, судя по записи Колчака, состоялся уже в Шанхае, куда адмирал выехал, направляясь к предполагаемому месту новой службы – в Месопотамию. Отъезд из Шанхая задерживался в связи с карантином (на пришедшем пароходе была обнаружена чума); тогда-то, в читальне устроенного англичанами клуба, Александра Васильевича и нашел японский офицер, направлявшийся в это

время в Южный Китай с какой-то, по-видимому, секретной миссией (по крайней мере, так считал Колчак).

Возвратимся к цитате из Киплинга, чтобы заметить, как – будто бы специально – реализовалась описанная в ней ситуация встречи «двоих сильных», пришедших «с разных концов земли». Увидим мы здесь и взаимное уважение, которое, похоже, выразилось даже в почти ритуальном дарении (или обмене?) оружия: еще в Японии Хизахидэ подарил русскому адмиралу старинный клинок конца XVII века. Помимо личных симпатий, для Колчака, с его философией войны, большое значение могли иметь и соображения, подобные изложенным в свое время знаменитым германским мыслителем генералом К. фон Клаузевицем (известно, что Александр Васильевич изучал его труд «О войне»): «Как бы ни мыслили себе совершенное воспитание в одной и той же личности качеств гражданина и воина, в какой бы мере мы ни представляли войну общенациональной… нам никогда не удастся изгладить индивидуальные черты военного дела, а раз это невозможно, то те, которые заняты им, и до тех пор, пока им занимаются, будут неизбежно смотреть на себя как на особую корпорацию…» Казалось бы, в «кондотьерский» период для адмирала корпоративный, профессиональный, кастовый, вненациональный воинский дух должен был усиливаться и в гораздо большей степени, чем раньше, руководить его чувствами и мыслями; но почему же Колчак столь настороженно слушает собеседника?

«Hisahide является фанатиком панмонгольского милитаризма, ставящего конечной целью ни более ни менее, выражаясь деликатней, экстерилизацию индоарийской расы, которая отжила свою мировую миссию и осуждена на исчезновение… Масса военных людей (а в Японии этот класс, помимо явно выраженного в военнослужащих, является самым многочисленным и политически сильным), если видит сны, то только на тему о панмонгольском мировом господстве…» – записывает адмирал, предваряя этой характеристикой рассуждения о будущей японской агрессии и внутренней слабости европейской цивилизации, разложенной демократическими настроениями. И, говоря об уважении к сильному противнику и о признании его правоты по многим вопросам («Hisahide замолчал – мне нечего было возразить ему»), непременно подчеркнем, что ключевым словом здесь остается именно «противник», но не личный (по Киплингу), а противник России; и не случайно, по рассказу Колчака, он после ухода собеседника сразу же погрузился в размышления о недавнем прошлом, настоящем и будущем своей страны – теме,

практически не затронутой в ходе беседы. Впрочем, и с само́й беседой все далеко не просто…

Читая ее изложение Колчаком, трудно не удивиться литературному стилю и почти беллетристической манере, к которым Александр Васильевич в известных черновиках своих писем прибегает чуть ли не единственный раз (теперь он избавлен от опасений цензуры, да и пишет-то, по сути дела, в неизвестность, не зная даже, где находится адресат, так что письма в еще большей степени приближаются к дневниковым заметкам). И как раз эта литературность способна насторожить или по крайней мере заставить задуматься, насколько аутентичен рассказ адмирала.

Дело в том, что согласно изложению Колчака беседа в сущности была не беседой, а продолжительным монологом полковника Хизахидэ, занимающим несколько страниц и ни разу не прерванным ни одной репликой самого Александра Васильевича. Вопросов не возникало бы, будь перед нами такой же «отчет» о разговоре, как тот, например, который содержится в черновике, повествующем о встрече с адмиралом Джеллико: «Адмирал был исключительно любезен со мной и доказал лучшим образом свое отношение ко мне, перейдя сразу к делу, достав наиболее секретные карты… Я провел в высшей степени приятные 1 1/ 2часа, обсуждая с Jellicoe вопросы войны… Я перешел под конец к морской авиации и выразил желание принять участие в одной из обычных операций гидропланов. Jellicoe отнесся к этому как к наиболее естественной вещи и только спросил, желаю ли я идти на миноносце или на гидро. После ответа моего, что я хочу идти на гидро… был вызван адмирал Penn..» и т. д. Напротив, в рассказе о своем общении с Хизахидэ Александр Васильевич не прибегает к подобной форме изложения, – которая, заметим, выглядит наиболее естественной для письма, – и пользуется прямой речью, пожалуй, делая монолог японца несколько неправдоподобным.

Об известной «литературности» этого рассказа свидетельствует и то, что несколько раз адмирал вычеркивает уже написанные куски предложений (отсюда новые сомнения в аутентичности «отчета»). Чему противоречит, к примеру, размышление о том, «что дисциплина есть основание свободы… что дисциплина, по существу, есть истинное выражение свободы»? Неужели для профессионального военного, едва ли не воплощения самурайского духа, было бы неправдоподобным к словам о том, что «текущая война есть борьба демократического начала с милитаризмом», – добавить: «также аристократическим началом»? Почему бы полковнику Хизахидэ, говоря о

превосходстве японского милитаризма, не добавить из вежливости или искреннего сочувствия к собеседнику – «я не говорю о Вас лично, тем более о Вашей Родине, павшей жертвой того, с чем мы готовы вступить в борьбу»? А между тем все это, как будто написанное одним духом, затем… вычеркнуто Колчаком – и уместно задать вопрос, чьи же тогда слова он приписывает собеседнику?

Есть в этом рассказе и по меньшей мере один пассаж, в котором адмирал явно зарвался, вкладывая в уста японского офицера нечто малоправдоподобное – «ибо наш желтый монгольский мир…» (сравним далее в авторском тексте самого Колчака – «монголо-малаец» применительно к Хизахидэ), – и Александр Васильевич, очевидно почувствовав это, не дописал фразу (одну из немногих в данном черновике) и вычеркнул ее окончание. Все это позволяет квалифицировать интересующий нас текст если и не как художественное произведение в полном смысле слова, то по крайней мере как нечто стилистически приближающееся к политическому эссе, где мысли и взгляды собеседников, независимо от явно литературной «прямой речи», не разделены между собою и, кажется, в большинстве своем принадлежат им обоим.

Заметим кстати, что такое предположение позволяет по-новому взглянуть и на известный пассаж о японском клинке, который так любят цитировать недоброжелатели Александра Васильевича. Описание своеобразной медитации, конечно, звучит весьма впечатляюще – «Когда мне становится очень тяжело, я достаю этот клинок, сажусь к камину, выключаю освещение и при свете горящего угля смотрю на отражение пламени в его блестящей поверхности и тусклом матовом лезвии с характерной волнистой линией сварки стали и железа. Постепенно все забывается и успокаивается, и наступает состояние точно полусна, и странные, непередаваемые образы, какие-то тени появляются, сменяются, исчезают на поверхности клинка, который точно оживает какой-то внутренней, в нем скрытой силой, – быть может, действительно “частью живой души воина”», – хотя немедленно следует довольно прозаическое завершение: «Так незаметно проходит несколько часов, после чего остается только лечь спать». Однако описанная «медитация» на двадцати страницах одного и того же черновика (и именно того, где содержится рассказ о беседе с Хизахидэ)… повторяется дважды, причем в некоторых деталях – с буквальными совпадениями, что становится дополнительным аргументом в пользу «литературности» всего текста.

Но вернемся от деталей к его содержанию. Итак, если

предположить, что «монолог Хизахидэ» весьма условен и представляет собою литературное отражение общих впечатлений от беседы (сомневаться в реальности которой у нас нет оснований), мы увидим в нем, наряду с констатацией «желтой опасности» и ощущением угрозы со стороны усиливающейся и агрессивной Японии, еще и изложение взглядов самого Колчака на устройство общества, на современные тенденции, которые адмирал решительно оценивает как пагубные, и на общественно-государственный идеал, противопоставленный этой угрозе.

Одна из составляющих этого идеала нам уже известна – пресловутый «милитаризм», колчаковская «любовь к войне». Но весьма примечательно – и до некоторой степени неожиданно, – что на страницах, исписанных в дни одного из самых жестоких душевных кризисов, пережитых Колчаком, война предстает отнюдь не в своем «персонифицированном» обличии, а «внешней» грозной стихией, не самоцелью киплинговского «сильного человека», а объективным критерием, отделяющим внутри общества «сильных» и достойных – от трусов, для Колчака воплощенных в революционной толпе. Таким образом война не обсуждается адмиралом с точки зрения «служения Ей всеми силами, знаниями, всем сердцем и всем своим помышлением»: грозные военные испытания здесь – лишь средство для отбора внутри нации ее аристократии.

Похоже, что в этом слове и заключается квинтэссенция мировоззрения Колчака. Мы уже видели отрицание им демократии, и не только в специфически-американском ее воплощении, а в качестве общественного принципа; теперь же адмирал формулирует и «положительный» принцип, противопоставляемый им миру трусости, лжи и рекламы, – и принцип этот заключается в своеобразном аристократизме – не крови, но духа. И, может быть, не как случайность, а как отзвук навсегда оставшихся неизвестными разговоров, пишутся строки из адресованного Александру Васильевичу письма Анны Васильевны о ее покойном отце (известном музыканте и дирижере) – «… Если революция есть торжество демократического принципа и диктатура черни, то он был аристократом духа и привык властвовать людьми и на эстраде, и в жизни», – а также полушутливое ее упоминание о Колчаке как о «поклоннике аристократического принципа».

В связи с этой стороною личности адмирала нельзя не остановиться и на одной совсем уж неожиданной параллели. Среди наиболее известных русских офицеров, боровшихся против большевизма на восточной окраине России, есть один, чаще всего противопоставляемый Александру Васильевичу не только исходя

из черт характера или особенностей биографии, но и, так сказать, принципиально, «мировоззренчески». «Несомненно, Унгерн считал Колчака мягкотелым позером и ненавидел его как либерала, японофоба и западника», – читаем у сегодняшнего автора, храбро подменяющего решительным «несомненно» какую бы то ни было серьезную аргументацию. Не более аргументированны и соседние рассуждения о генерале Р.Ф.Унгерн-Штернберге, стяжавшем жестокую славу самого беспощадного врага большевиков и наиболее решительного соратника Атамана Г.М.Семенова: «должен был воспринимать Колчака» «с долей иронического презрения к его претензиям видеть в себе настоящего диктатора», «для Семенова и Унгерна трагическая фигура Колчака превратилась в шутовскую, его роковое интеллигентское бессилие выгодно оттеняло их собственную, не стесненную условностями, власть» и проч. Не останавливаясь на голословных, но от этого не менее императивных рекомендациях, что́ «должен» или «не должен» был испытывать давно ушедший из жизни человек по отношению к другому, и в принципе допуская, что они и вправду могли не понимать и не любить друг друга, – попробуем объективно сопоставить их взгляды и идеалы.

Согласно «монологу Хизахидэ», нигде не оспоренному в авторской речи самого Колчака, западный мир – понимая под Западом и Европу, и Америку, – подпал под верховенство «развращенной народной массы, желающей власти», что само по себе абсурдно («власть не может принадлежать массам»). «Низовая» демократия, находящая свое выражение в социалистических учениях и движениях, по результатам своей деятельности смыкается с «плутократией и капиталом», поскольку «банкир или фабрикант не может управлять государством и, получив власть, приведет неизбежно его к социальной заразе, упадку и даже гибели». Для России, продолжает адмирал уже от собственного имени, роковыми оказались «демократизация» основной массы армейского офицерства, мягкотелость и отсутствие воинского духа в высших эшелонах военного управления и гибель в первые годы Мировой войны «настоящих» офицеров, после чего нация, лишенная своей аристократии, оказалась охваченной «самой низкой животной трусостью», – спасения же России можно ожидать лишь от «новой войны», в которой она, быть может, сумеет «возродиться»: «Если это не случится, тогда придется признать, что смертный приговор этой войной нам подписан».

А что же Унгерн? В 1921 году, преданный подчиненными, он попадет в плен к большевикам и на допросе будет подробно

рассказывать о своем мировоззрении. «Белая культура, приведшая европейские народы к революции, сопровождавшаяся веками всеобщей нивелировки, упадком аристократии и прочая, подлежит распаду и замене желтой, восточной культурой, образовавшейся 3000 лет назад и до сих пор сохранившейся в неприкосновенности, – излагает взгляды генерала протокол допроса. – Основы аристократизма, вообще весь уклад восточного быта, чрезвычайно ему во всех подробностях симпатичны, от [пропуск в документе] до еды».

Различие, и существенное, здесь только в том, кто именно ассоциируется с этой «восточной культурой», в глазах обоих сохранившей свою силу, внутреннюю цельность и любовь к войне. Для Колчака Восток воплощается в Японии – едином, сильном, в достаточной степени модернизированном государстве, не оставившем тем не менее агрессивности и «духа бусидо». Для Унгерна, с Японией незнакомого, а японцев видевшего эпизодически, Восток – это разваливающийся республиканский Китай и разрозненные монгольские племена, причем первый можно презрительно не принимать всерьез (и приведенная цитата к нему явно не относится), а вторые – использовать в собственных целях (и в русских целях), дав им подходящих возглавителей и идею, которой они не имеют. Соответственно и отношение к этому Востоку у адмирала и генерала оказывается различным – настороженность и враждебность или уважительное поощрение.

Итак, рисуя общую картину мира, эти два русских военачальника говорят, в сущности, об одном и том же; в цивилизации, которая породила и воспитала обоих, их пугают и отталкивают одни и те же тенденции развития; «аристократический принцип» равно притягателен и для одного, и для другого… и это неожиданное сопоставление с «железным бароном» чрезвычайно важно для понимания внутреннего мира адмирала Колчака, которого слишком часто рисуют слабым, безвольным (и – столь же часто подразумевается – никчемным) «интеллигентом», а иногда ничтоже сумняшеся приписывают «осознание» этого и самому Александру Васильевичу («А.В.Колчак с глубоко спрятанной тревогой понимал, что он слишком интеллигентен, слишком хрупок для такого жестокого и кровавого действа, каким оказывается на практике любая война…»). На самом деле Колчак был совсем другим, – и потому он, не успев завершить одну войну, с такой решительностью пойдет на другую, и потому же, быть может, «бешеный барон Унгерн», в сознании многих предстающий антиподом адмирала, будет по сути дела единственным, кто попытается отомстить за смерть Верховного Правителя…

Но все это еще в будущем, период последних деяний для Колчака еще не наступил, он пребывает в ожидании и раздумьях, и раздумья эти горьки. «За эти полгода, проведенных за границей, – записывает он 2 января 1918 года, – я дошел, по-видимому, до предела, когда слава, стыд, позор, негодование [52]уже потеряли всякий смысл, и я более ими никогда не пользуюсь». Уже не было ни гнева, ни стремления «объяснить что-либо по системе топтания фуражки», не было, кажется, столь знаменитых яростных вспышек Колчака. Была выжженная пустыня в душе – да и, говоря о душе, Александр Васильевич мельком заметит, что «учение буддизма совершенно поколебало» представление о ней, и случайно ли в следующем черновике он признается в «такой отчаянной тоске», «что развитие ее, право, может навести [на] мысли о том, что японцы деликатно называют “благополучным выходом”», – то есть на мысли о самоубийстве?. И адмирала Колчака среди его тягостных мыслей поддерживает только надежда на войну… и, сколь бы парадоксально это ни прозвучало после всего вышесказанного, – надежда на Россию.

А Россия помнила о Колчаке, какой-то таинственной интуицией выделив его из ряда многих, слишком многих промелькнувших за последние месяцы лиц. Всего лишь «один из» командующих флотами, не слишком удачливый в своих первых попытках обуздать стихию, «политический деятель», не успевший выйти на политическую сцену… – в смутное время, когда имена вспыхивают и угасают мгновенно, погружаясь во мглу забвения, Колчак неизменно живет в «общественном сознании» в качестве угрозы или надежды.

В общем, нетрудно понять, почему именно его образ витает над окончательно революционизирующимся Черноморским флотом, как призрак возмездия: «Слыхал? К Дарданеллам, к Дарданеллам Колчак подошел, стоит во главе… Во главе стоит всех держав! Думаешь, когда сюда дойдет, простит всех, это хулиганство?» – передает современник слухи поздней осени 1917 года. Менее объяснимо, почему на Дону, отнюдь не бедном громкими именами собравшихся там военачальников (Корнилов, Алексеев, Каледин, Деникин…), те, кто надеялся и ждал возрождения державы, тоже продолжали помнить Колчака, рождая слух за слухом:

«– Союзники прошли через Дарданеллы. Союзную эскадру ведет адмирал Колчак.

В предчувствии красных ужасов, накануне падения Ростова и Новочеркасска так хотелось увидеть русскую жизнь под вымпелом Колчака.

Но слухи оказались слухами.

В мае [1918 года] пришел другой слух:

– Колчак в Северном море. Над Архангельском рядом с английским флагом реет русский Андреевский флаг (действительно, в журнале, датированном 28 июля 1918 года, передавался слух о поездке «на Мурман» Савинкова, якобы делающего при этом «ставку на Колчака». – А.К.).

– Будет на севере жизнь под вымпелом Колчака.

Но и в Архангельске не оказалось Колчака.

Теперь (поздней осенью 1918 года. – А.К.) адмирал Колчак, по слухам, сразу в двух местах:

– Диктатор в Омске.

– Русский адмирал на английском дредноуте в Константинополе.

Но где он точно – никто сказать не может»…

И уж совсем причудливо выглядит матрос-большевик из стихотворения Волошина – убийца и погромщик, который, несмотря на всю свою революционность/

> … угрюмо цедит земляку:
> «Возьмем Париж… весь мир… а после
> Передадимся Колчаку».

И пусть даже этот парадокс не «подсмотрен», а сочинен поэтом, стремящимся подчеркнуть всеобщую бессмыслицу, хаос, сумятицу, душевную и духовную разруху (хотя Волошин и утверждал, что «зарисованная» им «личина» была «наблюдена» в действительности), – всплывшее среди мрачного бреда имя Колчака отнюдь не случайно. Громадный потенциал, заключенный в личности адмирала, превращал его имя в легенду, которая бродила по раздираемой междоусобицами Русской Земле.

Россия ждала адмирала Колчака – и адмирал Колчак не мог вновь не появиться в России.

Часть третья
«Я солдат и слуга Родины»

Глава 8
У Российской границы

Настало время задуматься, каково в эти дни и месяцы было отношение адмирала к перспективам борьбы на родине и не ошиблись ли мы, приписав ему некую «надежду на Россию». Разумеется, в том состоянии, в котором он тогда находился, принимать взвешенные решения и вырабатывать обдуманную позицию чрезвычайно трудно; однако определенные заключения можно сделать, рассуждая «от противного» – обратив внимание на те черты, которые Колчак видел в оказавшихся заграницей русских и которые вызывали его резкое неприятие.

«В Иокогаме большое русское общество – это в большинстве случаев бежавшие от революции представители нашей бюрократии, военной и гражданской, – записывает Александр Васильевич между 21 и 30 декабря 1917 года, еще находясь в Японии. – Не знаю почему, но я в это общество не вошел и не желаю входить… Это общество людей, признавших свое бессилие в борьбе, не могущих и не желающих бороться, мне не нравится и не вызывает сочувствия». Запись сделана в те самые дни, когда Колчак заявил о своем желании поступить на английскую службу и, соответственно, из возможных видов борьбы выбрал для себя именно такой, – однако странно было бы ожидать, чтобы он потребовал от всех боеспособных членов русской колонии предложить свои шпаги британской короне. А значит, адмирал не исключал и каких-то иных способов выполнения долга и даже с неприязнью относился к не желающим эти способы испробовать.

А потому стоит внимательнее присмотреться и к строкам, написанным им сразу же вслед за «монологом Хизахидэ», но уже от собственного лица: «… Будем верить, что в новой войне Россия возродится. “Революционная демократия” захлебнется в собственной грязи или ее утопят в ее же крови. Другой будущности у нее нет. Нет возрождения нации помимо войны, и оно мыслимо только через войну. Будем ждать новой войны как единственного светлого будущего, а пока надо окончить настоящую, после чего приняться за подготовку к новой». Буквальное прочтение как будто заставляет нарисовать картину смены Мировой войны («окончить настоящую») мирным периодом под управлением «революционной демократии», в течение которого кто-то (кто?) будет готовить «новую войну», и в этой-то войне, в этом «внешнем» катаклизме, стихийном испытании на прочность, когда «тяжкий млат, дробя стекло, кует

булат», должна произойти мобилизация национального духа, преодолевающая «грязный» характер «революционной демократии» и обуславливающая возрождение России. Картина эта, однако, на поверку оказывается столь странной, что приписывать ее Колчаку вряд ли было бы справедливо.

В самом деле, «революционная демократия», в своем развитии дошедшая от Керенского до Ленина, представлялась Александру Васильевичу настолько отвратительной, что даже смерть от рук этих разрушителей России он уподоблял перспективе «быть заживо съеденным домашними свиньями». Не находя для себя возможной службу этой власти, вряд ли он мог даже гипотетически считать такую службу обязательной или хотя бы приемлемой для патриотически настроенного офицерства. Так неужели адмирал всерьез рассчитывал, что будущую победоносную войну и возрождение державы подготовят безвольные или беспринципные оппортунисты, избравшие путь сотрудничества с большевиками? И не более ли оправданным кажется предположение, что Колчак имеет в виду не какую-то неизвестно откуда взявшуюся и непонятно кем подготовленную, абстрактную «войну вообще», а сознательную и целенаправленную борьбу против «революционной демократии» тех сильных и любящих свое Отечество, кому «тяжкий млат» окажется по руке?

Но тогда почему же сам Колчак выбирает для себя другой способ борьбы, до некоторой степени приближающий его к пресловутому положению «кондотьера»? Одна из версий как будто намекает на ответ, обращая внимание на обстоятельства нового назначения. Современный английский автор, признавая неосведомленность о планах своего командования («какую именно службу имел в виду для Колчака Генеральный штаб, теперь неизвестно и вряд ли когда-либо прояснится»), подчеркивает, что «в те самые дни, когда рассматривалось предложение Колчака, в Лондоне приняли решение отправить из Багдада на Кавказ военную миссию под руководством генерала Денстервилля [53]. Отряд англичан под командованием Денстервилля, как выяснилось позже, должен был взаимодействовать с маленьким, но отважным русским контингентом в Северной Персии, отказавшимся признать Брестское перемирие. Вполне вероятно, Колчаку отводилась некая роль в этом смелом предприятии, главной целью которого было не дать туркам захватить контроль над бакинскими нефтяными скважинами и создать на берегах Каспийского моря плацдарм для наступления на Индию».

Под «русским контингентом» здесь явно имеется в виду

партизанский отряд войскового старшины Л.Ф.Бичерахова, который оперировал в Персии и Турции против турецких войск и подстрекаемых ими местных повстанцев-курдов. 28 ноября 1917 года, невзирая на действия большевицкого правительства, направленные на заключение мира, Бичерахов заявил о своем решении «считать все переговоры о мире предательскими как относительно России, так и в отношении наших верных союзников», и продолжать войну. Заметим, что тогда же стали распространяться слухи о его формальном переходе на английскую службу, хотя документального подтверждения они как будто пока не имеют.

Таким образом, планы использовать Колчака в «миссии Денстервилля» представляются вполне вероятными, но сам Александр Васильевич вряд ли что-либо знал об этом. Сведения его о «русских войсках» на месопотамском театре, насколько можно судить по сохранившимся записям, ограничивались лишь констатацией того факта, что «стратегическое положение после революционизирования Кавказской армии представляется… крайне тяжелым». «У меня нет никаких претензий или желаний относительно положения и места, кроме одного – сражаться – to fight [54]», – излагал он тогда же свою беседу с английским послом в Японии. – «… Я лично не желал бы служить в английском флоте, ибо Великобритания располагает достаточным числом блестящих адмиралов и офицеров и по характеру морской войны надобности в помощи извне не имеется. Но мне бы доставило чисто нравственное удовлетворение служить там, где обстановка тяжела и где нужна помощь, где я не был бы лишним. Пусть Правительство Короля смотрит на меня не как на вице-адмирала, а солдата, которого пошлет туда, куда сочтет наиболее полезным».

Попутно заметим, что не нужно искать в этих словах наигранность или позерство, хотя ощущение горечи и обиды в них безусловно присутствует. При поступлении в британский флот Колчак и его новое начальство действительно оказались бы в ложном положении – поручить ему самостоятельное командование вряд ли сразу решились бы, роль младшего офицера была для русского адмирала явно мала, а прикомандирование к чьему бы то ни было штабу или управлению не соответствовало бы намерениям самого Александра Васильевича «to fight». Поэтому назначение на сухопутный фронт представлялось наиболее приемлемым.

Но дело даже не в этом, а в том, что из рассуждений Колчака очевидно следует: конкретных перспектив своего участия в продолжавшейся войне он себе не представлял и планов

возглавить или по крайней мере присоединиться именно к непокорившимся большевизму русским войскам не строил. Поэтому были там такие войска или их не было, рассчитывало английское командование в связи с ними на Колчака или не рассчитывало – с субъективной точки зрения значения не имеет. Но как же тогда увязать просьбу адмирала о принятии его на британскую службу с упованиями на возможность продолжения русской борьбы?

Не требуя такого увязывания императивно (в конце концов, человек далеко не всегда бывает последователен в своих побуждениях и поступках), обратим внимание на еще одну фразу из черновых записей Александра Васильевича. «Я хочу продолжать и участвовать в войне на стороне Великобритании, т. к. считаю, что Великобритания никогда не сложит оружия перед Германией», – пишет он, продолжая: «Я желаю служить Его Величеству Королю Великобритании, т. к. Его задача, победа над Германией, – единственный путь к благу не только Его страны, но и моей Родины».

Вряд ли следует считать Колчака «принципиальным» германофобом – к необходимости борьбы против Германии он подходит, в сущности, с русской точки зрения. Большевики были бы ничем, если бы не целенаправленная немецкая помощь, за которую расплатились и продолжают расплачиваться русскими интересами и русским достоянием, – рассуждает Колчак; а следовательно, сокрушение Германии оставит без мощной внешней поддержки революционных узурпаторов, которым после этого предстоит лишь «захлебнуться в собственной грязи» или «утонуть в собственной крови». Именно на службу этой, основной в его понимании, задаче стремится отдать свои силы русский адмирал, – отнюдь не отрицая значения и необходимости другой борьбы, которая уже начиналась в это время в России.

Вестником оттуда к Колчаку, застрявшему в ожидании парохода в Шанхае, неожиданно прибыл незнакомый ему поручик Жевченко, командированный другим незнакомым адмиралу, но уже известным нам по Петрограду молодым офицером – есаулом Семеновым.

Как мы помним, Григорий Михайлович еще летом отправился в Забайкалье для формирования добровольческих монголо-бурятских частей. Однако к середине ноября у него было лишь 50 всадников, главным достоинством которых, как можно заключить из воспоминаний самого Семенова, была готовность противостоять распространявшей свое влияние по всей стране большевицкой власти. Первое столкновение с большевизированными ополченцами в Верхнеудинске произошло,

по рассказу Семенова, 12 ноября, и похоже, что бой, вопреки утверждениям одного из биографов Григория Михайловича, закончился вовсе не поражением большевиков – скорее, отряд решительного есаула был все-таки раздавлен, поскольку сам есаул, благополучно выскочивший из верхнеудинской стычки, очень быстро оказался на станции Маньчжурия, у самой русско-китайской границы, буквально с горсточкой соратников. Впрочем, отказываться от борьбы он отнюдь не собирался и 19 декабря провел дерзкую операцию по разоружению местных ополченцев, настроенных так же революционно, как и верхнеудинские. Объявив ошеломленным солдатам «приказ» о долгожданной демобилизации, после чего гарнизон расточился во мгновение ока, Семенов остался единоличным хозяином станции и прилегающего участка железной дороги.

Такую базу он мог считать наиболее выгодной еще и потому, что дальше начиналась полоса отчуждения Китайской Восточной железной дороги. Построенная русскими инженерами и рабочими, КВЖД на основании соглашения с китайским правительством соединила русское Забайкалье с русским Приморьем и была окружена территорией, где действовали русские законы, администрация, находились русские войска. Эта территория, площадь которой исчислялась более чем сотней тысяч гектар, со «столицей» в городе Харбине, и называлась «полосою отчуждения». Бессменным (с 1902 года) управляющим дорогой был генерал Дмитрий Леонидович Хорват, выдающийся русский военный инженер и администратор.

В условиях революционной смуты, однако, генерал, которому в 1917 году было уже под шестьдесят, растерялся и не нашел в себе достаточно воли и мужества, чтобы противодействовать событиям, захлестнувшим КВЖД, как и всю Россию. После получения известий о большевицком перевороте местный Совдеп при поддержке солдатских комитетов угрожал захватить всю власть в полосе отчуждения, хотя до некоторой степени переворот на КВЖД затягивался теми же местными большевиками: они колебались и слали телеграммы Совнаркому с просьбами об определенных инструкциях. Ответ был определеннее некуда – «Устраните Хорвата, заменив вашим комиссаром» (30 ноября), – и харбинский Совдеп на следующий день объявил о формальном захвате власти, однако подкрепить свои слова вооруженной силой не решился. Китайские власти «северо-восточных провинций», естественно обеспокоенные дестабилизацией обстановки, потребовали удаления с КВЖД большевизированных ополченцев и с согласия генерала Хорвата и при участии русских офицеров утром 13 декабря разоружили и

выслали в Забайкалье две ополченские дружины и разгромили Совдеп, главным руководителям которого, впрочем, удалось скрыться.

Такие действия, разумеется, привели к ослаблению русских позиций и русского влияния в регионе и до некоторой степени поставили Хорвата в зависимость от китайцев; однако в гораздо большей степени ущерб интересам России наносила официальная политика Совнаркома, в конце ноября предложившего просто передать КВЖД Китаю и создать для этого ликвидационную комиссию. По сравнению с этими планами позиция Хорвата, который все-таки продолжал пользоваться авторитетом у властей «северо-восточных провинций» (так же, как русский посол в Пекине князь Н.А.Кудашев – у пекинских властей), хотя и была, должно быть, уязвимой, все-таки обеспечивала относительно спокойное существование русскому населению полосы отчуждения.

Имея такой тыл, есаул Семенов решил перейти в наступление на Читу, хотя силы его были крайне немногочисленны. Но он надеялся наступать отнюдь не в «безвоздушное пространство» – в Забайкальи раздавались голоса протеста против большевицкого переворота. В частности, съезд 1-го военного отдела Забайкальского войска обращался к своим землякам, находившимся на фронте: «Здесь мы стойко протестуем против захватнической власти большевиков, против заключения перемирия и мира без согласия наших союзников. Призываем и вас возвысить свой мощный голос и сказать, что только Учредительное Собрание вольно распоряжаться судьбами России». Пытаясь охватить Забайкалье сетью «противобольшевистских ячеек», есаул явно рассчитывал на их вооруженное содействие и, памятуя, что смелость города берет, распубликовал следующее обращение:

«К большевикам! Сознательные и бессознательные изменники Родины!

Устыдитесь, что вы продали Россию, открыли фронт, затеяли гражданскую войну. Требую разоружения красногвардейцев, а лидерам оставить пределы Забайкалья. Если же эти требования не будут выполнены, то заставлю сделать силой оружия.

Граждане Читы! Вы терроризированы кучкой изменников Родины – большевиками. Настанет светлый [час] для Вас [с] моим приходом [в] Читу, где провокаторы будут преданы строгой каре без пощады. Верьте мне, граждане…

Станичники! Последуйте примеру ваших братьев-казаков других войск, встаньте на защиту мирного гражданского населения и правового порядка, разрушенного и уничтоженного в

грязь [55]кучкой демагогов. Этим вы заложите фундамент спасения погибающей Родины от грязных рук большевиков и поможете стране дойти до Учредительного Собрания, кому должна принадлежать вся полнота власти».

Двинувшись вперед 11 января, семеновский отряд, однако, встретил неожиданное противодействие. Образовавшийся в Чите «Забайкальский народный совет», который представлял городские самоуправления, «Комитет общественной безопасности», съезд сельского населения области и… Совдепы (а в их составе – и большевиков!), обратился к решительному есаулу с требованием остановить наступление. На сторону «народного совета» стал и убоявшийся «кровопролития» Атаман Забайкальского войска полковник В.В.Зимин. Обманутый в своих надеждах Семенов, не желая выглядеть в глазах населения еще одним узурпатором, покушающимся на «народное представительство», в середине января отвел отряд практически на исходную позицию и лишь просил читинские власти не допускать установления большевицкой диктатуры (власти «народного совета», однако, срок был отмерен лишь до начала февраля, когда его разогнали и заменили Совдепом).

Не встретив поддержки в Забайкальи, Григорий Михайлович начинает искать источники существования своего отряда (получившего наименование «Особого Маньчжурского») в полосе отчуждения и у союзных держав. Однако генерал Хорват не торопился с помощью, и две пушки, составившие первоначально всю отрядную артиллерию, были попросту украдены у хорватовских подчиненных. «Международное соглашение» с «Главнокомандующим временной охраной в Полосе отчуждения КВЖД» генералом Чжан Хуань-Сянем было достигнуто с восточной изысканностью – наведением этих пушек на китайские казармы и недвусмысленным заявлением Семенова: «Мне и моим людям терять нечего», – что сразу привело к признанию их в качестве союзников. По отношению же к находившимся в Харбине представителям держав Антанты требовались более дипломатичные методы убеждения.

Обращаясь к союзникам по Великой войне, «Атаман Особого Маньчжурского Отряда» с достаточной проницательностью использовал аргументы, к продолжению этой войны и относящиеся. Только на территории Иркутского военного округа, куда входило и Забайкалье, в лагерях находилось до 135000 военнопленных австро-германо-турецкого блока, и перспектива вооружения их и возвращения, после германо-большевицкого сепаратного мира, на Западный фронт весьма пугала дипломатов и военных Антанты. И Семенов довольно успешно разыгрывал эту

карту, подчеркивая угрозу выступления пленных и представляя свою борьбу как попытки восстановления «противогерманского фронта», – а взамен получил, правда, «временно», к началу марта не менее пяти полевых орудий и пятнадцати пулеметов.

С другой стороны, есаул понимал, что его имя немного значит в международных переговорах, а автономность по отношению к Хорвату, который, похоже, начинал бояться любого риска и ответственности, оборачивалась при этом невыгодною стороной. Для подкрепления своих позиций двадцатисемилетнему офицеру приходилось развивать перед союзниками чрезмерно далеко идущие планы. В переписке самих союзников эти планы представали (24 января) так: «… Капитан Семенов предполагает в качестве последующего шага поставить себя под начало хорошо известного лидера и двинуться в западном направлении на захват Иркутска и Красноярска, где возможно сильное сопротивление, на последующее соединение с казаками Дутова, чтобы в конечном итоге присоединиться к Каледину».

Разумеется, и оренбургский Атаман А.И.Дутов, и тем более донской – А.М.Каледин, находились слишком далеко, чтобы взаимодействие с ними стало реальностью. И возможно, именно подобные раздумья подтолкнули есаула к отправке поручика Жевченко в Шанхай (до этого тот ездил в Токио) с поручением не только вести переговоры о поставках оружия, но и разыскать адмирала Колчака, чье имя должно было быть хорошо знакомо Григорию Михайловичу по событиям минувшего года.

Как вспоминал впоследствии Семенов, поручик должен был «встретиться… с адмиралом Колчаком и просить его прибыть в Маньчжурию для возглавления начатого мною движения против большевиков». Миссия, однако, не увенчалась успехом: «Я ответил, что поехать не могу, так как связан обязательствами перед английским правительством, но к выступлению Семенова отношусь сочувственно, все, что я сделал в данном случае, это говорил с нашими агентами о содействии офицеру Семенова – Жевченко в снабжении Семенова оружием», – рассказывает адмирал; «… Жевченко по его поручению донес мне, что адмирал считает, что обстановка данного момента еще, по его мнению, не требует спешности в его активном выступлении, но он будет готов служить делу родины, как только она позовет его», – дополняет Григорий Михайлович.

Допустимо предположить, что «обязательства» были не главной причиной отказа. Патриот-государственник, Александр Васильевич был крайним «государственником» и в методах, и если Семенову казались допустимыми самые авантюрные

действия (ибо чем же, если не авантюрой, была его самоотверженная борьба на маньчжурской границе!), то Колчак, очевидно, полагал возможным начинать дело лишь на достаточно солидной основе: недаром же он, выразив сочувствие семеновским партизанам и ходатайствуя «удовлетворить теперь же заказ пулеметов и ручных гранат», о дальнейшей поддержке, по свидетельству русского дипломата, рассуждает не без оговорок: «высказался за желательность скорейшего обеспечения Семенова оружием, но полагает, что размеры заказа должны быть в соответствии с действительными силами отряда». Как бы то ни было, нежелание адмирала возглавить семеновское предприятие оказалось плохим фундаментом для строительства взаимоотношений с Атаманом через два с половиною месяца, когда Александр Васильевич все-таки приехал в Харбин.

А откуда Семенов мог узнать о пребывании Колчака в Шанхае? Скорее всего, от русских дипломатических представителей – ведь примерно в то же самое время князь Кудашев из Пекина также писал адмиралу, приглашая его в китайскую столицу для каких-то переговоров или консультаций. «Так как до отъезда оставалось всего дня три, я ответил, что поехать в Пекин не могу», – вспоминал Колчак; на его решение не повлияло даже то обстоятельство, что Кудашев по должности российского посла в Китае распоряжался «средствами боксерской контрибуции», то есть компенсации, которую китайское правительство выплачивало за ущерб, нанесенный в свое время иностранным подданным восстанием «Большого Кулака» («боксерским»), – а следовательно, имел возможность оказывать реальную поддержку антибольшевицкому движению. Это должно было быть для адмирала чем-то более серьезным, нежели партизанская борьба Семенова, и значит, теперь причину отказа Александра Васильевича действительно следует искать в его обязательствах перед англичанами: ходатайствуя о приеме на службу хотя бы в качестве «простого солдата», он вряд ли мог позволить себе заниматься самостоятельными разъездами и политическими консультациями.

Во второй половине февраля Колчак, наконец, получает возможность тронуться в путь к месту своего назначения, однако по дороге, в Сингапуре, генерал Д.Ридаут (английский главноначальствующий на полуострове Малакка) передал ему новые рекомендации, поступившие из Лондона: «Ваше тайное присутствие более желательно в Маньчжурии». Рекомендации звучали странно, и Александр Васильевич, должно быть, недвусмысленно дал англичанину понять, как он к ним относится, поскольку тому пришлось сообщить в свое военное

министерство, «что если следует рассматривать известия о Маньчжурии как приказ, то Колчак подчинится, однако назначение в Месопотамию для него гораздо предпочтительнее». Ответ звучал уже более категорично (и это дало адмиралу основание впоследствии сказать: «Из Сингапура… я был возвращен по распоряжению английского правительства»), и 13 марта Ридаут доложил, что «Колчак вернется на север при первой же возможности», которой, однако, пришлось ждать еще около двух недель.

В очередном черновике, помеченном 16 марта, Александр Васильевич пишет о своей новой миссии в сдержанном и корректном тоне: «Английское правительство после последних событий, выразившихся в полном разгроме России Германией, нашло, что меня необходимо использовать в Сибири в видах Союзников и России предпочтительно перед Месопотамией, где обстановка изменилась, по-видимому, в довольно безнадежном направлении. И вот я со своими офицерами оставил “Dunera” [56], перебрался в “Нфtel de l’Europe” и жду первого парохода, чтобы ехать обратно в Shanghai и оттуда в Пекин, где я имею получить инструкции и информации от союзных посольств». Но вряд ли его реакция на поведение англичан в действительности была столь же спокойно-равнодушной – не случайно в этом черновике мы почувствуем и прорвавшуюся боль: «какие нервы надо иметь, чтобы переживать это время, это восьмимесячное передвижение по всему земному шару», «только бы кончилось это ужасное скитание, ожидание, ожидание»… Думается, больше всего угнетать Колчака должно было именно отсутствие цели, зыбкость и призрачность путей борьбы, которые, поманив, исчезали бесследно. Казалось, что с английской помощью и цель, и пути обретали, наконец, очертания – но и это оказалось миражем, и с разочарованием в английской помощи русский адмирал перестает числить себя на английской службе.

Английское правительство «по представлению нашего посла в Пекине князя Кудашева освободило меня от службы, так как мое присутствие стало необходимым на нашем Дальнем Востоке», – напишет вскоре Александр Васильевич, но справедливым было бы, кажется, уточнить, что служба эта закончилась, фактически так и не начавшись: не известно никаких контрактов, которые заключал бы Колчак, данных им подписок или обязательств и проч.; более того, как будто принимая нового добровольца и сразу же отправляя его в столь дальнюю командировку, британское командование не позаботилось об элементарном назначении Александру Васильевичу какого бы то ни было жалованья, и все переезды ему приходилось совершать за свой

счет. Таким образом, англичане и сами вряд ли считали Колчака «кондотьером», состоявшим на их службе, или хотя бы своим агентом. Теперь же дороги окончательно разошлись, и путь Колчака лежал в Пекин, на переговоры с Кудашевым.

Александр Васильевич не случайно упомянул о «представлении нашего посла». За то время, пока он перемещался из Шанхая в Сингапур и обратно, в Харбине и Пекине строили самые серьезные планы. Еще 1 марта американский консул сообщал из Харбина, что «организация по оказанию помощи Семенову», среди членов которой он называл Хорвата и Кудашева, планирует «для восстановления порядка на Дальнем Востоке и популярного правительства в Сибири» сформировать «армию во главе с адм[иралом] Колчаком». 29 марта как о чем-то решенном говорилось о намерении Хорвата, в случае получения союзной поддержки, создать «совещательный кабинет» со включением в его состав Александра Васильевича. Тогда же, в двадцатых числах марта, хорватовский официоз «Вестник Маньчжурии», опережая события, объявил о «прибытии в Харбин из Шанхая адм[ирала] Колчака». Начиналась даже «междоусобная борьба» вокруг громкого имени адмирала: группа социалистов, называвшая себя «Временным Правительством Автономной Сибири» и выводившая свои полномочия от так и не собравшейся «Сибирской Областной Думы» (род краевого «предпарламента», созыв которого предполагался в декабре 1917 года, но был воспрещен большевиками), 3 апреля собиралась предложить Колчаку пост управляющего морским министерством.

«Кудашев, ознакомив меня с положением на Дальнем Востоке, – рассказывает Александр Васильевич, – говорил, что мне следовало бы принять на себя командование военными силами, которые формируются в полосе отчуждения Восточно-Китайской дороги и, кроме того, принять на себя распределение сумм, поступающих от союзников; он обратил внимание на то, что придется противодействовать стремлению Китая захватить в свои руки Восточно-Китайскую дорогу, и, наконец, заявил, что мое положение определится с приездом в Пекин Хорвата… Хорват предложил мне войти в Правление Восточно-Китайской ж[елезной] д[ороги] в качестве члена его, ведающего военными силами в полосе отчуждения этой дороги». И, судя по всему, сотрудничество Колчака с Кудашевым и Хорватом началось еще до официального оформления положения и должности адмирала.

Так, 8 апреля, после того, как Совнарком в паническом ожидании высадки войск Антанты во Владивостоке потребовал от своих дальневосточных представителей немедленной эвакуации тамошних запасов, пекинское посольство обратилось к русскому

послу в Токио с настояниями «просить японцев принять все меры для воспрепятствования вывозу боевых материалов и их охраны» с комментарием (предположительно Кудашева): «Об этом меня просят Хорват и Колчак» (это, кстати, серьезный удар по версии об «японофобии» адмирала). А 30 апреля американский посланник в Пекине сообщал государственному секретарю США Р.Лансингу:

«Русский посланник, Хорват и Колчак сегодня официально уведомили меня о создании Комитета директоров КВЖД… Посланник сказал, что в охранные войска КВЖД намечено набрать 17 тыс[яч] чел[овек]. Семенов будет находиться в подчинении Колчака, которому поручено руководство военными вопросами…

… Я спросил, будет ли Комитет сотрудничать с ответственным правительством, если таковое возникнет в России. Колчак многозначительно заметил, что организационное сотрудничество с большевиками невозможно, так как принципы их политики несовместимы с законом и порядком».

Александр Васильевич как будто отвечал не на тот вопрос, который был ему задан, – однако на поверку именно этим ответом разоблачался подтекст американских вопросов и американских колебаний. В самом деле, Лансинг передал в Пекин инструкции, содержавшие вполне определенную формулировку «относительно соперничающих группировок в России»: «Хотя союзные правительства не признали Советов, они заинтересованы в поощрении их противодействия Центральным державам». 8 мая 1918 года лидеры Антанты все еще не теряли надежды, что большевики возобновят войну против своих германских союзников…

Международные отношения и международная конъюнктура неизбежно должны были выйти на первый план при развитии любых военно-политических предприятий, связанных с КВЖД, просто в силу самого положения дороги; однако пока предстояло для начала понять, какие силы уже имелись в полосе отчуждения и каковы были перспективы дальнейших формирований. Отряд Семенова, как мы знаем, к этому времени представлял собою реальную боевую силу, сражался в приграничном районе, и несмотря на слухи о том, что подчиненные есаула творят произвол и не брезгуют грабежами проходивших поездов, к нему стремились все те, кто не желал никаких отсрочек, длительных периодов подготовки к борьбе и проч. В каком-то смысле альтернативой Особому Маньчжурскому Отряду была другая воинская часть, инициаторы формирования которой делали ставку на офицеров Заамурского округа Пограничной стражи,

возвращавшихся к месту прежней службы с фронта Великой войны.

«Стали в большом количестве возвращаться г. г. офицеры-заамурцы, как бы в отчий дом… – вспоминает современник. – 1-е января 1918 г. было отпраздновано традиционным балом в Гарнизонном Собрании (впоследствии весьма расширенном, прекрасном здании “Правления К.В. ж. д.”). На этом балу 2 доблестных заамурца, полковники Орлов Н.В. и Ванюков В.П., открыли запись на формирование отряда для несения гарнизонной службы и охраны в целом всей полосы отчуждения К.В. ж. д. Запись сразу показала, что заамурцы устали; дорвались домой и стоп; отозвались, и притом неожиданно в большом количестве, чужаки – посторонние».

Заметим, что все сказанное об «усталости» заамурцев в полной мере относилось и к казакам Забайкальского, Амурского и Уссурийского войск. Они отнюдь не стремились «углублять революцию», к чему призывали экстремистские ораторы весь 1917 год, но и становиться под контрреволюционные знамена считали совершенно излишним. Пока события не затрагивали их интересов и благополучия, они предпочитали придерживаться в сущности оппортунистической позиции, а Семенова, несмотря на его казачье происхождение и непрерывную службу в родном войске, воспринимали скорее не как «своего» казака, а как вождя офицерско-добровольческих «мятежников» и едва ли не провокатора новой войны (питая надежды, что если бы не семеновское сопротивление, то и Советская власть казаков бы не тронула). В аналогичной ситуации оказался и Атаман Уссурийского войска – есаул Калмыков.

Иван Павлович Калмыков, саперный офицер, стремившийся служить в казачьих частях и добившийся перевода в Уссурийский полк, на Великой войне проявил себя хорошим командиром и храбрым воином. Вернувшись в Приморье в 1917 году, он вскоре был избран на пост Атамана, однако в своей попытке формировать добровольческие сотни не встретил поддержки казаков и в ночь на 3 марта 1918 года бежал в полосу отчуждения КВЖД, на станцию Пограничная, дабы там буквально по одному человеку собирать новый «Особый Казачий Отряд». Импульсивный и даже нервный, он болезненно переживал бюрократизм Хорвата, у которого надеялся найти поддержку, и это приводило к инцидентам, подобным происшедшему в связи с попытками Калмыкова завести собственную артиллерию.

«Прапорщик Эпов по приказанию Атамана Калмыкова (здесь мемуарист сделал примечание: „Атаман Калмыков всячески старался избегать официальной переписки“. – А.К.) подал

ген[ералу] Хорват[у] рапорт с просьбой об отпуске для отряда двух пушек и снарядов.

От Атамана Калмыкова были затребованы сведения о наличии отряда, потом штаты, после дополнительные сведения и т. д…

Давая последнюю справку и возвращая всю переписку Прап[орщику] Эпову, Атаман Калмыков думал, что теперь конец всему “бумагомаранию”, и уже отдал распоряжение заготовить документы приемщикам имущества… но… переписка была возвращена за дополнительными сведениями, на которой [57]Атаман и наложил резолюцию:

“Моему представителю Прап[орщику] Эпову. Передай Хорвату – пусть он вместе с пушками отправляется к […]. Атаман Калмыков”».

Случай, характерный не только для буйного Калмыкова, но и для благообразного Хорвата – и в этом вскоре пришлось убедиться адмиралу Колчаку, прибывшему в Харбин в конце апреля или первой половине мая (в источниках наблюдаются разногласия: обычно в качестве даты приезда называют 10, 11 или 12 мая, но существует письмо Александра Васильевича, помеченное «Харбин, 29 апреля 1918 г.», причем противоречие снимается лишь предположением, что Колчак использовал старый календарный стиль). В предшествующие дни адмирал провел в Пекине переговоры о поставках оружия с японскими дипломатами и военными: ни французы, ни англичане, сколь бы они ни сочувствовали антибольшевицкому движению на Дальнем Востоке, помочь оружием здесь, конечно, были не в состоянии. Тогда же Колчаку должны были сообщить и о начавшихся в Харбине крупномасштабных формированиях, объединенных под руководством «Начальника Российских войск полосы отчуждения» генерала М.М.Плешкова.

«Согласно полученных полномочий от Главноначальствующего (Хорвата. – А.К.), приступая к новым формированиям на началах добровольческих организаций, – гласил приказ Плешкова от 23 марта, – приглашаю Г. г. офицеров, прочих военнослужащих, а также всех Граждан без различия религий, национальностей и политических убеждений, кто желает и чувствует себя в силах принести пользу Родине-России и активно выступить на защиту порядка, закона и справедливости.

Части будут формироваться на строго легальных началах, придерживаясь организации, установленной Российскими воинскими законами и принятой в Российской армии, согласно воинских уставов с некоторыми допусками и отступлениями, вызываемыми местными условиями…»

Это все уже было похоже на регулярную армию и, наверное, вселяло определенные надежды, с которыми Колчак почти распрощался за время своих бессмысленных заграничных разъездов. И адмирал, как мы уже знаем, не замедлил появиться в Харбине.

Глава 9
Надежды и разочарования

«… Обе роты были по тревоге вызваны в Штаб, в большую залу, где молча ожидали своих командиров, – вспоминает один из „орловцев“. – Наконец появились командиры. Нач[альни]к Отряда, его помощник и кто-то стройный в черной шинели. Последовала команда образовать круг, и в его середину вошли Начальники, а с ними и новый. Некоторые, с турецкого фронта, сразу узнали в нем Адмирала Колчака, но молчали. После минутного молчания – Нач[альни]к Отряда познакомил собравшихся с прибывшим, а сам Адмирал ясным, четким, отрывистым, полным голосом сказал следующее: “Господа офицеры. Я получил в Гонконге приказание ехать в г[ород] Харбин и принять ваш отряд. Слово приказание я подчеркиваю, т. к. человек военный и никакой другой формы не понимаю и не признаю. Сейчас я познакомился с доблестным полк[овником] Орловым и его помощниками, а теперь с вами. Будем вместе служить нашей Великой Родине, памятуя о том, что долг и честь – это основные элементы офицерского достоинства”. Отдав честь строго по уставу (навытяжку), Адмирал в сопровождении нашего командования отбыл».

К этому моменту отряд Орлова представлял собою определенную силу. «Вестник Маньчжурии» 21 марта сообщал о прошедшем в Харбине параде, на котором Орлов представил «3 роты пехоты, 4-орудийную батарею с патронами, двуколками, конную сотню и 4 пулемета с командой». Поэтому на Колчака вид сколоченной и, кажется, готовой к бою добровольческой части, в значительной степени укомплектованной офицерами, должен был произвести самое благоприятное впечатление и, быть может, даже вызвать некоторую эйфорию. И не следует удивляться рассказу о том, как «орловцы» преподнесли Александру Васильевичу изобретенную ими для своего отряда форму обмундирования, в ответ на что «адмирал перехватил через край и брякнул, что поднесенная ему форма делает его таким же счастливым, каким он был в день получения Георгиевского Креста». Вскоре последовало и продолжение: «Через несколько дней к Колчаку явилась депутация от местных Георгиевских кавалеров и выразила ему свое негодование по поводу того, что он позволил [себе] поставить на одну доску получение ордена св[ятого] Георгия и поднесение ему Орловских штанов». Тыловые «ревнители традиций», очевидно, не задумались, что для

Александра Васильевича отряд Орлова был в каком-то смысле воплощением надежды на возобновление борьбы, на грядущее освобождение России.

Впрочем, возможно, в анекдоте об «орловских штанах» действительность вообще существенно искажена. Он содержится в «Дневнике» генерала барона А.П.Будберга – собрании мемуарных заметок, сплетен, слухов, более или менее скандальных новостей; а ряд анахронизмов позволяет говорить о том, что записи «Дневника», по крайней мере опубликованные, делались post factum. Кстати, и датировка приведенного анекдота (у Будберга – 1 июня) может вызвать сомнение, поскольку мемуарист-«орловец» упоминает о зачислении Колчака в списки отряда сразу же после рассказа о первом знакомстве адмирала с его новыми подчиненными: «Поверки вечерние с молитвой происходили чинно и торжественно: по спискам Отряда дежурным вызывались “рядовой 1-й роты – Адмирал Колчак, генерал Хорват, генерал Плешков… ” На что фельдфебель… густым, не очень свежим басом-профунда отвечал: “в служебной командировке, в наряде, в отпуску” и т. д.». Зачисление в списки части, по логике вещей, и должно было сопровождаться поднесением формы этой части, и не исключено, что «Дневник» Будберга отодвигает событие недели на две от его действительного момента.

Однако, несмотря на несообразности, из которых эта возможная ошибка – едва ли не самая невинная, «Дневник» в течение десятилетий считался, да и сегодня нередко считается основным источником сведений об антибольшевицкой борьбе на Дальнем Востоке и в Сибири, равно как и о биографии адмирала Колчака в этот период. Апломб барона Будберга, его авторитет старого генерала-генштабиста (закончил Великую войну командиром армейского корпуса) в сочетании со вполне искренними переживаниями и хлесткими характеристиками, доходящими до неприкрытой злобы, в глазах многих делают «Дневник» истиною в последней инстанции, причем желчность принимается за объективность, а поверхностные суждения о боевых действиях – за рецепты чудодейственного лекарства, не только вскрывающие «язвы», но и указывающие пути «исцеления».

От своего скептически-разоблачительного тона барон Будберг не удерживается и при первом же появлении на страницах «Дневника» Александра Васильевича – пока еще даже не в качестве полноправного действующего лица:

«Совершенно неожиданно Главнокомандующим назначен появившийся откуда-то и, как говорят, специально привезенный сюда адмирал Колчак; сделано это ввиду выяснившейся

неспособности Плешкова заставить себя слушать. Надеются на имя и на решительность адмирала, гремевшего во флоте…

Пока что про адмирала говорят, что он очень вспыльчив, груб в выражениях и, как будто бы, предан очень алкоголю».

Следующая мало-мальски развернутая характеристика, данная Александру Васильевичу Будбергом, звучит уже и вовсе уничтожающе, хотя основывается, похоже, все еще на одних слухах: «Адмирал, по-видимому, человек с норовом до полной неуравновешенности и взбалмошности; закидывающийся по пустякам; неспособный спокойно и хладнокровно разобраться в сложной и поганой Харбинской обстановке; непокладистый и колючий, понявший, по-видимому, что такое Семенов; не знающий совершенно военного дела, нашей организации, системы обучения и ломящий все по-морскому так, как подобает всякому адмиралу». Как ни странно, в последнем обвинении барон оказывается заодно с самыми рьяными хулителями Колчака из лагеря сторонников Атамана Семенова (которого Будберг просто ненавидит). «Будучи адмиралом, т. е. знакомым с военно-морским делом, Колчак, однако, вообразил себя специалистом и по военно-полевым операциям… – откровенно злобствуют „семеновские“ авторы. – Окружавшие адмирала с глубокой иронией передают об его познаниях в области военно-сухопутного дела, напр[имер], адмирал серьезно уверял, что в трехдюймовую пушку достаточно запречь только трех лошадей вместо шести, что большевиков можно прогнать с одними палками в руках, без всякого оружия, – словом, адмирал нес разную чепуху в этом роде…»

Поверить в это, конечно, трудно – причем независимо от того, как относиться лично к Александру Васильевичу: если о тонкостях артиллерийской запряжки он и вправду мог иметь смутное представление (хотя вряд ли это было столь уж принципиальным), то пассаж об «одних палках» явно противоречит всем настроениям Колчака и его взглядам на методы организации борьбы. К слову сказать, если бы генерал Будберг вместо собирания сплетен о любви адмирала к выпивке дал себе труд ознакомиться с этими взглядами, он мог бы с удивлением обнаружить в Александре Васильевиче… своего полного единомышленника!

«Надо всю эту молодежь, – пишет Будберг о харбинских формированиях, – собрать и засадить в самые тяжелые условия службы и работы и настоящей духовной дисциплины; тогда через год из них может получиться нечто надежное и устойчивое…» Ничего, кроме критики, конечно, не вызывают у него и планы наступления в Приморье: «Какой может быть поход без обоза, без

средств связи, с несколькими старыми пушками и с ничтожным количеством боевых припасов? Чтобы спугнуть и прогнать большевиков, этого, быть может, и не надо, но для того, чтобы прочно овладеть Уссурийским Краем, нужно сначала подготовить и обеспечить эту операцию…»

А что думал по этому поводу адмирал Колчак? «Устройство застав на железной дороге, осмотры поездов (в чем более всего обвиняли Семенова и Калмыкова. – А.К.) я считал необходимыми, – рассказывает он, – но считал невозможным оставлять это дело в руках самочинно действовавших отрядов. Заставы и осмотры поездов были необходимы для предупреждения проезда агентов противника самочинно [58], но действовавшие отряды, формально преследуя эту же цель, на самом деле фактически преследовали цели мести за то, что́ лица, действовавшие в этих отрядах, испытали и наблюдали сами ранее со стороны советской власти и большевиков при преследовании их самих». А масштабы формирований, которые намеревался произвести адмирал, заставляют увидеть за ними весьма длительный (хотя, быть может, все-таки и не годичный, как у Будберга) период подготовки и отнюдь не дают оснований заподозрить Колчака в поспешности: «Отдельные отряды, кроме Семенова и Калмыкова, должны были объединиться в один корпус; численность корпуса считалась тысяч в 20 (двадцать) человек, причем 15000 должны были составлять действующую часть, а 5000 быть на охране дороги… Пока же я поставил своей задачей боевую подготовку, строевое обучение ипр. подчиненных мне отрядов и занялся этой работой и созданием флотилии на [реке] Сунгари».

Оснований для подобного оптимизма и подобных планов было, однако, совсем немного. «В самом Харбине, – дает беспристрастную оценку реально существовавших сил адмирал, – были отряды полк[овника] Орлова до 1000 человек и отряд полк[овника] Маковкина из китайцев до 400 человек, верстах в 200–300 на ст[анции] Эхо от Харбина, формировался добровольческий артиллерийский отряд и, наконец, формировался отряд охранной стражи Восточно-Китайской ж[елезной] д[ороги] под командованием ген[ерала] Самойлова…» Несоответствие планов и наличных войск особенно подчеркивается значительным числом китайских наемников, составлявших, по оценке Колчака, чуть ли не треть всех сил. К само́й идее привлекать на русскую службу иностранцев Александр Васильевич, по-видимому, относился вполне благожелательно – известно его воззвание к югославянам, находившимся в Сибири в качестве военнопленных австрийской

армии («Я, адмирал Колчак, в Харбине готовлю вооруженные отряды для борьбы с большевиками и немцами… Я обращаюсь к вам, сербские воины, помочь мне в предстоящей борьбе с шайками большевиков, позорящих мою Родину»)… однако вербовка китайцев выглядела совсем уж отчаянным шагом. На этом безрадостном фоне невольно привлекал внимание отряд Семенова, истекавший кровью в боях против численно превосходившего противника. Однако как раз с Семеновым сотрудничества у адмирала Колчака не получилось…

Об отношении Колчака к семеновским заставам на железной дороге и самочинным реквизициям мы уже знаем. Не способствовала сотрудничеству и вражда между отрядами, которые видели друг в друге каких-то конкурентов (а Орлов немедленно по появлении в Харбине адмирала принял «колчаковскую» ориентацию). Не забудем и еще об одном: ведь согласно рассказу Григория Михайловича, в феврале Колчак обуславливал свое участие в борьбе наступлением момента, «когда родина позовет его», и теперь Семенов должен был испытывать немалую обиду, поскольку «позвала» Колчака вовсе не «родина», а всего лишь князь Кудашев в содружестве с какими-то неведомыми англичанами, в то время как призыв его, Атамана Семенова, первого пошедшего в бой, – не был услышан!

Личная неприязнь вообще играет в политике и на войне значительно бóльшую роль, чем обычно принято думать; однако у Александра Васильевича для недоверия к Атаману были и причины, намного более серьезные. Есаул Семенов успел приобрести репутацию «японской марионетки»… хотя вопрос этот далеко не столь однозначен, как считал в свое время адмирал Колчак и как слишком часто считается до сих пор.

Атаман – прагматик и хитрец – интуитивно нащупывал наиболее безопасную линию поведения, не будучи вправе давать каких бы то ни было обещаний, и пока пользовался японской (так же, как и англо-французской) помощью просто за изъявление союзнических чувств. Но и политическая линия самóй Японии в тот момент далеко не отличалась определенностью. В ее правящих кругах сторонникам военного вмешательства в русские дела противостояли не менее влиятельные противники, а планы армейского командования варьировались от охраны жизни и безопасности своих соотечественников, проживавших в Приморьи, до крупномасштабной «интервенции».

Военные профессионалы из японского Генерального Штаба, в силу самóй специфики этого учреждения, разумеется, приступили к разработке возможных операций вскоре после большевицкого переворота, ставя задачу (ноябрь 1917 года) «защитить японских

подданных, проживающих в стратегических пунктах Северной Маньчжурии (полоса отчуждения КВЖД? – А.К.) и Приморья». К февралю 1918-го задачи расширились – «умиротворить указанный район и защитить граждан Приморья, придерживающихся умеренных политических взглядов, помочь осуществлению их стремления к независимости», – хотя территория предполагаемой «интервенции», как видим, еще невелика. В феврале же в аналогичном документе впервые заходит речь о Семенове: «оказать помощь казачьим войскам, находящимся в районе Читы, в очищении Забайкалья от большевиков». Наконец, незадолго до появления в Харбине Колчака цели формулировались так: «Японская императорская армия должна обеспечить мир на Дальнем Востоке путем оккупации ряда стратегических пунктов на российской территории к востоку от оз[ера] Байкал и в полосе КВЖД, а также посредством поддержки умеренных русских группировок; осуществить необходимые приготовления к операциям против России (возможно, подразумевается РСФСР. – А.К.) и Германии, которые могут возникнуть в будущем». Сопоставление этих документов как будто приводит к заключению о постепенном развитии экспансионистских настроений у военных; но колебания японских политиков были намного более серьезными.

«… Инициатива в постановке вопроса о ситуации в Сибири исходила от Великобритании… до 14 декабря (1917 года; используется новый календарный стиль. – А.К.) японское правительство всерьез не рассматривало вопрос об интервенции», – сообщал в Вашингтон из Токио американский посол после ознакомления с меморандумом, врученным ему японскою стороной. Указанная дата заставляет с сомнением относиться к утверждению, будто план британского министерства иностранных дел, выдвинутый 17/30 января («чтобы Япония получила от союзников приглашение, имеющее характер мандата, оккупировать Сибирскую железную дорогу»; в других документах идет речь об «оккупации КВЖД и Амурской железной дороги»), был в действительности инспирирован самими японцами. Поначалу британских политиков сдерживала уже известная нам надежда на большевицкое сопротивление немцам, но после Брест-Литовского мира они решительно становятся на позиции «японской интервенции в значительном масштабе» и оказывают в этом отношении давление на своих американских коллег.

Это давление было весьма существенным фактором ввиду американско-японского соперничества в тихоокеанском регионе и постоянной оглядки японских правящих кругов на международное «общественное мнение». Маршал князь

А.Ямагата, возглавлявший Тайный совет при микадо, 15 марта разослал премьеру и министрам внутренних и иностранных дел письмо, в котором решительно заявлял: «Отправку наших войск в Сибирь считаю преждевременной», – поясняя: «Если мы рискнем послать войска на русскую территорию без просьбы со стороны России, что явится вооруженной интервенцией, у нас не окажется доказательств наличия добрых намерений Японии в акции такого рода. Экспедиция без видимых убедительных причин вызовет подозрения у правительств Англии и США, в особенности последнего… Если мы примем опрометчивое решение, не убедившись в истинных намерениях вышеназванных стран, то вполне вероятно, что в самом скором времени мы столкнемся с серьезной опасностью…»

Даже сторонник «интервенции», министр иностранных дел И.Мотоно, был весьма осторожен: «Правительство Японии не получало от союзников никакого коллективного [59]предложения по этому вопросу. Если же союзные правительства в будущем обратятся к Японии с подобным предложением, оно будет подвергнуто самому тщательному рассмотрению…» Забегая вперед, скажем, что согласие Ямагаты на отправку войск последовало 15 июля, официальное послание в Лондон и Вашингтон отправилось 19-го, но переговоры вновь затянулись, и окончательная декларация по этому вопросу была опубликована лишь 2 августа – тогда же началась и отправка войск [60].

Конечно, обо всех этих дипломатических тонкостях и секретах адмирал Колчак не был осведомлен. В принципе, он не имел ничего против сотрудничества с японцами и писал позднее: «С чисто военной точки зрения я считал наиболее целесообразным единоличное военное выступление Японии в качестве державы, уполномоченной всеми союзниками для военных операций в Сибири. Коалиционные армии никогда не имели успеха, и наличие вооруженных частей нескольких держав привело бы только к крайне сложным взаимоотношениям командного состава… Что же касается до остальных союзников, то мне представлялось необходимым участие их представителей в штабе высшего командования в качестве контроля над выполнением союзных полномочий и обязательств активно действующей вооруженной силы». С другой стороны, упомянутый контроль вовсе не был в глазах адмирала излишней перестраховкой. Мы помним о его отношении к американской демократии; мы можем предположить, что после безрезультатных заграничных скитаний и мнение его о политике Великобритании было довольно скептическим; а вот угрозу японской экспансии, подкрепленную агрессивным духом и волей «потомков буси и

самураев», Александр Васильевич считал вполне реальной. И потому предубеждение против «японской марионетки» Семенова для него оказывалось очень серьезным, тем более что был налицо и предполагаемый «покровитель» Атамана – генерал М.Накашима, занимавший должность начальника разведывательного отдела японского Генерального Штаба, ранее служивший в Петербурге и говоривший по-русски, а в январе 1918 года командированный в Маньчжурию, дабы наилучшим образом ознакомиться с положением там.

Не вполне понятно, имел ли Накашима какой-либо официальный статус в Харбине или дело ограничивалось репутацией «влиятельного японца», – но было ясно, что по вопросам японской помощи вести переговоры следовало именно с ним. «… Я имел несколько бесед с японским ген[ералом] Накашима о снабжении оружием подчиненных мне и формирующихся под моим командованием сил, – рассказывает Колчак. – Во время этих бесед Накашима неожиданно задал мне вопрос, какая же компенсация может быть предложена Японии за снабжение оружием; на что я ответил, что на переговоры о компенсациях я не уполномочен и вообще предполагал, что снабжение оружием будет происходить с денежной оплатой его (деньги действительно были как у Правления КВЖД, так и у князя Кудашева. – А.К.)». Судя по всему, Александр Васильевич был удивлен неожиданно возникшим вопросом о «компенсациях»; и наверное, еще больше удивился бы он, если бы узнал, что вопрос возник не на пустом месте, а уже обсуждался Накашимой с… Хорватом!

Еще в середине марта управляющий КВЖД, по его собственному свидетельству, получил от японцев неофициальное предложение «взять в свои руки единоличное руководство в установлении порядка и создании независимого правительства в Сибири», а 30 марта заместитель начальника японского Генерального Штаба, генерал барон Г.Танака, сообщал Накашиме в Харбин: «Просьба Хорвата о вооруженной поддержке со стороны Японии может быть выполнена при условии, что Хорват организует новое правительство и приступит к осуществлению своей политической программы». Зачем это нужно было Японии, вернее, тем ее политикам и военным, которые являлись сторонниками отправки войск в Россию? Помимо того, что просьба о помощи от сформированного российского правительства звучала бы, конечно, более авторитетно, – для расплаты за помощь правительство, в случае его победы, также имело бы намного больше возможностей, чем управляющий железной дорогой. Именно в связи с этим и зашел разговор о

«компенсациях»: на вопрос Хорвата Накашима ответил, что соответствующими полномочиями не облечен, «но, по его мнению, Япония не потребует ни фута территории. Она, видимо, попросит: 1) ликвидации всех фортификационных сооружений в Владивостоке и превращения его в открытый порт; 2) предоставления неограниченных прав рыболовства по всей Восточной Сибири; 3) открытия судоходства по Амуру; 4) предоставления преимущественных прав на лесные и горные концессии…»

Человек осторожный и хитрый, Хорват понимал, что принятие японских условий даже в их предварительном виде не только испортит ему репутацию, но и оттолкнет все остальные державы, на чью помощь он также рассчитывал. Поэтому он сообщил о сделанных предложениях американцам, а чтобы те не чувствовали себя обделенными, обещал передать Соединенным Штатам «руководство Сибирской и Маньчжурской железными дорогами на период до окончания войны» и «гарантировать республиканскую форму правления». Поставив таким образом в известность иностранных союзников (что с точки зрения международной политики выглядело вполне здравым шагом), Хорват, однако, ничего не сказал о переговорах с японцами своему помощнику по военной части – адмиралу Колчаку. Учитывая, что Накашима о такой скрытности Хорвата мог ничего не подозревать и поднять в беседе с Александром Васильевичем тему «компенсаций» безо всякой задней мысли, просто как продолжение проходивших ранее переговоров, и от этого выглядеть еще более бесцеремонным, – нетрудно представить, какое впечатление произвела беседа на Колчака. В таком настроении адмирал и поехал на станцию Маньчжурия, где располагался полевой штаб Атамана Семенова.

Встреча произошла, судя по всему, во второй половине мая (источники умалчивают о точной дате или противоречат друг другу) и по своему характеру с самого начала представляла собою нечто странное – «переговоры» начальника с подчиненным (поскольку Семенов все-таки признавал власть Хорвата в полосе отчуждения). Позже рассказывали и о бестактности есаула, который, желая избежать неприятной беседы, первоначально якобы приказал передать, что его на станции вообще нет, он на фронте и ведет бой. Григорий Михайлович, в свою очередь, вспоминает, что в момент прибытия Колчака на станцию Маньчжурия его там действительно не было: «Занятый постоянными боями, я решил не выезжать в Маньчжурию для встречи нового командующего, полагая, что, если он желает видеть отряд, он приедет сам к нам на позицию (довольно

вызывающее поведение! – А.К.). В один прекрасный день мне передали по телефону из Маньчжурии, что адмирал Колчак прибыл и желает видеть меня. Я поехал в Маньчжурию и явился адмиралу…»

Мемуаристы «колчаковского» лагеря, как и сам Колчак, утверждают, что Семенов адмиралу не «являлся», и похоже, что Александр Васильевич действительно сам отправился к строптивому подчиненному, должно быть, уже будучи всем этим изрядно разгневанным (приближенные уговаривали его, «чтобы он поборол себя и не как адмирал, а как Александр Васильевич Колчак пошел бы к атаману!» – и он вспоминал, что действительно сразу же заявил Семенову: «… не понимаю цели и смысла нанесенного мне оскорбления, но пришел к нему как русский человек сказать, что все происшедшее дает слишком большое торжество нашим врагам, и для того, чтобы не дать им оснований очень радоваться, я пренебрег вопросами личного самолюбия»). Надо также сказать, что Григорий Михайлович, внутренне готовясь к предстоящему разговору, вполне мог не меньше взвинтить сам себя. Следует ли после этого удивляться, что разговора не получилось?

Колчак резонно настаивал, что для дальнейшей работы необходимо хотя бы распределить сферы и оговорить условия и формы получения помощи из средств КВЖД, – «но раз он отказывается даже говорить со мной, то и я вынужден в дальнейшем отказаться от всяких забот о его отряде, так как никаких других сношений с подчиненными мне, как в порядке командования, я не могу признать»; обиженный Семенов заявил, что ему вообще помощь не нужна – если захочет, он сам найдет себе источники снабжения. «… Я напомнил адмиралу, – рассказывал двадцать лет спустя Григорий Михайлович, – что, приступая к формированию отряда, я предлагал возглавление его и ему самому, и генералу Хорвату. Если бы кто-нибудь из них своевременно принял мое предложение, я безоговорочно подчинился бы сам и со всеми своими людьми, и никакие разговоры о моей самостоятельной политике и сношениях с иностранными консулами не могли иметь места. В настоящее же время, когда я с ноября месяца прошлого года оказался предоставленным самому себе, я считаю вмешательство в дела отряда с какой бы то ни было стороны совершенно недопустимым и в своих действиях, так же как и в своей ориентации, буду давать отчет только законному и общепризнанному Всероссийскому правительству».

Надо сказать, что Семенов был безусловно прав в одном: в тогдашних условиях любое взаимное подчинение самостоятельно

зарождающихся и независимо существующих сил должно было быть не более чем актом доброй воли со стороны их руководителей, – но теоретическая правота вряд ли могла тогда быть оценена по достоинству. Через час адмирал покинул Атаманский штаб, и его поезд «понесся с недозволенной скоростью домой» (вспоминает мемуарист-«орловец»).

На этом, однако, дело не закончилось: сторонники Атамана впоследствии обвиняли Колчака, что тот начал просто вредить Маньчжурскому Отряду, и приводили при этом конкретные примеры: «1) Колчак задержал 400 тысяч патронов, отпущенных ген[ералом] Хорватом для отряда Атамана Семенова; 2) задерживал на продолжительное время военные грузы, отправляемые союзниками на помощь тому же отряду [61]; 3) воспретил реквизицию телег, лошадей и прочих принадлежностей для организации обозных частей отряда, считая обозы излишней роскошью; 4) несмотря на разрешение ген[ерала] Хорвата, отказал в выдаче отряду обмундирования из Харбинских складов, выразившись при этом: “Особому Маньчжурскому Отряду ни одной нитки, пусть чувствуют силу Колчака”; 5) считая большевистские силы пустяшными, Колчак заявил: “я не позволю Семенову иметь отряд свыше трех тысяч человек”, – обрекая тем самым отряд на явную гибель; 6) во время июньских боев с большевиками Особый Маньчжурский Отряд находился в страшно тяжелых обстоятельствах… между тем в это время в Харбине находились без всякого дела две роты Орловского отряда; на просьбу прислать их в помощь измученным бойцам на Даурском фронте Колчак ответил грубым отказом: “пусть Семенов делает все, что ему угодно, а я не дам ему ни одного солдата”». Именно вследствие своей определенности эти обвинения как будто приобретают особый вес; задумаемся же, на чем они в действительности могут основываться?

Очевидно, наименее достоверными в них являются фразы, приписываемые Александру Васильевичу: в Харбине, полном сплетен и интриг, без сомнения находилось немало досужих «информаторов», со злорадством сочинявших или переносивших действительные или мнимые оскорбления от одного лагеря к другому. Тем не менее Колчака, в общем, легко представить произносящим что-либо подобное после неудачной встречи с Атаманом (хотя его «позволение» или «непозволение» Семенову пополняться добровольцами или мобилизованными из района боевых действий Отряда, конечно, никакого значения не имело). Несколько более сложным и намного более важным представляется вопрос о достоверности остальных обвинений.

Строго говоря, после заявления Семенова, что у него есть

самостоятельные источники снабжения и он не нуждается в помощи, адмирал имел все основания остановить выдачу ему снаряжения и даже боеприпасов, производившуюся с согласия Хорвата. Вместе с тем ситуация, конечно, оказывалась донельзя уродливой, поскольку спор командующих отражался на фронтовиках, и можно было бы даже присоединиться к мнению семеновских апологетов, что, несмотря ни на какие обиды, Колчак не имел морального права прекращать снабжение и делать Маньчжурский Отряд заложником своей розни с Семеновым. Однако есть и еще одно немаловажное обстоятельство…

Разругавшись с Атаманом, Александр Васильевич, похоже, в чем-то все-таки поверил ему (иначе действия адмирала и в самом деле граничили бы с преступлением). Семенов вел бои, тяжелые, но все-таки не соответствовавшие тем слухам о «катастрофе», которые с удовольствием распространяли в Харбине гражданские и военные мудрецы различных чинов; Семенов уверенно говорил о самостоятельности своего Отряда; таким образом, забайкальское операционное направление было, исходя из его слов, надежно прикрыто. Адмирал отказался от мысли отозвать с «семеновского» участка фронта подразделения отряда Орлова (два эскадрона конницы, артиллерийскую батарею, пулеметную команду и «часть саперно-подрывной команды»), несмотря даже на настойчивые рекомендации Накашимы требовать их возвращения (Колчак счел это предложение провокационным и, кажется, был недалек от истины). И, разделяя силы и источники снабжения, адмирал решил разделить и «малые» театры военных действий, предоставив Атаману самый западный из них и намереваясь перейти к активным операциям на остальных.

Колчак «совместно с Орловым занимается перетягиванием на свою сторону Амурской области, где возрастает враждебное отношение к большевикам», – сообщал 5 июня американский посланник из Пекина в Вашингтон; примерно к этим же дням относит «Дневник» барона Будберга разговор о начале формирования «войск Амурской Области», также свидетельствуя таким образом об определенном интересе Александра Васильевича к этому театру; для него же, очевидно, снаряжалась адмиралом и флотилия на Сунгари – спустившись по этой реке и выйдя в Амур, корабли могли бы оперировать как вниз по течению, имея целью Хабаровск, так и вверх – на Благовещенск; и все же основным направлением было для Колчака другое.

«Я считал… что главной задачей является направление военных действий… на Владивосток и вне всякой связи с Семеновым», – скажет Александр Васильевич через полтора года.

Именно с этой целью отряд Орлова был выдвинут из Харбина на восточный участок КВЖД, что само по себе следует отнести к достижениям Колчака как командующего войсками: ведь «орловцы» начинали формирование «для несения гарнизонной службы и охраны в целом всей полосы отчуждения», а такие части нередко сопротивлялись попыткам превратить их из гарнизонных в полевые войска. Те подразделения, которые подчинялись адмиралу, он распределил по линии КВЖД от Харбина до станции Пограничная, занятой отрядом Калмыкова.

Почему Владивостокское направление так интересовало адмирала? Прежде всего, там находились склады военного имущества, закупленного заграницей во время Великой войны, но еще не доставленного в Европейскую Россию. С захватом их сама собою решалась часть проблем, связанных с обмундированием, снаряжением, боеприпасами для формируемых войск. Кроме того, Владивостокский порт давал русским национальным силам самостоятельный выход во «внешний мир», не обремененный контролем иностранцев и позволяющий надеяться на дальнейшее снабжение со стороны союзников (от основных промышленных районов России Колчак и Хорват были еще отделены бескрайними сибирскими пространствами). Фрахт русских кораблей во Владивостоке, дальневосточные рыбные промыслы, угольные копи Приморья могли дать определенную экономическую базу и источники дохода. Наконец, наступление на Владивостокском направлении обещало успех, несмотря на малочисленность войск, поскольку в само́м городе находились силы, на которые, казалось, можно было вполне рассчитывать как на боевых союзников.

Дело в том, что к этому моменту на Востоке России произошло событие чрезвычайной важности: против Советской власти с оружием в руках выступил Чешско-Словацкий корпус. Формирования из чехов и словаков, в том числе военнопленных, изъявлявших желание воевать за воссоздание своей государственности, вели свою биографию еще с 1914 года. Постепенно увеличивая свою численность и расширяя организационные рамки, осенью 1917-го они достигли масштабов армейского корпуса, 15 января 1918 года объявленного «составной частью чехословацкого войска, состоящего в ведении Верховного Главнокомандования Франции». Не желая найти в чехах, да и в их западных покровителях, врагов, Совнарком разрешил корпусу выезд из России через Владивосток для дальнейшего следования на Западный фронт Великой войны, но обусловил его частичным разоружением (на каждый чешский эшелон разрешили оставить по 100 винтовок и одному пулемету).

Эти требования, в условиях царившей в стране смуты, вызывали в чехах естественное недовольство, а встречи с красными «интернациональными частями» из немецких и венгерских военнопленных – заставляли испытывать недоверие к Советской власти. Колебания Совнаркома и столкновения с «интернационалистами» все более нагнетали напряжение, которое разрядилось 25 мая телеграммой народного комиссара по военным делам Троцкого о поголовном разоружении чешских эшелонов: «Каждый чехословак, который будет найден вооруженным по линии железной дороги, должен быть расстрелян на месте, каждый эшелон, в котором окажется хоть один вооруженный, должен быть выгружен из вагонов и отправлен в лагерь для военнопленных». В пороховой погреб была брошена искра, и Чешско-Словацкий корпус «восстал». Создавшимся положением воспользовались русские антибольшевицкие организации, существовавшие во многих сибирских городах. Сибирь запылала…

В этой ситуации можно было ожидать, что и те чешские эшелоны, которые успели проследовать во Владивосток, не окажутся пассивными наблюдателями, а поддержат своих соотечественников и братьев по оружию. Дополнительным основанием для надежд было присутствие в рядах корпуса значительного числа русских офицеров, многие из которых скрывались от преследований – как уже известный нам бывший генерал-квартирмейстер Ставки Верховного Главнокомандующего, а весною 1918 года – начальник штаба Чешско-Словацкого корпуса, генерал Дитерихс. Именно он возглавлял «Владивостокскую группу Чехо-войск», насчитывавшую до 14000 человек (впрочем, имя Дитерихса вряд ли что-либо говорило Хорвату или Колчаку, и особых надежд лично на него они, скорее всего, не возлагали).

Впрочем, пока владивостокская группа держалась настороженно и против местных большевиков не выступала: она находилась ближе всех к кораблям союзников и к своей цели – быть перевезенной на Западный фронт, дабы там с оружием в руках заслужить перед великими державами право на самостоятельность Чехословакии в послевоенном мире. В Харбине, быть может, недоумевали, не зная, что политические руководители Владивостокской группы 16 июня даже направили сражавшимся в Сибири соотечественникам телеграмму, подписанную и Дитерихсом: «Вновь настойчиво напоминаем, что единственной нашей целью является возможно скорее отправиться на французский фронт, поэтому надлежит соблюдать полнейший нейтралитет в русских делах… Если добьемся

договоренности, мы требуем в ваших собственных интересах и для достижения нашей единственной цели, чтобы вы немедленно прекратили свое выступление и продолжали продвигаться во Владивосток». Позицию «нейтралитета» предпочитали занимать и китайские власти, державшие у станции Пограничной свои заставы и препятствовавшие русским отрядам вступить на русскую территорию.

Тем не менее адмирал Колчак продолжал подготовку активных действий, очевидно, и направляя на будущее их обеспечение те средства, в которых он отказывал «семеновским» эмиссарам. «Адмирал работал у себя в купэ (он и жил не в городе, а в железнодорожном вагоне. – А.К.) чуть ли не по 20 часов в сутки; было совершенно неизвестно, когда он спит; пища его была очень скромная и простая; ни обедов, ни ужинов не давалось, редким деловым гостям предлагался крепкий чай с печеньем; большая часть деловых встреч происходила ночью…» – вспоминает один из «орловцев». И сложно, а может быть, вообще невозможно сказать, какое влияние на Колчака, погруженного в напряженную работу, оказывали события, которые происходили в его личной жизни.

Адмиралу Тимиреву весной 1918 года удалось получить командировку во Владивосток «для ликвидации военного имущества флота», и он выехал туда с женой (их трехлетний сын оставался с матерью Анны Васильевны в Кисловодске). Узнав о пребывании Александра Васильевича в Харбине, Тимирева в мае отправилась к нему (парадоксальный характер этого периода Гражданской войны на Дальнем Востоке заключался в том, что между «советским» Приморьем и «хорватовским» Харбином долго сохранялось железнодорожное сообщение). «А[лександр] В[асильевич] приходил измученный, совсем перестал спать, нервничал, а я все не могла решиться порвать со своей прежней жизнью», – рассказывает Анна Васильевна, и кто знает, скольких нервов стоило Колчаку это тягостно-неопределенное положение, пока она не сделала, наконец, свой выбор – никогда с ним больше не расставаться.

В довершение всего произошел открытый инцидент с «семеновцами», который, возможно, впоследствии и стал одним из оснований для известных нам обвинений в адрес Колчака. «Я получил сведения, что на одну из станций между Харбином и Маньчжурией явился семеновский отряд человек в 20 под командой прапорщика Борщевского, который реквизировал находившийся там интендантский склад и все реквизированное грузил в вагоны, – вспоминает адмирал. – Это вторжение в пределы моего ведения меня возмутило; я отправил туда

полуроту, которая по моему приказанию арестовала семеновский отряд во главе с Борщевским; самого Борщевского и некоторых других виновников нападения на солдат я приказал отдать под военно-полевой суд; остальных отпустил». После этого Колчак ожидал даже нападения со стороны «семеновцев» и вызвал в Харбин одну из рот отряда Орлова. Положение складывалось совершенно невыносимое, и хуже всего была позиция Хорвата, уже, очевидно, решившего пожертвовать беспокойным и неудобным для него адмиралом.

Еще 5 июня американский посланник сообщал из Пекина, что Семенов «пришел к согласию с Хорватом» по поводу «японской» политики «и финансовой помощи с отстранением Колчака». «Хорват старался не обострять отношения с Семеновым и оказывал ему иногда помощь – помимо меня; к характеру моего отношения к Семенову и Японии Хорват относился несочувственно, возможно, что он даже считал нежелательным, чтобы я оставался на своем месте, и я допускаю, что им даже принимались меры к тому, чтобы я ушел», – расскажет потом адмирал. «… И по виду, и по качеству старая швабра», – вспоминает Тимирева негодование Александра Васильевича по адресу управляющего КВЖД – обладателя длинной седой бороды. В свою очередь, из кругов, приближенных к Хорвату, поползли слухи о предстоящей отставке Колчака и даже о том, что последний желает снова ехать к англичанам в Месопотамию (сам Александр Васильевич ни о чем подобном никогда не говорил: с английской службой он решительно покончил). «После переговоров с Хорватом решено было, чтобы я поехал в Токио для окончательного выяснения отношения к нам Японии», – вспоминает адмирал; тогда же в Японию был направлен генерал Н.А.Степанов. Отъезд состоялся в конце июня.

Однако то, что произошло в Японии, трудно даже назвать переговорами. Колчак, судя по всему, искренне не хотел новых конфликтов и, наверное, с этой точки зрения тяготился своей репутацией японофоба. Возможно, Александр Васильевич намеревался объяснить японским военным, что попытки внести рознь в антибольшевицкий лагерь невыгодны для них же самих; по крайней мере, встретившись с генералом Танакой, он счел нужным «заверить свои дружественные отношения к Японии». Впрочем, дипломатичностью Колчак никогда не отличался и от заверений, наверное, быстро перешел к разговору хоть и деловому, но более сухому, а может быть, и резкому: «… Я поставил прямой вопрос, будет ли Японией оказываться помощь или, наоборот, противодействие моей работе». Влиятельный генерал (в сентябре он получит пост военного министра) не

захотел отвечать на этот вопрос, да и вообще вести деловую беседу: Колчак вспоминал, что Танака «в ответ веселым тоном предложил мне остаться на некоторое время в Японии и отдохнуть здесь. Я понял из этого, что из моей миссии ничего не выйдет. Я решил остаться пока для отдыха и лечения в Японии и дал соответствующую телеграмму Хорвату». По сути дела, это была просьба об отставке…

Воспоминания А.В.Тимиревой рисуют их с Александром Васильевичем пребывание в курортном городе Никко как настоящую идиллию, и, должно быть, в этом много правды (не случайно Колчак незадолго до смерти, во время прогулки по тюремному двору, неожиданно сказал Анне Васильевне – «и на миг у него стали веселые глаза» – «А что? Неплохо мы с Вами жили в Японии… Есть о чем вспомнить»). Наверное, издерганные нервы адмирала за это время действительно немного успокоились… но полностью успокоиться ему вряд ли давали известия, приходившие из России.

В Приморьи творилось что-то непонятное. Политические руководители Владивостокской группы, наконец, решились на выступление, и 29 июня генерал Дитерихс произвел переворот, арестовав местный Совдеп и разоружив гарнизон и красногвардейцев. Уже 1 июля он начал операции по очищению Приморья от советских войск, однако вместо объединения с русскими силами полосы отчуждения едва не произошел вооруженный конфликт…

Генерал Хорват, готовясь к наступлению, склонился к мысли объявить себя «Временным Правителем России» и 5 июля разослал об этом «телеграммы российским представителям в Пекине, Токио, Вашингтоне, Лондоне, Париже и Риме для доведения до сведения союзных правительств с просьбой о признании державами и оказании поддержки». А еще накануне двинулся вперед Особый Казачий Отряд, причем Атаман Калмыков, взбешенный тем, что китайские власти забаррикадировали на границе железнодорожный путь, готов был прорываться через их заставы с боем, уже отдав распоряжение «если китайцы окажут сопротивление – перебить всю эту сволочь». Сопротивления, впрочем, не было, и Калмыков, первым из войск Временного Правителя, вступил в соприкосновение с чехами Дитерихса.

Хорват, выехавший вслед за авангардом в Гродеково, 9 июля опубликовал «официальную декларацию о вступлении в функции государственной власти» (он, вполне здраво рассуждая, откладывал этот момент до перехода на русскую территорию, не желая оказаться «всероссийской властью» в полосе отчуждения

КВЖД). Но одновременно были получены известия о том, что во Владивостоке находится еще одна «власть», хотя и местная, – «Временное Правительство Автономной Сибири», члены которого во главе с П.Я.Дербером заблаговременно перебрались из Харбина в Приморье и там, щеголяя перед чехами и союзными консулами своим демократизмом и обвиняя Хорвата в «реакционности», добились почти официального признания.

Совещание консулов постановило «просить свои правительства о предложении генералу Хорвату немедленно отозвать свои войска в Полосу отчуждения КВЖД, а самому ему обратиться к исполнению обязанностей директора той же железной дороги». Не намного более дружественную позицию занимал и Дитерихс: он, «не настаивая на требовании об отводе, согласно постановлению консулов, войск за границу, не соглашался на вступление их в Никольск-[Уссурийский], мотивируя свой отказ тем, что вступление туда войск генерала Хорвата может повести к междоусобиям (? – А.К.)…» Дитерихс вообще занимал довольно странную позицию, «официально заявляя» приезжавшим к нему офицерам, «что он теперь не является русским, а только чехословаком (sic! – А.К.), что считает Россию совершенно развалившейся, что никакого русского правительства ранее, чем через два г[ода], создать нельзя и что все русские военные организации подлежат немедленному роспуску».

Не очень понятно, какую же перспективу для великой страны видел генерал на эти ближайшие «два года», которых, по его мнению, было бы достаточно для вызревания национального русского правительства; но по крайней мере силами своих чехов он, кажется, был настроен воевать, причем весьма решительно. Английским морякам, например, Дитерихс заявил, что корабли для отправки на Западный фронт Владивостокской группе больше не нужны: очистив Приморье, они будут наступать через полосу отчуждения в Забайкалье и далее – на Иркутск. В состав сил, продвигавшихся на Хабаровск, был включен и Особый Казачий Отряд – быть может, потому, что его Атаман в очередной раз проявил решительность: «В первый момент встречи была между собою перестрелка, – рассказывает один из „калмыковцев“, – давшая одного чеха убитым, но вскорости это недоразумение выяснилось…» Таким образом, Отряд вышел из подчинения Временному Правителю.

Власть Хорвата, со всеми его пышными титулами, вообще оказалась мыльным пузырем. С другой стороны, и к «автономистам» Колчак относился пренебрежительно еще в Харбине и своего мнения не изменил: характеризуя положение в

Приморьи, говорил, что «организации Хорвата и Дербера» считал «организациями неделовыми, ведущими лишь борьбу между собой». В течение августа во Владивосток продолжали прибывать союзные войска, основную массу которых составляли японцы, и это также не должно было радовать предубежденного против них адмирала. Похоже, он не видел особых перспектив для развития антибольшевицкого движения на Дальнем Востоке, и тогда же говорил английскому генералу А.Ноксу, «что власть должна опираться на вооруженную силу, и высказывал мысль, что эти силы должны организовываться при участии английского инструкторского персонала» («Мои харбинские впечатления говорили о крайней распущенности и глубоком моральном развале среди офицерства и политических деятелей Дальнего Востока», – поясняет Колчак). Однако несмотря на свой пессимизм, окончательно (или хотя бы на «два года») поставить крест на русском деле или даже просто усидеть на курорте, наслаждаясь тамошнею идиллией, Александр Васильевич не мог. И он отправляется в Токио, куда стекались вести из борющейся России.

Британскому послу Колчак упомянул в начале сентября, что хотел бы отправиться в Архангельск (там при активном участии союзников 2 августа была свергнута Советская власть), но, видимо, быстро отказался от этих планов. Англичане вообще внимательно следили за Колчаком, и в советской исторической литературе многократно цитировалась фраза упомянутого выше генерала Нокса – главы военной миссии в Японии, а затем в России: «Нет никакого сомнения в том, что он является лучшим русским для осуществления наших целей на Дальнем Востоке». Нокс, который в отличие от многих иностранцев искренне сочувствовал России и страданиям русского народа (и лично Александру Васильевичу: так, в 1930 году он будет одним из главных инициаторов сбора средств в «фонд помощи окончанию высшего образования сыном Адмирала Колчака»), разумеется, не упускал из виду и интересов своей страны; но делать, вслед за советскими авторами, из его слов вывод о Колчаке как «английской марионетке» отнюдь не правомерно.

Не будем даже специально останавливаться на таких чертах Александра Васильевича, как высокая честность (он был решительно неспособен к интригам) и патриотизм, не позволявший ему действовать в чужих интересах, а также тяжелый характер, затруднявший любые манипулирования им; обратим внимание лишь на обстоятельства объективные. Прежде всего, Нокс был не единственным англичанином, сообщавшим в Лондон свое мнение о Колчаке: скажем, британский посол не

скрывал своего мнения, что адмирал «человек честный и знающий, но раздражительный. Если он намерен ссориться с японцами, то я не вижу, как его присутствие может улучшить ситуацию»; не имея единого взгляда на Колчака, англичане, конечно, не могли им «руководить». Кроме того, и генерал, и дипломат обсуждали вопрос о возможной роли Александра Васильевича на Дальнем Востоке… а он стремился совсем в другие края.

Добираться до Архангельска в августе – сентябре 1918 года следовало или повторяя в обратном направлении прошлогодний маршрут Колчака, или через Индийский океан, вокруг Африки и далее – через Англию и вокруг Скандинавского полуострова. На Юге России уже давно сражалась Добровольческая Армия, созданная Алексеевым и Корниловым, а когда последний погиб в бою – возглавленная Деникиным, но она была отрезана от внешнего мира: Проливы по-прежнему оставались в турецких (вернее, германских) руках. Разочаровавшись в Дальнем Востоке, адмирал обратил свои взоры на Дон и Кубань, тем более что где-то на Юге оставались его жена и сын, о которых он беспокоился [62]. Планы отправиться туда начали приобретать хоть сколько-нибудь конкретные очертания после того, как русские и чешские войска под общим командованием молодого капитана Р.Гайды прорвались в Забайкалье и 30 августа соединились с авангардом Атамана Семенова. Теперь через Дальний Восток и Сибирь можно было доехать до Гурьева или Красноводска, при содействии англичан пересечь Каспийское море и, проделав самую тяжелую часть пути в горах, присоединиться к Добровольческой Армии – маршрут непростой, местами рискованный, но, несмотря на это, вполне реальный.

К нему и склонился в сентябре адмирал Колчак. «Я решил пробраться на Юг России, к Алексееву, который сохранял для меня значение главнокомандующего, из подчинения которого я никаким актом не вышел, – расскажет он позже, совершая интересную психологическую ошибку: формально последним Верховным Главнокомандующим, под началом которого служил в 1917 году Александр Васильевич, был генерал Брусилов, но его репутация оппортуниста, потворствовавшего революции, очевидно, помешала Колчаку считать его „сохранившим значение“. – Я думал проехать сперва к семье, а затем – в его распоряжение. Считал я Алексеева лицом, которому я подчинен, потому что по моим сведениям он был на Юге Главнокомандующим (Алексеев считался „Верховным Руководителем Добровольческой Армии“, Командующим которой был Деникин. – А.К.)». С этим настроением адмирал выехал во

Владивосток.

А. В.Тимирева вспоминала, что «Хорват предлагал Колчаку должность командующего всеми морскими и речными силами при его правительстве». Однако адмирал был уже сыт Хорватом по горло и никаких назначений в его бутафорском кабинете не принял. Несколько большее доверие вызывало еще одно правительство, утвердившееся в Омске; оно вело свое происхождение от той же самой не собиравшейся «Сибирской Областной Думы», что и кабинет Дербера, но за ним стояли реальные силы Сибири и командование значительной группировки Чешско-Словацкого корпуса. Да и омский премьер-министр, адвокат П.В.Вологодский, лично приехавший во Владивосток, произвел, очевидно, довольно благоприятное впечатление на Колчака, который увиделся с ним 20 сентября.

«Вечером посетил меня известный своим героизмом перед требованиями, [выдвинутыми] взбунтовавшимися черноморскими матросами, вице-адмирал Колчак, – записывал в дневнике Вологодский. – Он очень сочувственно относится к деятельности Сиб[ирского] прав[ительст]ва, рекомендовал мне нескольких своих сослуживцев, находящихся теперь на Дальнем Востоке, для определения на службу. При расставании пожелал в моем лице Сиб[ирскому] правительству дальнейших успехов в насаждении государственности. Колчак произвел на меня очень приятное впечатление. Испитой и суровый на вид, он должно быть в душе очень добрый человек. Удивительно приятна его улыбка…»

Как видно из беседы (содержание которой, называя ее «визитом», адмирал передавал так: «от лица моряков и команд флота Владивостока заявил ему о признании Сибирского правительства»), Александр Васильевич действительно не строил никаких планов, связанных с Сибирью, и, рекомендуя своих сослуживцев, сам не сделал ничего, чтобы получить какую-либо должность. В сочетании с его неприкаянным положением и более чем стесненными средствами – он и ходил в поношенном штатском костюме – это не позволяет усомниться в искренности Колчака. В те же дни, 17 сентября, генерал Степанов составил подробный доклад на имя Алексеева, в котором, по словам адмирала, изложил «довольно детально положение вещей, создавшееся на Дальнем Востоке». Учитывая, что сам Степанов не собирался ехать в Европейскую Россию, допустимо предположение, что доставку доклада адресату брал на себя именно Колчак, для которого он становился своего рода рекомендацией: Степанов высоко оценивал заслуги адмирала и его государственную позицию в смутное время, – в профессиональных рекомендациях Александр Васильевич,

конечно, не нуждался.

Кстати, упомянув о профессиональной, флотской репутации Колчака, нельзя не высказать и предположения, что стремление на Юг было для него попыткой вернуться на морскую стезю. Грядущее разворачивание операций на берегах Азовского и Черного морей ставило на повестку дня возрождение, после революционной разрухи, Черноморского флота, с которым у адмирала так много было связано. Однако вновь стать из сухопутного военачальника флотоводцем ему не было суждено…

Бывший «орловец» вспоминал, что их роту, стоявшую гарнизоном на одной из приграничных станций, «как-то вечером» выстроили на перроне для встречи поезда Владивосток – Омск: «… Мы радостно приветствовали Адмирала Колчака, вышедшего из заднего – служебного салон-вагона. После приветствия Адмирал медленно шел вдоль фронта, как всегда, суровый и подтянутый, держа руку у головного убора… Дойдя до флангового, он быстро повернулся обратно, дошел до середины роты, поблагодарил за встречу и сказал: “Г. г. офицеры, гардемарины, юнкера и кадеты, мой путь лежит через Сибирские степи к генералу Деникину на юг. Это мое желание, а как оно будет выполнено, не знаю. Говорю вам это потому, что, как вы видите, вряд ли нам удастся скоро встретиться, и удастся ли вообще”. Дальше он поблагодарил нас за совместную службу и, попрощавшись, медленно пошел вдоль фронта к своему вагону, и поезд тронулся… Громкое “Ура” продолжалось долго, т. к. Адмирал стоял, пока было видно, на задней площадке и держал под козырек»…

Этот период – с весны 1917-го до конца лета 1918 года – стал для адмирала Колчака, наверное, одним из тяжелейших. Несбыточные мечты, рухнувшие надежды, безрезультатные усилия для такого эмоционального и впечатлительного человека, каким представляется нам Александр Васильевич, должны были оказаться поистине невыносимым грузом, страдания от которого еще усугублялись жестким, даже жестоким отношением адмирала к самому себе. И то, что он надломился, но не сломался, то, что страдание, сквозящее в его глазах и охватывавшее его душу, не лишило его воли и стремления к действиям, говорит прежде всего о силе и мужестве этого человека. И после всего пережитого и перечувствованного удивительна не развившаяся вспыльчивость, которая порой заставляла его срываться на крик или ломать карандаши, подвернувшиеся под руку, – удивительна та самоотверженная готовность, с какой он вновь примет на себя тяжелый крест.

Ибо главные страдания все-таки были еще впереди.

Глава 10
Омская власть

Адмирал Колчак прибыл в Омск примерно 10–13 октября, – как он думал, всего лишь проездом на Юг России. Мы приводили уже немало доводов, почему его намерения кажутся нам искренними, а сейчас добавим еще, что Анна Васильевна все это время оставалась в Японии: действительно, подвергать ее риску путешествия по уральским степям или охваченному войною Кавказу Колчак вряд ли мог, а приезжать с ней к жене было бы по меньшей мере бестактно, даже если Александр Васильевич намеревался немедленно начинать бракоразводный процесс [63]. Незадолго до отъезда из Владивостока адмирал имел беседу с героем недавних боев, также отправлявшимся на запад, – чешским генералом Гайдой, и содержание беседы вновь свидетельствует в пользу того, что к «сибирским» делам Колчак в это время подходил с относительным равнодушием.

Радола Гайда (Рудольф Гейдель, а по-русски – Родион Иванович), 26-летний обер-лейтенант австро-венгерской армии, капитан медицинской службы армии черногорской и капитан Чешско-Словацкого корпуса, несмотря на вполне мирную профессию аптекаря, нашел себя именно на войне, причем в должности строевого офицера. Обладая тактическим чутьем, решительностью, готовностью к ответственности за рискованные поступки, он отличился в летних боях 1917 года, а в 1918-м по заслугам стал генералом, с боями проложив дорогу от Ново-Николаевска в Забайкалье. Однако наряду с несомненными достоинствами Гайда отличался чрезмерной амбициозностью, большим самомнением и неуживчивостью, что легко создавало ему врагов.

Вот и в сентябре 1918 года, приехав во Владивосток триумфатором, новоиспеченный генерал немедленно начал вмешиваться в чужие дела, вследствие чего, быть может, вскоре почувствовал себя неуверенно. Поэтому в частной беседе с Колчаком он и поднял вопросы, казалось бы, не совсем уместные и в любом случае не имевшие тогда реального продолжения. «Говорилось им о возможности передачи командования всеми русскими и чешскими военными силами в его руки; на его вопрос о моем отношении к этому я сказал, что если большая часть сил принадлежит чешскому командованию, то возможна передача ему и командования всеми силами… – рассказывает Александр Васильевич. – Гайда высказал и мысль о необходимости создания

военной диктатуры, о которой я в свою очередь говорил ему, что диктатура эта мыслима лишь при наличности большой и объединенной военной силы». Пребывавший не у дел адмирал (он сделал и «формальное заявление» о выходе из состава правления КВЖД, хотя дата его не вполне ясна), чье положение частного лица подчеркивалось штатским костюмом, вряд ли вообще понимал, почему победоносный чешский военачальник вдруг заинтересовался именно его мнением об управлении Сибирью и сибирскими войсками; быть может, Колчак решил, что Гайда прочит на роль диктатора самого себя, – однако в этом, судя по всему, ошибался.

Находя себя вполне достойным поста Главнокомандующего, в диктаторы Гайда отнюдь не рвался. Быть может, он и свои позиции военачальника намеревался укрепить с помощью какого-нибудь авторитетного русского имени (существует свидетельство, согласно которому во время владивостокской встречи «Гайда предложил Колчаку работать с ним на Екатеринбургском фронте», на что Колчак якобы согласился), а относительно перспектив установления диктатуры разговаривал 28 сентября с видным сибирским конституционным демократом В.Н.Пепеляевым, первым назвав в разговоре имя адмирала. Далее состоялся обмен многозначительными репликами: «Его возможно поддержать. Но когда это может быть?» – «Дней через 20. Чехов мне удастся убедить». Последнее обещание принадлежало Гайде…

Возможно, Александр Васильевич действительно заколебался, хотя, с другой стороны, скрывать «предложение работать с Гайдой» у него впоследствии как будто не было особых мотивов. Сделать предположение о колебаниях допустимо на основании письма, написанного Колчаком на имя генерала Алексеева и датированного 1 октября (Деникин считает, что здесь используется новый стиль, однако это кажется сомнительным). Такое письмо не очень увязывается с намерением лично явиться в распоряжение старого генерала, если только не увидеть в нем письменного доклада, подаваемого официальным путем независимо от личной встречи. Кроме того, через некоторое время после прибытия в Омск Колчак узнал, что Алексеев скончался в Екатеринодаре 8 октября, и это известие могло подействовать на него расхолаживающе: Деникин был храбрым и честным генералом с исключительными заслугами, но алексеевским авторитетом он в глазах Александра Васильевича, должно быть, все-таки не обладал. Тем не менее, решив официально «представиться Сибирскому правительству», Колчак в беседе с одним из министров – И.И.Серебренниковым – по-

прежнему говорил о намерении отправиться на Юг.

«Адмирал вошел в мой кабинет в сопровождении своего секретаря, – рассказывает Серебренников. – Насколько припоминаю, оба они были в штатских костюмах. После кратких вступительных фраз, приличествующих случаю, у меня с адмиралом завязалась длительная беседа…

Я предложил адмиралу принять в той или иной форме участие в работе Сибирского правительства, но он ответил, что не намеревается надолго задержаться в Омске и в недалеком будущем, по всей вероятности, проследует на юг России, к Деникину».

Задержаться, однако, пришлось, и задержаться надолго. Именно к последующим месяцам, когда адмирал оказался вознесенным на пост Верховного Правителя, относится и большинство обвинений, направленных в адрес Колчака. Наиболее резкие раздаются из лагеря «революционной демократии», обвиняя адмирала в «антидемократизме», «стремлении к диктатуре», покушениях на «народоправство» и на соответствующие институты, существовавшие к тому времени на Востоке России. Посмотрим, впрочем, внимательнее на сибирскую обстановку, сложившуюся до появления в Омске Колчака…

Как мы уже знаем, в Сибири существовало два правительства (Вологодского и Дербера), соперничавших друг с другом и возводивших свою генеалогию к Сибирской Областной Думе. Сам по себе вопрос о легитимности оставался, в сущности, спорным – Дума так и не собралась, состав кабинета, распавшегося затем на два, был утвержден на частном совещании, и, к примеру, Серебренников узнал о том, что он включен в число министров, значительно позже состоявшегося «избрания». В конце концов «дербероский кабинет» спасовал перед кабинетом омским, за которым стояли военные, прежде всего – руководители подпольных организаций, теперь возглавившие строительство Сибирской Армии, полковники А.Н.Гришин-Алмазов и П.П.Иванов-Ринов [64]; признал правительство Вологодского и Атаман Семенов, а затем – и «Временный Правитель» Хорват. Укрепив таким образом свои позиции, Временное Сибирское Правительство в качестве ближайшего соперника увидело… Областную Думу, чьим именем оно взяло власть, теперь намеревавшуюся, наконец, собраться и заявить о своих прерогативах как верховного государственного органа.

Несмотря на сильный соблазн вообще не допустить созыва Думы или созвать ее «только для того, чтобы позволить ей затем “самораспуститься”», кабинет министров все же решил не

противиться первой сессии «сибирского предпарламента», но в дальнейшем, с ростом притязаний последнего, правительство склонилось к решению «немедленно прервать» его заседания. Затянувшийся процесс завершился лишь в ноябре в компромиссной форме «самороспуска» Думы; и все же с формальной точки зрения налицо было объявление более или менее случайной группою лиц (Советом министров) себя «верховною властью» и давление, вплоть до ликвидации, на «демократическое представительное учреждение». Подчеркнем, что все случившееся было внутренним сибирским делом, никак не затрагивало адмирала Колчака и характеризовало политические тенденции и нравы, существовавшие в Сибири независимо от его присутствия там.

На заседаниях Думы прозвучали и намеки на то, что впоследствии было прочно связано с личностью Александра Васильевича, – военную диктатуру. Сторонником жесткой, централизованной и сильной власти выступил Гришин-Алмазов, занявший в омском кабинете пост управляющего военным министерством и одновременно возглавлявший Сибирскую армию. Встревоженная «революционная демократия», в том числе ее представители в правительстве, увидела в Гришине грядущего диктатора и в результате интриги добилась 6 сентября отставки волевого и перспективного военачальника (в вину ему ставился конфликт с союзниками – на одном из банкетов Командующий армией упрекнул британского консула, в частности, в том, что «англичане, предав царскую фамилию, и сейчас тоже, как всегда, играют двойную игру»); преемником Гришина стал Иванов-Ринов.

Гришин-Алмазов не попытался удержаться у власти вооруженной рукой, хотя силы, крайне недоброжелательно относившиеся к «революционной демократии» и к тому же настроенные весьма решительно, присутствовали в тот период на омской политической сцене. Красноречивым свидетельством является произведенный по распоряжению начальника гарнизона Омска, полковника В.И.Волкова, арест двух членов кабинета (в том числе министра внутренних дел!), а также кандидата в министры А.Е.Новоселова и председателя Сибирской Областной Думы И.А.Якушева в ночь на 21 сентября, причем оба министра немедленно подали прошения об отставке. По решению собравшегося кабинета трое арестованных были освобождены, а с оставленным под стражей Новоселовым без суда и следствия расправились конвоиры. Волкова постановили отдать под следствие, но на его положении это практически не отразилось.

Взрывоопасное положение не сильно изменилось и после того, как на «Государственном Совещании», которое проходило в

Уфе с 8 по 23 сентября, была «сконструирована всероссийская власть» – избрано «Временное Всероссийское Правительство» («Директория») в составе пяти лиц (в их число вошел и Вологодский), вскоре переехавшее в Омск. «Мы живем, точно в Мексике, – сказал как-то Серебренников вновь назначенному Верховному Главнокомандующему и члену Директории, генералу В.Г.Болдыреву. – Вчера распространились слухи, что Российское правительство собирается нас арестовать…» – услышав в ответ: «Третьего дня мы были во власти слухов, что Сибирское правительство собирается то же самое сделать с нами…» А Вологодский в ночь на 23 октября с изумлением увидел у своего дома конный отряд, начальник которого сообщил, что прислан для охраны сибирского премьера от возможного ареста. Колчак же, как мы видим, ко всему этому также не мог быть причастен.

Наконец, не в пользу Колчака порой трактуют его конфликт с Атаманом Семеновым, возобновившийся сразу же после провозглашения адмирала Верховным Правителем (Семенову инкриминировался «перехват грузов», следовавших по железной дороге через Забайкалье). Однако еще 31 октября американский генеральный консул сообщал в Вашингтон из Иркутска, что «Семенов пытается воспрепятствовать доставке из Владивостока и Харбина снаряжения для чехов на западе, особенно автомобилей и грузовиков». Таким образом, и самоуправство Атамана проявлялось независимо от занятия каких-либо должностей Колчаком.

Итак, «мексиканские» нравы, своеволие, обстановка заговоров, слухов и почти всеобщей готовности к перевороту никак не были связаны с адмиралом, и допустимо даже предположить, что, если бы он вообще отсутствовал в Омске, там все равно произошло бы нечто подобное тому, о чем мы знаем из истории Гражданской войны. Впрочем, как и все предположения, это совершенно недоказуемо, поэтому обратимся к рассмотрению дальнейшего хода событий.

Рассказывая о своем приезде в сибирскую столицу, Колчак вспоминает: «В Омске к этому же времени был уже Болдырев, назначенный Верховным главнокомандующим армии Директорией. Узнав о моем приезде, он меня пригласил к себе. Он заявил мне, что я нужен здесь, и просил остаться в Омске… Дня через два Болдырев опять пригласил меня и предложил мне занять пост военного и морского министра, ссылаясь на то, что в данный момент нет вокруг него ни одного лица, кроме меня, на которое он мог бы положиться, для вручения такого поста. Я ответил, что дам окончательный ответ, когда выясню для себя, что́ мне на посту военного и морского министра придется делать

и каковы будут мои взаимоотношения с командованием армий и мое отношение к военным силам вообще. Болдырев настаивал, и я согласился на включение себя в состав правительства…» Задумаемся теперь, для чего это было нужно Болдыреву и для чего – Колчаку?

Может показаться, что Главнокомандующий войсками Директории в какой-то степени лукавил. В самом деле, на первый взгляд непонятно, почему при рассмотрении кандидатур на пост военного министра адмиралу Колчаку было отдано предпочтение, скажем, перед генералом А.Ф.Матковским, который не только окончил Академию Генерального Штаба, но и был ее ординарным профессором, а во время Мировой войны занимал как строевые, так и штабные должности (он, кстати, некоторое время и исполнял должность управляющего военным министерством во Временном Сибирском Правительстве). Точно восстановить рассуждения и мотивировки Болдырева, разумеется, невозможно, но высказать некоторые соображения на этот счет мы вправе.

Заметим, что Всероссийское Правительство вообще неуютно чувствовало себя в Омске. Помимо большей «консервативности» омских политических кругов, налицо было еще одно обстоятельство: Директория представляла собою верховную власть, но какого-либо аппарата управления у нее, по существу, не было. Такой аппарат имелся у сибиряков, и ведомствам нового правительства предстояло быть созданными в основном на местной, сибирской базе. А военным министром (строго говоря, управляющим военным министерством) здесь был генерал Иванов-Ринов, одновременно занимавший должности Командующего Сибирскою армией и Атамана Сибирского казачьего войска.

Позиция молодых генералов и полковников, лихих добровольческих вожаков, вообще зачастую отличалась чрезмерной самостоятельностью: так, вступивший в исполнение обязанностей уссурийского Атамана Калмыков (созванный им чрезвычайный Войсковой Круг произвел есаула сразу в генералы) вообще не признал Директории, «не видя в настоящий момент твердых Государственных центров». (Семенов подчинился Директории «автоматически» – он в свое время признал Временное Сибирское Правительство, которое принимало участие в «конструировании» новой власти.) Не могла не внушать опасений и фигура Иванова-Ринова, о котором даже Серебренников, сам сибирский министр, отзывался впоследствии весьма осторожно: «События складывались так, что люди, подобные Иванову-Ринову, становились диктаторами дня, и военные круги Омска имели в настоящий момент куда более

фактической власти, чем Директория и Сибирское Правительство, вместе взятые».

Голословным ли было это утверждение? Пожалуй, не очень, поскольку в дни памятного Омску ареста министров и убийства Новоселова именно Иванов-Ринов, в обход каких-либо формальностей, освободил инициатора арестов – полковника Волкова. Это должно было настораживать представителей «революционной демократии» и лояльного к ней Болдырева, – а при образовании военного министерства Всероссийского Правительства на базе министерства сибирского, Иванов-Ринов явно подавлял бы своим авторитетом остальных кандидатов (того же Матковского). Колчак был чужим в Омске, он не принимал участия в свержении здесь Советской власти, наконец, он был моряком… но у него было поистине всероссийского масштаба имя, перед которым такой кандидат, как Иванов-Ринов, казалось, неизбежно должен был стушеваться.

А чем мог руководствоваться в своем решении адмирал? Прежде всего, узнав о создании Директории, он отозвался о ней в общем доброжелательно: «… Насколько могу судить, эта власть является первой, имеющей все основания для утверждения и развития». «Акт об образовании» Всероссийского Правительства провозглашал первоочередные задачи, которых Колчак не мог не одобрить: «Борьба за освобождение России от советской власти»; «воссоединение отторгнутых, отпавших и разрозненных областей России»; «непризнание Брестского мира и всех прочих договоров международного характера, заключенных как от имени России, так и отдельных ее частей после февральской революции какой бы то ни было властью, кроме Российского Временного Правительства». Вполне разумными выглядели и цели, поставленные Директорией «в области военной»: «Воссоздание сильной, боеспособной, единой Российской армии, поставленной вне влияния политических партий»; «полное невмешательство военных властей в сферу гражданского управления, за исключением местностей, входящих в состав театра военных действий»; «установление крепкой военной дисциплины на началах законности и уважения к личности»; «недопустимость политических организаций военнослужащих и устранение армии от политики».

Даже декларированные принципы гражданского управления освобожденных местностей России «на началах признания за ее отдельными областями прав широкой автономии», чаемое «окончательное установление государственной организации на федеративных началах» и намерение восстановить «демократическое городское и земское самоуправление», – могли

не слишком беспокоить Колчака, который свои тогдашние взгляды на этот вопрос излагал так: «Командующему военными силами должна принадлежать вся полнота власти на территории борьбы, но по мере продвижения в областях, очищаемых от большевизма, власть должна переходить в руки земских организаций». Насторожить адмирала должен был подчеркиваемый Директорией пиетет по отношению к Учредительному Собранию созыва 5 января 1918 года… но этот вопрос он вряд ли считал в тот момент определяющим. Появление перспектив с задачами всероссийского масштаба и, возможно, указание Болдырева на опасность «атаманщины», столь возмущавшей адмирала на Дальнем Востоке, представляются вполне достаточными основаниями для того, чтобы Александр Васильевич изменил принятое ранее решение и согласился занять предложенную ему должность, хотя и с некоторыми сомнениями.

Сомнения Колчака нашли отражение в его письме генералу Болдыреву от 30 октября. Этот документ с очевидностью доказывает, что недолгий срок, отведенный адмиралу на раздумья, он использовал для изучения, насколько это было возможно за считанные дни, реального положения дел в военном министерстве и – более широко – в органах снабжения и управления военным строительством. При этом сомнения Александра Васильевича были связаны отнюдь не с неизбежными трудностями, которые перед ним открывались; напротив, он был готов к напряженной работе, сразу же выдвигая ее программу или, по крайней мере, принципы, на которых ей предстояло быть основанной.

Сложившаяся к тому моменту ситуация Колчака явно беспокоила: «служба Главного Штаба, особенно в отношении управления личным составом, ведется самостоятельно и без достаточного согласования всеми штабами (Главнокомандующего, армии, корпуса и [военного] округа). Поэтому проведен в жизнь целый ряд несогласованных между собой и с общими нормами мероприятий»; «помимо тенденций к созданию громоздких органов технического снабжения в Военном Министерстве, существование Министерства Снабжения, Высшего Совета Снабжения вызывает весьма сложную обстановку, с крайне неопределенными и неясными разграничениями функций отдельных учреждений». Следовало, таким образом, прежде всего навести порядок и создать эффективную структуру снабжения войск и их укомплектования (что, собственно, и составляло функции военного министерства). В принципе, понимали это многие, и попытки военного строительства в период Гражданской войны зачастую начинались именно с подобных программ, в

дальнейшем, однако, оставаясь… не более чем попытками. Осознавал ли такую угрозу адмирал Колчак?

Кажется, осознавал: недаром он подчеркивал, что «Военное Министерство по своей организации и численности личного состава должно отвечать действительной необходимой работе по формированию и обслуживанию определенной армии, которую возможно фактически сформировать и обслуживать. С этой точки зрения создание Военного Министерства на основании существовавших законов и принципов, отвечающих прежнему великодержавному положению России, в настоящей обстановке следует признать приемлемым с большими ограничениями»; «Военное Министерство должно быть создаваемо путем постепенного развития и расширения его органов в строгом соответствии с потребной работой, но не в виде вполне сконструированного до деталей, на основании прежних законоположений, аппарата, хотя бы частью и сокращенного». Как бы полемизируя с известным принципом «организация не терпит импровизации», адмирал до некоторой степени отстаивает именно импровизацию в строительстве управляющих учреждений, а вернее сказать – применение их к существующей обстановке, которая и должна определять конкретные формы решения общих задач.

Однако далее можно увидеть в рассуждениях и планах Колчака известную непоследовательность. Говоря о «переходе от [военно-]окружной системы к территориальной корпусной», то есть к установившемуся в Сибири порядку, при котором пополнение тому или иному армейскому корпусу, сражавшемуся на фронте, давал тыловой «корпусной район», адмирал считает «принципиально вредным и во всяком случае крайне рискованным проведение крупных реформ в тех отраслях, которые работали ранее удовлетворительно». Как будто не задумываясь, что «ранее» – по сути дела означает период «прежнего великодержавного положения России», Александр Васильевич называет сибирский «эксперимент» – продолжением «политики революционного периода, которая привела армию к гибели» и даже утверждает, «что рассматриваемые реформы производят впечатление весьма необдуманного и легкомысленного решения, могущего иметь самые бедственные последствия». В сущности отстаивая жесткую регламентацию «сверху» в противовес «импровизационному» творчеству, оправдывавшему себя в сложившихся условиях, кандидат в военные министры Колчак закладывает основы военной политики, которая таит в себе угрозу будущих осложнений для Верховного Правителя Колчака.

Насколько эту точку зрения можно считать принадлежащей лично Александру Васильевичу? Сразу оговоримся, что, формулируя ее в официальном письме и скрепляя своей подписью, адмирал безусловно принимает на себя и всю ответственность; однако вопрос о возможных влияниях или консультациях не становится от этого менее правомерным, и, задумываясь о том, чье мнение для Колчака в этот момент могло быть авторитетным, мы не увидим среди его предполагаемых собеседников тех «выскочек», которым принято приписывать исключительное воздействие на адмирала.

На следующий день после написания своего «меморандума» Болдыреву Колчак на заседании кабинета министров определенно заявил, «что им уже намечены свои помощники» – генералы Генерального Штаба Н.А.Степанов и В.И.Сурин, оба обладающие немалым служебным стажем. Степанов был знаком ему по Дальнему Востоку, относительно же Сурина следует указать, что после окончания Академии он служил в военном министерстве, а во время Мировой войны – в основном в штабах армейского и фронтового уровня, к осени же 1918 года заведовал снабжением Сибирской армии. Были они правы или заблуждались – но опыта, знаний и авторитета у обоих генералов отнять, конечно, нельзя.

А что же сомнения, связанные с принятием Колчаком поста военного министра, о которых мы упомянули выше? Единственная оговорка, которую он делает в письме Верховному Главнокомандующему, относится к вопросу отнюдь не военного, а общеполитического характера. «Я убежден, – пишет Александр Васильевич, – что при условиях настоящего времени партийное представительство исключает возможность положительной государственной работы и что влияние политической партии и ее дисциплины неминуемо внесет в дело государственного строительства полное разложение. Поэтому я ни в каком случае не счел бы возможным работать при наличии в указанных ведомствах (ранее шла речь о сотрудничестве военного ведомства с министерствами „внутренних дел, финансов, снабжения, путей сообщения и иностранных дел“. – А.К.) лиц, деятельность которых могла бы иметь цели выполнения какой-либо партийной программы». И далее Колчак от общих соображений переходит к конкретной должности и конкретной личности – адвокату Е.Ф.Роговскому, по партийной принадлежности социалисту-революционеру, члену Учредительного Собрания и товарищу председателя Уфимского Государственного Совещания, которого в формирующемся кабинете усиленно продвигали на пост товарища министра внутренних дел, «заведывающего милицией».

Адмирал не скрывает от Болдырева своих опасений:

«Нахождение во главе ведомства, или его части, ведающего охраной общественной безопасности, лица, принадлежащего к определенной партии и состоящего членом ее исполнительного комитета, я не считаю допустимым ни с какой точки зрения, даже обывательской». Голос Колчака не был услышан – Роговский получил указанную должность, – и все же адмирал, чьи «резкие протесты» на заседании формирующегося кабинета не возымели силы, решил принять пост военного министра. В указе Временного Всероссийского Правительства от 4 ноября говорилось:

«Назначаются: Вице-Адмирал Александр Васильевич Колчак – Военным и Морским Министром.

Генерального Штаба Генерал-Майор Николай Александрович Степанов – помощником Военного и Морского Министра по организационно-инспекторской части.

Генерального Штаба Генерал-Майор Виктор Ильич Сурин – помощником Военного и Морского Министра по снабжениям и технической части.

Генерал-Майор Борис Иванович Хорошхин – помощником Военного и Морского Министра по делам казачьих войск».

Прервем пока изложение дальнейших событий, чтобы обратить внимание читателя на то, что опасения Александра Васильевича по поводу партийных (более конкретно – социалистических) влияний представляются совершенно оправданными. Как показывает исторический опыт, никогда в течение Гражданской войны правительства, социалистические по своему составу или подпадавшие под воздействие социалистов, не были способны к решительному сопротивлению узурпаторам власти, сколь бы искренними ни были возглавлявшие эти правительства люди. От Белого моря до Терека, от Волги до Великого океана, несмотря на всю «демократичность» и «прогрессивность», стремления к «свободе» и «народовластию», социалисты оказывались бессильными и только разрушали дело, которым брались руководить. И причина здесь не в одном лишь отсутствии у них государственных и военных знаний и опыта: внося в борьбу партийный дух, они неизбежно обрекали ее (и самих себя) на поражение, ибо сопротивление большевизму могло оказаться успешным лишь при духовном преодолении русским народом революционной разобщенности, восстановлении национального единства, – то есть на путях, противоположных традициям догматичной партийной политики.

В сущности, к той же мысли как будто подходил адмирал Колчак, когда отвергал предложения той или иной незначительной группы лиц. Сейчас казалось, что единодушие и

единовластие было достигнуто, но усиливавшееся влияние руководства партии социалистов-революционеров и Съезда членов Учредительного Собрания (тоже вполне социалистического) угрожало этому единству, пытаясь превратить Директорию в партийную организацию.

Поэтому на фронт, куда новый военный министр отправился, дабы самому ознакомиться с нуждами войск, он должен был ехать отнюдь не в хорошем расположении духа; на фронте же его настроение, судя по всему, еще ухудшилось. Разговаривая с Гайдой, который к тому времени возглавил Екатеринбургскую (или Северо-Уральскую) группу войск, Колчак не стал скрывать своих подозрений, «что состоявшееся между Директорией и Омским правительством соглашение непрочно и столкновение неизбежно». В свою очередь, Гайда, по воспоминаниям Александра Васильевича, «высказывал мнение о необходимости диктатуры и говорил, что Директория нежизнеспособна»; подобной точки зрения придерживался и командующий 1-м Средне-Сибирским корпусом генерал А.Н.Пепеляев (брат сибирского политика). После этого совсем не удивителен вывод Колчака: «Я вынес впечатление, что армия не на стороне, а против Директории».

Сегодня эти беседы подаются как прокладывание адмиралом пути к военному перевороту и собственной диктатуре. Однако нет указаний, что в разговорах о единоличной власти шла речь о кандидатуре Колчака, а его довольно поверхностное знакомство с Гайдой или Пепеляевым не допускает мысли о «понимании с полуслова», «чтении между строк» и проч., что было бы возможно для безусловно доверяющих друг другу людей. Какие же выводы сделал Александр Васильевич из слов фронтовых начальников о грядущей и необходимой диктатуре?

Намеки на ответ, кажется, дают две телеграммы военного министра, отправленные Верховному Главнокомандующему из Екатеринбурга. «… Необходимо успокоить фронт пресечением раздоров тыла, – требует Колчак 12 ноября, – для чего считаю неотложным отстранение генерала Белова и прекращение интриг генерала Иванова-Ринова». 14 ноября новая телеграмма звучит еще более категорично: «Получив сведения, что генерал Белов пытается противиться отстранению его от должности и готовится [его] отъезд из Омска для продолжения интриг, считаю решительно необходимым и настаиваю в этом случае [на] аресте генерала Белова с препровождением его [в] Екатеринбург, а также [на] отстранении [от] должности генерала Иванова, чтобы разом порвать со всеми интригами, гибельно отражающимися на фронте» [65]. В обвинениях, будто генерал П.А.Белов (начальник

штаба Сибирской армии и временно командующий ею – Иванов-Ринов был в отъезде) задерживает пополнения для войск Гайды, Александр Васильевич, очевидно, идет за беспокойным чешским генералом; возможно, Белов так и не узнал о мнении военного министра, поскольку в рапорте Болдыреву от 13 ноября, настаивая на расследовании своей деятельности, генерал возмущенно требовал «по установлении… неосновательности обвинения» о «привлечении Генерал-Майора Гайда к законной ответственности за клевету», ни словом не упоминая Колчака. Дело, впрочем, совсем не в этом…

Вологодский записал в дневнике, что Гайда «потребовал от Болдырева немедленного удаления со службы ген[ерала] П.П.Белова [66], как заподозренного им в шпионаже». Однако ни подозрения Гайды, ни его неприязнь как будто не распространялись на Иванова-Ринова, и наоборот, настояния Колчака «прекратить интриги» Командующего Сибирскою армией и даже отрешить его от этой должности хорошо согласуются с нашими предположениями об опасениях, которые могли питать в Омске относительно личности и планов Ринова. Если Колчак еще до поездки на фронт разделял это беспокойство, то туманные намеки Гайды на переворот вполне могли возбудить худшие подозрения относительно тыловых деятелей, дестабилизировавших обстановку.

И все-таки – думал ли Колчак тогда о диктатуре? Кажется, думал, но… не о своей. Еще в конце октября генерал Степанов в частной беседе с Болдыревым намекал на возможность всесторонней помощи и поддержки «русского генерала, которому доверяют союзники». «Степанов дал понять, кто́ этот генерал, – записывает Болдырев. – Это было первым серьезным искушением». Следующая беседа аналогичного содержания состоялась уже при участии Колчака: он и начальник штаба Верховного, генерал С.Н.Розанов, «долго убеждали Болдырева в необходимости постепенного сокращения состава Директории до одного человека». Но Болдырева, в течение 1918 года ставшего верным союзником левых политических сил, идея единоличной диктатуры отнюдь не прельщала. Встретившись с Верховным Главнокомандующим по дороге с фронта в Омск (генерал ехал в Челябинск «для переговоров с чехами, отношения с которыми, по его словам, были натянутыми»), Колчак услышал от него, «что в Омске атмосфера очень напряженная, очень неспокойно, особенно в казачьих кругах, ожидается выступление, но что он не придает этому особенного значения и думает, что все уладится».

Но если размышления адмирала о перспективах установления диктатуры и представляются далекими от каких-

либо конкретных действий, – и в Омске, и на фронте было немало людей, чьи планы на этот счет отличались как раз определенностью и конкретностью. Среди них был и известный нам полковник Д.А.Лебедев.

Как и зачем он попал в Сибирь, до сих пор не совсем ясно. Разделяемая многими, в том числе Деникиным, уверенность, что полковник был командирован туда Алексеевым, основывается на недоразумении – конечный пункт одиссеи Лебедева невольно принимается за изначально заданное место назначения. «После захвата власти большевиками, – пишет дочь Алексеева В.М.Борель в фундаментальном труде о своем отце, – генерала Алексеева очень беспокоила судьба Царской Семьи… Генерал Алексеев в середине января [1918 года] командирует в Москву Генерального штаба полковника Дмитрия Лебедева со специальным заданием добыть в монархических кругах средства для организации спасения Царской Семьи». И хотя цели командировки Лебедева далеко не исчерпывались этим, сама по себе такая цель вполне соответствует его репутации как монархиста, влиятельного в командных кругах Добровольческой Армии.

Оказавшись в красной столице, Дмитрий Антонович при первой же попытке переговоров с представителями держав Антанты «встретил категорическое требование союзников “равного участия Савинкова не только в политической, но и в чисто военной стороне предприятия”» и вынужден был «устраниться от участия в работе», – рассказывает Деникин. Кроме того, группа Лебедева подверглась ударам: ряд ее членов был арестован, хотя фатальным провал и не стал.

К маю двухмесячный срок командировки полковника истек, никаких сведений о нем у командования не было, проблема же налаживания связи с центральными областями России оставалась по-прежнему насущной, и вслед за Лебедевым из Добровольческой Армии в Москву отправился генерал Б.И.Казанович; дальнейшие же задачи Дмитрия Антоновича Алексеев в письме к нему определял так: «Весьма было бы желательно, если бы Вы переехали в Гор[од] Саратов для тесной связи с группами Уральских казаков и чехо-словаков, а главным образом для подготовки движения Армии в направлении на Царицын или к западу от него. Если Вы признаете работу в Саратовском раионе возможной, то прошу Вас взять на себя быть моим представителем этого раиона [67], для чего присылаю Вам на это полномочия». Об этом же Алексеев писал 19 июля Атаману Оренбургского казачьего войска генералу А.И.Дутову: «… Я высылаю в Саратов Полковника Генерального Штаба Лебедева,

которому и вменяю в обязанность войти с Вами в тесные сношения и разработать вопрос о координации наших действий, если к тому не встретится препятствий принципиального характера».

Получил ли Алексеев какой-нибудь ответ от своего эмиссара? По крайней мере, в «приказе по Центрам» («Центрами Добровольческой Армии» назывались ее тайные представительства, действовавшие на советской территории и в оккупированной немцами «Украинской Державе»), отданном 23 октября, начальником Сибирского Центра был назван генерал В.Е.Флуг, с распространением его полномочий на Западную Сибирь, а Саратовского – полковник Лебедев, в сферу деятельности которого должны были войти «Саратовская и Самарская губ[ернии]». Таким образом, вплоть до осени 1918 года командование Добровольческой Армии ни о какой «миссии в Сибирь» полковника Лебедева не имело представления, – а он, между тем, уже находился за Волгой…

Когда и почему он принял решение туда направиться, мы не знаем, как не знаем, дошли ли до него полномочия, выданные Алексеевым на работу в Саратове. Приказ Деникина о формальном зачислении в Добровольческую Армию «согласно отметок нижепоименованных лиц, служивших в Центрах» (заготовлен в декабре 1918-го, отдан 15 февраля 1919 года), уже называет в составе Сибирского Центра как генерала Флуга, так и полковника Лебедева, причем последнего – с 14 июля. К тому времени на Юге уже имели какие-то известия от Лебедева и при подготовке приказа могли опираться на них; однако полковник, как мы вскоре увидим, оказался склонным к мистификациям, и не исключено, что и приведенная в приказе дата имеет под собою мало реальных оснований. Первым известным нам документом, написанным Лебедевым на Востоке России, является его письмо к полковнику А.Г.Шапрону-дю-Ларрэ, близкому помощнику Алексеева, его личному адъютанту и доверенному лицу, из Уфы (письмо помечено «31 Сентября 1918 г. н[ового] ст[иля]», что, конечно, ошибка, и правильной датой следует считать 1 октября по новому стилю):

«Податель этого письма генерал-маиор Гришин-Алмазов [–] бывший Военный Министр Сибири и Командующий Сибирской Армией. Он один из самых видных деятелей Сибири, работавших по освобождению ее от большевиков. Ныне он смещен по проискам эс-эров, которых душил.

Он мой друг, и я прошу тебя оказать ему все внимание, содействие и доверие, которое оказал бы ты мне».

Возникает вопрос, когда Лебедев успел так близко

познакомиться и даже подружиться с Гришиным-Алмазовым? По всем расчетам, на знакомство и доверительное общение с Гришиным у Лебедева остается чуть больше трех недель, и возможно, что процитированная характеристика является следствием душевных свойств Лебедева, скрытых от большинства и отмеченных впоследствии, насколько известно, лишь И.И.Сукиным, управляющим министерством иностранных дел омского кабинета: «… Лебедев в личных отношениях с друзьями был мягок и впечатлителен. Несмотря на его внешнее упрямство, на него можно было влиять».

В сентябре полковник потерпел новое фиаско – на Уфимском Государственном Совещании: комиссия «по установлению полномочий» доложила Совещанию список ходатайств о предоставлении права «участия и голоса» из двадцати пяти пунктов, в котором двадцать пятым (!) значился «представитель добровольческой армии генерала Алексеева». Подавляющее большинство ходатайств, в том числе и это, было отвергнуто, что наверняка возмутило Лебедева, а с учетом таких его качеств, как «упрямство» и «односторонность, являвшаяся, впрочем, естественным спутником твердости и непримиримости его убеждений», быть может, и озлобило. Как бы то ни было, в ноябре 1918 года он начинает приходить к заключению о необходимости самых решительных действий. Однако какое место занимает в его планах адмирал Колчак?

Допустимо предположить, что в поле зрения Лебедева Александр Васильевич попал довольно давно. Еще 30 июля Вологодскому сообщили, будто «Гришин-Алмазов и другие военные ведут с Колчаком переговоры», приглашая его с Дальнего Востока в Сибирь для «избрания диктатором», и даже если слух отражал не подлинные события, а только «виды» Гришина на адмирала, – вполне вероятно, что во время наиболее откровенных бесед с Лебедевым в сентябре сибирский генерал мог рассказать ему об этом. С другой стороны, согласно воспоминаниям Гайды, приезжавший в его штаб Лебедев, заведя разговор о диктатуре и перебирая кандидатов, назвал Колчака последним (вслед за Ивановым-Риновым, Болдыревым, Хорватом, Семеновым идр.). Правда, остается открытым вопрос, насколько в данном случае можно верить свидетельству Гайды, который якобы выразил одобрение лишь кандидатуре Колчака, поскольку «Болдырев для таких целей слишком слаб, а все другие, по его мнению, – монархисты»: Лебедеву, придерживавшемуся весьма консервативных взглядов, казалось бы, должен был импонировать именно монархизм предполагаемого диктатора.

Точную дату знакомства Колчака и Лебедева установить

трудно. Из рассказа Александра Васильевича можно сделать заключение, что оно состоялось еще до вступления адмирала в состав кабинета министров, когда его интересовали сведения, которыми полковник мог обладать как «официальный представитель южной добровольческой армии, посланный в Сибирь для связей и информации». Как мы уже знаем, таковым Лебедев в действительности не являлся, но это не помешало ему решительно заявить от лица Добровольческой Армии «о Директории, что доверия ни к ней, ни к Болдыреву в этой армии нет». Очевидно, в душу Колчака было брошено еще одно зерно сомнения…

Впрочем, подлинное значение полковника Лебедева и характер вынашиваемых им планов так и остаются неясными, и прав С.П.Мельгунов, отмечавший: «По-видимому, Лебедев играл первенствующую роль в психологической подготовке сознания “необходимости новой власти” – и особенно в военных кругах. Но от нас ускользает его участие в организационной части заговора».

Один из первых авторов, попытавшихся нарисовать широкую картину событий на основе сопоставления различных свидетельств, показаний и намеков, Мельгунов вообще приходит к выводу, который может показаться парадоксальным: «Всеобщий заговор перестает быть “заговором” в узком смысле этого слова. “18 ноября” все ждали, но переворот не мог быть сговором, в сущности, довольно враждебных между собой групп…» Но что же произошло 18 ноября 1918 года?

Глава 11
Восемнадцатое ноября

Накануне к Колчаку, вернувшемуся с фронта в Омск, согласно его рассказу «являлось много офицеров, в том числе казачьих, и заявляли… что должна быть создана единая власть», причем теперь эту власть уже предлагали именно ему. «Я отвечал, – вспоминает Александр Васильевич, – что 1) у меня нет армии, 2) мне неизвестно мнение Омского правительства, и 3) я состою на службе в правительстве Директории». Несмотря на такой ответ, в ночь на 18-е были арестованы члены Временного Всероссийского Правительства Н.Д.Авксентьев и В.М.Зензинов, а также заместитель Авксентьева А.А.Аргунов и Е.Ф.Роговский. Аресты были организованы полковником Волковым и вообще сильно напоминали произошедшее в сентябре.

Переворот? Скорее, правительственный кризис, вызванный недовольством военной среды. В самом деле, из пяти членов Временного Всероссийского Правительства на свободу троих (в том числе Председателя Совета министров и Верховного Главнокомандующего) никто не покушался; непосредственной угрозы жизням арестованных также как будто не было; с другой стороны, нервозность обстановки побудила члена Директории В.А.Виноградова заявить о сложении своих полномочий. На экстренном заседании Совета министров, вспоминает Колчак, «было высказано несколько мнений: одно, что факт ареста ничего не обозначает, тем более что большинство членов Директории на свободе, и что поэтому все остается по-прежнему; другое мнение, что самый факт ареста и то обстоятельство, что Директория не в силах была его предупредить, показывает невозможность того, чтобы Директория оставалась более у власти; третье мнение – Директория отпадает, и вся власть должна перейти к прежнему составу Омского правительства». В сущности, ясно было только одно: что-то решать предстояло немедленно, и своеобразнее прочих понимание этого выразил один из министров. «Я думаю о политике, – сказал он, – прежде всего с точки зрения рубля, которым оперирую как покупатель. В интересах этого рубля я желал бы, чтоб сейчас же было выяснено, кому же принадлежит теперь власть».

Формулировка несколько обывательская, но вполне обоснованная; и довольно быстро «Совет Министров пришел почти к единогласному заключению, что Совету Министров надо взять всю полноту власти в свои руки, а затем передать ее

избранному лицу, “диктатору”», – свидетельствует Вологодский, после этого также решивший выйти в отставку, но сдавшийся перед аргументами, которые в своем дневнике формулирует так: «я должен находиться в составе министров и оставаться во главе Совета Министров, чтобы своим именем санкционировать переворот».

Итак, все-таки переворот? Возможно, но очень уж странный: «полнота власти» переходит к кабинету, который явно не рассматривался Волковым и его помощниками как «преемник» Директории; в свою очередь, кабинет тяготится новой ответственностью и ищет, кому бы ее передать; и вот – в качестве кандидатур на роль «избранного лица» называют генералов Болдырева и Хорвата… и адмирала Колчака.

Впрочем, Колчак имеет на этот счет собственное мнение: «Я высказался в том смысле, что при настоящих условиях необходимо сохранить то, что есть, т. е. что Верховным главнокомандующим должен остаться Болдырев и что ему и должна быть передана вся власть, относительно же себя я сказал, что я – человек здесь новый, меня широкие массы армии и, в частности, казаков не знают». За считанные дни до смерти, на допросе, Александр Васильевич мужественно принимал на себя ответственность за гораздо более «контрреволюционные» деяния, и странным было бы предположение, будто именно в вопросе о «перевороте 18 ноября» он вдруг начал бы лукавить. А доверие к процитированному показанию Колчака опровергает точку зрения об его активном участии в событиях или закулисном руководстве ими.

«… Он, видимо, дал знак, что пора начать [68], – пишет о возвращении адмирала с фронта современный историк. – Удрученный плачевным состоянием армии, равнодушием чешского командования, нежеланием Болдырева сотрудничать в общем деле, он, надо полагать, решил, что далее откладывать это дело бессмысленно и опасно». Но есть ли смысл начинать «это дело» (переворот) из-за нежелания Болдырева сотрудничать, дабы по завершении «дела» настаивать на передаче верховной власти тому же Болдыреву? Не слишком ли большим политиканством будет отдавать такая позиция, если заподозрить в ней игру, лицемерный отказ от власти, которая уже идет в руки? И не слишком ли велик был бы в этом случае риск, что остальные члены Совета министров поймают адмирала на слове и в самом деле вручат диктаторские полномочия Болдыреву – как-никак, Верховному Главнокомандующему?

Подчеркнем: наши рассуждения вовсе не имеют целью «оправдание» Александра Васильевича Колчака, в котором он

отнюдь не нуждается. Смена социалистической Директории твердой единоличной военной властью диктовалась самим ходом событий, и Колчак, вовсе не из жажды высоких постов, имел бы все основания принять действенное участие в перевороте. Но имеющиеся свидетельства говорят скорее не в пользу этого, и праздным остается вопрос: «Вряд ли заговорщики стали бы добиваться власти для Колчака, не будучи уверены, что он ее примет. А если бы он в решительный момент отказался?» – ведь адмирал действительно отказался (высказавшись за Болдырева), причем в ситуации, когда «решительный момент» наступил, а вопрос о диктатуре обсуждался лишь с точки зрения личности будущего диктатора.

Тем не менее закрытой баллотировкой Совет министров высказался за адмирала. «Оказывается, только две записки были поданы за избрание в это звание Хорвата (одна моя), а все остальные записки были поданы за А.В.Колчака», – пишет Вологодский. По воспоминаниям другого члена кабинета, Г.К.Гинса, за Александра Васильевича «были поданы все голоса, кроме одного. Один был дан за Болдырева» (сам Колчак в выборах не участвовал и ждал решения в соседней комнате). Отметим и еще одно свидетельство Гинса: «Любопытно, что из состава Совета [министров] против диктатуры возражал только Шумиловский», – поскольку «министр труда», социал-демократ меньшевик Л.И.Шумиловский не только в конце концов отдал свой голос за адмирала, но и впоследствии привел подробную мотивировку своего решения:

«Насколько мне было известно, [в Черноморском флоте] он пользовался большой популярностью среди матросов… Потом уже, незадолго до избрания, стало известно, что он пользуется поддержкой англичан и американцев, но к нему в высшей степени отрицательно относятся японцы. Я считал, что адмирал Колчак, как сильная личность, сможет сдержать военную среду и предохранить государство от тех потрясений, которые неизбежно грозили справа. Эти мотивы – популярность в демократических странах, Америке и Англии, умение поставить себя в военной среде, подтвержденное его положением в Черноморском флоте, и заставили меня подать голос за него. Я видел в этом гарантию, что те страшные события, которые происходили перед этим и которые только что произошли, не повторятся».

Действительно, фигура «военного диктатора адмирала Колчака» неожиданно оказалась компромиссной и так или иначе устраивавшей всех, поскольку те, кто боялся «реакционности», видели в качестве единственной альтернативы произвол Волкова, а может быть, и тяжелую руку Иванова-Ринова. И Совет

министров, спешно произведя «Военного и Морского Министра Вице-Адмирала Александра Васильевича Колчака [–] в Адмиралы», сразу же за этим принял постановление «вследствие чрезвычайных событий, прервавших деятельность Временного Всероссийского Правительства… с согласия наличных членов Временного Всероссийского Правительства… принять на себя всю полноту Верховной Государственной Власти». Этот документ еще подписан, в качестве одного из членов кабинета, и Колчаком, однако за ним последовали «Положение о временном устройстве государственной власти в России» – «осуществление верховной государственной власти временно принадлежит Верховному Правителю» – и лаконичный приказ адмирала:

Приказ

Верховного Главнокомандующего всеми сухопутными и морскими
вооруженными силами России
Г. Омск, № 1-40, 18 ноября 1918 г.
1.
Сего числа постановлением Совета Министров Всероссийского Правительства я назначен Верховным Правителем.
2.
Сего числа я вступил в Верховное Командование всеми сухопутными и морскими силами России.
Верховный Главнокомандующий
всеми сухопутными и морскими вооруженными силами России

Адмирал Колчак

Александр Васильевич, впрочем, хорошо понимал, что официального лаконизма будет слишком мало для общества и фронта. И потому прозвучали строгие и гордые слова обращения «К населению России», достойные стать хрестоматийными:

«18 ноября 1918 года
Всероссийское Временное Правительство распалось.
Совет Министров принял всю полноту власти и передал ее мне – Адмиралу Русского Флота Александру Колчаку.

Приняв Крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственной жизни, – объявляю: я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной Армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру.

Призываю Вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, труду и жертвам.

Верховный Правитель Адмирал Колчак

18 ноября 1918 года,

гор. Омск»

Теперь нужно было как-то развязать узел, завязанный противоправными (ибо никому не позволено арестовывать членов правительства) действиями полковника Волкова и его соратников. Главные руководители арестов сами явились к Колчаку и отдали себя в руки правосудия. Адмирал назначил над ними «Особый чрезвычайный суд», хотя сам считал: суд этот должен был состояться «не для кары над ними, которой они, по моему мнению, не могли нести, а для предания гласности всего происшедшего». С другой стороны, на заседании Совета министров, где выносилось постановление о суде над тремя руководителями арестов, как следует из дневника Вологодского, ничего не говорилось о таком характере предстоявшего расследования и приговора. Не делился Александр Васильевич своими соображениями на этот счет и с генералом Матковским, который был назначен председателем суда: впоследствии на настойчивые вопросы – «не говорил ли он (Колчак. – А.К.) вам, что я этот суд назначу не для того, чтобы кого-либо наказать, а чтобы снять нарекание?» – Матковский уверенно отвечал: «Совершенно определенно утверждаю, что ничего по этому вопросу адмирал Колчак мне не говорил ни письменно, ни устно».

Судебное заседание состоялось 21 ноября и оказалось крайне непродолжительным. «Я думал, как и многие другие, что суд все-таки их осудит, но затем Колчак их помилует… – с неудовольствием записывал в дневнике Вологодский. – Получилось иначе. И получилось впечатление хорошо

разыгранной комедии». Не совсем удовлетворен был и адмирал, предполагавший, «что на суде выяснится вся картина переворота»; но Матковский, похоже, тяготившийся своей ролью, быстро решил, «что арест двух членов Директории вовсе не означал собой уничтожения директóрского правительства», поскольку «им не была вызвана замена одного правительства другим. Потому что, будучи освобожденными из-под ареста, они (Авксентьев идр. – А.К.) могли действовать в этом направлении» (то есть вернуться к своим обязанностям), – и оправдал всех подсудимых, а Колчак «приказал объявить всем войскам, что полковник Волков, атаман Красильников и войсковой старшина Катанаев, преданные чрезвычайному военно-полевому суду, – оправданы [69]».

Уверенность Колчака в том, что Волков и его помощники не подлежали каре, должна была основываться прежде всего именно на всеохватывающем характере «заговора», в котором адмирал убедился в ближайшие дни. «… Из бесед с Лебедевым выяснилось для меня, – рассказывает Александр Васильевич, – что переворот организовывался составом почти всей Ставки и штаба главнокомандующего при участии и некоторых из членов Совета министров и что вообще организация переворота охватила гораздо более широкие круги, чем мне представлялось, при этих беседах я попросил Лебедева не называть мне фамилий организаторов переворота, считая, что это создало бы между мной и ними ложные отношения, которые могли бы вести к попыткам с их стороны влияний на меня». Несомненной была причастность самого Лебедева, который уже 21 ноября был назначен исполнять обязанности начальника штаба Верховного Главнокомандующего. Впрочем, даже пристрастный критик Колчака и Лебедева резко отвергал версию о том, что последний «был выбран» на эту должность, поскольку «способствовал возвышению Колчака»: «Думать так – значит совершенно забывать о благородном рыцарском характере Колчака, который к тому же и не стремился к диктатуре и был совершенно неспособен делать назначения из благодарности за личные услуги». Скорее для Александра Васильевича назначение должно было знаменовать его дружественное отношение к армии, сражавшейся на Юге России, что подчеркивалось формулировкой приказа: «временное исполнение обязанностей… возлагаю на состоящего в рядах Добровольческой Армии генерала Деникина, генерального штаба полковника Лебедева».

Вернемся, однако, к вопросу о признании или непризнании власти Верховного Правителя различными политическими силами. Прежде всего следует подчеркнуть, что «свергнутые»

члены Директории, а также лишившийся поста Верховного Главнокомандующего генерал Болдырев, никакого противодействия или хотя бы оппозиции не организовали, а, получив «пособие» на общую сумму 172 тысячи франков, поспешно отбыли заграницу. Попытки сопротивления последовали со стороны руководства партии социалистов-революционеров и «Совета членов Учредительного Собрания».

Что касается эсеров с их признанным вождем В.М.Черновым, – расследование обстоятельств, которые привели к кризису 18 ноября, наглядно выявило подрывную, дестабилизирующую роль этой партии. Еще до омских событий выпущенная эсеровским Центральным Комитетом прокламация открыто угрожала новой междоусобицей: «… В предвидении возможностей политических кризисов, которые могут быть вызваны замыслами контрреволюции, все силы партии в настоящий момент должны быть мобилизованы, обучены военному делу и вооружены, с тем чтобы в любой момент быть готовыми выдержать удары контрреволюционных организаторов гражданской войны в тылу противобольшевистского фронта [70]». Не менее вопиющими, несмотря на свою туманность, были и намеки, содержавшиеся в экстренной телеграмме на имя Зензинова, отправленной одним из сотрудников Чернова: «Данное Вами 23 сентября обязательство остается невыполненным, напротив, осуществлено назначение, противоречащее в корне его духу… Недача вами немедленного исчерпывающего ответа общественно обяжет меня обратиться к трем членам Директории с соответствующим открытым письмом…» и проч. Очевидно, что правительство, члены которого были уязвимы для подобного шантажа, не могло ни стать работоспособным, ни просто существовать сколько-нибудь долгое время. Когда же Директория сошла со сцены, «черновцы» и «учредиловцы» немедленно перешли к угрозам выступить с оружием в руках, а Вологодского, в случае, если власть Директории не будет восстановлена, пообещали объявить «врагом народа».

Чернов впоследствии писал: «Нам надо было для посылки в Омск снять с фронта несколько наиболее надежных в революционном смысле частей». Действительно, эсеры еще раньше старались распространить свое влияние на некоторые воинские части или даже создавать свои собственные, как, например, «особый баталион имени и защиты Комитета Учредительного Собрания» – организацию откровенно партийную, откуда «обычных» офицеров просто вытесняли. Однако такие части были разобщены, да и не выражали особой

готовности выступить против центрального правительства; вопрос же о руководящей верхушке «учредиловского» лагеря был решен быстро и недвусмысленно.

«Усталые от боев и потерь, возвратившись в Екатеринбург, – писали в датированном 22 ноября „докладе“ (скорее – коллективном письме) на имя генерала Гайды офицеры и солдаты 25-го Екатеринбургского горных стрелков полка, – мы увидели предательские воззвания, призывавшие к свержению законной власти Верховного Правителя…

Каждая минута казалась нам промедлением – и потому, не спросив разрешения своих высших начальников, мы арестовали мятежников – во главе с Черновым и другими членами Учредительного Собрания, отняли у них припасенное оружие, документы и преступные воззвания, составлявшиеся ими».

Правда, «демократические» чешские политики оказали на Гайду давление, в результате чего арестованных пришлось отпустить. Многие из них продолжили борьбу против правительства Колчака, а Чернов, нелегально перебравшийся на советскую территорию, использовал свое влияние среди эсеров для принятия партией общей линии на «единый боевой фронт демократии против контрреволюции». Впрочем, быстро подавленная «угроза слева» пока не представлялась критической. 30 ноября адмирал приказал «всем русским военным начальникам самым решительным образом пресекать преступную работу» этих «антигосударственных элементов»; таким образом, руки у русских военных были развязаны, и более того – Колчак угрожал военно-полевым судом не только «всем начальникам и офицерам, помогающим преступной работе вышеуказанных лиц», но и тем, кто проявит «слабость и бездействие власти».

Однако насколько крепкими были позиции Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего в своем собственном лагере? Вопрос отнюдь не праздный, ибо в омских политических кругах с большим недоверием и даже опаской взирали на некоторых военачальников, особенно сомневаясь в лояльности разнообразных атаманов – как выборных (Дутов, Иванов-Ринов, Калмыков), так и самопровозглашенных, подобных Семенову.

Опасения, похоже, не были безосновательными: даже Дутов, уже 19 или 20 ноября сообщавший по прямому проводу Колчаку, «что во вверенной мне армии полный порядок. И я свято исполняю Ваши приказы [и] приму меры, чтобы армия не коснулась политики», вслед за этим отправил в Омск какую-то «телеграмму по политическим вопросам», на которую Колчак 28 ноября отвечал в тоне довольно раздраженном: «Я совершенно

определенно указал, что моя цель – создать в России такие условия, при которых могла бы явиться возможность самому народу устроить государственное управление по собственному желанию. Это возможно только при созыве Национального или Учредительного Собрания, так как других способов не существует. Учредительное Собрание, собравшееся при большевиках и выбранное [71]под их давлением и с первого же заседания запевшее интернационал, достойно показывает невозможность народного представительства при настоящем положении нашей Родины. От казаков зависит, как и от всей армии, идти ли к Учредительному Собранию, действительно выражающему народную волю, или же к продолжению анархии под тем или иным наименованием. Передайте это Оренбургским и Уральским казакам».

Даже если у Дутова (или казачьих политиков, стоявших за ним) и были какие-либо «демократические» или «учредиловские» поползновения, – этой телеграммы хватило для успокоения того, в чем Колчак, кажется, увидел оппозицию. В будущем оренбургский Атаман останется безупречно лояльным по отношению к Верховному Правителю, и слова Дутова о «чувстве беспредельной преданности» адмиралу выглядят вполне искренними. Интриг и даже прямого противодействия опасались со стороны сибирского Атамана (в момент омских событий он был в командировке на Дальнем Востоке и после возвращения вскоре был снова отправлен туда, теперь уже Верховным Правителем): с именем Иванова-Ринова связывали даже слухи о «монархическом» перевороте, ожидавшемся в декабре. Однако «совершенно откровенная» личная беседа Колчака с Ивановым и уверения последнего, «что все подобные слухи являются совершенно вздорными», разрядили напряженную обстановку. Разговор состоялся, кажется, в середине декабря, а 23-м датировано «Объявление» Иванова-Ринова:

«До моего сведения доходят слухи, распускаемые врагами родины, о якобы тайных намерениях моих посягнуть на установленную государственную власть. Дабы окончательно прекратить связанную с моим именем провокацию, торжественно заявляю, что я до последней капли крови решил поддерживать Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего Адмирала Александра Васильевича Колчака, провокаторов же, которые будут изобличены в распускании указанных слухов, предваряю [72], что их деятельность, направленная против меня, как Командующего Армией, с целью посеять смуту в рядах войск, найдет надлежащую оценку в военно-полевом суде».

Необоснованными оказались и опасения каких-либо

враждебных действий со стороны другого сибирского казака – полковника Б.В.Анненкова, одного из основоположников борьбы против большевиков в Сибири, имевшего репутацию человека своевольного. Анненков, убедившись, что омская общественность поддерживает идею единоличной власти, приветствовал Колчака:

«Ваше Высокопревосходительство, Ваше назначение Верховным Правителем, в руках которого сосредотачивается вся полнота государственной власти, дало мне с первого же момента глубокую уверенность в том, что наконец настал тот час, когда наша измученная родина, истерзанная внутренними и внешними врагами, снова подымется, пойдет по пути возрождения и станет такой же великой, какой была когда-то. Я, как атаман партизан, добровольно собравшихся отдать жизнь свою в любой час за нашу родину, приветствую Ваше назначение и заверяю своим словом, что все мои силы и помыслы будут направлены к тому, чтобы Вы уверенно и твердо могли бы опереться на нас, и в каждую минуту по первому Вашему приказу исполнить наш святой долг перед отчизной.

С нами Бог!»

Итак, главный вопрос – как отнесется к омским событиям боевой противобольшевицкий фронт – вроде бы решался благополучно. С Дальнего Востока о признании Верховного Правителя сообщил генерал Хорват (Директорией он был назначен «Верховным уполномоченным» в этом регионе и вскоре получил подтверждение своих прерогатив), а адмирал Тимирев телеграфировал Колчаку из Владивостока 21 ноября: «Лично от себя и от лица подчиненных мне чинов флота позволяю себе приветствовать Вас с высоким назначением и прошу верить, что весь флот смотрит на Ваше назначение как на спасение отечества». И все же гром грянул, и грянул он в Забайкальи.

Как мы уже знаем, обвинения Атамана Семенова в многочисленных злоупотреблениях и противоправных действиях бытовали задолго до событий в Омске и в середине октября повлекли командировку в Читу представителей правительства и армейского командования. Последние, однако, ознакомившись с обстановкой на месте, заверили правительство в лояльности Атамана и в том, «что в наших предположениях о якобы царящем в Забайкальи произволе власти было много преувеличенного». Проезжавший в ноябре через Забайкалье на Дальний Восток генерал Иванов-Ринов, правда, упоминал впоследствии, будто «предвидел случившуюся катастрофу (неповиновение Семенова Колчаку. – А.К.)»; как бы то ни было, 19 ноября, еще не зная ни о каких «катастрофах», Иванов не питал сомнений в возможности «установить его (Семенова. – А.К.) подчинение во всех

отношениях, как командира Корпуса».

В омских событиях Семенова возмутил не противоправный характер действий Волкова и его соратников, а предание их суду. 20 ноября он телеграммой Колчаку «категорически требовал» отмены суда над «ярыми и грозными борцами с большевизмом» и высылки их «в мое распоряжение». «… Их имена принадлежат суду истории, но не вашему», – утверждал Григорий Михайлович, тоном угрозы продолжая: «[В] случае неисполнения моего требования я пойду на самые крайние меры и буду считаться лично с вами [73]». Тогда же он предупреждал Иванова-Ринова о якобы грозящем и ему аресте и «призывал» сибирского Атамана «к совместной работе».

Однако Иванов-Ринов проявил лояльность Колчаку, тем более что вскоре пришло сообщение об оправдании «переворотчиков». В этой ситуации он посчитал исчерпанным конфликт адмирала с Семеновым и 22 ноября увещевал Григория Михайловича: «Ваш порыв понимаю, но решения Ваши считаю заблуждением, которое может повергнуть истекающую кровью родину в непоправимое бедствие». Впрочем, уже следующий день принес Иванову-Ринову жестокий удар.

Не дождавшись, да, кажется, и не дожидаясь ответа, Семенов «подкрепил» свое требование весьма рискованным дополнением. 23 ноября Атаман, вспоминая неудачный опыт сотрудничества с Колчаком весной – летом, ультимативно заявил: «… Признать адмирала Колчак как верховного правителя государства не могу. На столь [74]ответственный перед родиной пост я, как командующий дальневосточными войсками, выставляю кандидатов генералов Деникина, Хорвата и Дутова, каждая из их [75]кандидатур мною приемлема», вслед за этим пригрозив, «что если в течение 24 часов… я не получу ответа [о] передаче [76]власти одному из указанных мною кандидатов… я временно, впредь до создания на западе для всех приемлемой власти, объявляю автономию Восточной Сибири». Заметим, что существует упоминание о сговоре, якобы состоявшемся между Семеновым и Хорватом, который обещал Григорию Михайловичу свою поддержку в непризнании Колчака, но быстро изменил свое решение и оставил Атамана в одиночестве. Что же касается Иванова-Ринова, то он 24 ноября отправил из Харбина Колчаку и Вологодскому паническую телеграмму, оценивая ситуацию как катастрофическую.

«Отложение Восточной Сибири гибельно для России. Мои попытки склонить Семенова отменить принятое решение потерпели неудачу… Без связи с внешним миром, без снабжения Армии все наше дело рухнет. Мы игрушка иноземных сил,

которую Омск недостаточно учитывает [77]. Но если мы не учтем значения Востока и этих сил, стоящих вне нас, то мы погибнем, как бы ни были велики наши подвиги, наши жертвы», – взывает сибирский Атаман. И если даже важность союзных поставок (по железной дороге из Владивостока через Харбин – Читу – Иркутск) Ивановым-Риновым и переоценивалась, нельзя отрицать, что Сибирь, действительно не имевшая военной промышленности, зависела в этом отношении от импорта или… захватываемых у противника трофеев, – и перерыв сообщения с дальневосточными портами и Маньчжурией в самом деле грозил серьезными последствиями. Деморализующая телеграмма Иванова-Ринова должна была еще больше взвинтить нервы в Омске, а тут еще начали поступать тревожные сведения о перебоях на железной дороге и в телеграфной связи; через год с небольшим адмирал так расскажет об этом: «… Оказалось, что в Чите произошел перерыв сообщения по прямому проводу с Дальним Востоком… Получили затем сведения о том, что грузы с предметами снабжения армии задержаны тоже в районе Семенова. Попытки через бывшего уже тогда начальником моего штаба Лебедева сговориться по этому поводу с Семеновым по прямому проводу не удались. Семенов говорить не пожелал. Я отдал приказ Волкову о сформировании особого отряда в Иркутске в целях обеспечения продвижения предметов снаряжения по Забайкальской дороге. Это граничило с разрывом между мною и Семеновым…»

Что произошло с прямым проводом, так до сих пор и неясно. Официальное семеновское сообщение признавало, что «задерживались некоторое время шифрованные телеграммы», выставляя основанием отсутствие в Чите соответствующих шифров («ввиду того, что Омск, ведя переговоры с Востоком, не дал шифра Забайкалью, благодаря чему 5-й корпус [78]не мог быть в курсе общей обстановки и командир корпуса совершенно не был информирован об Омском перевороте и предшествовавших и последующих ему [79]событиях»), а Атаман вспоминал о воспрещении пользоваться шифром чешским представителям. Задержки же на железной дороге легко объяснимы, если учесть, что железнодорожные рабочие, по свидетельству современника, к середине декабря 1918 года не получали заработной платы уже в течение трех месяцев. Жизнь на линии при этом поддерживалась едва ли не исключительно распоряжением Семенова выдавать им бесплатные обеды в обмен на установление десятичасового рабочего дня. Направленный в Читу начальник военных сообщений Сибирской армии генерал А.М.Михайлов, расследовав сложившееся положение дел, уже к концу ноября убедился в отсутствии злонамеренных задержек, а отказ от претензий на

власть всех выдвинутых Семеновым кандидатов (за Деникина отказался полковник Лебедев, не имевший, впрочем, на это ни малейших полномочий) как будто вновь создал почву для мирного разрешения конфликта. Не могло не оказать влияния и взволнованное послание Атамана Дутова, полученное в Чите в последние дни месяца:

«… Я, старый борец за родину и казачество, прошу вас учесть всю пагубность вашей позиции, грозящей гибелью родине и всему казачеству. Сейчас вы задерживаете грузы военные и телеграммы, посланные в адрес Колчака. Вы совершаете преступление перед родиной и, в частности, перед казачеством. За время борьбы я много раз получал обидные отказы в своих законных просьбах, и вот уже второй год войско дерется за родину и казачество, не получая ни от кого ни копейки денег, и обмундировывалось своими средствами, помня лишь одну цель – спасение родины, и всегда признавало единую всероссийскую власть без всяких ультиматумов, хотя бы в ущерб благосостоянию войска… Мы, изнемогая в борьбе, с единственной надеждой взирали на Сибирь и Владивосток, откуда ожидали патроны и другие материалы, и вдруг узнаем, что вы, наш брат, казак, задержали их, несмотря на то, что они адресованы нам же, казакам, борцам за родину. Теперь я должен добывать патроны только с боем, ценою жизни своих станичников, и кровь их будет на вас, брат атаман… Я верю в вашу казачью душу и надеюсь, что моя телеграмма рассеет ваши сомнения, и вы признаете адмирала Колчака Верховным Правителем великой России».

Лебедев уже 24 ноября телеграфировал Атаману в тоне недружелюбном, но еще не враждебном: «Протестуя против Верховного Правителя, Вы заявляете себя лицом более компетентным политических вопросов [80], чем генерал Деникин, Хорват и Дутов, и идете против них и всех военных и гражданских государственно настроенных кругов, а раз против них, значит, вместе с их врагами, то есть ясно с кем. Пока не теряем надежды, что Государственный разум возьмет у Вас верх над личным чувством». Семенов и его сторонники утверждали позднее, что телеграмма о признании Колчака была после этого составлена и даже отправлена на телеграф, когда был получен датированный 1 декабря приказ Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего № 61 [81]: «Командующий 5-м отдельным приамурским армейским корпусом полковник Семенов за неповиновение, нарушение телеграфной связи и сообщений в тылу армии, что является актом государственной измены, отрешается от командования 5-м корпусом и смещается со всех должностей, им занимаемых». Определенное

политическое искусство верховной власти выразилось в том, что «привести в повиновение всех не повинующихся» поручалось главному герою омских событий – генералу (да, теперь уже генералу!) Волкову; таким образом наглядно демонстрировалось единство правительственного лагеря в борьбе против новоявленного «мятежника».

Распоряжение «привести в повиновение» подчас относят на счет импульсивности Колчака, который якобы отдал его, не задумавшись о реальной обстановке и последствиях, к которым может привести экспедиция Волкова. Однако этому как будто противоречит дневник Вологодского. «К моему удивлению, он отнесся довольно спокойно к телеграммам Семенова, – записывает премьер-министр о своем разговоре с Колчаком. – Он сказал, что ничего другого он и не ожидал от Семенова. Но его угроз бояться нечего, с ним не трудно справиться, т. к. преданных ему воинских частей у него слишком мало, тысяч до 5, не больше, и не удастся ему образовать отдельной госуд[арственной] единицы на Дальнем Востоке. Дальше Забайкальской обл[асти] его влияние не распространяется, а на Амуре и во Владивостоке он вовсе не имеет приверженцев». Основываясь на этом свидетельстве Вологодского, приходится сделать вывод, что Колчак вполне хладнокровно рассчитывал подавить сопротивление Атамана. И в этом убеждении его должен был поддерживать полковник Лебедев.

Официальное сообщение семеновского штаба вообще рисует Дмитрия Антоновича едва ли не провокатором: «Последовало ложное обвинение в задержке грузов и перерыве телеграфной связи, брошенное начальником штаба Верховного Главнокомандующего полк[овником] Лебедевым и начальником главного управления казачьих войск ген[ералом] Хорошхиным [82]», – и, почти одновременно, «Атаману Семенову было сообщено из Омска, что Колчак согласен передать власть ген[ералу] Деникину при первом соединении его войск с войсками правительства и что лишь до этого момента адмирал сохранит за собою пост правителя». Последнее, если не является выдумкой семеновских штабных, выглядит несомненной дезинформацией, и возникает вопрос, кто мог дать Атаману столь далеко идущие обещания, если учесть, что у прямого провода в Омске находился как раз Лебедев?

Довольно подозрительной выглядит роль начальника штаба Верховного Главнокомандующего и в рассказе Гинса об импровизированном заседании министров, прибывших с докладом к Колчаку:

«… В кабинет вошел изящный и статный полковник с

симпатичной наружностью. Это был Лебедев. Сообщил, что имеет новости. Он только что говорил по прямому проводу с Семеновым и поставил ему определенно вопрос: “Признаете вы адмирала или нет?” Семенов ответил: “Не признаю”.

Адмирал молча посмотрел на присутствовавших, как бы ища совета. Тогда Тельберг (управляющий делами Верховного Правителя и Совета министров. – А.К.), страдавший всегда доктринерством, стал излагать безапелляционным тоном, что лучший способ борьбы в таких случаях – отрешение от должности… У меня осталось впечатление, что мнение это соответствовало и взглядам Лебедева: недаром он поторопился со своим вызывающим вопросом атаману, не выждав приезда в Читу Волкова, который на пути туда успел к этому времени прибыть только в Иркутск».

Не следует думать, что два свидетеля (Колчак и Гинс) непременно противоречат друг другу: речь может идти о разных разговорах Омска с Читой, из которых в первом Семенов «говорить не пожелал», а во втором – получил «вызывающий вопрос» (или на вопрос ответил вообще не Семенов, а кто-то из его приближенных от его имени). Но так или иначе, а перед Волковым, «формировавшим отряд для продвижения предметов снабжения по железной дороге», ставилась теперь задача едва ли не боевая…

Позже Колчак говорил о предупреждении, полученном от союзников: «… положение осложняется вмешательством Японии, которая в случае продвижения наших сил в Забайкалье двинет против них свои силы», и о том, что предупреждение было им «принято к сведению». Однако главной причиной того, что дело не дошло до открытого столкновения, было не влияние японцев, а нежелание русских драться со своими же.

Семенов, даже чувствуя себя оскорбленным приказом № 61, все-таки не отказывался от переговоров с посланцами Волкова – сначала полковником Красильниковым, а затем полковником Катанаевым, выражая готовность к подчинению при условии отмены злополучного приказа и, в свою очередь, будущего подчинения Колчака Деникину. Катанаеву, прибывшему в Читу 11 декабря, даже было разрешено обратиться с увещеваниями непосредственно к местному офицерству, для чего созвали всех командиров батальонов и сотен. Те, однако, поддержали своего начальника, повторив Катанаеву требование об отмене пресловутого приказа.

Настроенный весьма решительно Волков сделал попытку двинуть на «семеновское царство» имевшиеся в его распоряжении войска. Но в то время, как вернувшийся в Омск Иванов-Ринов,

будучи в подпитии, провозглашал, «что тот, кто против Колчака, изменник родины и смерть ему», – в Иркутске столь же разгоряченные водкой офицеры Волкова заявляли, «что Колчак оклеветал Семенова и они этого ему не простят», и пили здоровье Атамана. Авангард, который должен был быть брошен на Читу, отказался даже грузиться в вагоны, и единственным, что оставалось Волкову, стало задержание нескольких семеновских офицеров, оказавшихся в зоне его досягаемости, в том числе генерала Г.Е.Мациевского.

Этот поступок дал Атаману хороший аргумент против тех, кто обвинял его в нежелании «поддержать общую борьбу» отправкой своих войск на основной противобольшевицкий фронт или хотя бы в охваченную красной партизанщиной Енисейскую губернию. Теперь Григорий Михайлович резонно заявлял, что такие войска, проезжая через Иркутск, первым делом освободят задержанного Мациевского и дадут тем самым основание для дальнейших обвинений; непонятно было также, как мог выступить на фронт ошельмованный и отрешенный Семенов, формально находясь под действием приказа № 61.

В те же дни, однако, он безвозмездно предоставил Оренбургскому казачьему войску 400 винтовок с 48000 патронов, 20000 теплых фуфаек и ряд других предметов снаряжения (Дутов на всякий случай телеграфировал в ответ: «Помощь Семенова нам не нужна», – хотя на деле все было погружено и отправлено на запад; отметим, что оренбургского уполномоченного, полковника В.Г.Рудакова, побудил проехать в Забайкалье никто иной, как Лебедев, видимо, надеявшийся, что это повлияет на Семенова). Тогда же Григорий Михайлович заявил в частной беседе с Рудаковым о готовности послать «на Уфимский или Оренбургский фронт… одну казачью дивизию, одну бригаду пехоты, один дивизион конной артиллерии, один инженерный баталион, один железнодорожный баталион и три броневых поезда», что составляло бы около трети находившихся в Забайкальи сил. Однако никто не поймал Атамана на слове, и конфликт перешел в вялотекущую стадию. Ситуация сложилась далеко не нормальная, а для адмирала Колчака, очевидно, – просто невыносимая, воспринимаемая как унижение. Однако и такой худой мир был все-таки лучше доброй ссоры: междоусобицы в лагере тех, кто боролся за воссоздание русского государства, удалось избежать.

… Почти через год Верховному Правителю доведется говорить речь перед солдатами. «По приходе дивизии, – скажет он, – командующий армией мне доложил, что солдаты дивизии желают видеть того, за кого они сражаются. Это неправильно, за

меня никто не сражается, я сам солдат и такой же слуга Родины, как каждый офицер и солдат, и ничем в этом отношении с вами не разнюсь». Но силою событий Александр Васильевич в осенние дни 1918 года оказался выдвинутым на пост первого солдата России.

И теперь ему предстояло воевать и править.

Часть четвертая
На капитанском мостике

Глава 12
Единое государство

В годы смут, революций и гражданских войн редко задумываются о юридических тонкостях или выверенности правовых формулировок. В конечном счете слишком часто побеждает сильнейший, а вовсе не тот, чьи права бесспорнее и лучше изложены на бумаге. Но проходят десятилетия, и нам уже нельзя не задаться вопросом о природе и преемственности того или иного режима, тем более что вопрос этот нередко тонет в море расплывчатых рассуждений, лишающих его конкретности и затемняющих всю картину.

Так произошло и с вопросом о власти Верховного Правителя России. Выше мы уже видели, насколько спорным оказывается даже термин «переворот» применительно к событиям 18 ноября 1918 года, хотя его охотно подхватывали как друзья, так и враги адмирала Колчака: первые – подчеркивая волевое начало, внесенное в беспокойную атмосферу Омска и безусловно способствовавшее дальнейшей борьбе; вторые – педалируя тему «произвола военщины», который, разрушая «народоправство», якобы лишал эту борьбу единственно необходимого демократического основания. Сегодня же, говоря о приходе к власти Александра Васильевича, «переворот» (за которым и вправду всегда стоит что-то от авантюры, произвола, противозаконности) то и дело заменяют версией о сверхлегитимности режима Верховного Правителя… что, впрочем, требует не менее внимательного рассмотрения.

Версия эта апеллирует к… Основным Государственным Законам Российской Империи 1906 года, «в соответствии» с которыми якобы и состоялось назначение адмирала. Действительно, в Основных Законах имеется терминологическое совпадение (впрочем, не полное) в виде титула «Правителя», однако смысл соответствующего государственного поста и порядок его занятия, естественно, не имеют ничего общего с тем, что произошло в Омске 18 ноября. Достаточно просто обратиться к тексту соответствующих статей (42-я – 45-я) третьей главы Законов, регламентирующей порядок управления страной в том случае, если лицо, которое унаследовало Императорскую власть, еще не достигло совершеннолетия.

«Назначение Правителя и Опекуна (над несовершеннолетним Императором. – А.К.), как в одном лице совокупно, так и в двух лицах раздельно, зависит от воли и усмотрения царствующего

Императора, которому, для лучшей безопасности, следует учинить выбор сей на случай Его кончины», – гласил закон. – «Когда при жизни Императора такового назначения не последовало, то, по кончине Его, правительство государства и опека над лицем Императора в малолетстве принадлежат отцу или матери»; «когда нет отца и матери, то правительство и опека принадлежат ближнему к наследию престола из совершеннолетних обоего пола родственников малолетного Императора». Во всем этом, как видно, нет ничего общего с генезисом власти Верховного Правителя России, и не стоит пытаться оказывать адмиралу Колчаку услугу искусственным «возведением» его чуть ли не к подножию Царского трона.

При рассмотрении данного вопроса немаловажны также субъективные намерения и побуждения тех, кто принимал решение об облечении адмирала властью Верховного Правителя; заподозрить же в монархизме (ибо следование букве Основных Законов явно обозначало бы реставраторские тенденции) омский кабинет и остатки распавшейся Директории – в подавляющем большинстве левых конституционных демократов, правых или «мартовских» (то есть определивших свою политическую позицию после Февральского переворота) социалистов и неустойчивых либералов – никак невозможно. С этой точки зрения проблема правопреемства власти представляет дополнительный интерес, поскольку наследие Директории, как и ее собственные правовые основания, выглядит более чем сомнительным.

Развитие «российской революции» в 1917 году до большевицкого переворота 25 октября проходило, как мы помним, через следующие этапы: отречение Императора Николая II; отсрочка Великим Князем Михаилом Александровичем решения о принятии или непринятии власти до всенародного волеизъявления; государственный переворот, осуществленный 1 сентября 1917 года Керенским, – провозглашение России республикой, – причем последний акт узурпировал права предстоявшего Учредительного Собрания, которое теперь становилось нелегитимным. «Конституция» Уфимской Директории, однако, подчеркивала верховенство «Учредилки» образца 5 января 1918 года, декларируя подчиненность ей Временного Всероссийского Правительства. Очевидно, Директория официально наследовала беззаконию, и беззаконие это не было явным образом отвергнуто сменившим ее режимом.

«Положение о временном устройстве государственной власти в России» от 18 ноября 1918 года звучит довольно неопределенно: «Осуществление верховной государственной власти временно принадлежит Верховному Правителю»; «власть

по управлению во всем ее объеме принадлежит Верховному Правителю». Вопрос об отношении к Учредительному Собранию не поднимается вообще, а смена власти или ее преемственность происходит только через Совет министров, который восприемлет «осуществление верховной государственной власти» «в случае тяжелой болезни или смерти Верховного Правителя, а также в случае отказа его от звания Верховного Правителя или долговременного его отсутствия».

До некоторой степени юридическим низложением Директории можно было бы считать уже известное нам обращение Верховного Правителя – «Всероссийское Временное Правительство распалось», «Совет Министров принял всю полноту власти и передал ее мне», – поскольку, согласно предыдущей «конституции», члены Директории были «до Учредительного Собрания не ответственны и не сменяемы» и, значит, «смена» в каком-то смысле упраздняла и всю «конституцию»; но, с другой стороны, официальное же извещение гласило о принятии Советом министров «полноты верховной государственной власти» – «с согласия наличных членов Временного Всероссийского Правительства». Таким образом, определенного ответа, как же все-таки новая власть относится к проблемам правопреемства, по существу дано не было. Не вполне проясняет ситуацию и более позднее заявление Верховного Правителя о недопустимости восстановления Учредительного Собрания прежнего состава, «избрание в которое происходило под большевистским режимом насильно, и большая часть членов коего находится ныне в рядах большевиков», поскольку допустимо толкование его как возврат к ситуации не 3 марта (акт Великого Князя Михаила), а 1 сентября (переворот Керенского) 1917 года.

Таким образом, юридические основы и преемственность «режима 18 ноября» представляются нам не вполне определенными, однако не в ущерб преемственности духовной: адмирал Колчак очевидно восстанавливал идею национальной, патриотической власти, отрицания как «гибельного пути партийности», так и механического возврата к прошлому, – в сущности, идею живой, органической, творческой преемственности в развитии Государства Российского. По сути дела, только этот путь и мог привести, через военную диктатуру, к восстановлению традиционной формы правления, и если никак нельзя считать Александра Васильевича политиканствующим монархистом, то нет оснований и подозревать Верховного Правителя в намерениях препятствовать реставрации, если бы она произошла после падения большевизма.

Но как воспринимал характер своей власти сам адмирал Колчак? Согласно воспоминаниям Гинса, «он был смущен предложенным званием “Верховного Правителя”, ему казалось достаточным звание Верховного Главнокомандующего с полномочиями в области охраны внутреннего порядка. Между тем членам правительства казалось, наоборот, что адмирал не должен быть Верховным Главнокомандующим. В его лице рассчитывали видеть устойчивую верховную власть, свободную от функций исполнительных, не зависящую от каких-либо партийных влияний и одинаково авторитетную как для гражданских, так и для военных властей». С другой стороны, такие прерогативы выглядят довольно странно: во время войны «исполнительные функции» являются едва ли не самыми важными и отчужденность от этих функций носителя «верховной власти» превращает последнего не более чем в «надзирателя» над министрами. Впрочем, как мы помним, омская «конституция» все-таки предоставляла Верховному Правителю «власть по управлению во всем ее объеме», то есть, очевидно, и «исполнительные функции», и в этом можно увидеть победу Колчака над своим кабинетом. Отстоял Александр Васильевич свою позицию и в вопросе о власти военной: «… Именно Верховным Главнокомандующим он и должен быть, – излагает аргументацию адмирала Гинс, – так как не иметь непосредственного влияния на ход военных дел – значило, по его мнению, не иметь вообще ни силы, ни значения»; Совет министров вынужден был с этим согласиться.

К роли Колчака как Верховного Главнокомандующего нам еще предстоит вернуться, сейчас же обратим внимание на принципиальный вопрос о соотношении военной и гражданской властей. Похоже, что «милитарист» Колчак в естественном стремлении «милитаризовать» управление страной и сделать армию и ее интересы доминирующими вошел в противоречие со специфическими чертами «сибирской» контрреволюции, уже прочно сложившимися к тому моменту.

На Юге России при генералах Корнилове, Алексееве и Деникине управление освобожденными местностями становилось, в сущности, придатком при Главном Командовании. Напротив, на Востоке именно политические группировки, претендовавшие на роль носителей государственной власти, формально выступали создателями и возглавителями вооруженных сил. Не случайно поэтому невольное терминологическое противопоставление «Особого Совещания при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России» – «войскам Сибирского Правительства». Колчак добился

сосредоточения в своих руках военной власти и стремился к ее усилению, но распустить Совет министров и преобразовать его в «деловое учреждение» с урезанными прерогативами или в гражданское управление при своей Ставке он, конечно, уже не мог. А между тем из существования полноправного кабинета следовало, что любые министерские конфликты будут неизбежно приобретать большее значение, чем в рамках «делового учреждения».

Но и с существовавшей структурой власти (Колчак часто определял ее формулировкой «я и Правительство, мною возглавляемое») все было далеко не просто. Уже 21 ноября был образован «Совет Верховного Правителя» в составе Председателя Совета министров, трех членов кабинета (министров внутренних дел, иностранных дел и финансов) и управляющего делами Верховного Правителя и Совета министров – в некотором смысле «кабинет внутри кабинета». Позже, указом от 7 августа 1919 года, в компетенцию Совета Верховного Правителя были включены новые вопросы – «по организации военно-административного Управления на фронте и в тылу», «по укомплектованию и организации снабжения армии и флота», «по осуществлению мероприятий, вытекающих из общего плана кампании» и «по вопросам военно-политического значения», – а его состав соответственно расширился. Теперь в Совет вошли также военный и морской министры, начальник штаба Верховного со своими помощниками, помощник военного министра по делам казачьих войск и даже, «если по положению фронта это оказывается возможным», – командующие армиями и фронтом. Но можно ли сказать что-либо о причинах и внутреннем смысле создания этой новой управляющей структуры?

Вологодский, похоже, просто не придал ей большого значения: в дневнике премьер-министра никак не отражено создание Совета Верховного Правителя в ноябре, а относительно его расширения в августе отмечено лишь, что обсуждение указа «не проходило через Совет Министров». Гинс ограничивается туманным указанием на желание «установить общие линии политики» с оговоркой, что в действительности приходилось «устранять закулисные влияния». Управляющий министерством иностранных дел Сукин вообще приписывает новому органу вид чуть ли не дружеского кружка: «В совершенно неофициальной форме, принимавшей характер спокойной беседы, Верховный Правитель перебирал все текущие вопросы, не имевшие законодательного характера». Однако смысл Совета был, кажется, все-таки глубже, чем частные консультации адмирала с некоторыми из своих сотрудников.

Вспомним: по отношению к дореволюционной системе государственного управления нередко высказывались упреки в том, что кабинет министров в сущности не представлял собою единого органа – Русские Императоры назначали министров, каждый из которых управлял своим ведомством, но полной координации между ведомствами не было, или же она осуществлялась Государем с наиболее доверенными советниками. В этой картине много упрощений, но и некоторое зерно правды в ней есть, – а Колчак разделял некоторые предубеждения против «старого режима» и в любом случае считал его недостаточно эффективным.

Таким образом, в сформировании Совета Верховного Правителя нам видится не дублирование правительственных функций и не создание кружка для дружеских бесед, а попытка непосредственной и действенной координации политики, проводимой основными министерствами, под непосредственным контролем Верховного. Не менее значительной представляется и еще одна структура, родившаяся в «колчаковской» системе управления, – Экономическое Совещание.

Чрезвычайное Государственное Экономическое Совещание было образовано на основании акта от 22 ноября, подписанного Вологодским, но имевшего не совсем обычный зачин – «Верховный Правитель указал…» Действительно, по свидетельству Гинса, премьер-министр оказался поставленным перед готовым проектом; и, даже если отнести идею Экономического Совещания на счет чьих-либо «влияний», нельзя отрицать, что Колчак положительно воспринял ее и поддержал своим личным вмешательством, исказившим нормальное продвижение проекта. Значит, идея эта вполне соответствовала его взглядам; в чем же она заключалась?

Состав Совещания как будто вновь заставлял заподозрить выделение «кабинета в кабинете». В него должны были войти министры: финансов, снабжения, продовольствия, торговли и промышленности, путей сообщения, военный, а также государственный контролер. Однако теперь к ним добавлялись трое «представителей Правлений Частных и Кооперативных Банков», пятеро «представителей Всероссийского Совета Съездов Торговли и Промышленности», трое «представителей Совета Кооперативных Съездов» и могли «приглашаться» – «сведущие лица по всем вопросам, подлежащим обсуждению Совещания». Вопросы же эти формулировались следующим образом:

«Предметом занятий указанного Совещания должно быть выяснение:

А. Финансовых мероприятий, которые дали бы возможность в

кратчайший срок устранить тяжелое финансовое положение, переживаемое страной.

Б. Мероприятий, необходимых [83]в деле правильного снабжения армии.

В. Мероприятий, необходимых по восстановлению производительных сил и товарообмена в стране».

Через несколько месяцев и состав, и полномочия Государственного Экономического Совещания были расширены. Согласно утвержденному Колчаком и Советом министров 2 мая «Положению», теперь оно должно было состоять из: «а) Министров: Военного, Морского, Торговли и Промышленности, Финансов, Снабжения и Продовольствия, Путей Сообщения, Труда, Земледелия, Внутренних Дел, Иностранных Дел и Государственного Контроля; б) Начальника Штаба Верховного Главнокомандующего; в) пяти лиц, избираемых Всероссийским Советом Съездов Торговли и Промышленности; г) пяти лиц, избираемых Советом Всесибирских Кооперативных Съездов, в том числе не менее трех от центральных кооперативных объединений; д) двух представителей Центрального Союза профессиональных организаций, в том числе одного от железно-дорожных служащих; е) не свыше двадцати представителей земских и городских организаций из числа кандидатов, представляемых в порядке, указанном в статье 5 настоящего Положения [84]; ж) двух представителей Совета частных Банков; з) представителя Московского Народного Банка; и) двух представителей от Сельско-Хозяйственного Общества; к) двух представителей от Общества Сибирских Инженеров – по одному от Томского и Иркутского его Отделений; л) представителя Центрального Военно-Промышленного Комитета; м) четырех представителей Самоуправлений Казачьих Войск [–] по одному от Оренбургского, Уральского, Сибирского и Забайкальского и н) представителей науки и других лиц, назначаемых Верховным Правителем по представлению Председателя Экономического Совещания». Совещание должно было:

«а) делать Правительству представления о необходимых предприятиях в области финансовой, торгово-промышленной, сельского хозяйства, труда, транспорта и по всем другим вопросам, касающимся экономической жизни страны; б) обсуждать вопросы снабжения и продовольствия армии; в) рассматривать роспись государственных доходов и расходов (государственный бюджет); г) обсуждать разработанные подлежащими ведомствами законопроекты общего значения по указанным в пункте “а” сей статьи вопросам».

Теперь в Экономическом Совещании уже различимы черты

законосовещательного органа, хотя и с ограниченным кругом проблем государственной жизни, подлежащих его рассмотрению. Не случайно поэтому единодушие сегодняшнего историка, определяющего его как «некоторое подобие представительного органа в колчаковском государстве», и мемуариста – современника событий, по ассоциации вспоминавшего о «парламенте».

Парламентом Экономическое Совещание, конечно, не было. До некоторой степени его устройство напоминает Государственный Совет образца 1906 года; с точки зрения этой аналогии «колчаковское государство» в качестве представительного органа избирало высшую из существовавших до Февраля палат, видимо, как имевшую более деловой характер (деморализующая, а иногда и подрывная деятельность Государственной Думы давно уже не составляла секрета, а ее вожди безнадежно себя скомпрометировали). Другую аналогию допустимо усмотреть с «Земским Собором», созванным генералом Дитерихсом в 1922 году в агонизирующем Белом Приморьи. Согласно «Положению» об этом органе, в его состав входили «Временное Приамурское Правительство и представители от духовенства, от армии и флота, от гражданских ведомств, от несоциалистических организаций, от горожан домовладельцев, от сельского населения, от городских самоуправлений Владивостока, Никольск-Уссурийского и Петропавловска, от Земства, от торгово-промышленного класса, от Православных приходов, от общества ревнителей Православия, от старообрядческого духовенства, от старообрядческой общины, от высших учебных заведений, от областных несоциалистических организаций, от русского населения полосы отчуждения К.В. ж. д. и от поселковых управлений». Нельзя не отметить, что «колчаковское» Совещание по своему составу было менее демократичным, чем «дитерихсовский» Собор. Разумеется, генерал и ставил перед собою иные цели – не формирование представительного «делового учреждения», а попытку найти общий духовный центр, точку опоры для продолжения борьбы; однако распространенное противопоставление «консерватора» Дитерихса «либералу» Колчаку после рассмотренного сравнения вряд ли остается правомочным.

Еще одной немаловажной чертою Экономического Совещания является сглаживание противопоставления исполнительной власти – законосовещательному органу. Будучи включенными в число членов Совещания, главы «ключевых» министерств тем самым оказывались призванными к сотрудничеству с общественностью в лице выборных членов, а последние, даже

находясь в оппозиции, должны были видеть в министрах не сановников, приглашенных «извне» для объяснений по какому-либо запросу, а равноправных сотрудников. Осознанно или неосознанно, но такая политика адмирала Колчака в деле строительства высших государственных учреждений знаменовала его курс на единство «правительственного» и «общественного» фронта.

Сопоставление Совещания и Собора сразу же ставит нас перед существенным отличием – широким представительством в последнем религиозных организаций (духовенство было представлено и в Государственном Совете). Строя «деловое учреждение», Колчак вряд ли мог включать в его состав и привлекать к решению вопросов «экономической жизни страны» церковных деятелей, но это не должно становиться основанием для сомнений в личных убеждениях Александра Васильевича (очевидец описывает рабочий кабинет Верховного: «Налево у стены за письменным столом, в больших креслах с резными ручками, изображающими головы сфинксов, сидел адмирал. Налево от его руки на маленьком столике лежало Евангелие и на нем просфора») или в его взглядах на духовную жизнь и самый облик России и русского воинства. Призыв Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего: «Да поможет нам Господь Бог Всемогущий, Которого многие из нас в годы великих испытаний забыли, выполнить свои обязательства и долг перед Родиной и привести труд наш к Ее возрождению, счастью и свободе» (слова нешаблонные и искренние!) – очевидно свидетельствует о его вере, а отправка на фронт «проповеднических отрядов» заставляет вспомнить точку зрения Командующего Черноморским флотом на важность религиозного воспитания на войне.

Не забудем и о принятой при адмирале Колчаке государственной символике. Если традиция исполнения в качестве гимна – духовного песнопения XVIII века «Коль славен наш Господь в Сионе» уже бытовала ранее, то для разработки нового герба (на основе традиционного изображения двуглавого орла) был объявлен специальный конкурс. Согласно его условиям, «вместо снятых [85]эмблем царской эпохи (короны, скипетра и державы) герб должен быть украшен эмблемами, характерными для новой возрождающейся государственности». Однако в принятом варианте была сохранена не только держава в лапе орла (скипетр заменили на меч), но даже цепь ордена Андрея Первозванного – на его груди (в чем можно усмотреть не только преемственность традиций, но и молитвенное обращение к Апостолу – покровителю России). О короне же, исчезнувшей с «колчаковского» герба, следует поговорить особо.

«Правительство настоящего времени, правительство Адмирала Колчака, – писала в сентябре 1919 года фронтовая газета, – правильно понимая и по заслугам оценивая значение православия в деле государственного строительства России, восстановило эту легкомысленно и преступно порванную связь церкви и государства и после правительств, лишенных простого государственного смысла и богоборствующих, само покорно и благоговейно склонилось к подножию Креста Господня. Недавно в одном журнале, – продолжает автор статьи, – я видел и пришел в восторг от изображения проэкта нового государственного герба России: тот же могучий двуглавый с приподнятыми вверх крыльями орел; в крепко сжатых когтях у него обнажен[ный] острый меч, как символ власти, и держава, как знак суверенных автократических прав России; вверху крест, как очевидный символ православия русского народа, а над крестом в лучах света краткая, но многоговорящая самой своей краткостью надпись: “Сим победиши”. Эта надпись со всею определенностью указывает на признание за Крестом Христовым и верою православной громадного исторического значения в деле строительства политических и государственных судеб русского народа и русского государства. Этот могучий Державный Орел [–] не та пустоголовая, пришибленная, с опущенными вниз крыльями, обдерганная ворона, которую придумал для России Керенский. Такому Орлу можно и до́лжно служить, такому Орлу верить, его любить, таким Орлом гордиться».

Но такое прочтение и даже аналогия с видением Святого Равноапостольного Царя Константина (перед битвой ему был явлен символ Креста с девизом «Сим победиши»), не менее очевидная в «колчаковском» гербе, меркнут в сравнении с другой, еще более знаменательной. Как известно, в дни отречения Императора была чудесным образом явлена икона Божией Матери «Державная», на которой Заступница приняла утраченные регалии Божиего Помазанника – венец, скипетр и державу. И встречным движением, от земли к Небу, герб терзаемой смутой страны был увенчан Крестом – последним и единственным упованием. На икону перешли земные регалии – на гербе главная из них была заменена Небесным Символом; и хотя в те годы вряд ли кто-либо задумывался именно о такой параллели, она не становится от этого менее красноречивой.

Столь же красноречиво и другое сопоставление. Архимандрит Константин (Зайцев), размышляя о борьбе за Россию, которую вел Колчак и его соратники, обращался к сказанным столетием ранее словам: «Укажите силу, которая одним словом могла бы вызвать голос народа, во всю мощь его потрясающего грома и

несокрушимого действия. У других народов такими силами ныне служат идеи прогресса, цивилизации, свободы… Покажите эти знамена нашему народу, он посмотрит и спросит: есть ли на них знамение креста или другой святыни? Нет? Значит, скажет он, они не христианские». В 1919 году герб России был в прямом смысле слова увенчан Знамением Креста, но угасающий дух народный уже не смог на это отозваться…

Рука об руку с символикой общегосударственной шла и военная: приказом 30 ноября 1918 года Верховный Правитель и Верховный Главнокомандующий не только восстановил праздник ордена Святого Георгия (26 ноября старого стиля), но и расширил его значение, повелев:

«Считать этот день праздником всей Русской Армии, доблестные представители которой высокими подвигами, храбростью и мужеством запечатлели свою любовь и преданность нашей Великой Родине на полях брани.

День сей торжественно праздновать ежегодно во всех воинских частях и командах».

Это вновь было формой молитвы, скрытой под сдержанными словами приказа по армии, – просьбой о небесной помощи, о благословении Великомученика и Победоносца. И в своем душевном движении Верховный Правитель встречал неизменный отклик и поддержку со стороны Церкви. Знаменательно звучали слова Высокопреосвященного Сильвестра, Архиепископа Омского и Павлодарского (претерпевшего впоследствии мученическую кончину от рук большевиков и канонизированного), благословляющего адмирала иконой Христа Спасителя:

«В древности была не только внешняя, но и внутренняя связь между деятелями государственными и представителями Церкви, и она, эта связь, давала мощь и силу государству в его строительстве, в течение веков создавшем нашу великую Российскую страну, бывшую великой до последнего времени. Эта нравственная связь укреплялась всегда единением между государственным представительством и церковным.

Я приветствую Вас и призываю на Вас Божье благословение. Да поможет Господь и ныне поддержать эту связь, дабы и нам быть преемниками тех сил духовных, которые помогли бы нам восстановить то, что нами утрачено ныне».

Благословение Святителя заставляет вспомнить напутствие Преподобного Сергия Радонежского благоверному князю Димитрию на Куликовскую битву или благословение Священномучеником Патриархом Ермогеном воинства, освобождавшего Русскую землю в Смуту XVII столетия. А к народу Высшее Временное Церковное Управление, образованное

Сибирским соборным совещанием в ноябре 1918 года «для управления епархиями Сибири, Приуралья и других освобожденных от советско-большевистской власти частей России на время их разобщения с Москвой и Святейшим Патриархом», обращалось с таким призывом:

«… Для нашего общего и для каждого из нас в отдельности блага, для спасения и возрождения нашей гибнущей Родины все мы должны прежде всего исправить свою жизнь, снова сделать ее строго-христианской, какой она была у наших благочестивых предков…

Чтобы воскресить высокие христианские идеалы в нашей омертвевшей душе, мы снова должны стать под благодатное осенение Святой Церкви Христовой Православной, должны прильнуть к ней, как к любящей и всепрощающей матери нашей, всем своим существом. А затем каждый из нас честно и достойным образом должен исполнять свой долг гражданский. Долг этот состоит в том, чтобы деятельно помогать Благоверному Правительству нашему в восстановлении государственного порядка и чтобы поддержать наше Христолюбивое воинство, самоотверженно ведущее борьбу с врагами».

Разумеется, условия войны, всегда пагубно влияющей на человеческую душу, ставили на пути к достижению идеала «строго-христианской жизни» многочисленные препятствия, – но такими препятствиями и вообще усеян духовный путь христианина. Война же велась против богоборческой власти, власти, уже запятнавшей себя кровью новомучеников и воздвигшей жесточайшие гонения на Церковь, и это переводило сопоставление христианского идеала с воинским подвигом из разряда отвлеченных рассуждений в область живую и предметную. И нельзя не упомянуть здесь свидетельство еще об одном благословении адмиралу Колчаку, хотя нельзя не упомянуть и о сомнениях, окружающих это свидетельство.

Оно принадлежит ротмистру В.В.Князеву, личному адъютанту Верховного. Согласно его рассказу, в начале 1919 года (судя по контексту – во время поездки Александра Васильевича на фронт) перешедшим линию фронта священником Колчаку были переданы фотографический снимок с иконы Святителя Николая Чудотворца, находившейся на Никольских воротах Московского Кремля, и письмо с благословением Патриарха Тихона. Приведенный в воспоминаниях текст письма на первый же взгляд вызывает сильные сомнения в своей аутентичности («Аура атмосферы молитвенного экстаза не поддается описанию»), да и вообще воспоминания Князева изобилуют сомнительными или явно недостоверными пассажами; однако мемуарист и не

настаивал на абсолютной точности приведенной им выписки – «мне удалось наскоро выхватить части прекрасного благословляющего письма», – сам же пользовался репутацией человека крайне легкомысленного: «Не везет адмиралу по части ближайшего антуража; он взял к себе личным адъютантом ротмистра Князева, который дивит кутящий Омск своими пьяными безобразиями; много хуже это[го] то, что этот гусь злоупотребляет своим положением и позволяет себе разные распоряжения именем адмирала», – писал о нем Будберг (чьи характеристики, впрочем, часто бывают преувеличенными).

В то же время может иметь под собою определенные основания сообщение Князева, что «увеличенная фотография [иконы] Святителя Николая была преподнесена Адмиралу Колчаку в Перми как освященный и благословляющий Образ Чудотворца – Патриархом Мучеником Тихоном». В печати сообщалось, что при посещении Верховным Правителем освобожденной Перми 19 февраля 1919 года Епископ Чебоксарский Борис, временно управляющий Пермской епархией, действительно «благословил его иконой Святителя Николая Чудотворца, представляющей собою точный снимок с чудотворного лика Угодника Божия на Никольских воротах священного Кремля». Об особом характере врученной адмиралу иконы – копии с кремлевской святыни, кажется, может свидетельствовать повышенное внимание и почтение к ней как самого Колчака, так и церковного народа. «Глубоко верующий Адмирал с благоговением принял св[ятую] икону и решил, что эта святыня отныне будет сопровождать его во всех трудах и походах», – сообщал журнал Церковного Управления; в свою очередь, «благочестивые граждане г[орода] Омска пожелали поклониться св[ятой] иконе Угодника Божия и всенародно помолиться перед нею о спасении отечества», следствием чего стали прошедшие по благословению Святителя Сильвестра многолюдные крестные ходы 23 и 30 марта. Все это позволяет предположить, что об иконе и вправду знали нечто такое, что, не попадая на страницы официальных изданий, возбуждало тем не менее особенно горячее и ревностное ее почитание.

Любым рассуждениям о позиции Святителя Тихона в годы войны обычно сразу же противопоставляют свидетельство князя Г.Н.Трубецкого: «Я ехал на юг, в Добровольческую армию, рассчитывая увидеть всех, с кем связывалась надежда на освобождение России. Я просил разрешения святого патриарха передать от его имени, разумеется в полной тайне, благословение одному из таких лиц, но патриарх в самой деликатной и в то же время твердой форме сказал мне, что не считает возможным это

сделать, ибо, оставаясь в России (разве „юг“ в то время не был Россией? – А.К.), он хочет не только наружно, но и по существу избегнуть упрека в каком-либо вмешательстве Церкви в политику». Однако здесь, как явственно видно, речь идет не о благословении «движению» или «делу» как таковому, а какому-то «лицу», о котором, например, вообще неясно, принадлежало ли «оно» к составу Добровольческой Армии или находилось в ее обозе, в числе незадачливых политических деятелей, с чьими именами их коллеги все же могли связывать «надежды на освобождение России». Заметим также, что накануне отъезда Трубецкого из Москвы он и его единомышленники получили с Юга России достоверные сведения, которые, как разочарованно (!) вспоминал князь, «оставляли мало надежды на возможность привлечь на нашу сторону Добровольческую армию».

А были ли достаточные основания для дальнейшего сокрытия благословения, тайно данного Патриархом? Несомненно, – вспомним о последствиях, к которым привело использование имени Святителя Тихона Епископом Камчатским Нестором, в сентябре 1919 года заявившим журналистам, будто Святитель поручил «передать в Сибири и [на] Дальнем Востоке всем верным сынам Церкви его патриаршее благословение и просил всех объединиться для избавления от большевиков России и Москвы и ее святынь». Подвергнутый чекистскому допросу Патриарх заявил, что не посылал «никакого благословения Колчаку с епископом Нестором… да и послать не мог, так как епископ Нестор скрылся с нашего горизонта еще в начале сентября 1918 года… а Колчак появился на политическом горизонте позднее». Это совершенно справедливо, однако сегодняшние попытки возложить «вину» на неких безымянных журналистов – «не исключено, что епископ Нестор мог передать корреспондентам омской печати общее благословение русскому народу от Патриарха Тихона, которое было преобразовано журналистом в благословение на борьбу с большевиками», – удивляют стремлением во что бы то ни стало отделить церковных иерархов от русского воинства, сражавшегося за Россию.

Протокол одного из допросов действительно приписывает Святителю Тихону признание, что он «оказывал Деникину и Колчаку моральную поддержку, не доходившую, однако, до дачи им благословения», однако раскрытие понятия «моральной поддержки, не являющейся благословением» в этом контексте представляется затруднительным (или речь идет о молитвах Патриарха за Деникина и Колчака? – но тогда вопрос о поддержке их Святителем получает окончательное разрешение!), чекистские же документы вообще являются источником сомнительным: «яко

ложь есть и отец лжи» (Ин. 8:44). И трудно предположить, чтобы Патриарх, в годовщину Октябрьского переворота обративший к советским правителям «горькое слово правды», обличавший их в совершении многочисленных злодеяний и предупреждавший: «… взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая (Лук. 11, 51), и от меча погибнете сами вы, взявшие меч (Мф. 26, 52)», – не сочувствовал бы тем, кто с оружием в руках вступился за поруганную Веру и разоряемое Отечество. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и возможность личного благословения Патриархом воина Александра, в котором прозорливый Святитель мог чувствовать искреннюю жертвенность и готовность положить «душу свою за други своя».

И – силою ли воли и авторитетом адмирала Колчака, или молитвою Патриарха Тихона, или и тем и другим вместе, и не нужно противопоставлять одно другому! – в течение зимы – весны 1919 года действительно происходит консолидация сил, борющихся за общее русское дело, вокруг Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего.

Наиболее опасною внутренней язвой оставался конфликт с Атаманом Семеновым. Впрочем, Семенов, несмотря ни на какие симпатии тех, кто тайно ему сочувствовал, все-таки оказался в изоляции даже географической. Хорват, если втихомолку и инспирировал первые протесты Атамана, теперь демонстрировал безоговорочную лояльность Колчаку, и даже «младший брат» Григория Михайловича – Атаман Калмыков воздержался от открытой поддержки и создания противоколчаковского альянса.

Советский автор П.С.Парфенов («Петр Алтайский», бывший подпольщик, по некоторым сведениям служивший одновременно и в правительственной контрразведке, причем в офицерских чинах) утверждал даже, что в ходе «дипломатической» обработки Калмыкова последнему была направлена «заискивающая телеграмма» с поклоном «вам и войску, вас избравшему», подписанная чуть ли не всей «верхушкой» Омска за исключением Колчака (Вологодским, Лебедевым, Ивановым-Риновым, Суриным, Хорошхиным, Матковским идр.). В то же время после первого издания книги Парфенова о Гражданской войне в Сибири он открыто обвинялся не только «в “подтасовке” некоторых фактов», но и «в “составлении” некоторых документов», и трудно сейчас сказать, принимали ли попытки повлиять на уссурийского Атамана именно такие формы. Как бы то ни было, Калмыков, ранее бравировавший непризнанием Директории и лично симпатизировавший Семенову, теперь проявлял лояльность Колчаку, хотя и отличался самоуправством, железной рукою поддерживая порядок в войске и не останавливаясь перед

жестокими и противоправными мерами.

Провалилась и попытка Григория Михайловича найти поддержку у того, кого он выставлял альтернативным Колчаку кандидатом на роль Верховного Правителя, – у генерала Деникина. Атаман командировал на Юг России своего старого сослуживца есаула Миллера, однако его миссия не возымела успеха, а в Забайкалье полетели резкие телеграммы-окрики: «… Всякое противодействие объединению является изменой Родине и не может быть ничем оправдано» (Деникин); «До сих пор я гордился тем, что некогда командовал славными нерчинцами, теперь стыжусь, узнав, что среди них оказался изменник общему делу…» (барон Врангель, бывший начальник Семенова по службе в 1-м Нерчинском полку).

Даже японцы, которых принято представлять неизменными покровителями Атамана, отступились от него. Уже в декабре 1918 года ими была пресечена попытка Семенова сделать своего ставленника Командующим войсками Амурской области. Никто иной, как представители японского командования, предложили незадачливому командующему незамедлительно сдать должность, а Григорий Михайлович, если и имел до этого какие-либо иллюзии относительно своих восточных союзников, – теперь должен был с этими иллюзиями распрощаться.

Что же касается конфликта между забайкальским Атаманом и Верховным Правителем, – в нем небезупречно выглядят обе стороны. Со стороны «читинской партии» самым агрессивным действием в этот период следует считать выпуск в начале 1919 года анонимной брошюры «Адмирал Колчак и Атаман Семенов», наряду с шаржированной биографией Верховного Правителя и изложением развития конфликта содержащей и прямой призыв: «Граждане! Теперь тяжелый политический момент, и не таким грязным и больным людям, как адмирал Колчак, быть нашим Верховным Правителем… Долой его! Сам Колчак – это олицетворение честолюбия – добровольно не уйдет, нужно его убрать», – хотя никаких реальных попыток «убрать» предпринято не было. «Омская партия» вела себя гораздо активнее. Утвержденным Колчаком постановлением Совета министров от 21 января 1919 года была создана специальная «Чрезвычайная Следственная Комиссия» «для расследования поступивших к Правительству сообщений, донесений и жалоб на противозаконные и неправильные по службе действия бывшего командира 5-го Приамурского Корпуса полковника Семенова и подчиненных ему военных и гражданских чинов», выехавшая в Читу. Председатель комиссии неоднократно заявлял о чинимых препятствиях, однако наряду с этим были предоставлены и

возможности для опроса свидетелей, сбора документов и формулирования ряда нелицеприятных заключений, – основным же обвинениям в адрес Атамана подтверждений так и не нашлось (деятельность комиссии была прекращена в середине июня). Некоторые шаги, надо сказать, были предприняты Омском и не дожидаясь каких-либо заключений.

Позицию Колчака в этом конфликте принято характеризовать как слабую и едва ли не униженную перед «нахрапистым забайкальским соловьем-разбойником» и его «японскими покровителями». Может быть, так же оценивали ее и сам Верховный Правитель, обмолвившийся в марте, что «не может справиться с атаманом Семеновым», и его премьер-министр, с возмущением записывавший в дневнике: «… Он (Семенов. – А.К.) то и дело вставляет палки в колеса нашего правительства и дискредитирует в глазах населения армию. А мы не имеем сил бороться с ним. Тяжело». С другой стороны, можно ли посчитать «слабой» власть, которая в пылу борьбы позволяла себе приостановить финансирование подчиненных Атаману войск, – когда же Семенову, который должен был кормить своих казаков и солдат, пришлось прибегнуть к «выемке денег» из Читинского отделения Государственного Банка и попробовать наложить руку, впредь до открытия армейских кредитов, на сборы Маньчжурской таможни и винный акциз, – это было квалифицировано как новые беззакония. Не отрицая беззаконного характера подобных действий, следует признать в то же время, что Григорий Михайлович хорошо понимал простую истину: как бы ни дрались «паны», у «хлопцев» не должны трещать чубы…

Время шло, и все яснее становилось, что конфликт изжил себя. У Атамана не оставалось другого выхода, кроме официального признания Верховного Правителя, у адмирала – кроме формальной реабилитации своего «оппонента». На собравшемся Войсковом Круге Забайкальского войска (который, в частности, телеграммой Верховному Правителю выразил «настоятельное пожелание о скорейшей ликвидации существующего недоразумения между Правительством и Атаманом Семеновым») Григорий Михайлович был 9 июня 1919 года избран Войсковым Атаманом, – и определенную роль здесь могла сыграть выраженная им 27 мая (не дожидаясь отмены приказа № 61) «готовность подчиниться правительству, возглавляемому Верх[овным] Прав[ителем] адм[иралом] Колчак».

Скорее всего, Семенов уже имел сведения о готовившейся реабилитации, хотя оформивший ее приказ Верховного получил уже после цитированной телеграммы. Редакция приказа, однако,

наглядно показала, что на уступки во имя общего дела пошел действительно Атаман, а отнюдь не Верховный Правитель. «Ознакомившись с материалом следственной комиссии по делу Полковника Семенова и не найдя в деяниях названного штаб-офицера состава Государственной измены, приказ мой от 1-го декабря 1918 года за № 61 – отменяю», – писал адмирал, фактически совершая несправедливость, ибо такая формулировка подразумевала, что инкриминировавшееся Атаману «нарушение телеграфной связи и сообщений в тылу армии» имело место (а этого вроде бы не сумел доказать никто из его противников), но заключала в себе не измену, а что-то другое (?). Не лучше был и второй параграф приказа, низводивший Григория Михайловича с должности командующего отдельной армией на роль командующего неотдельным корпусом, – и тем самым не только наносивший удар по самолюбию, но и существенно урезавший административные и дисциплинарные права Семенова. При этом уже не приходится говорить о «японской руке», якобы «принудившей» Колчака реабилитировать «мятежного Атамана», тем более что представители шести казачьих войск тогда же отмечали: «Атаман Семенов пошел с нами, казаками, вместе, отвергнув всякое иноземное посредничество». Итак, политическая победа, в сущности, осталась за адмиралом.

С «умиротворением» Семенова общий государственный порядок на территории, непосредственно подчиненной Верховному Правителю, можно было считать в целом установленным. В течение нескольких месяцев особую единицу, с административной точки зрения, представлял собою лишь Дальний Восток, возглавляемый Верховным уполномоченным Российского Правительства – генералом Хорватом. 3 декабря 1918 года указом Колчака были назначены два его помощника – генерал Иванов-Ринов по военной части и генерал Флуг по гражданской; 6 мая 1919-го Хорват в дополнение к своему посту Уполномоченного стал Командующим войсками Приамурского военного округа, а Командующим морскими силами на Дальнем Востоке был официально назначен адмирал Тимирев, фактически уже исполнявший эти обязанности. Особый статус дальневосточного региона не продлился, однако, дольше 28 июля, когда Колчак упразднил должность Верховного уполномоченного, «подчинив край общему порядку управления» (Хорвата сделали сенатором и «Главноначальствующим над русскими учреждениями в полосе отчуждения»).

«Общий» (фактически – мирного времени) порядок управления, который Колчак стремился установить на Дальнем Востоке, нашел отражение и в решении Верховного Правителя

сформировать в Приморской, Амурской и Забайкальской областях и полосе отчуждения (Заамурском округе) Пограничную стражу, подчиненную, как было и в Российской Империи, министру финансов; формированием должен был руководить генерал С.Н.Люпов.

Автономией обладали также казачьи области, относительно которых грамотой Российского Правительства от 1 мая 1919 года гарантировалось «сохранение установившихся на землях казачьих войск основ войскового самоуправления», а также «неприкосновенность занимаемых казачьими войсками земель и прав их на владение и распоряжение этими землями». При этом Правительство подтверждало, что «считает незыблемым» и «образ служения» казаков, чем как будто обуславливалась сословная специфика казачества, связывающая предоставляемые права с более тяжелой, чем у остального населения, формой воинской повинности.

Правда, представители казачьих войск, объединенные в «конференцию», как будто не чувствовали себя удовлетворенными этой декларацией Правительства и претендовали на более важную роль в общегосударственном масштабе. В конце августа они представили Колчаку записку о «реорганизации власти», намечавшую как расширение состава кабинета за счет министров без портфеля для «связи правительства с представителями общественности», так и преобразование Экономического Совещания в нечто более напоминавшее парламент в полном смысле слова. Планировалось даже сделать премьер-министра (а значит, и весь кабинет) «ответственным перед особым законосовещательным органом управления». Однако Александр Васильевич подобным реорганизациям в военное время не сочувствовал, да и с вопросом автономии казачьих областей и административной структурой освобожденной части России эти проекты никак не были связаны.

Будучи провозглашенным Верховным Правителем России, адмирал должен был задуматься и о выстраивании отношений с теми областями, которые вели самостоятельную борьбу против Советской власти. Вопрос «признания Колчака» стоял весьма остро, поскольку без него любые «всероссийские» титулы были не более чем фикцией.

На первых порах могло даже показаться, что здесь неизбежны конфликты, – и действительно, вскоре за ноябрьскими событиями последовал протест со стороны социалиста Н.В.Чайковского, возглавлявшего Временное Правительство Северной области и заочно избранного в состав Уфимской Директории. «Отказываюсь

подчиняться диктаторской власти», – телеграфировал он в середине декабря Колчаку, Вологодскому и представителям союзников. Чайковский требовал «немедленно сложить власть, восстановить Директорию, спасти Россию от позора, клятвопреступности, политического младенчества» – и казалось, что демарш его представляет немалую опасность: помимо разрушения единства антибольшевицкого фронта перед союзниками, можно было ожидать, что военное имущество, завезенное последними на Русский Север, теперь окажется потерянным для войск Верховного Правителя. Однако вскоре Чайковский отказался от своей непримиримой позиции, а прибывший в Архангельск в январе 1919 года и принявший должность генерал-губернатора генерал Е.К.Миллер с самого начала проявил лояльность Колчаку.

Такую же лояльность проявил и генерал Н.Н.Юденич, собиравший силы для борьбы на Петроградском направлении. В своей телеграмме Колчаку от 21 января 1919 года он нарисовал широкие перспективы: «Около меня объединились все партии от кадет и правых. Представители торгово-промышленного класса, находящиеся [86]в Финляндии, обещали финансовую поддержку… Необходимо воздействие союзников на Финляндию, дабы она не препятствовала нашим начинаниям и вновь открыла границу для русских беженцев, главным образом офицеров. То же – в отношении Эстляндии и Латвии. Необходима помощь в достаточном количестве вооружением, снаряжением, техническими средствами, особенно нужны танки и аэропланы, финансами, продовольствием». Это еще не было формальным признанием – просьба «благоволите поддержать мое ходатайство перед Антантой» скорее соответствует тону разговора равного с равным, – но одновременно Юденич писал на Юг генералу Деникину: «Если моя личность не угодна Адмиралу Колчаку, Вам или союзникам, сообщите, и я отойду в сторону…» – до известной степени признавая тем самым свою подчиненность.

Уже 2 февраля омский «Правительственный Вестник» сообщил о полученной телеграмме и о том, что «Правительство ответило Юденичу обещанием всемерной поддержки. Министерство Финансов открыло ему кредит. Правительство просит союзников помочь Юденичу продовольствием». А к лету определилась и административная структура освобожденной части России: указом Верховного Правителя от 10 июня генерал Миллер был назначен «Главнокомандующим всеми сухопутными и морскими вооруженными силами России, действующими против большевиков на Северном фронте», а генерал Юденич – на аналогичную должность на Северо-Западном фронте. Таким

образом, Колчак, организуя общегосударственный центр на Востоке, для прочих регионов, оказавшихся относительно него периферийными, считал необходимым устанавливать не местные правительства, а «военно-походную» систему управления. Забегая вперед, добавим, что 20 июня управление всеми силами, находившимися в непосредственном подчинении Верховного («Восточный фронт») было так же объединено в руках генерала Дитерихса «на правах Главнокомандующего фронтом», и военно-административная система оказалась унифицированной, хотя вряд ли именно унификация составляла цель Колчака.

Правда, даже скромному и лояльному солдату – генералу Юденичу не удалось избежать создания регионального «Северо-Западного Правительства», сотрудники же генерала Миллера вообще проявляли повышенную активность и беспокойство. Так, 4 июня, в чаянии «оставления Петрограда большевиками», они «находили желаемым» «включение Петрограда и всей освобожденной вокруг него области в орбиту полной компетенции Временного правительства Северной области» (в ответ из Омска сообщили о полномочиях Юденича). А утвержденное Колчаком постановление Совета министров от 26 августа, учредившее должность Главного Начальника Северного края и назначившее на этот пост Миллера, и вовсе было встречено в Архангельске в штыки: местные политики предложили на выбор «коллегиальный принцип управления» (то есть, очевидно, генерал-губернатор и краевое правительство) либо… «предоставление Начальнику Северного края прав Верховного Правителя». Впрочем, обсуждение этого вопроса в Архангельске затянулось и утратило актуальность.

Методы и схема подчиненности Юденича или Миллера омскому центру оказывались неприменимыми к Вооруженным Силам Юга России, возглавляемым генералом Деникиным. Сражавшийся с конца 1917 года Деникин вряд ли мог быть «назначен» приказом Колчака – это было бы явной бестактностью, – и здесь отношения первоначально принимали едва ли не дипломатический характер. 3 декабря 1918 года Лебедев передавал из Омска, что временно исполняет обязанности начальника штаба, и запрашивал у Деникина «указаний», явно запутывая всю картину подчиненности. 19 декабря Колчак телеграфировал, что считает необходимым «согласовать наши действия», вполне разумно отказавшись от начальственного тона. Далее последовал обмен письмами, написанными одновременно и независимо друг от друга.

«Нисколько не сомневаюсь, что, когда волею Божьей соединятся наши территории, полное государственное

объединение их и всех русских армий завершится легко и просто, на основе истинной пользы Русской Державы, и отметая всякие личные интересы», – благожелательно, но не без осторожности пишет Деникин. «Насколько могу судить, Вы, Антон Иванович, на Юге России приняли на себя приблизительно те же функции, что и я… – рассуждает Колчак. – Необходимо полное согласование наших действий и соблюдение принципа Единства Верховной власти и неотделимого теперь от нее Верховного Командования… Я не сомневаюсь в том, что Вы вместе со мной решите эти вопросы независимо от личностей, руководствуясь одним благом Родины нашей и государственными соображениями о ее выгодах и интересах». Оба военачальника говорили, в сущности, одно и то же, особенно подчеркивая отсутствие «личных интересов».

Политическое окружение Деникина не сочувствовало идее его подчинения Колчаку и уповало на некую паритетную схему «единого Национального Правительства». Однако генерал привык обдумывать и принимать решения самостоятельно – и во имя установления единого фронта перед лицом как врагов, так и западных союзников, 12 июня (30 мая по старому стилю) отдал приказ по Вооруженным Силам Юга России:

«… Спасение нашей Родины заключается в единой Верховной Власти и нераздельном с нею едином Верховном Командовании.

Исходя из этого глубокого убеждения, отдавая свою жизнь служению горячо любимой Родине и ставя превыше всего ее счастье, я подчиняюсь адмиралу Колчаку как Верховному Правителю Русского Государства и Верховному Главнокомандующему Русских армий.

Да благословит Господь его крестный путь и да дарует спасение России».

В ответ последовали теплые и искренние телеграммы из Омска – «Совет Министров горячо приветствует Вас, Генерал, принявшего в ответственный момент ответственное и глубоко патриотическое решение… Храни Господь единую Российскую армию и ее доблестных вождей-патриотов» (Вологодский); «С чувством глубокого волнения приветствую Ваше патриотическое решение, продиктованное Вам истинной государственной мудростью… В великом подвиге служения Вашего России да поможет Вам Бог» (Колчак). А за два дня до отправки телеграммы Верховного Правителя, 24 июня, было принято постановление Совета министров «об учреждении должности Заместителя Верховного Главнокомандующего» – «для обеспечения непрерывности и преемственности Верховного командования»:

«1) Заместитель Верховного Главнокомандующего назначается Указом Верховного Правителя и состоит в

непосредственном подчинении Верховного Главнокомандующего.

2) В случае болезни или смерти Верховного Главнокомандующего Заместитель его незамедлительно вступает в исполнение обязанностей Верховного Главнокомандующего.

3) Если в момент наступления условий, указанных в статье 2, Заместитель Верховного Главнокомандующего отсутствует из того места, где имеет пребывание Верховный Главнокомандующий, то Председатель Совета Министров обязан немедленно вызвать Заместителя Верховного Главнокомандующего, до прибытия же его действует порядок, установленный статьею 47 Положения о Полевом Управлении войск в военное время (то есть в исполнение обязанностей Верховного вступает начальник его штаба. – А.К.), если Заместитель не найдет необходимым поручить до своего прибытия временное исполнение обязанностей Верховного Главнокомандующего другому лицу».

Столь подробно описанный механизм преемственности заставляет предположить, что документ изначально составлялся для кандидата, достаточно удаленного от Омска, – и действительно, в тот же день указ, упомянутый в статье 1-й, был подписан: Заместителем Верховного стал генерал Деникин «с оставлением в должности Главнокомандующего вооруженными силами на Юге России» (последние таким образом приобретали статус фронта, аналогичного Северному и Северо-Западному). Курьезно, что М.Волошин увидел в назначении Колчаком себе заместителя не более и не менее, чем… «усыновление» императором своего преемника по образцу позднего Рима: «Этот порядок престолонаследия применялся в Византии, он был теоретически намечен и у нас Петром Великим, так что он вполне может быть связан с традициями нашей государственной власти. И сейчас мы уже имеем ожидаемого единодержца в лице Колчака, явившегося, к нашему счастью, не по выборам, а нормально – явочным порядком, как вообще приходят исторические деятели и государственные люди, и он последним своим приказом о назначении генерала Деникина своим преемником и заместителем намечает именно тот порядок престолонаследия, о котором я говорил». К сожалению, поэт не читал русского полевого устава и не знал, что назначение заместителя старшего начальника является непременным элементом всякого оперативного приказа, будь то приказ на бой, походное движение или отдых…

А общая обстановка в 1919 году была, разумеется, боевой, – и дело тут не только в частых поездках Александра Васильевича на фронт, где он посещал передовые позиции и рисковал жизнью. Не

был адмирал в безопасности и в своей столице, тем более что, даже став Верховным, он некоторое время продолжал жить «в маленькой проходной комнате, в частной квартире», пока не перебрался в особняк на берегу Иртыша. Но и на новом месте Колчак не был застрахован от неприятных неожиданностей вроде взрыва ящиков с ручными гранатами его конвоя, в котором ротмистр Князев видит «злоумышленность» (хотя скептик Гинс придерживается официальной версии, что «взрыв произошел вследствие неосторожного обращения с гранатами»); адмирал не пострадал, поскольку задержался, возвращаясь с фронта. Не менее характерным кажется нам и такой рассказ прибывшего с Юга России офицера, представлявшегося Верховному Правителю:

«При моем приближении адмирал встал, принял мой рапорт, сел и резким жестом посадил меня. Он казался совсем маленьким в громадном кресле. Я много слышал о крайней нервности адмирала Колчака, но все же его лицо и жесты удивили меня. Он, не глядя на меня, громадным складным ножом резал ручку кресла и молчал. Молчал и я, не зная, что подумать.

– Ну, что же? – бросил адмирал.

– Ваше высокопревосходительство, – начал я и сунул руку в карман за своими бумагами.

Подняв глаза, я перехватил взгляд адмирала, с странным выражением настороженной готовности следящего за моей рукой. Я подал бумаги, адмирал прочел их и сразу изменился, бросил в сторону нож и опять протянул мне руку».

Удивленный посетитель вечером того же дня узнал, что «в контрразведках ставки имелись сведения о готовящемся покушении на верховного правителя со стороны офицера, который должен прибыть из-за границы…» На первый взгляд, приведенный рассказ является лишь дополнительным свидетельством о повышенной нервности Колчака, – однако обратим внимание: располагая сведениями, которым он доверял, Александр Васильевич не усомнился принять наедине вероятного террориста без каких-либо специальных мер предосторожности. А.В.Тимирева вспоминала много лет спустя, как поддерживало ее перенятое у Колчака правило – «если что-нибудь страшно, надо идти ему навстречу – тогда не так страшно», – и сам адмирал действительно следовал ему всегда, в полярных странствиях, в войне, в политике – во всем.

Глава 13
Дела иностранные

Кроме руководителей борьбы на других фронтах, существовала и еще одна категория должностных лиц, признание которыми Верховного Правителя до некоторой степени кажется актом доброй воли, – российские дипломатические представители заграницей. Впрочем, здесь адмирал Колчак не встретил противодействия, и в русских послах, военных и морских агентах он нашел вполне лояльных сотрудников. Так, от имени «всех находившихся в его ведении» генералов и офицеров заявил о признании Колчака военный агент в Великобритании генерал Н.С.Ермолов, в дальнейшем активно содействовавший отправке в Россию желающих сражаться офицеров, и даже военный агент во Франции генерал граф А.А.Игнатьев (известный тем, что в начале 1920-х годов перешел на советскую службу) «приветствовал подвиг» принявшего верховную власть Колчака и через посла в Париже В.А.Маклакова запрашивал «принципиальных указаний» относительно «использования для русского военного дела годной части офицеров и солдат, составляющих контингент русского отряда во Франции, и особенно наших пленных, передаваемых ныне германцами французам», а также «использования у Вас или Деникина русских военных материалов, оставшихся здесь». Для координации действий военных миссий заграницей Колчак пошел навстречу генералу Д.Г.Щербачеву, который писал ему 14 апреля 1919 года: «Только здесь ясна общая картина частных усилий, возможно стройное сочетание их для достижения общей цели [и] производства соответствующего давления на союзников и наблюдение за своевременным выполнением оказываемой ими помощи»; Щербачев и был назначен «Военным уполномоченным Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего во Франции, Англии и Италии».

Мы уже не в первый раз затрагиваем здесь тему взаимоотношений с иностранными державами. Вопрос этот, бывший в те дни одним из наиболее животрепещущих, и до сих пор продолжает вызывать многочисленные споры и нарекания в адрес адмирала Колчака, причем в вину Верховному Правителю парадоксальным образом ставятся противоположные друг другу тенденции, которые критики и обвинители предпочитают усматривать в политике его кабинета. С одной стороны, эта политика подается как недостаточно гибкая, неспособная к

уступкам (прежде всего – образовавшимся на развалинах Российской Империи окраинным государствам), отталкивающая потенциальных союзников; с другой – в ней видят чрезмерную услужливость по отношению к иностранцам, преувеличенную готовность следовать их указаниям и, в сущности, предательство национальных интересов. А потому и нам невозможно обойти внешнеполитические вопросы молчанием.

Как и большинство антибольшевицких русских правительств, режим адмирала Колчака решительно избрал позицию верности старому союзу, заключенному Императором Николаем II. При этом заявления о сохранении союзнических отношений далеко не всегда были формальными. Скажем, в декларации Российского Правительства от 21 ноября 1918 года, подписанной Верховным, премьер-министром и членами кабинета, за словами о том, как большевики «пытались наложить на весь народ несмываемое пятно позора, аннулировав все договоры и обязательства, принятые на себя в разное время нашим народом», следовал вполне практический вывод: «к непременному исполнению по мере восстановления целокупной России» принимались возложенные на казну денежные обязательства – «платеж процентов и погашений по внутренним и внешним государственным займам, платежи по договорам, содержание служащих, пенсии и всякого рода иные платежи, следуемые кому-либо из казны по закону, по договору или по другим законным основаниям». Несмотря на то, что декларация трактовала и о сугубо внутренних вопросах (те же пенсии), сама преамбула документа смещала акценты на проблему внешних займов, бывших впоследствии предметом многочисленных и крикливых спекуляций советских авторов. Так зачем и насколько было нужно Колчаку принятие на себя старого долга?

Не будем сосредотачиваться на моральной и юридической стороне дела. Если у русского государства были долги, то, восстанавливая это государство, безусловно следовало эти долги признать. Однако применительно к внешней политике слишком часто и слишком громко звучит проповедь цинизма и выгоды, а противоположная точка зрения презрительно объявляется «донкихотской». Поэтому посмотрим на проблему через призму «реальной политики».

Признание верности старому союзу и подкрепляющее его признание старых долгов, при благожелательной реакции остальных государств Антанты, переводило Россию в разряд держав-победительниц со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе и материальными. Признав долги союзникам-победителям, Россия тем самым приобретала право

требовать своей доли в плодах победы и вознаграждения за счет Германии, Австрии и Турции за жертвы, причиненные Великой войной. Конечно, в униженном положении, в которое Россию поставили большевики, несерьезно было мечтать о Константинополе (хотя и такие мечты бродили в горячке мировой победы!), – но на получение репараций, казалось, можно было рассчитывать. Более того – та же декларация от 21 ноября объявляла «все финансовые акты низвергаемой Советской власти незаконными и не подлежащими выполнению как акты, изданные мятежниками», – а это уже, распространяясь на Брест-Литовский договор и дополнительные к нему соглашения, позволяло ставить вопрос о возвращении русского золота, переданного большевиками Германии. Определенные надежды отразились в правительственной декларации от 7 декабря: «С глубоким удовлетворением видит Россия, что не забыты великие усилия, приложенные ею к общему делу, не забыты ее бесчисленные кровавые жертвы. Союзные державы принудили Германию отказаться от Брестского мира, обязали ее очистить русские земли и прекратить расхищение русского народного достояния».

Насколько прекраснодушными были эти надежды? Не забудем, что даже в Версальском договоре 28 июня 1919 года, вообще по отношению к России оскорбительном (о чем ниже), была не только подтверждена отмена «Брест-Литовских Договоров, а также всяких иных Договоров, соглашений или конвенций», заключенных Германией с большевиками, и пресечены любые покушения Германии на аннексию российских территорий, – но и содержалось следующее принципиально важное положение: «Союзные и Объединившиеся Державы [87]формально оговаривают права России на получение с Германии всяких реституций и репараций, основанных на принципах настоящего Договора». Кроме того, признавались отмененными «все договоры, конвенции и соглашения», заключенные Германией «с Россией или с каким-либо Государством или Правительством, территория которых ранее составляла часть России», а это аннулировало, например, соглашения немцев с любым из украинских или прибалтийских правительств. Однако на пути к реальному достижению этих выгод сами же союзники не замедлили воздвигнуть многочисленные преграды.

Тревожным сигналом стали амбиции, с которыми 13 декабря 1918 года в Омск прибыл союзный военный представитель, французский генерал М.Жанен. Прием, оказанный ему, можно было считать довольно холодным, поскольку на вокзале высокого гостя встречали из русских только генерал Матковский и

«представитель (даже не названный в газетном отчете! – А.К.) Министерства Иностранных Дел», но не Вологодский, не Лебедев и не кто-либо из министров; почетный караул был наряжен также не от хозяев, а от находившегося в Омске незначительного французского контингента, игравшего скорее символическую роль. Быть может, в этом следовало видеть сознательную реакцию Российского Правительства на полномочия француза… взять под свое верховное командование сражающиеся на этом фронте войска!

«Он обращается к нам с бурными многословными и разнообразными возражениями сантиментального характера, – иронизирует Жанен в рассказе о переговорах с Колчаком 15 декабря. – Он стал у власти при помощи военного переворота, и поэтому главное командование не может быть отделено от диктаторской власти без того, чтобы она не потеряла под собой почву. “Общественное мнение не поймет этого и будет оскорблено. Армия питает ко мне доверие; она потеряет это доверие, если только будет отдана в руки союзников. Она была создана и боролась без них. Чем объяснить теперь эти требования, это вмешательство? Я нуждаюсь только в сапогах, теплой одежде, военных припасах и амуниции. Если в этом нам откажут, то пусть совершенно оставят нас в покое. Мы сами сумеем достать это, возьмем у неприятеля. Это война гражданская, а не обычная. Иностранец не будет в состоянии руководить ею. Для того, чтобы после победы обеспечить прочность правительству, командование должно оставаться русским в течение всей борьбы”.

… Проводим с осторожностью, которая необходима в беседе с человеком, находящимся в состоянии нервного возбуждения, все аргументы в пользу этого дела: союзники намерены оказать помощь – это видно из их желания иметь здесь своего человека, они корыстно не заинтересованы в этом вопросе, мое назначение будет продолжаться только до тех пор, пока положение не изменится к лучшему, требование об оказании помощи будет еще больше обосновано, если они будут непосредственно втянуты в военные действия, свою заботливость союзники показали и в назначении человека, находящегося в курсе русских событий и даже окончившего русскую военную академию [88]. Я прибавил лично от себя, что, как дисциплинированный солдат, буду настаивать на выполнении отданного распоряжения».

Все же Колчак настоял на своем, какие бы критические комментарии ни вызывало это у Жанена, писавшего: «Протесты адмирала дают основания догадаться, что он претендует на компетентность в военном деле, что, однако, не облегчает

положения вещей, ибо очень спорна его компетентность в вопросах пехотной тактики». Вряд ли стоит переоценивать воинские таланты и опыт самого Жанена, не поднявшегося на войне выше командира бригады, основную же службу несшего в штабах, а с весны 1916 года – военно-дипломатическим представителем при русской Ставке; но в любом случае назначение француза на должность главнокомандующего явно компрометировало бы Российское Правительство. Ни европейцы, ни американцы упорно не желали этого понимать, еще 8 января 1919 года полагая, что «все союзные войска в Сибири, как русские, так и иностранные, располагающиеся к западу от оз[ера] Байкал, впредь будут контролироваться ген[ералом] Жаненом». И потому достигнутый компромисс, отразившийся в официальном сообщении от 18 января, представляется актом государственной мудрости Верховного Правителя и его кабинета:

«Прибывший по поручению Союзных Правительств генерал Жанен – представитель высшего междусоюзного командования [–] вступает в исполнение своих обязанностей в качестве Главнокомандующего войсками союзных с Россией Государств, действующими на востоке России и в Западной Сибири. Для достижения единства действий на фронте высшее русское командование, осуществляемое Верховным Главнокомандующим – Адмиралом Колчак – будет согласо[вы]вать с генералом Жанен общие оперативные директивы, о чем Верховным Главнокомандующим даны соответствующие указания Начальнику Штаба.

Одновременно вступает в исполнение своих обязанностей генерал Нокс – сотрудник генерала Жанен по вопросам тыла и снабжения, предоставляемого союзными правительствами для нужд русского фронта, вследствие чего Верховным Правителем предписано военному министру согласовать свою работу с задачами, возложенными на генерала Нокс».

Следующий удар был еще тяжелее. С недоумением и возмущением читали русские военачальники и государственные деятели радиограмму из Парижа, где начиналась мирная конференция. В ней за общими словами о желании помочь русскому народу и нежелании вмешиваться в русские дела шла сбивчивая и не до конца принятая русским радиотелеграфом резолюция, опубликованная 29 января 1919 года в таком виде: «Обращаемся к каждой группе, стоящей у власти или стремящейся к ней, или военному контролю в Сибири, или в границах Европейской России, существовавших до войны (исключая Польшу и Финляндию), чтобы они назначили представителей в числе для каждой группы. Они будут приняты

представителями союзников, чтобы, заключив перемирие между партиями (пропущено). Эти представители приглашаются на совещание с представителями союзных держав, чтобы были выяснены желания всех русских партий и, если есть возможность, чтобы было достигнуто соглашение или приняты меры (пропущено). Просим немедленного ответа на это приглашение. Путь и поездка морем (в качестве места переговоров назывались Принцевы острова в Мраморном море. – А.К.) будет обеспечена всем представителям партий. Представители ожидаются 15 февраля 1919 года».

По свидетельству управляющего министерством иностранных дел Сукина, «Колчак лично никогда не рассчитывал на иностранцев и относился холодно к понятию “союзники”». Однако, как вспоминает Гинс, и адмирал при чтении парижской радиограммы не смог сдержать изумленного возгласа: «Господа, ведь это – предложение мира с большевиками!» Правда, союзные дипломатические представители вскоре уверили Верховного Правителя в сохраняющемся благорасположении, предполагая, что конференция «задумана для того, чтобы испытать большевиков и после демонстрации их непримиримости создать основание для широкой помощи в борьбе с ними», и просили «до получения подробных разъяснений из Парижа не отказываться решительно от сделанного предложения». Гинс утверждает, что адмирал обещал им вообще не отвечать на «неясную по содержанию» радиограмму, однако в действительности ответ последовал в форме правительственного сообщения, опубликованного 28 января:

«23-го сего января Совещание Мирной Конференции в составе представителей Франции, Англии, Америки, Италии и Японии приняло решение, определяющее отношение этих государств к России. Точный текст этого постановления еще не известен Русскому Правительству. Однако оно осведомлено в общих чертах о содержании указанной резолюции, в которой Державы предлагают отдельным частям и группировкам России, располагающим на местах политической или военной властью, прислать к 15-му февраля своих представителей на Совещание, где будут присутствовать также и представители великих Держав…

Во избежание возможности преждевременных толкований и неправильного понимания сущности предложений Держав, Правительство считает долгом заявить, что начатые в связи с этим переговоры с союзниками ни в какой мере не могут отразиться на борьбе, ведущейся сейчас на фронте против предателей родины, и что ответственная работа воссоздания

Государства Российского, творимая сейчас в Сибири и на Востоке России, будет продолжаться Правительством с прежним напряжением».

Кто и кого испытывал, в результате так и осталось невыясненным, потому что советское правительство, несмотря на довольно благоприятное для него положение на фронтах, обеими руками ухватилось за «неясное по содержанию» предложение. Первоначально Совнарком также запросил разъяснений, но уже 4 февраля разразился самыми широкими обещаниями. Было заявлено о готовности «признать долги старого правительства»; «приступить немедленно к выплате процентов по старым займам и предоставить ряд концессий государствам или капиталистам»; воздержаться («на основе взаимности») от политической пропаганды; провозглашалось даже согласие «говорить и о территориальных уступках». Условие было только одно – «ничто не должно мешать советскому народу устраивать свою жизнь на социалистических началах». Фактически Ленин за допущение в Россию иностранного капитала, предоставление экономических выгод и проч. стремился выторговать себе свободу рук внутри контролируемой части страны (весной 1919 года он соглашался и на замораживание всех фронтов, после чего «все существующие де факто правительства» оставались бы «на занимаемых ими территориях»).

Невелики сомнения в том, что западные державы охотно пошли бы на столь выгодные условия, которые к тому же вполне соответствовали как пацифистским, так и «прогрессивным» устремлениям одного из влиятельнейших участников мирной конференции – американского президента Вильсона. «Я думаю, – вспоминал британский премьер-министр Д.Ллойд-Джордж, – что идеалистически настроенный президент… смотрел на себя как на миссионера, призванием которого было спасение бедных европейских язычников… Особенно поразителен был взрыв его чувств, когда, говоря о Лиге наций, он стал объяснять неудачи христианства в достижении высоких идеалов. “Почему, – спрашивал он, – Иисус Христос не добился того, чтобы мир уверовал в Его учение? Потому, что Он проповедовал лишь идеалы, а не указывал практического пути для их достижения. Я же предлагаю практическую схему, чтобы довести до конца стремления Христа”. Клемансо (французский министр-председатель. – А.К.) молча раскрыл широко свои темные глаза и оглядел присутствующих…» Русские военачальники, к счастью, были избавлены от подобных сентенций, но заявления союзников о нежелании «ни под каким условием» поддерживать «противореволюционную деятельность» тоже могли заставить

недоуменно вытаращить глаза. И потому, решительным протестом сорвав очередную ленинскую попытку торговать Россией, правительство Колчака выступило с официальным обращением, опубликованным 21 февраля и явно адресованным иностранным радетелям демократии.

«… Правительство Российское, – говорилось в нем, – вынуждено торжественно и твердо заявить, что оно нанесло бы смертельный удар великому делу, им защищаемому, если бы пошло на соглашение и примирение с так называемой “советской властью”. Было бы бесплодно и нецелесообразно добиваться соглашения между Правительством, вдохновляемым идеями правового, демократического и национального государства, и организацией, которая сверху донизу построена на последовательном отрицании этих великих начал».

Подробное, многословное и аргументированное объяснение, почему тоталитарно-террористическая практика Советской власти не соответствовала «великим завоеваниям демократии», а ее внешняя политика являлась антинациональной, преследовало, должно быть, те же цели, что и включение Колчаком в заграничное «представительство России» (наряду с «царским» дипломатом С.Д.Сазоновым и «дипломатом Временного Правительства» В.А.Маклаковым) князя Львова и Чайковского, несмотря на тяжелую ответственность за развал государства в 1917 году, которая лежала на первом, и на откровенно выраженную вторым неприязнь к «диктатуре». Разыгрывание «демократической» карты, кажется, приносило определенные плоды и усиливало позиции тех иностранцев, которые смотрели на положение России более здраво. И 23 февраля 1919 года Колчак уже говорил с полной уверенностью:

«Еще недавно вся Свободная Россия была встревожена, когда получилось предложение Держав Согласия всем Правительственным организациям, обладающим вооруженными силами, послать представителей на Принцевы острова для соглашения с большевиками. Мы сочли ниже своего достоинства даже отвечать на эти предложения. Ныне этот вопрос может считаться поконченным. Сговора с большевиками на Принцевых островах не будет, и те Западно-Европейские государственные деятели, которые еще недавно поддерживали эти планы, ныне, прозрев, клеймят большевиков названием убийц и террористов, как то сделал Ллойд-Джордж в палате депутатов».

В то же время основания для беспокойства и даже недоверия к союзникам отнюдь не исчезли. На Парижскую конференцию, подводившую итоги Мировой войны, русские представители не были допущены, и им пришлось ограничить свою деятельность

«декларациями, записками, иногда личными неофициальными беседами», переоценивать которые, конечно, не следовало. В результате Версальский договор, подписанный, в частности, представителями Боливии, Кубы, Гаити, Либерии, Сиама идр. и трактовавший среди прочих вопросов о передаче немцами Британии «черепа Султана Макауа», вывезенного из Германской Восточной Африки, – не имел подписи кого-либо из представителей России и ограничился в отношении самóй России процитированными ранее положениями. Ни к чему оказалось и «Особое подготовительное к мирным переговорам Совещание», образованное при министерстве иностранных дел согласно утвержденному Колчаком постановлению Совета министров от 17 декабря 1918 года (задачами Совещания были «собирание и всесторонняя разработка материалов по вопросам, связанным с мирными переговорами и с взаимоотношениями России с союзниками и помощью, оказываемой ими России»).

Мы видели, впрочем, что даже те немногие упоминания о России и ее интересах, которые были сделаны в Версале, позволяли надеяться на трактовку их в достаточно выгодном направлении, а потому вопрос вставал об официальном дипломатическом признании иностранцами правительства Колчака. Однако на это пошло лишь новообразованное Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, сообщившее о согласии «принять вновь назначенного Российского Посланника в Белграде» в качестве «представителя Российского Правительства, возглавляемого Адмиралом Колчак». Великие державы, напротив, ограничивались любезностями – такими, например, как апрельские телеграммы министра-председателя Франции Ж.Клемансо и военного министра Великобритании У.Черчилля по случаю успехов на фронте Верховного Правителя или ответ Клемансо на поздравление адмирала по случаю заключения мира («Я горячо желаю, – писал французский политик, – чтобы под Вашим благородным водительством защитники свободы и национального бытия России вышли в свою очередь победителями из той борьбы, которую они ведут»).

Казалось, что шаг к признанию был сделан в результате произошедшего весной и в начале лета обмена дипломатическими нотами, который Колчак, если верить воспоминаниям генерала М.А.Иностранцева, иронически охарактеризовал как попытку «меня исповедовать на ту тему, какой я демократ». Подписавшие первую ноту главы правительств Англии, США, Франции, Италии и Японии заявляли в ней, что «готовы оказать поддержку правительству адмирала Колчака и тем, которые работают вместе с ним, посылкой снабжения и

военных припасов, дабы оно сделалось правительством всей России, при том, однако, условии, что союзные и соучаствующие правительства получат определенные гарантии, что его политика преследует ту же цель, что и они». В принципе, это было их право – помогать лишь тем, кого они считали бы в полном смысле слова своими единомышленниками, – однако только до тех пор, пока задаваемые Верховному Правителю вопросы не превращались во вмешательство в русские дела.

Колчак ответил, что врученную ему власть он «не намерен удерживать… ни на один день дольше, чем это требуется благом страны», и подтвердил данные ранее русскому обществу обещания о созыве Учредительного Собрания. Он повторил неоднократно сделанные заверения о намерении строить государство на основах законности и широкого местного самоуправления, демократии и отказа от механической реставрации прошлого. Гораздо резче прозвучал голос Верховного Правителя по вопросам взаимоотношений с новообразованными окраинными государствами.

Полностью признана была лишь независимость Польши, о чем в той или иной форме делались официальные заявления еще до октября 1917 года. Однако установление русско-польской границы откладывалось до Учредительного Собрания, а в административной практике «колчаковского государства» по отношению к полякам имелись свои особенности, о которых союзникам знать было вовсе не обязательно. Так, согласно утвержденному адмиралом постановлению Совета министров от 20 марта 1919 года «русско-подданные польской национальности», желающие выйти из русского подданства, освобождались от призыва в армию, но… лишь «в случае их желания сражаться в формируемых национальных польских частях»; таким образом, «сибирских поляков» в сущности также мобилизовали, только теперь уже как «иностранных союзников».

Двойственный характер имел ответ Колчака на вопрос о независимости Финляндии. «Готовность признать фактически существующее финляндское правительство» сочеталась в нем с утверждением: «окончательное же решение вопроса о Финляндии принадлежит Учредительному Собранию». Барон Будберг, перебравшийся из Харбина в Омск и некоторое время занимавший даже пост военного министра, впоследствии брюзжал, что генерал Маннергейм «предлагал Верховному Правителю двинуть на Петроград стотысячную финскую армию и просил за это заявить об официальном признании нами независимости Финляндии», но предложение было отвергнуто, что якобы и привело к катастрофе всей борьбы за освобождение

России. «Он с восторгом рассказал случай, – пишет Будберг об адмирале, – с отказом принять предложение помощи Маннергейма только потому, что надо было поступиться и признать независимость Финляндии; когда же я ему высказал, что не было ли такое решение крупной военной и государственной ошибкой, то он весь вспыхнул, страшно огорчился и ответил, что идеею великой, неделимой России он не поступится никогда и ни за какие минутные выгоды». Объективность все же требует признать, что даже с точки зрения «реальной политики» прав был не Будберг, а Колчак, когда говорил: «Мы их признаем, а они все-таки не помогут». Вспомним стратегическую ошибку генерала Юденича, слишком долго делавшего ставку на Финляндию: Маннергейм, проиграв в июле 1919 года президентские выборы, уехал заграницу, а все «финские корпуса» так и остались в воображении любителей «переигрывать» историю.

Заметим здесь же, что Колчак вполне благосклонно относился к идее союза с Финляндией и 26 мая телеграфировал Юденичу: «Поход Маннергейма на Петроград чрезвычайно желателен, но при непременном условии участия в нем русского отряда под Вашим командованием», – соглашаясь на передачу «общего руководства военными действиями» финнам, с условием, однако, чтобы в освобожденной столице была установлена русская администрация. Окончательное же признание независимости Финляндии Колчак упорно откладывал, и причины, в общем, понятны: вопрос о государственной границе, которая стала бы проходить в непосредственной близости от Петрограда, не мог быть решен в горячке войны, да еще при преобладании финских войск в регионе. Вот как комментировался в русской печати соответствующий пункт ноты Верховного Правителя: «… Для ограждения столицы от возможности нападения врага со стороны Финляндии, России в силу необходимости приходится иметь там целый ряд крепостей и держать там русские войска. Это обстоятельство заставляет Российское Правительство очень осторожно относиться к полной независимости Финляндии и передать окончательное решение этого вопроса Учредительному Собранию». Поэтому, как вспоминал Гинс, адмирал опасался скоропалительным решением «связать Россию», и здесь ему нельзя отказать ни в благородном государственном чувстве, ни в определенном политическом расчете.

Для остальных же окраинных областей, также претендовавших на независимость («национальных группировок Эстонии, Латвии, Литвы, Кавказских и Закаспийских народностей»), у Колчака была лишь автономия. Любопытна и

эволюция взглядов, бытовавших в Сибири на «украинский вопрос»: если в декабре 1918 года предполагалось, что украинские воинские части, формируемые здесь, будут на правах союзных находиться в подчинении генерала Жанена, то весной 1919-го украинский «курень [89]имени Тараса Шевченко» вышел на фронт в составе русского соединения (где и запятнал себя изменой и переходом к противнику), в апреле Колчак передавал Хорвату, «что он не находит возможным сейчас разрешать формирование украинских частей», а в июне фронтовая газета с гневом писала о новых «украинских» проектах: «Из каких русских людей образованы эти украинцы? Ведь никаких украинцев нет, их сочинили Австрия и Германия, чтобы отколоть часть России. Не достаточно ли этой комедии. Неужели недавние горькие уроки прошли даром?» В ответе же Верховного Правителя на союзную ноту Украина даже не упоминается…

Зато упоминается оккупированная румынами Бессарабия, судьбу которой союзники передавали на решение международной мирной конференции. Напротив, адмирал определенно отнес «бессарабскую» проблему к компетенции русского Учредительного Собрания, а в частной беседе, очевидно, отнюдь не полагаясь на добрую волю Румынии, отозвался о ней сурово и лаконично: «Все эти вопросы решит война».

Было ли это бравадой? Нет, в словах Александра Васильевича звучала подлинная решимость, – ведь даже в тот момент, а не в какой-то отдаленной перспективе, он был готов отстаивать русскую честь и русское достояние вооруженной рукою. Так, когда 26 сентября 1919 года командование союзного контингента во Владивостоке потребовало вывести из города русские части, – Командующий Приамурским военным округом получил из Омска следующую телеграмму:

«Повелеваю вам оставить русские войска во Владивостоке и без моего повеления их оттуда не выводить. Интересы государственного спокойствия требуют присутствия во Владивостоке русских войск…

Сообщите союзному командованию, что Владивосток есть русская крепость, в которой русские войска подчинены мне и ничьих распоряжений, кроме моих и уполномоченных мною лиц, не исполняют.

Повелеваю вам оградить от всяких посягательств суверенные права России на территории крепости Владивосток, не останавливаясь в крайнем случае ни перед чем.

Об этом моем повелении уведомьте также союзное командование».

Единомышленниками и надежными сотрудниками

Верховного Правителя в этом вопросе оказываются дальневосточные Атаманы, в чей адрес обычно раздается так много упреков. А ведь нельзя забывать, что как Семенов, так и Калмыков перед лицом недружественных иностранцев оказывались в роли защитников русских рубежей, и на упреки в адрес обоих генералов, «не давших ни одного человека на основной противобольшевицкий фронт», следует напомнить: в Забайкальи и Приморьи им противостояли не только красные партизаны, но и… китайские войска.

В начале лета 1919 года из Пекина раздались резкие нападки на Атамана Семенова и угрозы открытия военных действий. «… Китайское правительство решило ввести свои войска в Маньчжурию и Читу, чтобы принудить меня оставить китайскую территорию и избавить местность от постоянной угрозы, – телеграфировал Григорий Михайлович Хорвату. – Я заявил местным китайским властям, что не допущу перехода границы Забайкалья китайскими войсками, им тут нечего делать». Кажется, с той же точки зрения следует рассматривать и поддержку Атаманом монгольских князей, стремившихся к отделению от Китая ряда территорий и в любом случае создававших немало забот китайской администрации, у которой, таким образом, оставалось меньше времени и сил для действий против России.

Зная о внутренних раздорах между пекинским правительством и его представителями на местах, Семенов попытался сыграть и на этом. В октябре 1919 года он ездил в Мукден для переговоров с генерал-инспектором Северо-Восточных провинций Китая (Маньчжурии), властным и самостоятельным генералом Чжан Цзо-Лином, и попытался добиться его согласия на ввод в полосу отчуждения русских войск из Забайкалья. Чжан Цзо-Лин то ли ушел от ответа, то ли лицемерно пообещал содействие, но не вселил в Атамана полного доверия, тем более что Григорий Михайлович уже делал попытки ввести в полосу отчуждения свои части под видом переброски их в Приморье (высадка «семеновцев» из эшелонов была пресечена китайскими войсками). Действия Атамана явно вели к восстановлению русского влияния на КВЖД во всем его объеме, и достойно сожаления, что они, как и «монгольский проект», были тенденциозно представлены адмиралу Колчаку в качестве «прояпонских авантюр».

Сразу подчеркнем, что недружелюбие китайцев вовсе не было ответом на эти решительные и действительно авантюрные поступки Атамана. Еще в мае стало известно о готовящейся пекинским правительством отправке на Амур «трех речных

крейсеров», а в июле японский представитель сообщал адмиралу Тимиреву о начале реализации этих планов. По-видимому, подготовка экспедиции затянулась, и китайские корабли на Амуре появились только в октябре. Вопреки распространенному мнению, это были не речные пароходы, спустившиеся из Маньчжурии по Сунгари, а мореходные канонерские лодки из Шанхая, вошедшие с моря в устье Амура и двинувшиеся вверх по реке. Однако 24 или 25 октября (в источниках приводятся различные даты) канонерки были обстреляны с берега артиллерийским огнем верстах в двадцати от Хабаровска.

Приказ об открытии огня отдал Атаман Калмыков, который потребовал немедленно увести корабли в Николаевск-на-Амуре, что китайцы и вынуждены были сделать, – Колчак же благодарил Калмыкова за проявленную твердость. Показательно, что ни пекинское правительство, ни генерал Чжан Цзо-Лин, несмотря на угрозы, так и не решились ни на какие ответные действия; но вряд ли это следует объяснять исключительно твердой позицией Атаманов или авторитетом Верховного Правителя. Похоже, что свою роль тут сыграла позиция союзников, пока не собиравшихся отступаться от адмирала, – с западными же державами Китай явно не желал ссориться.

А официального признания союзниками так и не состоялось. Правда, в ответ на ноту Колчака они еще 12 июня выразили свое удовлетворение и обещали поддержку, тем более что за поставки оружия, обмундирования, даже отпечатанных заграницей денежных знаков Российское Правительство сполна расплачивалось. И потому возникает вопрос, насколько необходимым было это признание?

«… Признания все-таки не было, и помощь союзников оставалась случайной и бессистемной», – утверждает Гинс, выделяя всю фразу курсивом. Кроме того, не будем забывать и аргумент, уже прозвучавший в цитированной нами телеграмме Юденича: великие державы могли оказывать давление на новообразованные окраинные государства, для которых непосредственные переговоры с центральным русским правительством, очевидно, были бы осложнены взаимным недоверием и претензиями. Так, 8 июля 1919 года тот же Юденич телеграфировал в Омск: «… Необходимо помочь Маннергейму получить от Англии прямое предложение наступать с обещанием поддержки деньгами и вооружением». Быть может, такое привлечение иностранцев для посредничества между Россией и отдельными областями бывшей Империи и казалось весьма неприглядным, однако «реальная политика» и тяжелая обстановка Гражданской войны то и дело диктовали свои

условия.

Но все-таки главным фактором во внешней политике адмирала Колчака оставались успехи или неудачи на внутреннем фронте.

Глава 14
Прокладывая курс

«Внешнюю политику делала армия. От нее зависели и размеры, и последовательность помощи союзников», – написал в своей книге «впечатлений и мыслей члена Омского Правительства» Гинс, и слова эти можно толковать двояко. Буквальное прочтение связывает объем и характер иностранных поставок с реальными потребностями воюющей армии. Однако есть и более глубокий смысл: союзная помощь оказывалась с оглядкой на ход боевых действий, и войскам Верховного Правителя приходилось почти буквально завоевывать доброе расположение иностранцев. Казалось бы, тезис о преобладании в военное время военного же фактора выглядит очевидным, однако слишком часто он подменяется поисками причин как побед, так и поражений в любой сфере (административной, идеологической, аграрной, финансовой…), только не военной. С подобной точки зрения оценивают обычно и борьбу адмирала Колчака, а значит, и нам не миновать обсуждения этих вопросов.

Мы уже привыкли, что нападки на Верховного Правителя и его политику производятся с диаметрально противоположных позиций. Это относится и к вопросу о целях борьбы, которые одними осуждаются из-за пренебрежения «народовластием» и Учредительным Собранием, а другими, наоборот, из-за якобы чрезмерной привязанности к расплывчатому лозунгу «Учредилки». Определенную расплывчатость правительственных деклараций и неэффективность осведомительно-агитационного аппарата признавал, в сущности, и сам Колчак, начав свой приказ, отданный 26 июля 1919 года, с фразы, которая звучит весьма удручающе: «Ко мне поступают сведения, что во многих частях до настоящего времени остаются неизвестными цели и задачи, во имя которых я веду и буду вести с большевиками войну до полной победы». Как же формулировал эти цели Верховный Правитель России?

«Мы ведем борьбу за Русское Национальное дело – дело восстановления нашей Родины как свободного, единого и независимого Государства.

Мы ведем борьбу за право самого народа путем свободных выборов и голосования в Учредительном Национальном Собрании определить свою судьбу в устройстве государственной власти и в удовлетворении потребностей земледельцев в земле и рабочих [–] условиями и обстановкой труда [90].

Чуждые религиозной нетерпимости – мы ведем борьбу за то, чтобы никто не смел посягать на наши древние и чтимые народом святыни и нашу веру.

Наша родина стоит перед потерей государственной и национальной самостоятельности и разделом.

Большевики, обещавшие народу мир, хлеб и свободу, дали ему братоубийственную войну, голод и гнет неограниченной власти кучки людей, лишенных Родины, веры и чести.

Мы ведем борьбу за то, чтобы их уничтожить…

Если это не удастся, то не только народные чаяния не получат осуществления, но наступит роковой час, когда нашей судьбой неминуемо станут распоряжаться другие».

Уязвимы ли эти формулировки с точки зрения политической или экономической программы? Безусловно – они слишком неконкретны, – но ведь ни разработка, ни объявление таких программ не были целью Александра Васильевича при написании приказа для прочтения «во всех ротах, эскадронах, сотнях, батареях и командах». Зато принципиальные положения сформулированы достаточно четко: борьба за существование, а не за какую-либо программу; неизбежность этой борьбы, поскольку противник несет уничтожение самим основам жизни (вере в Бога, свободе и самостоятельности народа и государства); наконец, идеал свободы, самостоятельности и справедливости, который, даже не будучи конкретным, апеллирует в сущности к инстинктивному восприятию и потому не может не быть понятным. «Часто приходилось слышать, что Белое Движение не имело успеха потому, что его лозунги были неопределенны и непонятны. Это ложь и лицемерие, – писал генерал Казанович, доблестно сражавшийся на Юге. – Подняв наше старое трехцветное знамя, Корнилов и те, кто с честью носили это знамя после него, обещали Отечество… Опомнитесь, русские люди! Какие вам нужны еще лозунги?»

Говорилось тогда, говорится и сейчас, что лозунг Отечества смысла не имеет, – иногда с апелляцией к «недостаточной сознательности» народа, для которого Отечество персонифицировалось в Царе и само по себе якобы не существовало. Однако на поверку эта аргументация довольно уязвима: для сибирского крестьянина или забайкальского казака образ Царя был не более конкретен, чем понятия об Отечестве. Представления о сакральном характере монархической власти в начале XX века утрачивались «простым народом» не в меньшей степени, чем «образованными классами», и далекий Царь был подчас столь же непонятен, как и «расплывчатое» Отечество; и показательны крестьянские разговоры, зафиксированные на

Юге России не больно-то грамотным деникинским агентом: «желание крестьян получить землю а на счет правление говорят что если будет земля у нас тогда пусть будет и царь нам все равно» [91]. Более основательно другое мнение – о равнодушии широких народных масс к идее «Учредилки». А вот каково было подлинное отношение к Учредительному Собранию Верховного Правителя России?

Весьма скверную услугу оказал Александру Васильевичу генерал Иностранцев, приведя в своих воспоминаниях «саркастический» рассказ о реакции адмирала на уже известную нам ноту союзников: «Во-первых, я им ответил, что Учредительное Собрание или, вернее, Земский Собор я собрать намерен, и намерен безусловно, но лишь тогда, когда вся Россия будет очищена от большевиков и в ней настанет правопорядок, а до этого о всяком словоговорении – не может быть и речи. Во-вторых, ответил им, что избранное при Керенском Учредительное Собрание – за таковое не признаю и собраться ему не позволю, а если оно соберется самочинно, то я его разгоню, а тех, кто не будет повиноваться, то и – повешу! – Тут Верховный Правитель снова засмеялся. – Наконец, при выборах в настоящее Учредительное Собрание пропущу в него лишь государственно-здоровые элементы и людей работоспособных и знающих, а не говорунов. Вот – какой я демократ! – Адмирал снова рассмеялся и снова оглядел всех нас». Чрезвычайно благодарный материал для тех, кто желает выставить Колчака убежденным «диктатором» и глумливым «антидемократом», – эта цитата, однако, не выдерживает сопоставления с подлинными текстами как ответа союзникам, так и заявлений, сделанных Верховным Правителем для русской аудитории.

«В день окончательного разгрома большевиков моей первой заботой будет назначение выборов в Учредительное Собрание… – писал Колчак в своей ответной ноте. – Признавая себя ответственным перед этим Учредительным Собранием, я передам ему всю власть, дабы оно свободным решением определило будущее устройство государства…» Эти слова имеют не официальное, а очень «личное» звучание, и то же можно сказать о выступлении Александра Васильевича перед представителями сибирской прессы 28 ноября 1918 года, в первые дни после принятия верховной власти.

«Раз будут созданы нормальные условия жизни, – говорил тогда Колчак, – раз в стране будут царить законность и порядок, тогда возможно будет приступить и к созыву Национального Собрания.

Я избегаю называть Национальное Собрание –

Учредительным Собранием, так как последнее слово слишком скомпрометировано. Опыт созыва Учредительного Собрания, собранного в дни развала страны, дал слишком односторонний партийный состав. Вместо Учредительного Собрания собралось партийное, которое запело интернационал и было разогнано матросом. Повторение такого опыта недопустимо.

Вот почему я и говорю о созыве Национального Собрания, где народ в лице своих полномочных представителей установит формы государственного правления соответственно национальным интересам России [92].

Я не знаю иного пути к решению этого основного вопроса, кроме того пути, который лежит через Учредительное Собрание».

О том же говорилось и в присяге, которую Колчак в торжественной обстановке принял 29 января 1919 года (принятие присяги было следствием его собственного настоятельно выраженного желания):

«Обещаюсь и клянусь перед Всемогущим Богом и Святым Его Евангелием и Животворящим Крестом быть верным и неизменно преданным Российскому Государству как своему отечеству. Обещаюсь и клянусь служить ему по долгу Верховного Правителя, не щадя жизни моей, не увлекаясь ни родством, ни дружбой, ни враждой, ни корыстью, и памятуя единственно о возрождении и преуспеянии Государства Российского. Обещаюсь и клянусь воспринятую мною от Совета Министров верховную власть осуществлять согласно с законами государства до установления образа правления свободно выраженной волей народа.

В заключение данной мной клятвы осеняю себя крестным знамением и целую Слова и Крест Спасителя моего. Аминь».

Практическим шагом к реализации этих намерений стало образование «подготовительной Комиссии по разработке вопросов о Всероссийском Представительном Собрании учредительного характера и областных представительных учреждениях». Согласно утвержденному 29 апреля «Положению», комиссии, которая должна была «открыть свои действия» 18 мая, следовало заняться «разработкой материалов и выработкой общих начал по организации Всероссийского Представительного Собрания учредительного характера, а равно Областных Представительных Собраний» и «собиранием, рассмотрением и оценкой материалов, касающихся Всероссийского Учредительного Собрания созыва 1917 года, для подготовки данных к законопроекту о выборах в будущее Всероссийское Представительное Собрание учредительного характера».

Таким образом как будто складывается цельная картина – неприятия Колчаком революционного Учредительного Собрания

(и даже нелюбви к самому этому термину, который, однако, в течение 1919 года все чаще и чаще возвращается в официальный лексикон) и явно выраженного его стремления к созыву нового представительного органа с теми же функциями. Однако подобная картина, на наш взгляд, все-таки противоречит тому, что известно о мировоззрении Александра Васильевича, и противоречие это кажется внутренней загадкой адмирала, разгадки не имеющей…

Действительно, мы уже не раз видели резкий антидемократизм Колчака. Верховный Правитель не отрицал коллегиальных методов работы (вспомним примеры Совета Верховного и Экономического Совещания), но это относилось именно к работе и привлечению к ней в первую очередь лиц, компетентных в каких-либо конкретных вопросах, – с этой точки зрения, кстати, психологически правдоподобным кажется рассказ Иностранцева («… пропущу… людей работоспособных и знающих»). Слова из «монолога Хизахидэ» о демократии как «развращенной народной массе, желающей власти», и о том, что «власть не может принадлежать массам, большому числу, в силу закона глупости числа», независимо от их подлинного авторства отражают и мнение адмирала («Hisahide замолчал – мне нечего было возразить ему»). Но как же можно сочетать с этим декларированное стремление отдать судьбу страны в руки демократического представительного органа?

Увы, об этом можно лишь строить догадки. Хотел ли адмирал созывать свое Национальное Собрание не на демократических, а на quasi-аристократических принципах или с заведомым перевесом членов по назначению (как в Государственном Совете или в Земском Соборе по схеме Дитерихса)? Но тогда он вряд ли мог не понимать, что встретит недовольство и даже, наверное, противодействие своих же сотрудников – гораздо более убежденных и искренних демократов… Лукавил ли он в угоду омской «общественности» и иностранным союзникам? Но это противоречит известной нам искренности Александра Васильевича и мужеству, с которым он шел «против течения» всегда, когда находил это нужным… Оказался ли крест Верховной Власти слишком тяжелым, вызывая инстинктивное стремление переложить гнет ответственности на «народное волеизъявление»? Но никогда, ни до, ни после этого, даже в страшные дни сибирской катастрофы, адмирал Колчак не пытался убежать от ответственности, и даже если, как и у многих людей, в его жизни были минуты слабости и упадка духа, – чрезвычайно маловероятно, чтобы эти минуты с завидной регулярностью повторялись именно в связи с произнесением программных речей

или составлением официальных документов…

Неоспоримыми нам кажутся лишь два утверждения. Созыв Учредительного Собрания или Земского Собора на следующий день после занятия Москвы выглядит слишком несерьезно. Поэтому следует прислушаться к словам адмирала о «созданных нормальных условиях жизни» и «царящих в стране законности и порядке» как необходимых условиях такого созыва. За этими словами явственно вырисовывается сравнительно долгий период успокоения взбаламученной страны, соответствующий известной «декларации Добровольческой Армии» (1918) об освобождении русского народа «от рабской неволи и стихийного помешательства». Второе, быть может, казалось задачей более сложной, чем первое, но отказываться и от этой задачи было решительно невозможно.

Кроме того, «аристократическое начало», импонировавшее Колчаку, и его уверенность офицера в необходимости единоличной военной власти отнюдь не отменяют восприятия этой власти именно как тяжкого креста. Адмирал не уклоняется от него, но и не упивается своими чрезвычайными полномочиями; он не стяжатель и не честолюбец; он действительно всего лишь («всего лишь»!) первый солдат.

«Меня называют диктатором.

Пусть так, я не боюсь этого слова и помню, что диктатура с древнейших времен была учреждением республиканским, – говорит Колчак представителям печати, далее давая совершенно точную характеристику сущности своей власти. – Как Сенат древнего Рима в тяжкие минуты Государства назначал диктатора, так Совет Министров Российского Государства в тягчайшую из тяжких минут нашей Государственной жизни, идя навстречу общественным настроениям, назначил меня Верховным Правителем».

Это было сказано Александром Васильевичем поздней осенью 1918-го; а почти через год, осенью 1919-го, он напишет жене в Париж: «Я прошу Тебя уяснить, как я сам понимаю свое положение и свои задачи. Они определяются старинным рыцарским девизом Богемского короля Иоанна, павшего в битве при Кресси – “Ich diene” [93]. Я служу Родине своей, Великой России, так, как я служил ей все время, командуя кораблем, [минной] дивизией или флотом»; «Я не являюсь ни с какой стороны представителем [94]наследственной или выборной власти. Я смотрю на свое звание как на должность чисто служебного характера. По существу, я Верховный Главнокомандующий, принявший на себя функции и Верховной Гражданской Власти, так как для успешной борьбы нельзя

отделить последние от функций первого».

Отметим здесь же и уважение к официальному обоснованию полномочий Верховного Правителя, которые, как мы помним, определялись «Положением о временном устройстве государственной власти в России». Этот документ устанавливал переход власти Верховного Правителя (в случае его смерти, долговременного отсутствия или отречения) к Совету министров, и, должно быть, именно в этом следует искать корни решения, о котором Александр Васильевич 28 июня 1919 года писал донскому Атаману генералу А.П.Богаевскому:

«… По моему предложению Совет Министров постановил учредить должность Заместителя Верховного Главнокомандующего, и я своим указом назначил на эту должность Главнокомандующего вооруженными силами Юга России А.И.Деникина.

Таким образом устанавливается преемственность Верховного Командования Русской Армией, и с этой стороны я могу быть спокойным.

Более сложным представляется вопрос о преемственности власти Верховного Правителя, и я не решаю пока его ввиду огромной политической сложности этого дела».

Наступит день, когда адмирал нарушит «Положение о временном устройстве…» и сделает это, скорее всего, осознанно… но к тому времени ситуация кардинально изменится, да и Совет министров выйдет за рамки своих прерогатив. Пока же забота о соблюдении законности и тех актов, которыми определяется государственное устройство Свободной России (мы помним это определение Колчака!), является для Верховного Правителя одной из первоочередных. Отметим здесь и возобновление работ Правительствующего Сената – в Российской Империи «верховного органа административной юстиции». Открытие временных присутствий Сената состоялось в Омске 29 января 1919 года согласно закону от 24 декабря 1918-го, причем Верховный Правитель произнес на торжественной церемонии речь, в которой подчеркнул государственную важность «идеи права и законности» как противовеса действиям авантюристов-узурпаторов:

«… Упразднение [большевиками] Сената и судов подрывало самые основы государственного строя и лишало население последней опоры – законного охранения его прав личных и имущественных, – а самочинную власть – характера правового и государственного.

С этого момента и надолго идея права и законности затемнилась в сознании и действиях мятущейся под гнетом

насильников страны…

Приняв от Совета Министров в условиях исключительно трудных всю полноту власти, я поставил тогда же одной из основных своих целей и повелительным гражданским долгом установление законности и правопорядка в стране.

Ныне эта цель получает свое завершение: возобновляется деятельность Правительствующего Сената, и я глубоко счастлив приветствовать Вас в этот великий день торжествующей правды и права».

О том значении, которое Колчак придавал восстановлению правового государства, говорит и организация в его кабинете министров «Комитета законности и порядка», о котором подробно рассказывает в своих записках Сукин: «Этот комитет состоял всего лишь из трех лиц – Министров Юстиции, Военного и Внутренних Дел. Он должен был собираться по меньшей мере два раза в неделю и обсуждать все накопившиеся случаи нарушения законности Правительственными агентами. Будучи чисто деловым и по неосторожности лишенным характера “комиссии” со всеми недостатками формализма и процедуры, это новое учреждение все же было официальным, а не частным совещанием Министров. Особым законом ему были приданы весьма широкие и решающие полномочия, а именно – право немедленной отмены по телеграфу всех неправильных приказов, “особых постановлений” и других распоряжений военных и гражданских властей, даже в зонах, где объявлено военное положение. В этот комитет имели право жаловаться все граждане, считавшие свои права нарушенными. Он действовал быстро. В течение трех дней можно было получить удовлетворение…»

Однако такого комитета (сам же Сукин признавал, что «идея эта не получила достаточного распространения» и «немногие сумели оценить значение этой весьма удачной мысли») и тем более – одного открытия заседаний Сената для установления правопорядка было решительно недостаточно. Плевелы своеволия и беззакония прорастали и в душах иных из солдат и офицеров армии, ведущей тяжелую борьбу «за правду и право». Сочетать беспощадность к врагу с законностью действий удавалось далеко не всегда, и ярким примером этого стали омские события 22 декабря 1918 года, не менее важные для нас с точки зрения позиции, занятой Верховным Правителем.

В ночь на 22-е, как сообщалось в циркулярной телеграмме генерала Лебедева войсковым начальникам, «группы вооруженных рабочих-большевиков и других темных элементов освободили из тюрьмы часть арестованных, сделали попытки произвести беспорядок в войсковых частях, в городе (Омске. –

А.К.), и временно захватили железнодорожную станцию Куломзино… Вызванные по тревоге части Омского гарнизона уничтожили банды преступников, и в городе и его окрестностях установилось полное спокойствие». Далее Лебедев сообщал, что «Верховный Правитель отдал приказ о беспощадном уничтожении всех лиц, пытающихся произвести беспорядок». Эта телеграмма была отправлена 22 декабря, и тем же днем датирован приказ Колчака с благодарностью «начальникам, г. г. офицерам и солдатам и казакам частей гарнизона, вызывавшихся по тревоге для восстановления порядка»; «все, принимавшие участие в беспорядках или причастные к ним», этим приказом предавались военно-полевому суду.

Александр Васильевич был в эти дни серьезно болен – у него начиналось воспаление легких (одной из причин было то, что адмирал одевался так же, как и его армия, – в легкую шинель солдатского сукна). «К концу декабря болезнь достигла такой степени, что Колчак едва говорил, едва мог поднять голову с подушки, – рассказывает Сукин. – Потухшими глазами он смотрел на окружающих и с грустью говорил, что боится не выжить… Беспокойство за жизнь Верховного Правителя и тревога за судьбу государственного дела породили у некоторых министров и генералов мысль, не пора ли телеграфировать Деникину и принять какие-либо решения». С.П.Мельгунов на основании бесспорного факта – болезни адмирала – даже ставит под сомнение авторство приказа от 22 декабря: «Какая личная ответственность может быть у того, кто в этот час лежал в постели в 40-градусном жару, “еле дышал” и не мог даже “говорить”? Только “исследователь”, у которого отсутствует всякое критическое отношение к формальным документам, перед ним лежащим, будет продолжать утверждать, что все выходившие в эти дни от имени Верховного правителя приказы принадлежат личной инициативе Колчака». Речь же об ответственности зашла потому, что после подавления мятежа часть «бывших арестованных» (освобожденных мятежниками, но затем сдавшихся властям) была перебита без суда и следствия; среди жертв оказались и умеренные социалисты, члены Учредительного Собрания, к мятежу непричастные. Убийство вызвало волнения среди общественности, проникшие и на страницы сибирских газет.

Похоже, что отделить имя адмирала Колчака от подавления мятежа хотели уже в те дни – вряд ли случайно 25 декабря было впервые опубликовано официальное сообщение о состоянии здоровья Верховного Правителя, датированное 23 декабря, в котором серьезность заболевания несколько смягчалась, но в то

же время было подчеркнуто: «с 21-го декабря (то есть как раз накануне мятежа. – А.К.) болезнь заставила его лечь в постель». Тем не менее не только «формальные документы» свидетельствуют о том, что Верховный Правитель знал о происходившем намного больше, чем представляется Мельгунову.

Сукин свидетельствует: Колчак «не хотел давать волю болезни, стремился побороть в себе начало смерти. Он пытался принимать доклады даже тогда, когда доктора это запрещали». Согласно рассказу самого Александра Васильевича, 22 декабря он трижды получал сообщения Лебедева (личные или через адъютанта): около пяти часов пополуночи, в восемь или девять утра и «вечером». Услышав в конце дня, что суду собираются предать и «бывших арестованных», Колчак распорядился об отмене этого распоряжения, а о бессудной расправе узнал утром 23-го. Таким образом, у адмирала, кажется, была возможность продиктовать 22-го краткий приказ, которому не очень-то верит Мельгунов. Кроме Верховного, авторство документа могло принадлежать лишь Лебедеву, но последний по занимаемой должности начальника штаба имел законное право отдавать так называемые «приказания» в редакции «Верховный Главнокомандующий приказал…» и за собственной подписью и нужды прятаться за имя Колчака вроде бы не имел.

Адмирал был разгневан самоуправством; согласно собственному рассказу Александра Васильевича, он заявил посетившему его Вологодскому: «расстрел членов Учредительного собрания – акт, направленный против меня с целью дискредитировать меня в глазах союзников». В то же время Колчак считал, «что при подавлении восстания всегда возможны нарушения законных форм воздействия, но преследование за эти нарушения в будущем ослабит решительность действий по подавлению подобных эксцессов». Жестокая логика военного человека вступала, однако, в противоречие с началами законности, и после совещания с членами кабинета Верховный Правитель решил назначить расследование. Твердая позиция по обоим вопросам – о непримиримой борьбе и о недопущении произвола – нашла выражение в правительственном сообщении от 29 декабря:

«Ввиду появившихся в печати и в обществе сообщений о действиях должностных лиц при усмирении мятежа 22 декабря, Правительство считает долгом определенно заявить, что, будучи ответственным за судьбы и за спокойствие Государства, Правительство, в лице Верховного Правителя и Совета Министров, приняло твердое решение подавлять без малейших колебаний и с полной беспощадностью всякие попытки к

восстанию и потрясению установившегося государственного порядка; посему решительные и планомерные действия войск и милиции при подавлении мятежа 22 декабря представляются вполне соответствующими требованиям государственной необходимости, вследствие чего войскам и милиции, принимавшим участие в усмирении мятежа, Правительство выражает благодарность за умелое и мужественное выполнение их служебного долга.

Что касается сообщений о незакономерных [95]действиях отдельных должностных лиц, совершенных ими уже после подавления мятежа, то Правительство в глубоком убеждении, что без закономерности нет твердой власти, объявляет, что все такие незакономерные действия, не оправдываемые боевой обстановкой, встречали и встречают со стороны Правительства решительное осуждение, вследствие чего Правительство считает необходимым на основании дошедших до него сведений назначить расследование для проверки правильности действий должностных лиц, совершенных после подавления восстания, и о результате расследования незамедлительно объявить во всеобщее сведение».

А 31 января было опубликовано, «согласно последовавшего указания Верховного Правителя Министру Юстиции», постановление Совета министров об образовании «Чрезвычайной Следственной Комиссии… под председательством одного из Сенаторов уголовного Кассационного Департамента Правительствующего Сената». Возглавить комиссию было поручено сенатору А.К.Висковатову, и Колчак впоследствии вспоминал: «О работах Чрезвычайной комиссии Висковатов мне от времени до времени, когда находил нужным, делал доклады; я же считал, что, поручив следствие Висковатову, сделал все, что было нужно, и никаких мер более по этому делу не предпринимал». Помимо очевидной занятости Верховного Правителя, такая позиция могла объясняться и его нежеланием вмешиваться в ход разбирательства.

Проблема соотношения в военное время жестокости и закона, насилия и противодействия ему, особенно в ходе борьбы со вражеским подпольем, вообще нередко становится объектом спекуляций и демагогии. Жестокое время часто понуждало к жестоким мерам всех, – но достаточно беглого взгляда на противоположный лагерь, чтобы понять разницу между Свободной Россией и Советской Республикой. Председатель ВЧК Ф.Э.Дзержинский 17 сентября 1918 года в «Инструкции Чрезвычайным комиссиям» указывал: «Все дела, по которым закончено следствие, ликвидируются самой комиссией, за

исключением дел, относительно которых состоится особое постановление Комиссией о передаче этих дел в другие инстанции (революционные трибуналы, народные суды идр. – А.К.)», – с легкостью объединяя в руках ЧК арест, следствие, «суд» (в кавычках, потому что, не будучи независимым, он не мог называться полноправным судом), да заодно и исполнение «приговоров». Народный комиссар внутренних дел Г.И.Петровский той же осенью 1918-го требовал: «Из буржуазии и офицерства должны быть взяты значительные количества заложников. При малейших попытках сопротивления или малейшем движении (? – А.К.) в белогвардейской среде должен [пред]приниматься безоговорочно массовый расстрел», – рассылая приказ всем Совдепам и обязуя «проявить инициативу» массовых убийств… губисполкомы, то есть опять-таки органы, к юстиции не имевшие отношения. В результате свобода и жизнь тысяч была отдана в руки людей, гордо декламировавших в ответ на робкие попытки заикнуться о «введении ЧК в юридические рамки»:

«… Что может быть нелепее этих обывательских желаний, которые технический аппарат, выполняющий часть работы по проведению в жизнь диктатуры пролетариата путем угнетения его классовых врагов, хотят поставить в зависимость от мертвого кодекса законов. Мне возразят, что существуют революционные законы, но разве методы борьбы Ч. к. не являются этими самыми революционными законами?»; «Не ищите в деле обвинительных улик о том, восстал ли он против Совета оружием или словом. Первым долгом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование и какова его профессия. Вот эти вопросы должны разрешить судьбу обвиняемого».

И совершенно неважно, одернуло ли автора последнего утверждения (председателя «Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией на чехословацком фронте» М.Я.Лациса) его начальство и возымело ли это какие бы то ни было последствия для самого Лациса: важно, что люди именно таких взглядов и такой психологии наполняли карательные органы советской диктатуры. И потому не требуется каких-либо комментариев к процитированному – достаточно простого сопоставления стремлений к правопорядку у Верховного Правителя и его кабинета – с одной стороны, и – даже не пренебрежения, а принципиального отрицания права как такового и подмены его произволом узурпаторов – с другой.

Вернемся, однако, к адмиралу Колчаку. Именно его уважение к тем нормам, которые были установлены в процессе

государственного строительства, создает уверенность в том, что после возвращения России к законности и правопорядку Александр Васильевич подчинился бы решению представительного собрания о дальнейшей судьбе страны и характере государственной власти, каким бы это решение ни было. К сожалению, мы практически ничего не можем сказать о личных взглядах адмирала на последнюю проблему. То и дело в его речах звучат слова о республиканском устройстве будущей России, но они так тесно соседствуют с «общедемократической» фразеологией (чрезвычайно странной для Колчака, как отмечалось выше), что не выглядят убедительными. «Невозможность возвращения к старому», о чем также упоминал Верховный Правитель, с равной вероятностью может быть отнесена и к принципиальным вопросам государственного строя, и к конкретной практике Императорского правительства последних предреволюционных лет. Интересно, кроме того, что в то время, как русские сотрудники Колчака в своих суждениях о нем основываются на словах об Учредительном Собрании и создают «демократический» портрет Верховного Правителя, – иностранные представители часто предпочитают рисовать его в «реакционных» тонах.

Командующий американским контингентом на Дальнем Востоке генерал У.Грэвс 13 декабря 1918 года сообщал в свое военное министерство со ссылкой на «представителей демократических слоев» русского общества: «… Адмирал Колчак применяет те же методы управления, которые использовались при царизме… Поскольку мы находимся здесь, то реакционные российские группировки хотят воспользоваться нашим присутствием для реставрации автократической [96]формы правления…» Американский поверенный в делах 24 января 1919 года писал из Токио государственному секретарю, что деятельность Колчака представляет собою «реакционный эксперимент». Разумеется, здесь легко увидеть влияние противников адмирала из «революционно-демократического» лагеря; но и генеральный консул США Э.Гаррис, весной 1919 года отмечавший, что «в окружении Колчака нет реакционеров и монархистов, как это повсюду полагают», в одном из следующих сообщений уже несколько противоречил сам себе: «Колчак, по-видимому, искренне взял на себя обязательство осуществить во имя блага России реорганизацию политической системы на либеральной основе, лично являясь сторонником [скорее] конституционной монархии, нежели республики, но отнюдь не старого режима… Подлинные реакционеры, сразу же оказавшиеся вблизи Колчака, не играют ведущей роли, и, по всей вероятности,

он не считает целесообразным идти на немедленный разрыв с ними».

Монархические настроения часто связывались в те дни с фигурой и окружением Атамана Семенова. Возможно, именно этим объяснялся следующий пассаж речи Колчака, произнесенной 23 февраля 1919 года, когда конфликт Омска с Читой еще далеко не был изжит: «Большевизм справа, как отрицание морали и долга перед родиной и общественной дисциплины, базирующийся на монархических принципах, но в сущности имеющий с монархизмом столько же общего, сколько большевизм слева имеет общего с демократизмом, подрывающий государственные основы страны, еще много времени после этого (после свержения большевизма. – А.К.) потребует упорной борьбы с собой». Чрезвычайно показательным кажется здесь, что Александр Васильевич противопоставляет фальшивому монархизму – некий подлинный монархизм, по сути дела совпадающий с его понятиями о патриотизме и имеющий своею задачей моральную победу, преодоление темных инстинктов. А в свете этого и слова из июньского письма Колчака генералу Богаевскому о задаче «довести нашу общую мать – Единую, Великую Россию до создания Власти, отвечающей воле Русского народа, способной дать спокойствие и мир исстрадавшейся Земле Русской» (и ни слова о «народоправстве», «волеизъявлении» и проч.!) – могут уже быть прочитаны отнюдь не как свидетельство в пользу «демократизма» адмирала Колчака.

Не забудем (хотя и не станем придавать чрезмерного значения – ведь кроме политики или мировоззрения побудительным мотивом может быть и простое человеколюбие) и то внимание, с которым Александр Васильевич отнесся к расследованию убийства большевиками Царской Семьи. Общее руководство и надзор за ходом следствия был в январе 1919 года поручен генералу Дитерихсу, пользовавшемуся репутацией монархиста, но Колчак часто предпочитал общаться непосредственно с судебным следователем по особо важным делам Н.А.Соколовым. Верховный Правитель предписал «всем военным, гражданским, железнодорожным властям» оказывать следователю «всемерное содействие к беспрепятственному его передвижению на всей освобожденной территории России», а его служебный вагон объявил не подлежащим «никаким осмотрам». Как пишет помощник Соколова, адмирал «особенно живо интересовался… судьбой вел[икого] кн[язя] Михаила Александровича», и контроль Колчака за ходом следствия даже заставил одного из преступников утверждать, будто и само следствие велось едва ли не лично адмиралом.

Была ли связана с неопределенностью, сохранявшейся до окончания расследования, еще одна многозначительная деталь? Обратим внимание на «Правила награждения офицеров, военных врачей, военных чиновников, военных священников и солдат орденами и другими знаками отличия», утвержденные Колчаком 8 февраля 1919 года, и подчеркнем, что наиболее важным в них кажется даже не столько сам факт восстановления награждений, сколько ограничения, которые Верховный Правитель накладывает на собственные прерогативы в этой сфере.

Отменив награждения «Георгием с лавровой ветвью» (офицеров – солдатскими крестами по приговору солдат и солдат – орденом за подвиг «при исполнении обязанностей соответствующих начальников»; награда была учреждена Временным Правительством), Колчак возвращается к до-Февральской ситуации, причем столь решительно, что запрещает даже носить полученные ранее награды «с веточкой»; отказавшись от награждений орденом Святого Станислава – очевидно, как польским по происхождению, – должно быть, делает жест доброй воли по отношению к новообразованному польскому государству; наконец, Верховный Правитель «восстанавливает награждение»: «а) генералов, штаб– и обер-офицеров орденами Св[ятого] Георгия и Георгиевским оружием и б) орденами Св[ятого] Владимира до 2-й ст[епени] включительно и Св[ятой] Анны всех 4-х степеней генералов, штаб– и обер-офицеров, военных врачей, военных чиновников и военных священников», а солдат – Георгиевскими крестами и медалями, знаком отличия ордена Святой Анны и медалями «За усердие» (опять-таки «за исключением медалей на Станиславских лентах»). Таким образом из числа восстановленных исключаются высшие Императорские ордена – Андрея Первозванного, Александра Невского и Святого Владимира I-й степени, – удостоения которыми, по-видимому, трактуются как исключительно монаршая прерогатива (сюда же можно отнести и орден Белого Орла, но он имел польское происхождение и потому должен был скорее находиться в одинаковом положении с орденом Святого Станислава).

Неясной остается ситуация с высшей степенью ордена Святого Георгия: при буквальном прочтении текста «Правил» награждения ею как будто можно считать восстановленными, однако при регламентации ношения вместо знаков орденов – орденских ленточек говорится лишь о IV-й, III-й и II-й степенях (так же, как и о соответствующих степенях ордена Святого Владимира), причем параграф начинается со слов «если имеются ордена всех степеней [97]»; таким образом орден Святого Георгия I-й степени молчаливо помещается в положение, одинаковое с

орденами, от восстановления которых Верховный Правитель воздержался, – процитированные же пункты «а» и «б» при этом допустимо считать просто плохо отредактированными, а слова «до 2-й степени включительно» – относящимися к орденам как Святого Владимира (непосредственно), так и Святого Георгия (по смыслу). Наверное, возможны и иные интерпретации, но независимо от них факт остается фактом: адмирал, принявший и носивший титул Верховного Правителя России, оставлял в государственной иерархии (орденская система тут является идеальным зеркалом!) незанятой самую высшую ступень…

Вернемся, однако, к вопросу о «демократизме» Александра Васильевича. Именно на такой характеристике настаивает Сукин: «По существу, Колчак был глубоко демократичен, хотя его природное отвращение к фразеологии делало его весьма скупым на заявления в этом смысле. Он не любил произносить выражение “демократия” и тешиться тем, как оно звучит». Здесь же мемуарист пишет о «вере» адмирала «в необходимость общественной поддержки» («считал невозможным осуществить освобождение России наперекор воле населения или без сочувствия общественности»), но, кажется, в этих утверждениях несколько смещает акценты.

Речь должна идти не столько о «воле населения» – мог ли переоценивать эту «волю» адмирал, говоривший о «затмении» идеи права и законности? – сколько о принципиальной убежденности Александра Васильевича, что жизнь государства невозможна без самоорганизации общества на деловой, рабочей основе. Вспомним его слова, относящиеся к лету 1918 года: «… Командующему военными силами должна принадлежать вся полнота власти на территории борьбы, но по мере продвижения в областях, очищаемых от большевизма, власть должна переходить в руки земских организаций». Применительно к приморскому земству, о котором шла тогда речь, Колчак свою позицию изменил ввиду его «полубольшевистского характера» и даже говорил: «… Мысль о возможности передачи власти в руки земств мною была оставлена как ошибочная». И все же принципиальные взгляды адмирала вряд ли претерпели значительную корректировку.

«Я и Правительство, мною возглавляемое, – обращался Верховный Правитель 23 февраля 1919 года к представителям Екатеринбургской городской думы, земства „и других общественных учреждений“, – отчетливо представляем себе всю ту тяжесть условий, в которых приходится начинать свою созидательную работу молодой русской общественности. В программу Правительства входит поэтому как широкая помощь

земствам и городам в деле выполнения ими задач общегосударственных, так и оказание им содействия всякого рода по восстановлению разрушенного хозяйства и развитию муниципальных предприятий… Лишь в хозяйственной деятельности муниципалитетов, в широком развитии муниципальных предприятий лежит путь устойчивого хозяйства и процветания городских самоуправлений…»

Верховный Правитель, правда, оговаривается, что в данный момент «первенствующее значение» имеет доведение до народа «ответа о задачах власти» (хотя и не очень понятно, при чем здесь муниципалитеты?), но основной смысл его позиции выражен достаточно ясно. При этом желание, чтобы население страны было инициативным и расположенным к созидательной работе, в том числе в сфере местного самоуправления, конечно, никак не связано с какими бы то ни было воззрениями на характер государственного строя. Надо сказать, однако, что принципиальные взгляды Колчака на деятельность земских и городских организаций в конкретных условиях Сибири и Дальнего Востока до известной степени оказывались пагубными.

Дело в том, что до революции земств на Востоке России не было, а потому создававшиеся в условиях начавшейся Смуты земские учреждения в этих областях обращались к политической деятельности раньше, чем к конструктивной работе по выполнению своих прямых функций. «Как известно, выборы тогда в значительной мере носили политический характер, и в местные учреждения проходили лица, занесенные в социалистические списки, но не имевшие никакой связи с городом или уездом, где они баллотировались», – свидетельствует Сукин, подчеркивая в своих записках всю фразу. А министр финансов И.А.Михайлов на заседании кабинета 24 июня 1919 года, согласно дневнику Вологодского, говорил: «Не успевшее сорганизоваться в правильно функционирующее учреждение, земство естественно не могло справиться со своими непосредственными задачами и вообразило, что оно справится с государственными задачами… Такие лозунги, как “все земское дело передают земским учреждениям”, окончательно вскружили головы земских деятелей».

Не случайно товарищ министра внутренних дел А.А.Грацианов даже составил проект об учреждении нового «Министерства Общественного Управления» на основе «культурно-хозяйственных» («особенно же» городского и земского) отделов МВД. Аргументируя свою позицию, Грацианов обращал внимание на то же, что и его коллеги: «С падением старого строя наши местные самоуправления, и особенно земства,

сразу взяли все, что только можно было взять, и даже захватили то, что при самом демократическом строе никогда не будет им принадлежать и всегда останется в руках администрации, и в результате, как и следовало ожидать, получилось, что они не справились с принятыми на себя обязанностями»; новое министерство и должно было «предупреждать различные ненормальные [98]явления». Для возвращения местных самоуправлений в русло конструктивной работы рассматривался и проект изменения избирательного закона «введением ограничений возраста и оседлости» (таким образом усиливалась бы связь избираемых с местностью, где они баллотировались). Представители деловой части земств готовы были поддержать новый закон, но в целом ситуацию нормализовать все же не удалось, и в результате сменявшая в начале 1920 года «колчаковскую» – «земская власть» становилась ничем иным, как «революционно-демократической» увертюрой к пришествию большевизма.

На принципах внутренней самоорганизации общества базировались и взгляды Верховного Правителя на «рабочий вопрос» и развитие промышленности. Показательно, что «милитарист» Колчак не считал эффективными «меры милитаризации заводов или военного Управления», противопоставляя им «обеспечение рабочего продовольствием, предметами первой необходимости, установление для него надлежащих норм оплат труда и извлечение из армии незаменимых квалифицированных рабочих при сохранении их военнослужащими (чтобы они не подлежали новым мобилизациям. – А.К.)». Выступая 10 мая 1919 года перед «представителями Уральской промышленности», Александр Васильевич обратил внимание обширной аудитории («свыше пятисот человек», согласно газетному отчету) на необходимость поставить рабочих «в такие условия, при которых они были бы теснейшим образом связаны с предприятием… не связью принуждения, к которой можно прибегать лишь как к мере исключительной, крайней, но связью взаимного понимания и выгоды». И даже распределение государственных заказов Колчак считал разумным проводить через «некоторый объединяющий промышленности [99]края орган, носящий государственный характер, с участием представителей промышленности края».

А можно ли говорить о каком-либо отклике со стороны рабочих? Пусть даже официальным панегириком отдает рассказ Гинса о февральской поездке адмирала на фронт и в прифронтовые районы: «В Перми он идет на пушечный завод. Беседует с рабочими, обнаруживает не поверхностное, а

основательное знакомство с жизнью завода, с его техникой (вспомним, что отец Александра Васильевича был как раз специалистом в пушечном производстве. – А.К.). Рабочие видят в Верховном Правителе не барина, а человека труда, и они проникаются глубокою верой, что Верховный Правитель желает им добра, ведет их к честной жизни», – приведем другой пример, на наш взгляд, достаточно красноречивый. В годы Смуты железные дороги становятся одним из наиболее беспокойных мест – целью партизанских налетов, предметом вожделения спекулянтов, областью произвола как красных, так и русских, чешских – да, наверное, любых! – войсковых начальников самого разного уровня. Соответственно и железнодорожники, в первую очередь рабочие, кажутся наиболее подверженными антигосударственной пропаганде. Однако вот что писал в приказе по министерству путей сообщения адмирал Колчак в августе 1919 года, в тяжелые дни отступления (когда возможностей для диверсий и саботажа на железных дорогах было более чем достаточно):

«Эвакуация Уральского и части Западно-Сибирского районов и заданные военным командованием перевозки по перегруппировке войск, несмотря на те трудности, которые пришлось преодолеть железным дорогам, проведены блестяще.

Таким выполнением [100]армия обязана героям-железнодорожникам, которые свято исполнили свой долг, не зная усталости, забывая об опасности и не думая о спасении и вывозе своих семей и своего имущества…

От лица всей Армии благодарю всех ответственных руководителей, служащих, мастеровых и рабочих за свято выполненный долг, за самоотверженную работу, непомерные трудности коей свидетельствуются всеми, кто только видел, чтó пришлось выполнить железным дорогам за последнее время».

Вообще же говорить о личной причастности Александра Васильевича к работам по восстановлению или организации промышленности и транспорта на освобожденных территориях довольно сложно. Обычно забывают, что, несмотря на войну, смуту, а во многих районах – и красную партизанщину, жизнь все же шла своим чередом: засевались поля, работали заводы, собирались налоги и проч., – и несомненно, что все это в какой-то мере должно быть поставлено в заслугу определявшему общее политическое направление Верховному Правителю, при котором во многих сферах наблюдался заметный прогресс. Так, за первую половину 1919 года доходы казны от сбора налогов по сравнению со второй половиной 1918-го возросли более чем вдвое, даже с учетом уменьшения ценности «сибирского рубля». К лету 1919-го

на треть повысилась пропускная способность «всей железнодорожной сети от Урала до Владивостока». Денационализация водного транспорта позволила к открытию навигации 1919 года вернуть в рабочее состояние 80 % всех имевшихся судов, которым на одной Оби предстояло перевезти более десяти миллионов пудов различных грузов.

Не стояла на месте и творческая мысль – скажем, «во второй половине 1918 – начале 1919 г. силами Кузнецкого акционерного общества и союза сибирских инженеров была осуществлена детальная подготовка проекта соединения в единый комплекс уральских рудных богатств и кузнецких угольных месторождений», и весною 1919-го проект получил финансовую поддержку от Совета министров. Тогда же, весной, начинается подготовка работ по восстановлению канала, соединявшего водные системы Камы и Северной Двины (он имел как хозяйственное, так и военное значение). Но вряд ли можно с уверенностью определить степень личного участия Верховного Правителя во всех этих достижениях и проектах… пожалуй, за одним исключением.

Мог ли адмирал Колчак, согласно распространенной точке зрения тяготившийся ролью Верховного Правителя, забыть о своих полярных исследованиях, которые были прерваны буквально на полдороге? Как мы уже знаем, с интересом ученого, с азартом первопроходца у него сочетался и взгляд государственного деятеля относительно пользы, которую могла бы извлечь Россия из освоения арктических районов. В условиях же Гражданской войны, когда для Сибири единственною отдушиной, воротами для иностранных товаров и военного снабжения был Владивосток, вопрос о Северном морском пути приобретал немалое значение. Поэтому весной 1919 года было решено произвести «рекогносцировочное обследование р[еки] Нижней Оби от устья Иртыша до впадения в губу». Первоначально сообщалось о взаимосвязанных работах трех ведомств – министерств морского, путей сообщения и торговли и промышленности, – но вскоре (и, надо полагать, не без личного участия Колчака) создается специальный межведомственный орган.

Согласно «Положению», утвержденному 25 апреля Советом министров и Верховным Правителем, «для организации и регулирования экспорта из Сибири сырья и фабрикатов местной промышленности и импорта в Сибирь фабрикатов по Северному Морскому Пути, а также для проведения в жизнь дальнейших мероприятий по усовершенствованию этого пути», при министерстве торговли и промышленности учреждался «Комитет

Северного Морского Пути». Он должен был состоять из представителей министерств: военного, морского, торговли и промышленности, путей сообщения, финансов, иностранных дел, земледелия, снабжения и продовольствия, а также Государственного контроля, Комитета по внешней торговле и (по выборам) Совета Съездов торговли и промышленности и «объединенных Земских и Городских учреждений», становясь, таким образом, еще одним примером сотрудничества правительственной власти с общественностью. В Положении отмечалось, что «Комитет имеет право для выполнения возложенных на него задач снаряжать и отправлять экспедиции», – и первая экспедиция не замедлила.

Полковник Корпуса гидрографов Котельников в июле телеграфировал Верховному Правителю – нет, не только Верховному, а и просто полярнику Колчаку: «Я и чины вверенной мне дирекции маяков и лоций Северного морского пути, осчастливленные Вашими милостивыми пожеланиями, отправляясь в полярное плавание, восторженно приветствуем Вас, отважного исследователя Северного Ледовитого океана. Выполняя возложенную на нас задачу по практическому открытию Северного морского пути, мы поставим себе примером Вашу энергию и могущество (sic! – А.К.), проявленные и в борьбе с океанскими льдами. Да хранит Вас Господь». Работы экспедиции полковника Котельникова помогли приходу в октябре в устье Оби каравана из Англии с более чем тремя тысячами тонн груза. По сообщению телеграфного агентства, получателями были крупные сибирские кооперативы, а сам груз состоял из потребительских товаров и машин. Очевидно, это соответствовало представлениям Колчака о том, в чем нуждалось руководимое им государство, и о необходимости обеспечить населению возможности для мирной жизни и созидательного труда.

Наряду с восстановлением промышленности, транспорта и связанным с ними «рабочим вопросом» не меньшее, а согласно распространенному мнению – и большее значение имел вопрос аграрный. «В военном деле белые офицеры были на высоте, а в политике, судя по всему, нет, – размышляет в наши дни внук Александра Васильевича, А.Р.Колчак. – Крестьяне подходили к моему деду и говорили: “А землю-то нам отдашь?” Он им отвечал, что это не в его власти, это он не может решить, это не его дело… А вопрос земли в России был больным вопросом столетий. Кому земля?… А вот они не решились, не смогли, не сумели, не сообразили, что надо было им обещать и тогда держать слово. Потому что большевики-то им обещали землю и мир, а потом случилось то, что вы знаете. Обещать-то легко.

Ленин был политиком, он знал, что́ надо говорить людям». Подобная точка зрения – о какой-то принципиальной несостоятельности аграрной политики Колчака и о полном соответствии большевицкой программы народным чаяниям – вообще бытует довольно широко, а фактически лишенные аргументации утверждения создают своей категоричностью иллюзию достоверности. При этом позиции, с которых Российское Правительство подходило к решению вопроса о земле, в большинстве случаев не только не анализируются, но даже и не рассматриваются.

А между тем следует прежде всего обратить внимание, что было бы сильным преувеличением говорить о непосредственной связи между успехами или неудачами «сибирских войск» и аграрной политикой Российского Правительства. На территориях, непосредственно управляемых адмиралом, «земельного голода» практически не было, как не было и проблемы помещичьего землевладения, которое провоцировало бы захватные устремления крестьян. Современный историк, утверждая: «… Аграрное реформаторство белого Омска не имело в деревне никакой точки приложения, поскольку не соответствовало ни социальному сознанию реформируемых в текущей ситуации, ни территории, находившейся под контролем Колчака», – подкрепляет это свидетельством, согласно которому «главными районами восстания (красной партизанщины. – А.К.) являлись поселения столыпинских аграрников», – однако недостаточно акцентирует внимание на приоритете «сознания» и даже «психологии» перед экономикой. «Столыпинские новоселы» должны были представлять собою тип инициативного, самостоятельного, хозяйственного и готового к риску крестьянина, вполне импонировавший «колчаковскому государству»; однако отсутствие достаточной укорененности в новой почве делало их морально и психологически восприимчивыми к идее мятежа, хотя ни землей, ни правами они отнюдь не были обделены, особенно в сравнении с крестьянством центральных губерний.

Отметим также, что «Декларация Российского Правительства» по аграрному вопросу, датированная 8 апреля 1919 года, была приурочена к дням наступления, когда войска Верховного Правителя приближались «к тем коренным русским губерниям, где земля служит предметом раздоров, где никто не уверен в своем праве на землю и в возможности пожать плоды своего труда». Именно крестьянину (и землевладельцу, что не менее важно!) освобождаемых губерний, в первую очередь Поволжья, и были адресованы колчаковские декларации и законы.

Российское Правительство находилось в довольно затруднительном положении. «Черный передел» земли в 1917–1918 годах был, разумеется, актом противоправным, и санкционировать его безоглядно – значило в каком-то смысле подорвать правовой фундамент собственной власти. С другой стороны, полная реставрация существовавших ранее аграрных отношений в каждом конкретном регионе была бы просто нереальной, не говоря уже о резко отрицательных настроениях значительной части крестьянства, которые неизбежно создавались бы в этом случае. А потому, декларируя сбалансированность в своей политике «начал законных и справедливых», адмирал Колчак и его кабинет просто вынуждены были апеллировать к Национальному Собранию как грядущему верховному арбитру.

Но и полностью откладывать решение земельных вопросов, да еще весною, явно не приходилось; поэтому было объявлено, что «все, в чьем пользовании земля сейчас находится, все, кто ее засеял и обработал, хотя бы не был ни собственником, ни арендатором, имеют право собрать урожай». Более того, согласно утвержденным того же 8 апреля «Правилам о порядке производства и сбора посевов в 1919 году на землях, не принадлежащих посевщикам», признавалось право на пользование захваченной землею и в ближайшем будущем:

«Каждый, кто пожелает в текущем году произвести своими трудами или средствами яровой или озимый посев или вспашку земли под яровой посев 1920 года на землях, не состоящих в законном обладании ни его лично, ни общества, к которому он принадлежит, но находящихся ныне в фактическом его или общества пользовании, должен заявить об этом не позднее 15 мая 1919 года нового стиля… сельскому старосте, с указанием количества земли, которое он желал бы засеять».

Колчак давал надежду и на то, что в перспективе самовольные захваты будут узаконены, – Декларация обещала: «Правительство примет меры для обеспечения безземельных и малоземельных крестьян и на будущее время, воспользовавшись в первую очередь частновладельческой и казенной землей, уже перешедшей в фактическое обладание крестьян». Наряду с этим брались под защиту те, кто лишался земли, обработанной своими силами («хуторяне, отрубники, укрепленцы»), – их права восстанавливались, – а новые захваты и новый передел каких бы то ни было земель решительно пресекались под угрозой предания захватчиков суду.

Очевидно, что пойти дальше по пути уступок власть, претендующая на строительство государства на правовых

началах, просто не могла, и напрасно Гинс критикует Декларацию 8 апреля как «вылизанную» и «осторожную». Гинсу же, по-видимому, принадлежит и главная заслуга в «обнаружении» противника земельных реформ в лице генерала Лебедева. Мемуарист утверждает, что на последнем обсуждении Декларации Лебедев неожиданно потребовал отложить окончательное решение, поскольку «против большевиков сражается много офицеров-помещиков, которые внимательно следят за всем, что относится к земельному вопросу, и всякое неосторожное слово, направленное против помещичьего землевладения, может повлиять разлагающим образом на настроение офицерства», – а после общего решения об утверждении Декларации генерал «подал письменный протест и покинул заседание, отказавшись впредь посещать Совет министров». Трансформируясь и расширяясь, слухи начинали рисовать и вовсе драматическую картину – «рассказывали о том, как при обсуждении в Совмине ответственного земельного закона он (Лебедев. – А.К.) будто бы ударил кулаком по столу и сказал, что этому закону не бывать. Он его не допустит!»

Слухи слухами, но свидетельство Гинса – это свидетельство участника событий, хотя и довольно темпераментного, а может быть, и небеспристрастного, и с ним нельзя не считаться. Однако обратим внимание на еще один источник – дневник Вологодского, который в записи от 9 мая 1919 года упоминает о «проекте обращения к гражданам России от имени Верховного Правителя». Авторами проекта премьер-министр называет профессора Тельберга, Сукина и генерала Лебедева, а в самом документе, по свидетельству Вологодского, звучала «непреклонная воля Верх[овного] Правителя о созыве Учред[ительного] собрания, о всеобщ[ем] избирательном праве и об укреплении за земледельцами захваченных ими земель и о новом наделении землями всех желающих заняться обработкой земли». Сложно сказать, мог ли Лебедев столь кардинально поменять свои взгляды на аграрную реформу всего за месяц, но если и так, это подтверждает более позднюю характеристику его как человека, отличавшегося «способностью восприятия контр-мнений и углубленной сосредоточенностью», и говорит скорее в пользу Дмитрия Антоновича. Впрочем, согласно запискам Сукина, «Адмирал переставал слушать советы Лебедева, как только они касались государственных дел, и всегда уклонялся от обсуждения с ним таких предметов».

Но вернемся к аграрной проблеме. Долгое время царила, да и сейчас еще не вышла из употребления, точка зрения, согласно которой земельная политика большевиков или хотя бы их

декларации «выражали волю и чаяния крестьянства» и обеспечивали переход земледельческих масс на сторону Советской власти. Обратим, однако, внимание на пресловутый «Декрет о земле» от 26 октября 1917 года, чтобы немедленно увидеть одно из основных, хотя и замалчиваемых, его положений: «окончательное решение» «великих земельных преобразований»… откладывается этим документом до Учредительного Собрания, то есть в нем принимается та же линия поведения, которая для Колчака или Деникина единогласно считается принципиально порочной, ошибочной и компрометирующей любые их начинания!

Можно возразить, что осенью 1917 года открытие Учредительного Собрания ожидалось если не со дня на день, то с недели на неделю, в 1919-м же его созыв рисовался лишь в достаточно отдаленной перспективе. Но неоспоримо, что после пресечения большевиками и их единомышленниками работ «Учредилки», то есть уже с 6 января 1918 года, «Декрет о земле» превратился в юридическую фикцию. А как обстояло дело с его содержанием?

«Впредь до Учредительного Собрания» все помещичьи, удельные, монастырские и церковные земли передавались… вовсе не в собственность и даже не в пользование непосредственно земледельцев, а всего лишь «в распоряжение волостных земельных Комитетов и уездных Советов Крестьянских Депутатов». Руководящим документом для земельной реформы становился наказ «О земле», начинавшийся с уже набившего оскомину постулата: «Вопрос о земле может быть разрешен только всенародным Учредительным Собранием», – и провозглашавший первым пунктом отмену «навсегда» частной собственности на землю: «вся земля», в том числе и крестьянская, «отчуждается безвозмездно, обращается во всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней». После отчуждения же землю должны были распределять «местные и центральные самоуправления, начиная от демократически организованных бессословных сельских и городских общин и кончая центральными областными учреждениями». Нет нужды подробно объяснять, насколько далеко все это было от подлинных чаяний русского крестьянина, мечтавшего о своей земле, закрепленной за ним «бумагой с печатью», а вовсе не о возможности трудиться на «всенародном» наделе, выделенном ему милостью любого, сколь угодно «демократического» учреждения. Однако принятая 18 января 1918 года (уже после разгона «Учредилки») 3-м Всероссийским съездом Советов «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» вновь провозгласила отмену частной собственности, «социализацию

земли» и передачу «земельного фонда» трудящимся «на началах уравнительного землепользования», что также вряд ли могло обрадовать настоящих, а не выдуманных догматиками, трудящихся.

Или, может быть, «агитационным» положениям «Декрета о земле» и «Декларации» противоречила аграрная практика Советской власти? – Но можно ли всерьез говорить, что «интересам крестьянства» соответствовало целенаправленное разжигание «гражданской войны в деревне» (как требовал председатель ВЦИК Я.М.Свердлов в мае 1918 года)? Или неоднократные, хотя и не повсеместные, попытки загонять крестьян в «коммуны» и учреждать «принудительную общественную обработку земли»? Или отправки в деревню «продовольственных отрядов», численность которых в 1918-м (за неполный год) превысила семьдесят тысяч человек – несколько армейских корпусов по масштабам Гражданской войны? Или введение «продовольственной разверстки» (январь 1919 года) с установлением в качестве «предельно допустимых норм потребления» – двенадцати пудов зерна и одного пуда крупы на человека в год, что было меньше физиологических норм на шесть пудов?

Удивительны ли после этого апатия или открытая неприязнь русского крестьянина к «рабоче-крестьянской» власти? Удивительно ли, что летом 1919 года офицер армии Юденича отмечал унылый сельский пейзаж под Петроградом – «земля не обрабатывалась», а И.А.Бунин весною того же года слышал от крестьянина из-под Одессы, «что хлеба́ хороши, да сеяли мало, боялись большевиков: придут, сволочь, и заберут!» («это “придут, сволочь, и заберут” он повторил раз двадцать»)? Удивительно ли, что мобилизации, объявленные Советской властью весной 1919 года в связи с наступлением войск Верховного Правителя, дали более 45 % уклонившихся от общего числа подлежавших призыву крестьян? Удивительны ли массовые крестьянские восстания той же весною в Поволжьи, в которых участвовало до 180 тысяч человек и которые подавлявший их М.В.Фрунзе связывал с упомянутым «наступлением Колчака»? Но поистине удивительно, что, несмотря на эти и множество подобных им фактов, аграрная политика Советской власти вновь и вновь именуется «отвечающей интересам крестьянства», а Российского Правительства – им «не отвечающей»…

Так обстояли дела с крестьянином тех губерний, где ощущался «земельный голод» и стояла проблема помещичьего землевладения. А что можно сказать относительно сибиряка, которого данные проблемы не затрагивали?

Как рассказывает Сукин, и этот крестьянин не был обойден вниманием «колчаковского» министерства земледелия: оно вело целенаправленную работу по «снабжению населения Сибири земледельческими орудиями, которые в этой части России применяются всеми крестьянами». «Правительству удалось привезти из Америки и распределить по стране около 10000 машин», «пользуясь кооперативами как распределительным аппаратом», и вообще «за время деятельности Омского Правительства посевная площадь в Сибири значительно увеличилась и повысилась интенсивность обработки». Позволительно предположить, что сведения управляющего министерством иностранных дел о деятельности соседнего ведомства не отличались абсолютной точностью, но определенную тенденцию развития сельского хозяйства он вполне мог себе представлять.

Другим объектом критики, а подчас и прямо-таки шельмования, стала деятельность Российского Правительства в финансовой сфере. «Денежная реформа Колчака» обычно изображается как еще более губительная по сравнению с «аграрной реформой»; в чем же она заключалась?

Отменив 15 апреля 1919 года постановление Временного Правительства о выпуске так называемых «керенок» – казначейских знаков 20-ти и 40-рублевого достоинства, колчаковский Совет министров утвердил «Положение» об изъятии этих купюр из обращения с 15 мая. Населению предлагалось в течение месяца «сдавать их для обмена», причем на сданную сумму выдавалась «временная именная квитанция», по которой половина принятой суммы должна была быть выдана не позднее 1 января 1920 года, а выплата остальной «рассрочивалась на 20 лет с погашением ежегодно $^{1}/_{20}$части долга» (своего рода принудительный заем).

Такая мера вовсе не выглядит внушающей населению добрые чувства к проводящей ее власти, и вполне оправданным кажется свидетельство Гинса, что уже вскоре «со всех концов стали раздаваться вопли»: «На фронте жаловались на то, что солдат утратил “интерес” к победам, потому что захват керенок в качестве военной добычи перестал давать ему барыш. Внутри страны жаловались промышленники, потому что крестьяне перестали привозить товар на ярмарки, не зная, долговечны ли те деньги, которыми им будут платить. Жаловались держатели керенок, потому что в кассах не хватало сибирских (отпечатанных в Сибири и имевших здесь хождение денежных знаков. – А.К.) для обмена на керенки, и лица, вносившие казенные платежи или сбережения керенками, чтобы сбыть их, получали обратно опять

керенки…» Однако на фоне подобных свидетельств зачастую не уделяется внимания мотивировкам творцов реформы, да и ее подлинной картине.

Дело в том, что Советская власть продолжала выпуск денежных знаков старых образцов, в первую очередь примитивных по исполнению «керенок», причем в колоссальных размерах. По большевицким же подсчетам, за 1918-й и первый квартал 1919 года «керенок» в РСФСР обращалось на 16968200000 рублей (учитывая, что «советских керенок» за январь – апрель 1919-го было выпущено на сумму 8198300000 рублей, возрастание темпов эмиссии становится очевидным).

«Количество рублей на душу населения по ту сторону фронта к тому времени достигало приблизительно десяти тысяч, а по эту вряд ли превышало тысячу, – рассуждает один из омских финансистов В.П.Аничков. – Настанет конец войны, Москва будет взята, и в этот момент население Центральной России окажется во много раз богаче, чем жители окраин, прилагавшие усилия к сохранению ценности денег… Становилось очевидным, что нужно было либо насыщать денежный рынок нашими рублями в одинаковых размерах с советскими, либо совершенно оградить себя от поступления советских рублей и керенок. Однако объявить керенки ничтожными было нельзя. Это вызвало бы недовольство населения, владеющего керенками…»

Подчеркнем, что составляющее суть реформы принудительное исключение из обращения одного вида знаков, которые наводняли денежный рынок, было для правительства Колчака вынужденной мерой и не имело в своей основе стремления к грабежу какой-либо части населения, в отличие от аналогичной идеи, провозглашенной еще в мае 1918 года Лениным. Советский руководитель отнюдь не скрывал своих намерений: «Мы назначим самый короткий срок, в течение которого каждый должен будет сделать декларацию о количестве имеющихся у него денег и получить взамен их новые; если сумма окажется небольшой, он получит рубль за рубль; если же она превысит норму, он получит лишь часть». Впрочем, первоначально намереваясь жестко лимитировать количество поступающих в обращение денежных знаков, большевики быстро пришли к неограниченному выпуску денег. Следствием же было не столько удовлетворение потребностей собственного хозяйства – в условиях «военного коммунизма» деньги вряд ли играли внутри Советской Республики значительную роль, – сколько разрушение хозяйства вражеского, методом, который был остроумно назван «экспортом инфляции» [101]: «проникавшие в “белую” Сибирь новые “керенки”, заменявшие в обращении

правительственные дензнаки, существенно ускоряли инфляционный процесс».

«Колчаковская реформа» получила и пропагандистское подкрепление: требовалось убедить население в неполноценности вражеских денежных знаков и благотворности собственной политики. Через два дня после того, как состоялось постановление Совета министров, было издано обращение министерства финансов, в котором, наряду с описанием процедуры обмена, популярным языком объяснялись причины этого:

«Близок час, когда от могучих ударов Сибиряков рассыплется, как камень от молота, советская власть [102]. Но не одними штыками держится она на Руси – у нее есть еще один верный помощник – денежный печатный станок. Круглые сутки работает он без устали и засыпает Россию так называемыми “керенками”. Когда наша армия пробьет стену большевистского войска, оттуда хлынет на нас поток бумажных денег. Цены на все товары еще увеличатся, и жить станет труднее…

Правительство могло бы просто объявить все “керенки” не действительными и не считать их за деньги. Но правительство знает, что большое [103]количество этих “керенок” попало в местности, освобожденные от большевиков, ценит жертвы, принесенные населением в борьбе с советской властью, и поэтому, охраняя интересы народа, стремится предохранить его от раззорения…»

Не остались без внимания и уже сданные (обмененные) населением денежные знаки: генерал Клерже, летом 1919-го возглавлявший Осведомительное управление штаба Верховного Главнокомандующего («Осведверх»), вспоминал, что «для большего эффекта и демонстрации этого смелого решения Правительства было признано необходимым переклеймить все запасы указанных денег особыми агитационными лозунгами и пачками разбрасывать их с аэропланов над линией фронта большевиков и своих войск».

«Громадные листы неразрезанных банкнот, – рассказывает Клерже, – подвергались операции погашения их прежней стоимости путем напечатания поверх каждой купюры агитационных лозунгов.

В “обработанном” таким способом виде эти “агит-керенки” отправлялись или в части войск на фронт для переброски всякими способами на сторону противника, или передавались в центральное авиационное управление для разброски их с воздуха».

Подчеркнем, что процесс изъятия отмененных денег из

обращения шел довольно интенсивно, а значит, предпринятую Российским Правительством реформу вряд ли следует однозначно считать провалившейся. Сообщалось, что к концу июля было изъято «керенок» на 983000000 рублей, и, хотя по сравнению с общей производительностью большевицких типографий эту сумму и можно посчитать каплей в море, – по сибирским масштабам она выглядит немалой: для сравнения скажем, что к началу 1919 года в кассах отделений Государственного Банка на всей территории, непосредственно контролируемой Правительством Колчака, находилось 20-ти и 40-рублевых «керенок» на общую сумму 8786620 рублей, то есть в сто раз меньше, чем было сдано на обмен в течение трех с половиною месяцев с начала этой процедуры.

А что можно сказать о достижении целей реформы? – По окончании войны советскими экономистами была рассчитана «реальная ценность денежной массы», обращавшейся на территории РСФСР. Согласно этим оценкам, на 1 января 1919 года «нарицательная» величина (соответствующая суммарному номиналу денежных знаков) превышала «реальную» более чем в 160, а год спустя – в 2420 (!!) раз. В качестве причины этого авторами указывалось «ограничение территории хождения советских денег», – и очевидно, что если русскими штыками ограничивались области, контролируемые Совнаркомом, то политика Колчака и Деникина (последним были предприняты аналогичные меры по отношению к следующей советской денежной эмиссии) должна была ограничивать хождение вражеской валюты той же линией фронта. Конечно, процедура обмена «керенок» была обременительной, не прибавляя Российскому Правительству популярности, – но в РСФСР бумажные деньги стремительно превращались просто в макулатуру!

Обвиняют Российское Правительство и в обесценивании его собственных денежных знаков, которое обычно неправомерно смешивают с инфляцией. Часто утверждается, что выпуск краткосрочных обязательств Государственного Казначейства, начатый еще осенью 1918 года, принимал чрезмерно большие размеры; однако обесценивание денег, естественно происходившее как из-за сокращения товарного производства, так и ввиду значительной «сибирской» эмиссии, все же не выглядит катастрофическим, коль скоро министра финансов Михайлова в январе – феврале 1919 года упрекали как раз… в недостатке мелких денег, в которых, очевидно, рынок продолжал испытывать потребность.

«Выпускаются деньги крупных купюр, когда нужны мелкие,

выпускается мало денег, когда нужно много», – возмущался председатель Экономического Совещания С.Г.Феодосьев, а генерал Гайда, жалуясь, «что армия два месяца не получала жалованья, т. к. имеющиеся в его распоряжении денежные знаки все крупными купюрами, и это не дает ему возможности выдавать жалованье», очевидно, даже проводил мысль о необходимости «командующим войсками… выпускать свои боны», против чего решительно восстал Михайлов.

Вологодский отмечал в дневнике: «Колчак выразился, что современный финансовый аппарат, очевидно, совсем не приспособлен к требованиям момента. Крайняя медленность печатания денежных знаков, волокита с их доставкой на места, отсутствие мелких купюр в стране и т. п. заставляют действовать по-атамански и что он, Колчак, скоро сам вынужден будет прибегнуть к этим мерам атаманско-большевистского характера, т. е. к реквизициям, конфискациям, контрибуциям и выпускам денежных знаков из своего кабинета». Но вызванный донесениями Гайды гнев Верховного Правителя был до некоторой степени успокоен министром финансов, который пообещал «“хоть завтра” выложить ему на стол 15 миллионов купюрами в 10, 25 и 30 руб[лей] и немного в 5 рублей для отправки на фронт». Правда, полностью нормализовать ситуацию, очевидно, все же не удалось, и через полгода хабаровская газета по-прежнему отмечала «недостаток в мелких разменных деньгах»: «Самой мелкой монетой являются Сибирские казначейские знаки 25 руб[левого] достоинства (имеются в виду обязательства Государственного Казначейства. – А.К.), и меньше чем на эту сумму трудно купить товару. Прежде чем купить чего-нибудь покушать, приходится разменять деньги. Даже в столовках обычно спрашивают мелкие деньги и затем отпускают обед».

Красноречивыми оказываются и заказ осенью 1918 года в США купюр не какого-либо, а именно… 50-копеечного достоинства (эти «бумажные полтинники» на сумму в 25000000 рублей прибыли в Омск 7 июня 1919-го), и почтовые тарифы весны 1919 года (25 копеек за пересылку открытки, 35 – за простое закрытое письмо), и подготовка – уже в октябре 1919 года, менее чем за месяц до падения Омска! – гербовых марок, наибольший номинал которых должен был равняться 15 рублям, а первоочередная эмиссия (к 15 ноября) состояла бы из марок по 20 и 75 копеек. И даже если признавать недостаточную урегулированность финансовой политики Российского Правительства, подобные свидетельства говорят, что при усиленном, казалось бы, производстве денежных знаков рынок все-таки не оказывался наводненным ими настолько, чтобы цены

поднялись неимоверно, а мелкие купюры окончательно вышли бы из оборота. Да и вообще печальная судьба, постигшая в конце концов «сибирскую валюту», отнюдь не была уделом только денежных знаков, которые выпускала проигравшая войну сторона: вспомним, что победители-большевики, несмотря на свою победу, сразу же по окончании Гражданской войны, то есть в ситуации, когда им никто больше не противодействовал, оказались перед лицом тяжелейшего финансового кризиса с его пресловутыми «лимонами» и «лимонардами» – обесцененными миллионами и миллиардами рублей.

Что следует из вышеизложенного? Конечно, не нужно рассматривать все это как безоглядную апологию внутренней политики адмирала Колчака и реформ, разрабатываемых и проводимых членами его кабинета. Но детальный анализ этих мер, и даже более детальный, чем в настоящем очерке, насущно необходим, поскольку господствующая до сих пор точка зрения лишена элементарной логики.

Логическое развитие вопросов могло бы быть следующим: являлась ли «колчаковская» политика идеальной? – Безусловно, нет (как не является идеальной, наверное, и вообще никакая политическая линия), и критика ее не только имеет право на существование, но и неизбежна – однако лишь на основе рассмотрения подлинной картины событий, а не переданных по наследству штампов. Была ли эта политика оптимальной в реально складывавшихся условиях? – Вопрос по меньшей мере спорный, но опять-таки требующий желания разобраться в нем с самого начала, а не повторять затверженные обвинения. Была ли, далее, политика Колчака принципиально худшей (менее жизненной, менее основательной), чем политика Совнаркома? – А вот здесь даже приведенного нами беглого обзора достаточно, чтобы определенно сказать – нет, и обвинения в адрес адмирала и Российского Правительства сегодня представляют собою всего лишь набор стереотипов, который не выдерживает сопоставления с подлинною картиной, основывающейся на фактах. В действиях Колчака и его сотрудников можно и нужно искать ошибки, но говорить, будто кроме ошибок там ничего не было, а противоположная сторона обладала безошибочным политическим чутьем и поступала в полном соответствии с потребностями страны и народа, – значит сознательно или бессознательно говорить неправду.

… Однако не забыли ли мы за всеми этими рассуждениями, что Верховный Правитель был еще и Верховным Главнокомандующим?

Часть пятая
Проигранная война

Глава 15
Адмирал и генералы

Как мы уже знаем из записок Гинса, Александр Васильевич казался «смущенным», когда ему предложили титул Верховного Правителя, но ничуть не сомневался, принимая пост Верховного Главнокомандующего, и даже «настаивал» на том, чтобы исполнять именно эти функции. Впоследствии тот же Гинс выражал сожаления, что «адмирал – Верховный Главнокомандующий поглотил адмирала – Верховного Правителя вместе с его Советом министров»: «Ставка недаром производила впечатление муравейника. В ней были свои министерства. Сукин из ставки диктовал указания Министерству иностранных дел (Сукин был управляющим этим министерством, а почему его консультации с военными и Верховным в глазах Гинса становятся чем-то предосудительным – непонятно. – А.К.). Лебедев решал вопросы внутренней политики. Особая канцелярия Верховного, так называемый “Осканверх”, законодательствовала». И, конечно, личное возглавление Колчаком вооруженных сил стало одним из главных оснований для критики в его адрес.

«Все горе в том, что у нас нет ни настоящего Главнокомандующего, ни настоящей Ставки, ни сколько-нибудь грамотных старших начальников. Адмирал ничего не понимает в сухопутном деле и легко поддается советам и уговорам; Лебедев безграмотный в военном деле и практически случайный выскочка; во всей ставке нет ни одного человека с мало-мальским серьезным боевым и штабным опытом; все это заменено молодой решительностью, легкомысленностью, поспешностью, незнанием войсковой жизни и боевой службы войск, презрением к противнику и бахвальством», – пишет в своей обычной манере не подлежащего обжалованию приговора генерал Будберг. «… Сам адмирал Колчак абсолютно неповинен в совершенных нашим командным составом ошибках, ибо он сухопутного дела не знал и естественно должен был полагаться на знание и умение своих сухопутных помощников и в первую голову на своего начальника штаба по званию Верховного Главнокомандующего, но выбор помощников зависел исключительно от него самого, и, следовательно, в неудачном выборе повинен только он один», – вторит Будбергу генерал Д.В.Филатьев, сам приехавший в Сибирь из Парижа лишь в конце октября 1919 года, но не затруднившийся делать категорические и резкие выводы о том, что знал лишь с чужих слов. И трудно даже сказать, не являются

ли «оправдывающие» Колчака утверждения («моряк не может командовать сухопутными войсками») на деле худшими обвинениями, поскольку из них следует вывод: «моряк не должен командовать сухопутными войсками!»

После этого неудивительно, что сегодня мы слышим: «А уж то, что в Омске он взялся не за свое дело, – это (в ретроспективе!) видится как несомненный факт», – и для объяснений такого поступка Александра Васильевича подыскиваются мотивы, ничего общего ни с морской, ни с сухопутной войной не имеющие, – желание «быть достойным» Анны Васильевны, «одержав решающую военную победу»: «Любовь едва ли не больше, чем что другое, толкает его на это – и тем предопределяет его трагический конец»; «с изумлением обнаруживаешь, что воины были движимы любовью не только во времена Троянской войны и крестовых походов. Оказывается, и в нашем веке личные чувства способны решающим образом включаться в “энергетику” исторического процесса». Однако, отвлекаясь от романтической декламации, нельзя не понять, что если бы это было так – это было бы слишком ужасно (проигранная война и погибшее государство как следствие попыток заведомо некомпетентного человека «стать достойным» любимой женщины!), – и потому необходимо забыть о декламациях и задуматься, каковы могли быть подлинные мотивы Колчака и, в первую очередь, как он вообще смотрел на должность и роль Верховного Главнокомандующего.

Авторы упреков моряку, «взявшемуся не за свое дело», вряд ли понимают, насколько болезненную тему они затрагивают: ведь сущность главного командования как индивидуального творчества была для Александра Васильевича очевидна. «В основании учения об управлении вооруженной силой лежит идея творческой воли начальника – командующего, облеченного абсолютной властью как средством выражения этой воли», – писал он еще в 1912 году в «Службе Генерального Штаба». «Искусство высшего, вернее, всякого командования есть искусство военного замысла, – это та творческая работа, которая в силу своей сущности может принадлежать только одному лицу, так как понятие о всякой идейной творческой деятельности не допускает возможности двойственности и вообще участия в ней второго лица»; «творческая работа по созданию военного замысла является по существу единоличной и принадлежит всецело командующему безраздельно, всякое влияние на нее со стороны вторых лиц является недопустимым, никакой помощи или совместной деятельности в этой работе быть не должно», – вновь и вновь повторяет Колчак (применительно к работе полководца, а

не флотоводца, что немаловажно!) – и не выносит ли тем самым приговор своей будущей деятельности в качестве Верховного Главнокомандующего?

Ведь адмирал никогда не имел возможности глубоко изучить искусство сухопутной войны, не говоря уже о том, чтобы приобрести соответствующий опыт (мы сейчас говорим не о порт-артурской батарее). Вряд ли представлял он до конца, насколько отличается сама психология командования на море, где корабли – основные элементы сражения – повинуются или выходят из строя как единое целое, и на суше, где полк или даже дивизия под воздействием «морального фактора» может изменять свою боевую ценность постепенно, что существенно затрудняет расчеты и управление. Да и значительная часть работы по строительству вооруженных сил должна была оказаться для Александра Васильевича непривычной, поскольку управляющие органы морского ведомства в Российской Империи не занимались даже вопросами мобилизаций и воинского учета (флоту выделялась часть новобранцев, призыв которых осуществлялся аппаратом военного ведомства). Так не слишком ли велик был риск решения, принятого адмиралом Колчаком?

Безусловно, риск был велик, и нам приходится предположить либо легкомыслие Александра Васильевича, не соразмерившего своих сил и умений с грандиозностью предстоящих задач (но – увлекающийся и импульсивный – он все же не выглядит легкомысленным и в менее существенных вопросах), либо… глубочайший трагизм ситуации, когда человек, отдавая себе отчет в опасностях, ждущих на открывшемся пути, все же не может не избрать его, поскольку других кандидатов нет, а Россию надо спасать.

Прежний Верховный Главнокомандующий генерал Болдырев, как член Директории, не пользовался большим авторитетом у фронтовых начальников, с которыми адмирал виделся незадолго до 18 ноября 1918 года; когда же при «выборах диктатора» Болдыреву фактически выразили недоверие и его коллеги по кабинету, причем вопреки настояниям самого Колчака, – Александру Васильевичу оставалось или умыть руки, прекрасно сознавая все изложенное выше, или – решаться на шаг, который в этом контексте мы уже определим как подвиг. «Я взвесил все и знаю, что́ делаю», – протелеграфирует он тогда же Болдыреву, и в этих словах перед нами предстанет не захватчик, не узурпатор власти, а человек (прибегая к морским аналогиям), увидевший, как разбушевавшиеся волны захлестывают корабль, и твердой рукою схвативший штурвал, от которого отступились остальные члены команды.

А неизбежно ли пагубными должны были оказаться последствия такого решения? Задавшись этим вопросом, не забудем и тех, кто противостоял Колчаку: хотя, скажем, И.И.Вацетис (Главнокомандующий вооруженными силами РСФСР), С.С.Каменев (Командующий Восточным фронтом, 10 июля 1919 года сменивший Вацетиса на его посту), В.А.Ольдерогге (Командующий Восточным фронтом с 15 августа 1919-го) и были «военными специалистами» – в недавнем прошлом офицерами, а последний даже генерал-майором, причем все «сухопутными», – их принципиальное превосходство над адмиралом отнюдь не кажется очевидным. Самый старший и по чину, и по возрасту, – Ольдерогге на Мировой войне не поднялся выше должности начальника стрелковой дивизии; Каменев к 1917 году был только полковником, начав войну капитаном; наконец, Вацетис (в 1917 году также полковник), в отличие от них обоих, даже не был причислен к Генеральному Штабу, в 1909 году окончив Академию «52-м из 53-х». Но даже этого нельзя сказать, к примеру, о «профессиональном революционере», недоучившемся студенте М.В.Фрунзе, который с 5 марта по 18 июля 1919-го командовал «Южной группой армий Восточного фронта», а с 19 июля по 15 августа – и всем фронтом (напомним, что нас интересуют сейчас именно командующие, а не их штабы!), или о председателе Реввоенсовета Республики журналисте Троцком (полководцем он, конечно, не был, но заслуг в организации Красной Армии и руководстве ею у него отнять нельзя). Таким образом, суровые обвинители адмирала Колчака почему-то не хотят применить аналогичные критерии к его противникам; забывают они и об одной немаловажной военной сентенции.

«Мольтке писал, и это останется всегда истиной, что стратегия – сама по себе не сложна. Ее формулы просты и немногочисленны. Но нет стратегии без снабжения. Армия должна жить, питаться, ее надо пополнять, снабжать, она должна все иметь – тогда и даст все», – говорил в 1915 году один из создателей Главного управления Генерального Штаба, генерал Ф.Ф.Палицын, далее, быть может, даже впадая в противоположную крайность: «… Наши офицеры генерального штаба вовсе не подготовлены для своей службы. Они больше обращают внимания на оперативную сторону, на стратегию, чертят карты. Поверьте мне, вся эта стратегия – пустяки в сравнении с тем, чем они должны были бы больше всего заниматься. А это именно тылы, снабжение, питание армии. Вот где главное на войне. Любой Хлестаков вам разведет какую угодно стратегию, а вот как обеспечить эту операцию, как удовлетворить все разнообразные потребности армии, это не

всякий знает да сможет».

Не будем развивать мысль запальчивого генерала, которая в своем продолжении может привести к своеобразному «военному нигилизму». При всей важности снабжения, организации тыла, путей сообщения и проч. судьба войны решается все же не ими, а тактикой (умением выиграть бой) и стратегией (по Клаузевицу – «использованием боя для целей войны»). В то же время вполне правдоподобным выглядит предположение, согласно которому – при наличии сильного штаба из более или менее узких специалистов – для единоличного командующего может оказаться достаточно общей военной культуры, а уж в ней адмиралу Колчаку с его живым и пытливым умом и любознательной натурой отказать никак невозможно.

А как следует оценить помощников и советников адмирала? Прежде всего заметим, что еще в бытность военным и морским министром он должен был осознавать недостаточность своей подготовки, в какой-то мере компенсируя ее известными нам назначениями помощников «по организационно-инспекторской части» и «по снабжениям и технической части» (генералов Степанова и Сурина соответственно; функции «помощника по делам казачьих войск» представляются скорее политическими). О квалификации обоих генералов мы уже говорили, здесь же упомянем, что после занятия Степановым поста военного министра (3 января 1919 года) «организационно-инспекторские» дела принял генерал В.И.Марковский, также обладавший немалым опытом (окончил Академию Генерального Штаба в 1905 году, участвовал в Русско-Японской войне, куда был командирован «для ознакомления со службой Генерального Штаба», на Мировой войне командовал пехотным полком, занимал должности начальника штаба в двух пехотных дивизиях и генерал-квартирмейстера штаба армии). Марковский же возглавлял у Колчака и Главный Штаб – учреждение, ведавшее комплектованием войск, личным составом, снабжением и проч. И хотя ни Степанов, ни Сурин, ни Марковский не относились к тем военачальникам, чьи имена гремели бы в старой армии, – для сомнений в их компетентности серьезных оснований также нет.

Наверное, Колчака можно упрекнуть в само́м создании Главного Штаба (30 ноября 1918 года) – дополнительной структуры при уже имеющихся военном министерстве и штабе Верховного Главнокомандующего, которая тешила столичное самолюбие Омска, но вряд ли соответствовала реальным масштабам войны и военного строительства на Востоке России. Чрезмерное развитие тыловых управлений вообще часто отмечается как одна из пагубных черт Гражданской войны;

однако следует обратить внимание, что совмещение Марковским службы в Главном Штабе с должностью помощника министра до известной степени становилось гарантией против «сепаратизма» этих учреждений. А 23 мая 1919 года Верховный Правитель назначил военным министром генерала Лебедева, объединив таким образом в руках последнего оперативное творчество (по должности начальника штаба Верховного) и строительство вооруженных сил (по должности министра). Для поддержки Лебедева, которому, разумеется, трудно было нести столь тяжкий груз двух должностей, были назначены генерал П.Г.Бурлин (он окончил Академию в 1914 году, а на Мировой войне служил в штабах армейского уровня) – «Помощником Начальника Штаба Верховного Главнокомандующего с правами заместителя Начальника Штаба Верховного Главнокомандующего» и знакомый нам А.П.Будберг – «Помощником Начальника Штаба Верховного Главнокомандующего и Военного Министра с правами заместителя Военного Министра по управлению Военным Министерством». Совмещение должностей, теперь генералом Дитерихсом, сохранилось и после ухода Лебедева с обоих постов (10–12 августа).

Это как будто свидетельствует о стремлении адмирала Колчака к централизации военного управления и в принципе должно быть поставлено ему в заслугу; для сравнения заметим, что в Советской Республике в это же время существовали, помимо народного комиссариата по военным делам и Главнокомандующего всеми вооруженными силами Республики, еще и Революционный военный совет Республики, Полевой штаб РВСР (подчинявшийся также Главнокомандующему), Совет рабочей и крестьянской обороны, Всероссийский Главный Штаб, Высшая военная инспекция РККА, – то есть степень бюрократизации была не меньшей, а, пожалуй, даже большей, чем при Верховном Правителе России.

Показателен и один из первых приказов Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего, отданный им еще 22 ноября 1918 года. В нем, требуя «привести все войсковые Штабы к норме, определенной положением о полевом управлении войск», адмирал подчеркивал: «Штабы должны быть органами чисто военного командования, а не сложными и громоздкими административно-политическими аппаратами». Обстановка смуты с неизбежным падением дисциплины, а порою – и потребности момента (автономность действий тех или иных соединений) часто препятствовали проведению этого приказа в жизнь, однако само его появление отнюдь не свидетельствует о непонимании Колчаком характера войны или принципов

военного строительства.

Разумно был решен и вопрос о стратегическом управлении армиями, защищавшими Свободную Россию на различных театрах. Впрочем, решение тут напрашивалось само собою и повелительно диктовалось разобщенностью этих театров и затруднениями в организации оперативной связи, если не прямой невозможностью такую связь установить. Генерал Деникин вспоминал: «Телеграммы между Омском и Екатеринодаром шли через… Париж; военные сводки Сибирского фронта мы получали… от англичан через Лондон; посылки курьеров, установленные с января [1919 года], были редки, стоили страшно дорого и морским путем через Владивосток требовали времени не менее трех месяцев». И даже если видеть здесь некоторое преувеличение (так, летом 1919 года оперативные сводки штаба Главнокомандующего Вооруженными Силами Юга России появлялись в омской печати с задержкой, составлявшей менее недели), – неоспоримо, что такой связи для стратегического планирования и координации совместных действий Востока с Югом и другими театрами военных действий было недостаточно.

Кроме того, центры сопротивления большевизму, создававшиеся независимо друг от друга и разделенные тысячами верст, вызревали и развивались самостоятельно, что предопределило трудности взаимодействия и впоследствии, когда войну уже вели настоящие армии. В частности, пресловутый вопрос о «соединении фронтов Колчака и Деникина» легко разрешался только на бумаге – когда весною 1919 года корпуса Верховного Правителя рвались к Волге, само существование Вооруженных Сил Юга России подвергалось угрозе; и наоборот, когда генерал Деникин 3 июля провозглашал «Московскую директиву» о движении на большевицкую столицу, а не на соединение с Колчаком, – последняя перспектива и была уже мало реальной вследствие общего отступления войск Восточного фронта. Поэтому выглядит вполне оправданным «разграничение путем взаимного соглашения» «районов влияния или власти Омска и Екатеринодара (то есть Колчака и Деникина. – А.К.), причем в сферу последнего вошла территория на запад от Волги, Астраханский район и Закаспий», после чего командование каждого из фронтов повело самостоятельные операции, лишь пытаясь принять к сведению положение далекого «соседа» по поступавшим отрывочным известиям.

Верховный Главнокомандующий благоразумно воздержался и от назначения начальствующих лиц на другие фронты, только подтвердив своим авторитетом полномочия тех, кто уже занимал ответственные должности. Впрочем, здесь имеется и исключение,

о котором нельзя умолчать, поскольку мы встречаемся с продолжением личной вражды, завязавшейся еще в 1916 году.

Речь идет об известном нам адмирале М.П.Саблине. Он был возвращен на Черное море уже после отъезда оттуда Колчака, 21 июля 1917 года, и пережил в Севастополе все кровавые события, связанные с большевицким переворотом, разгулом своеволия и анархии. Весною 1918-го, однако, перед лицом развивавшегося австро-германского наступления буйная матросня начала испытывать некоторое отрезвление, и 22 марта «товарища Саблина», отмечая, в частности, его «справедливость при старом строе», выбирают на должность Командующего флотом. Принимая тяжкий крест, Михаил Павлович объявил в приказе: «… Я не считаю себя вправе в такую трудную минуту отойти в сторону и нахожу своим долгом служить флоту, пока на это хватит моих сил», – и действительно, на новом посту был готов сотрудничать и с матросскими комитетами, и с украинской Центральною Радой. Но когда стало ясно, что немцы захватят Севастополь несмотря ни на что, – адмирал Саблин с лучшею частью флота переходит в Новороссийск уже не под красным, а под Андреевским флагом.

В Новороссийске, однако, русские моряки оказались поставленными перед двумя противоречащими друг другу распоряжениями Совнаркома: открытым – во исполнение требований германского командования идти в Севастополь и сдаваться, и тайным – топить корабли, чтобы они не достались «империалистам»; оба приказа подкреплялись угрозами поставить противящихся вне закона. Черноморская драма с затоплением части кораблей разыгралась, правда, уже без Саблина, который устремился в Москву в тщетной надежде спасти флот (сам он склонялся к мысли возобновить войну против немцев, надеясь на подъем в народе патриотических чувств и ища союзников среди бывших офицеров). Едва не попав в «чрезвычайку», Михаил Павлович должен был бежать из РСФСР, в октябре 1918 года был в Гельсингфорсе, в ноябре – добрался до Лондона… и здесь узнал, что за его действиями, насколько это было возможно, следили из Омска.

Адмирал Колчак, как рассказывал сам Михаил Павлович, «прислал на имя нашего поверенного в делах в Англии Набокова телеграмму с запрещением мне въезда в Россию и, кроме того, просил его принять меры, чтобы Англичане не дали мне возможности командовать Черноморским флотом». Через некоторое время Верховный Правитель, несколько смягчившись, сообщил, что «не препятствует Адмиралу Саблину ехать в Россию как частному лицу»; оговорка все равно была, конечно,

унизительной, а апелляция к союзному вмешательству в управление русским флотом и вовсе не делала чести Колчаку, – но Саблин готов был подчиниться, когда неожиданно получил от адмирала А.М.Герасимова, управлявшего у Деникина морским ведомством, предложение… принять должность Главного Командира Севастопольского порта. Саблин сослался на запрет, полученный им от Верховного Правителя, но в ответ последовало возражение, что предлагаемая служба – это долг, от которого нельзя отказываться.

К тому времени (весна 1919 года) управление Черноморским флотом, доверенное адмиралу Канину, оказалось в чрезвычайно плохих руках. С ноября 1918 по март 1919 года штаб Командующего был погружен в планы полномасштабного возрождения флота и пренебрегал насущными потребностями борьбы, а после вторжения большевиков в Крым – бежал заграницу. Вскоре одни из представителей бывшего командования занялись коммерцией, а другие перебрались на Восток России и получили от Колчака новые назначения. В гневном письме Александру Васильевичу генерал Деникин, прямо называя этих лиц дезертирами, сообщал: «Подробное донесение о событиях при эвакуации Одессы и Севастополя, а также о боевых действиях флота в Азовском море, у Акманайской позиции около Керчи, при обратном занятии портов Крыма, при занятии Днепровского лимана и в Каспийском море будет мною сделано курьером для устранения неправильного освещения, которое, по-видимому, было дано вышеназванными офицерами или создалось под их влиянием». Почти все перечисленные операции проводились под руководством адмирала Саблина, в должности Главного Командира судов и портов Черного и Азовского морей возродившего Черноморский флот как боевую единицу; а само письмо должно было стать ответом на телеграмму, пришедшую по дипломатическим каналам 18 июля, в которой Сукин со ссылкой на генерала Лебедева передавал: «Верховный Правитель Адмирал Колчак просит доложить Генералу Деникину, что считает Саблина недостойным служить в Русском флоте и непригодным вообще [к] ответственным должностям».

По отношению к Деникину телеграмма – фактически всего лишь просьба, рекомендация – была более чем корректна, но по отношению к Михаилу Павловичу – более чем несправедлива. Одновременно с письмом Главнокомандующего в Омск полетела депеша Герасимова с указанием, что Саблин «прошел через следственную комиссию» (расследование было произведено по его собственной просьбе). Правда, осторожный Герасимов, не желая ссориться с Верховным, предложил Саблину уйти самому,

подав рапорт о болезни, в связи с чем тот писал Деникину:

«Я за все время службы только два раза болел, – один раз на броненосце “Ослябя”, идя к Цусиме кругом Африки, – получил малярию, – другой раз – когда был во время последней войны Начальником Минной бригады, – получил воспаление легких. Но в обоих случаях рапортов о болезни не подавал, потому что оба раза меня уводили со служебного поста и укладывали в постель в бессознательном состоянии.

Я и теперь не подал рапорта о болезни, хотя бы потому, что подобное мое поведение явилось бы косвенным признанием с моей стороны обвинения, предъявленного мне адмиралом Колчаком».

Деникин все же не позволил отстранить Саблина от дел, и впоследствии Михаил Павлович неоднократно с успехом руководил действиями флота, – но сам конфликт не становится от этого менее показательным. Помимо предубежденности Колчака, его явной несправедливости, запальчивости и, похоже, склонности в этом вопросе прислушиваться к наветам, здесь можно усмотреть и ревнивое внимание Александра Васильевича к «своему» Черноморскому флоту, и уверенность – в отличие от «военно-сухопутных» дел – в своей компетентности и праве принимать решения по морским вопросам за тысячи верст и на основании докладов третьих лиц.

Быть может, само обращение к флотским заботам было для адмирала глотком свежего воздуха, – а уверенность должна была подкрепляться тем пиететом, с которым относились к своему старшему боевому товарищу моряки, оказавшиеся на Востоке России. Перечитаем хотя бы приветственные телеграммы, получаемые Верховным Правителем: «Офицеры и команда Амурской Флотилии и формируемый баталион морских стрелков Дальнего Востока просят меня передать Вашему Высокопревосходительству, что они всегда готовы выполнить свой боевой долг на передовых позициях. Контр-адмирал Тимирев», – или: «Отслужив молебен по случаю оффициального открытия действий комендантской роты, ядро будущего речного боевого флота горячо приветствует своего славного Верховного Вождя, Адмирала – волю, мозг и сердце России и ее армии и флота. Готовые отдать жизнь во славу возрождения родины и ее флота, мы прилагаем [104]все силы к его дальнейшему созданию для предстоящей борьбы на воде во славу Андреевского флага, нашей эмблемы верного служения родине. От лица всех находящихся в Перми чинов вверенного мне флота (sic! – А.К.) выражаю преданность и готовность исполнить наш долг до конца. Контр-адмирал Федорович». (Впрочем, не только моряки, но и

«сухопутные» подчиненные по недолгой службе адмирала на КВЖД вспоминали о нем с самыми теплыми чувствами, и бывший «орловец» полковник Ванюков телеграфировал Колчаку в декабре 1918 года, что формировавшийся им полк «просит принять» заверения, что, «как и в Харбине, готов ради Вас на все».)

Запальчивость в решениях и неумение разбираться в людях часто ставят Александру Васильевичу в вину применительно уже к войне на сухопутном фронте. Наиболее ретивые обличители – генералы Будберг и Филатьев, причем второй не скрывал, что поет с голоса первого, – до сих пор воспринимаются как непререкаемые авторитеты, а их нападки повторяются снова и снова как исчерпывающие объяснения, почему борьба на Востоке России завершилась катастрофой. На поверку, однако, оказывается, что воззрения Верховного Правителя на стратегию и подготовку вооруженных сил его критиками искажены до неузнаваемости.

Главный козырь критиков и их последователей – обвинение сибирских стратегов в пристрастии к авантюризму и личному участию начальствующих лиц в бою. «Вместо управления армиями, корпусами и дивизиями, – брюзжит Будберг, – рождена и укрепилась идея старших начальников, самих водящих свои войска в атаку». Филатьев, основываясь, видимо, на «Дневнике» Будберга, также пишет о советниках Верховного Главнокомандующего, которые «уверяли адмирала, что в революцию и стратегия, и тактика, и организация войск должны быть иными, чем в нормальной войне, и хорош лишь тот командующий армией, который сам с винтовкой в руках идет впереди солдат», – почему-то делая из этого вывод, чрезмерный даже для Будберга: «т. е. что и прапорщик в революцию может командовать армией». И все-таки собирательного «убедили», «хотят» и проч. кажется недостаточным для столь серьезных обвинений, тем более что на первый взгляд не очень понятно, кто из сотрудников Колчака являлся их адресатом.

Действительно, Степанов, Сурин, Марковский – ключевые фигуры военного министерства и Главного Штаба – в подобных взглядах замечены как будто не были и, напротив, представляются скорее генералами «старого закала», приверженцами планомерной работы и «регулярных» принципов военного строительства и ведения войны. Что касается Степанова, то группа его коллег по кабинету (в том числе неугомонный Михайлов, не чуждый интриганства Гинс и адмирал Смирнов) даже требовала 3 марта устранения генерала с министерского поста, ссылаясь на то, «что на фронте крайне возбуждены против Н.А.Степанова, считая его человеком бумажным, зарывшимся в

законопроекты, инструкции и т. п.»; таким образом, военный министр, бывший ставленником лично Колчака, совсем не походит на сорвиголову, сторонника начальственных атак «с винтовкой в руках».

Кажутся не подходящими под это определение и генералы А.И.Дутов и М.В.Ханжин, в 1918–1919 годах командовавшие группировками корпусного и армейского уровня (последний во время весеннего наступления 1919 года – Западною армией), несмотря на то, что оба были боевыми офицерами, а Ханжин в 1915 году, будучи командующим пехотной дивизией, даже был удостоен ордена Святого Георгия III-й степени как раз за личное возглавление атаки. Вряд ли полностью прав Будберг и в отношении генерала Дитерихса, утверждая, будто тот «усвоил себе сибирскую точку зрения на то, что гражданская война требует старших начальников, ходящих в атаку с винтовкой в руке». В большей степени образу «начальника с винтовкой» соответствуют прославленные генералы Сибирской армии, начиная с ее командующего Гайды и возглавлявшего Северную группу А.Н.Пепеляева; однако именно здесь следует задержаться и задуматься.

Дело в том, что до сих пор мы сознательно умалчивали о главном имени, связываемом с идеей «иных, чем в нормальной войне», стратегии и военного строительства – генерале Лебедеве. Это его представляют сорвиголовой-авантюристом и Будберг, и Филатьев, но при этом они забывают (не предумышленно ли?), что Лебедев был как раз во многом антагонистом вождей Сибирской армии. Интересно также, что группа министров, требовавшая отставки Степанова, прочила на его место генерала Б.П.Богословского – начальника штаба Гайды, однако в действительности Степанов был заменен как раз Лебедевым, и в этом приходится видеть личное решение Верховного Правителя. Будберг, правда, рассказывает, будто колчаковский начальник штаба ставил в пример именно Сибиряков, но к рассказу этому вообще нужно присмотреться повнимательнее.

«Скверно то, – пишет Будберг, – что адмирала убедили (кто? – А.К.) в том, что их (чей? – А.К.) взгляд на современного старшего начальника совершенно верен; того же убеждения и начальник штаба Верховного Лебедев, который уже раз в ответ на мои доводы о невозможности отправлять на фронт неготовые резервы отчетливо отчеканил самым менторским тоном, что “теперь не 1915–1916 года и нет времени отделывать укомплектования; война при данных условиях дает возможность обходиться и с сырыми укомплектованиями, что можно-де видеть по блестящим успехам, одержанным молодыми сибирскими

войсками под предводительством их храбрых начальников, с винтовкой в руках ходящих [105]в аттаку”». Из этого рассказа можно сделать выводы, что Лебедев был достаточно объективен, чтобы по заслугам оценивать тех генералов, с которыми находился в неприкрытом конфликте (об этом ниже); что он, по-видимому, как формулирует это Филатьев, действительно «в беседах (с Колчаком. – А.К.) высказывался за крайнюю активность действий против большевиков, которых легко победить с наскока»; наконец, что сам Будберг проницателен в своих суждениях и благородно стоит на точке зрения об «отделке» пополнений для фронта, которой противостоит некомпетентный начальник штаба Верховного Главнокомандующего. К счастью, относительно последнего обстоятельства, помимо «Дневника» генерала Будберга, существует еще и обстоятельный доклад Колчаку генерала Лебедева, датированный 21 января 1919 года, если и не целиком составленный последним (штабная работа к XX веку вообще стала в значительной степени коллективной), то подписанный им и, следовательно, отвечающий взглядам Дмитрия Антоновича.

Основная идея доклада – «для решительного перехода к активным действиям сформировать к весне новые части, которые до полного окончания их формирования не расходовать, как бы обстановка на фронте ни складывалась». Подготовка этого будущего ударного кулака, силу которого автор доклада предполагает довести до 135000 штыков и сабель, должна, по его мысли, проводиться на основе правильно организованного призыва военнообязанных, частично – с использованием кадра хорошо зарекомендовавших себя на фронте соединений и с массовой подготовкой и переподготовкой унтер-офицерского и даже младшего офицерского состава, – то есть принципы военного строительства по Лебедеву (и, очевидно, Колчаку) оказываются самыми что ни на есть регулярными и вовсе не похожи ни на какую авантюру или поиски «иных, чем в нормальной войне», форм.

Следует также подчеркнуть, что замысел начальника штаба Верховного Главнокомандующего, на наш взгляд, весьма напоминает попытки организации и использования войск, которые в конце лета – осенью 1919 года будет предпринимать, в период своего командования армиями Восточного фронта, генерал Дитерихс – и вряд ли случайно, что на роль «опытного лица», которому следовало бы поручить «общее наблюдение за успешностью формирования и правильной постановкой воспитания и обучения» новых дивизий, Лебедев предлагал именно Дитерихса; черновик же доклада рисует для последнего и

еще более широкие перспективы: «Крайне важно поставить во главе всех формирований сразу то лицо, которое впоследствии поведет их в бой, т. е. будущего командующего армией (армейской группой)»; «… объединение [106]всех вопросов формирования, воспитания и обучения представляется крайне важным, и чем более авторитетное лицо будет выдвинуто на этот пост, тем больше гарантия в том, что и дальнейший подбор начальников от этого выиграет, и будущая армия действительно представит собою постоянную регулярную вполне дисциплинированную армию как образец для дальнейшего роста вооруженных сил и как опору существующей власти и порядка», – с тою же рекомендацией: «по моему глубокому убеждению, таким лицом мог бы быть Генер[ального] Штаба ген[ерал]-лейт[енант] Дитерихс».

Разумеется, предположение, будто «за спиною» Лебедева стоял генерал Дитерихс – пусть и в качестве негласного, но авторитетного советника и консультанта, – остается не более чем предположением (хотя не забудем, что Дитерихс пользовался уважением генерала Алексеева, под началом которого служил и приверженцем которого являлся Лебедев!). Но если оно в какой-то степени справедливо, – этим с адмирала Колчака как будто снимается обвинение в пристрастии к «вундеркиндам» и пренебрежении «настоящими» генералами старой школы, а принципы, которые обычно считаются недостающими в военном строительстве на Востоке России, – в действительности оказываются здесь едва ли не основными. И, быть может, приходится предположить, что вред заключался не в недостатке, а в… переизбытке «регулярства».

Трудно подобрать теоретические возражения против логики Лебедева, Дитерихса и Колчака: свежие и хорошо подготовленные в тылу дивизии, будучи в нужный момент брошенными на чашу весов, казалось, и вправду должны были стать решающим фактором победы. Действительность, однако, далеко не всегда соответствует теоретическим схемам, а в годы смут и потрясений это несоответствие порой выглядит чуть ли не правилом. В частности, так произошло и с резервами, подготовленными в тылу. Они были многочисленны («… Мы были встречены с большим удивлением, когда они увидели стройные ряды 900 штыков-Сибирцев. Спрашивали – какая дивизия? и когда наши стрелки ответили, что это 1-й батальон 49-го Сибирского Стрелкового полка, они кричали: “Врешь, сибиряк, таких батальонов нет!”» – рассказывает командир батальона); они были неплохо – по меркам Гражданской войны – обмундированы и снаряжены («Появились любимые части вроде Каппелевского

корпуса, отлично до последней нитки и с запасом снабженного», – брюзжал Будберг, жалобы же офицера-«каппелевца», что корпусу «задерживали пополнение, не отпускали материальную часть, конный состав и прочее», скорее напоминают обычное недовольство строевика интендантством); они действительно, по возможности, были сбережены в тылу как единое целое и как единое целое выведены на фронт для общего удара – но в целом не оправдали надежд на них как на силу, способную коренным образом переломить ситуацию.

Даже Каппель – легендарный и героический генерал Владимир Оскарович Каппель, с горсткою добровольцев творивший чудеса весь 1918 год во время боев на Волге и последующего отступления, – оказался не сильнее этой скрытой тенденции Гражданской войны: оказавшись на передовой, части его 1-го Волжского корпуса начали нести потери (в том числе сдающимися в плен) и терпеть неудачи, и потребовалось… пребывание войск в непрерывной боевой страде, чтобы Каппель, не выводя их из огня, сумел превратить тех же самых солдат в железных бойцов. А поскольку вождей, подобных Каппелю, было значительно меньше, чем пополнений для фронта, – с остальными пополнениями ситуация нередко оказывалась еще более плачевной.

Суть этого парадокса, как можно предположить, заключается в следующем. Необходимую «шлифовку», спайку и сколачивание войска, очевидно, должны проходить не только в боевой обстановке, но и в тесном взаимодействии с фронтовиками, уже закаленными этим огнем и передающими новым пополнениям дух, только и способный привести их к победе. Трудно говорить об универсальности данного вывода, но в эпоху Гражданской войны он должен приобретать особенное значение в силу большей, чем обычно, роли военно-психологического, морального фактора (в первую очередь – веры в свои силы и боевого «куража»). Похоже, что это понимали или инстинктивно чувствовали герои сухопутных сражений Первой Мировой – генералы Юденич и Деникин, в 1919 году производившие пополнение и разворачивание своих армий на основе фронтовых частей и соединений и достигавшие на этом пути бóльших успехов, чем Верховный Правитель; Колчак же, склонившись к советам сторонников «регулярства» и системы стратегических резервов (вполне соответствовавших и его собственным взглядам), совершил, должно быть, принципиальную ошибку.

Похоже, Александр Васильевич сохранил приверженность к максимально «регулярным» методам военного строительства и далее. Так, уже 1 ноября 1919 года, выступая на заседании

Особого совещания при начальнике Добровольческих формирований, он объяснял успехи большевиков тем, что «противник скорее нас пополнил свои ряды новыми силами», и говорил:

«Опыт войны в Англии, например, показал, что, чтобы дать хорошее пополнение, его надо обучать не менее 6 месяцев.

У нас для такого длительного обучения не было времени. В лучшем случае мы имели возможность держать в тылу 3 месяца, противник же пополнял свои ряды без всякой подготовки».

Незамеченное, судя по всему, самим Александром Васильевичем противопоставление позволяет сделать из его слов даже вывод, будто неподготовленные, но быстро поставленные в строй пополнения оказываются лучшим боевым материалом, чем подготовленные, но недостаточно тщательно; однако дело даже не в этой оговорке. Сама идея «резервных армий» более чем уязвима даже в теории, и в качестве примера отвергающей ее точки зрения обратимся к аргументам прославленного французского полководца и военного теоретика Ф.Фоша, чей труд «О ведении войны» впервые увидел свет в 1904 году и неоднократно переиздавался.

«Теория этих резервов, этих армий второй линии, никогда не признавалась великими полководцами, – пишет Фош. – Дело в том, что в группировке для наступления они не имеют смысла.

Всякий резерв по самому своему назначению имеет целью подкреплять (усиливать) войска, ведущие бой, или парировать непредвиденные случайности, или обеспечивать решение боя. Первый случай неприложим в стратегии к действиям армий…

“Не было примера, – говорит Клаузевиц, – чтобы разбитая армия смогла быть снова двинута вперед благодаря подходу новой армии. Для этого она находится в состоянии слишком полной дезорганизации”…

… Тактический закон последовательности усилий… заменяется в стратегии обязательной концентрацией (сосредоточением) усилий. Поэтому при наступлении нечего и думать о том, что решение может быть достигнуто резервной армией, армией второй линии; если ее не будет на фронте, когда завязывается сражение, ей уже не хватит ни времени, ни пространства, ни доблести, чтобы доставить победу.

… Парирование непредвиденных случайностей… может встретиться как в тактике, так и в стратегии. Но чем шире масштаб операций, тем меньше опасность этих непредвиденных случайностей. Большие стратегические операции развиваются, вообще говоря, так медленно и на таких широких пространствах, а их результаты обычно так мало подвержены изменениям, что

всегда есть время предусмотреть их и принять соответствующие меры. Отсюда вытекает, что стратегический резерв, предназначенный для парирования случайностей, имеет смысл только тогда, когда мы лишены возможности действовать и вынуждены выжидать… Напротив, этот резерв теряет смысл с той минуты, как командование принимает ответственное решение перейти в наступление».

Разумеется, все подобные рассуждения не могут почитаться непреложными – война сложна и полна неожиданностей; и все же, констатируя выбор Колчаком, Лебедевым, а впоследствии и Дитерихсом, стратегии «резервных соединений», следует задуматься, а как обстояло дело с противоположной стороны фронта и не оказались ли советские руководители и их «военные специалисты» более прозорливыми в выборе принципов военного строительства?

Может показаться удивительным, но они пошли тем же путем и столкнулись с тою же проблемой. Бывший полковник-генштабист Н.Е.Какурин, в годы Гражданской войны служивший последовательно в пяти различных армиях, в том числе с начала 1920 года – в РККА, а после войны ставший одним из виднейших советских военных историков, отмечал формирование большевиками «глубоких резервов, числом одиннадцать дивизий», причем с осени 1918 года советское Главное Командование «широкой рукой черпнуло из этого резервуара», к концу февраля 1919-го забрав на фронт из одиннадцати – восемь, «не дожидаясь даже полного окончания их формирования и обучения». Результат, наверное, был, тем более что по советским штатам стрелковая дивизия должна была состоять из девяти полков, то есть равняться русскому корпусу (на всех антибольшевицких фронтах русские генералы старались сохранить старый четырехполковой состав дивизий); но был этот результат, очевидно, далеко не соответствовавшим ожиданиям, о чем Какурин пишет:

«… Выяснилась недостаточная первоначальная боеспособность дивизий, формировавшихся в глубоком тылу: “части после первых же боев перестали существовать как боевые единицы” [107].

Поэтому главное командование пришло к заключению о необходимости изменить существующую систему усиления действующих фронтов.

Решено было отправлять на них не отдельные войсковые части, а маршевые роты из состава дивизий внутреннего формирования, которые должны были вливаться в кадры уже обстрелянных на фронте частей.

Однако параллельно с этим способом питания и усиления фронтов решено было сохранить и прежний способ в виде отправки на фронт целых сформированных в тылу войсковых частей».

Несмотря на последнюю оговорку, весною 1919 года при обширной мобилизации «на Восточный фронт» даже партийные и профсоюзные организации, набиравшие наиболее надежный, с точки зрения большевицких руководителей, контингент, «не должны были увлекаться… формированием отдельных частей»: «мобилизованные коммунисты и добровольцы-рабочие должны были отправляться на фронт отдельными маршевыми ротами», чтобы быть включенными в состав уже воюющих частей. Тем не менее нельзя и говорить, будто командование РККА усвоило урок и склонилось к мысли о неэффективности крупномасштабных резервных формирований, – осенью 1919 года «в районе средней Волги и восточных губерний формируется особая запасная армия»: «в задачу этой армии входит создание резерва главнокомандующего как в виде готовых войсковых частей, так и в виде вполне подготовленных укомплектований».

Итак, в вопросе о подготовке стратегического резерва последовательность действий Верховного Правителя и его противников оказывается практически идентичной: повышенная «регулярность» при выборе методов подготовки; неудача при практическом применении резерва; разочарование, не затрагивающее, однако, принципов, к которым стремятся возвратиться при первом удобном случае. Упомянем здесь же, что и принципиальной разницы во внутренней организации и снабжении фронтовых частей нередко не наблюдалось, хотя с точки зрения общего обеспечения советские войска и имели значительное преимущество в виде доставшихся им с самого начала Гражданской войны основных запасов вооружения, обмундирования и снаряжения старой армии.

Однако бесхозяйственность быстро истощала эти запасы, а деятельность довольствующих органов кажется весьма далекой от совершенства для обеих противоборствующих сторон. Правда, генерал Степанов жаловался Верховному Правителю, «что им всегда посылается на фронт излишек амуниции против списка потребностей, но куда-то все это девается, и он никогда не может найти концов этих утрат» («А.В.Колчак объяснил, что, по его мнению, причину этого явления надо считать с одной стороны в нерасторопности распределительного аппарата на фронте, отчасти в распущенности солдат, которые продают чуть не открыто комплекты своей экипировки местному населению»), а барон Будберг возмущался результатами обследования

«армейских и войсковых тыловых учреждений», которое «дало… открытия в виде 30 тысяч пар сапог в одном эшелоне, 20 тысяч пар суконных шаровар в другом, 29 тысяч пар белья в третьем ипр. ипр… все это попадало в руки разных начхозов, не в меру заботливых о будущих нуждах своих частей, и складывалось ими про запас на будущее время»; но и с противоположной стороны весною 1919 года были возможны такие рапорты по начальству:

«Довожу до сведения, красноармейцы категорически заявляют, что мы дальше действовать не можем, потому что мы, во-первых, голодные, во-вторых, босые, раздетые, нас насекомые заели, потому что мы с первого восстания нашей организации до сих пор не получали ничего.

Просим вас принять самые энергичные меры, если не будет смены, то мы самовольно бросаем указанные нам позиции и следуем в тыл».

Таким образом, бытующие нередко восторги уровнем советского военного строительства, которое задним числом ставится в пример и Деникину, и Колчаку, и Юденичу, представляются по меньшей мере преувеличенными, а утверждения вроде «красная организация победила белую импровизацию» – не более чем эффектными фразами. Возвращаясь же к вопросу о подготовке резервов, отметим, что фатальность допущенных ошибок для войск Верховного Правителя и, с другой стороны, неприятные, но не катастрофические результаты тех же ошибок для РККА кажется разумным объяснить «фактором времени», моментом, на который приходятся неудачи с одной и с другой стороны.

Красные испытывают их в относительно спокойный зимний период, а в момент наивысшего напряжения сил, весною 1919 года, – пусть вынужденно, но прибегают к более оптимальному способу комплектования, характерному, как мы уже упоминали, для армий Деникина и Юденича. В войсках же Верховного Правителя пополнения сгорают (деморализуются, сдаются или даже переходят к противнику) в ходе важнейших операций армейского или фронтового уровня, одни – той же весною 1919 года, другие – во второй половине лета, и их неудачи существенно влияют на ход всей борьбы. А поскольку речь уже идет о ведении войны в полном ее масштабе, а не только о подготовке укомплектований, – уместно сейчас задуматься о состоянии управления полевыми войсками и вооруженными силами в целом и в этих размышлениях обратиться к прецеденту, обрисованному в свое время Фошем (речь идет об управлении прусской армией) и представляющему, на наш взгляд, определенную параллель с тем, что происходило в Сибири в

весенне-летнюю кампанию 1919 года.

Прусский Главнокомандующий (король Вильгельм), пишет Фош, «вообще говоря… в серьезных случаях воздерживается от личного вмешательства, а если вмешивается, то разве лишь для того, чтобы поддержать своим авторитетом предлагаемые ему решения; он не командует в военном значении этого слова, бросая мысль и обеспечивая ее осуществление… В данном случае его советником является начальник генерального штаба (имеется в виду Мольтке. – А.К.) – духовный руководитель всего предприятия, но лишенный звания, функций и средств, необходимых для подведения под свои планы надлежащей основы и для обеспечения их исполнения…

В результате такого распределения ролей главная квартира систематически руководит издали, вслепую и не считаясь с действительностью… На театре военных действий влияние Мольтке часто направлено на пустое место или в ложном направлении и приводит к бессилию. Успех вытекает не из четко задуманной им комбинации, точно осуществляемой войсками (наоборот, начальник генерального штаба иногда даже затрудняет достижение этого успеха), а сами войска добиваются победы там, где и когда он и не намечал ее».

Главнокомандующий, – указывает Фош в другой главе, – «вдохновляется исключительно идеями ген[ерала] Мольтке… скорее кабинетного ученого, чем человека дела, – если хотите, духовного руководителя всего предприятия, осуществление которого падает, таким образом, на командующих армиями и командиров корпусов; а они по временам не подчиняются его высшему руководству или не понимают его».

Уничтожающая характеристика существенно смягчается, однако, тем обстоятельством, что она относится к прусской армии периода войны 1870 года, в которой столь несовершенное управление почему-то не помешало наголову разбить французов и сокрушить империю Наполеона III, – а значит, и убедительно раскритикованные пороки отнюдь не влекут за собою неизбежного поражения. Но омскую Ставку, в чем-то подобную прусской, как ее рисует Фош (Главнокомандующий, осуществляющий если и управление, то никак не командование; начальник штаба – скорее «кабинетный работник»; удаленность от войск и проч.), нельзя уподобить последней в другом – в системе управления, о которой («система Мольтке») французский автор пишет:

«… Он покрывает своим авторитетом промахи и ошибки своих подчиненных, берет их на свой счет; он не только избегает порицания своих подчиненных, что могло бы отбить у них охоту

действовать, но даже одобряет их поведение, что поощряет их к дальнейшим действиям. Он считает, что в принципе их смелая инициатива даст благоприятные результаты, так как в большинстве случаев она проявляется вполне уместно; в противном случае она дополняется искусным управлением их войск, введенных в бой под их собственную ответственность; все подчиненные начальники получили подготовку не только достаточную, но даже рассчитанную на занятие ими более высоких должностей… Таким образом, усиленной деятельностью [108](plus d'action) он надеется спасти не свою комбинацию, редко известную исполнителям и редко осуществляемую ими, а импровизованную ими комбинацию, которая тем не менее приведет к победе. Если он таким образом не добьется намеченных им сражений или победы, сулящей огромные последствия, он все же будет иметь тактические успехи, достигнутые подчиненными начальниками и приводящие прежде всего к поражению противника, которое производит сильное моральное действие, сбивает с толку командование противника, заставляет его пересматривать свои планы, всячески снижает его роль…»

Здесь мы имеем несоответствие по двум основным признакам, и несоответствие это кажется нам роковым для вооруженных сил Верховного Правителя. Прежде всего, самостоятельность войсковых начальников по «системе Мольтке» находит свое оправдание в единстве мышления, подготовки, воспитания, – говорить же об этом или о наличии общей стратегической и тактической доктрины применительно к австрийскому обер-офицеру Гайде, профессиональному артиллеристу Ханжину (пехотой до Гражданской войны он командовал, но недолго), Дутову – выпускнику Академии Генерального Штаба, но «по второму разряду», Пепеляеву, на Великой войне командовавшему батальоном и конными разведчиками, генштабисту Белову, проведшему ту войну в штабах, идр. – кажется почти бессмысленным. А кроме того, одною рукой как будто предоставляя фронтовым командующим возможность широкой инициативы и даже подчас своеволия (это, похоже, вполне отвечало личной точке зрения адмирала Колчака), Ставка другою пыталась осуществлять над ними мелочную до оскорбительности опеку.

Генерал Иностранцев вспоминал о распоряжениях, посылаемых Лебедевым в войска: «… Это были документы чрезвычайно многословные, занимавшие подчас по несколько страниц и представлявшие собою весьма сложные приказы. В них не только указывались частные цели армий, не только давались

способы действий, но даже предусматривались иногда детали действий отдельных мелких частей. Так, например, в одной из директив мы, к удивлению своему, нашли указания, как следует действовать какому-то батальону, наступавшему вдоль берега реки Камы, и при этом подобные указания шли из Омска, удаленного от Камы на сотни верст», – с выводом: «… Управляя подобным образом, высшее командование, в сущности, не только не управляло войсками, а наоборот, мешало им, связывая их невыполнимыми приказаниями и сковывая их инициативу». Подобные тенденции, хотя, конечно, в более умеренных формах, можно заподозрить и у преемника Лебедева – Дитерихса, о котором Будберг (его помощник по должности военного министра) писал, что он «путается во все мелочи снабжения… и сводит меня к роли какого-то регистратора-делопроизводителя». Такая мелочность, похоже, не была редкостью среди русских генштабистов (ее ставили в вину, в частности, М.В.Алексееву и А.М.Каледину), но хорошего в ней, разумеется, было очень мало.

И вместе с тем омская Ставка не смогла выполнить своей главной функции – общего руководства ходом боевых действий, координации тех операций, которые проводились армиями порою почти независимо друг от друга. Так, Лебедев не добился сотрудничества генералов Гайды (Командующий Сибирскою армией) и Ханжина (Командующий Западной), а когда Колчак, стремясь установить единство управления, в июне подчинил было Западную армию Гайде, – последствия сразу оказались неприятными: «Гайда, – записывает в дневнике Вологодский 20 июня, – свою власть по командованию Западной армией начал с того, что особым приказом по армии обругал, почти в полном смысле этого слова, весь командный состав этой армии с ген[ералом] Ханжиным во главе», – после чего полномочия Гайды были вновь сокращены до командования одной Сибирскою армией. Пришедший на смену Лебедеву Дитерихс имел уже прерогативы Командующего фронтом, однако и он не сумел предотвратить операции армейского масштаба под Челябинском, на его взгляд «не соображенной с общим положением фронта» и поглотившей последние резервы. Показательным представляется и рассказ генерала Пепеляева об одном из переломных моментов борьбы:

«Мы двигались к Вятке… Войска рвались в поход; все складывалось так, что предвещало полный успех. И вдруг мы получаем из Омска приказ об отступлении. Я лично был всецело против отступления, для которого, по моему мнению, не было решительно никаких оснований, и стоял за продвижение вперед, к Вятке, а потом к Вологде, откуда в случае необходимости мы

могли бы перекинуться в Архангельск, на соединение с союзниками. Однако созванное мною военное совещание высказалось за исполнение омского приказа об отступлении…»

Не так уж важно, возобладало ли на «военном совещании» чувство долга и дисциплины или просто здравый смысл, – существеннее сама возможность обсуждения проекта, который сводится к оставлению фронта, обнажению фланга своих соседей и головокружительному маршу, имевшему целью даже не вражескую столицу, а всего лишь Вологду или Архангельск. И наряду с безответственностью по отношению к своим соратникам и начальникам, в этом бесшабашном рассказе перед нами предстает и дух победоносной и самоуверенной Сибирской армии, чьи вожди как будто представляли собою наиболее беспокойный элемент в среде русского командования на Востоке России.

Хорошо известен конфликт с Гайдой, разыгравшийся в конце мая 1919 года. Свое резкое недовольство деятельностью штаба Верховного Главнокомандующего генерал сообщил по телеграфу даже не Колчаку, а премьер-министру Вологодскому, очевидно опасаясь, как бы вопрос не был погребен в недрах Ставки (в этом опасении он, наверное, был прав, поскольку адмирал «заявил, что эта телеграмма не должна быть докладываема Совмину и вообще [следует] сохранить ее в тайне, чтобы не делать из этого излишней шумихи»). Вологодский так излагает содержание телеграммы, полученной им 26 мая:

«Телеграмма эта в очень решительных тонах содержала в себе критику действий начштабверха г[енерала] Лебедева, называет его распоряжения неправильными, а директивы его безумными, роняющими авторитет Верховного Правителя, указывает, что он занимается политикой и мешает только работе Совмина. И как следствие таких действий – катастрофическое положение на всем фронте, вынужденное, почти без боев, отступление Южной армии, совершенно беспорядочное, и упадок настроения в Сибирской армии, где в некоторых частях и даже в командном составе замечается нежелание воевать и [намерение] уйти к родным местам – в Сибирь. Кончается телеграмма указанием на необходимость принять немедленно меры к удалению от всякого участия в командовании ген[ерала] Лебедева, к реорганизации управления штабов армии [109]и угрозой, что он, Гайда, с 26 мая не будет считаться с распоряжениями нач[альника] штаба Лебедева и просит обо всем доложить Совмину, чтобы он поддержал его домогательства».

Колчак и Лебедев отнесли тон телеграммы и ее требования к переживаниям Командующего Сибирской армией, связанным с

наметившимися неудачами на фронте: если еще 23 мая «говорили, что положение Сибирской армии прекрасно», то разговор с Гайдой по прямому проводу 26-го принес известие, «что вся Вятка [110]нашими войсками очищена» (это было преувеличением, но красное наступление действительно началось). «Верх[овный] Правитель и Лебедев, – записывает Вологодский, – находили, однако, что Гайда излишне нервничает, дела вовсе не таковы, чтобы следовало приходить в отчаяние, что ген[ерала] Гайду жалко было бы терять как боевую командную силу, но его требования совершенно неприемлемы и даже предъявление таких требований – недопустимо».

Впрочем, уже на следующий день Колчак, взявший решение вопроса в свои руки, передал министрам, что конфликт улажен и Гайда «подчинился всем требованиям Верх[овного] Прав[ите]ля» в обмен на обещание назначить «особую комиссию из опытных и заслуживающих доверия штаб-офицеров для расследования правильности и целесообразности распоряжений ген[ерала] Лебедева в отношении командования на фронте и снабжения его». Теперь уже Лебедев, в свою очередь, посчитал себя оскорбленным и даже «заявил, что на время работ такой комиссии он устраняется от активной деятельности»; похоже, «авантюрист-выскочка» и русский дворянин – офицер Генерального Штаба в чем-то стоили друг друга.

Комиссия, назначенная Колчаком, состояла из генералов Дитерихса, Матковского и Иностранцева. По рассказу последнего, Гайда «со слезами на глазах» признавался им, что «был близок к тому, чтобы двинуть армию к Омску» и даже считал, что подчиненные за ним пойдут, – «Но я удержался от этого замысла и он, таким образом, не пошел далее моего сердца». Тогда же Гайда говорил: «Я прошу вас всех заверить Верховного Правителя в моей ему преданности и в дальнейшей готовности служить его делу возрождения России, но прошу также предупредить, что те способы управления армией, которые применяет Ставка, приведут дело к катастрофе, если эти способы не будут изменены и не будут избраны другие руководители». Комиссия склонилась к выводу, «что ввиду основательности жалоб и недовольства Гайды возможно ограничиться лишь вызовом его к Колчаку и выговором, не смещая с должности Командующего армией». Верховный Правитель воспринял это с удовлетворением – ему, видимо, действительно не хотелось терять генерала Гайду.

Второй вывод комиссии, относящийся к деятельности Ставки, оказался намного более спорным. Иностранцев в качестве мотивировки называет нежелание Дитерихса быть заподозренным в интриганстве, поскольку «общественное мнение» Ставки якобы

прочило именно его на место Лебедева; мы, кроме того, не забудем, что штабные проекты стратегического резерва составлялись как будто в соответствии со взглядами Дитерихса (если не под его влиянием) и отводили ему весьма значительную роль; но какими бы соображениями генерал ни руководствовался, выводы его не представляются благотворными. Иностранцев так передает диалог, состоявшийся в кабинете у Верховного Правителя:

«– Ну хорошо, но как же быть тогда с начальником штаба? Может ли при условии, что Гайда останется на своем месте, оставаться генерал Лебедев? – спросил Колчак.

– Мое мнение, – отвечал Дитерихс, – что и генерал Лебедев может и должен остаться на своем месте. Этого требует дисциплина и необходимость поддержания ее. Нельзя, чтобы незаконное желание одного подчиненного выполнялось путем ухода другого. Пока, повторяю, генерал Лебедев должен остаться. С другой стороны, не могу не доложить, что мнение комиссии по вопросу об управлении армией и действиях Ставки в оперативных и военно-административных вопросах, как это ни странно, сошлось во взглядах с генералом Гайда, и совершенно не в пользу Ставки».

После этого напрашивается вопрос, выполнила ли вообще «комиссия Дитерихса» свою задачу, поскольку та заключалась, как мы знаем, не в уговорах уже смирившегося перед Колчаком Гайды и не в доведении генерала до слез, а в анализе действий штаба Верховного Главнокомандующего; когда же характеристика этих действий вступает в явное противоречие с практическим выводом, это не может быть поставлено в заслугу ни Дитерихсу, ни Колчаку, который выводами комиссии, по наблюдению Иностранцева, «остался чрезвычайно доволен». Казалось бы, раз Верховный Правитель уже был настроен учитывать «мнение фронта» и «популярность Гайды», а авторитетные генералы подтвердили правомочность предъявленных обвинений (пусть не по форме, но по существу), – решение расстаться с Лебедевым выглядело бы более оправданным. Принятое же решение по сути решением не являлось и напряженности отношений не снимало.

Это стало ясным менее чем через месяц, когда генералу Дитерихсу были предоставлены права Главнокомандующего армиями Восточного фронта. В тот же день, когда состоялось это назначение (20 июня), Гайда, вновь начавший проявлять недовольство, был вызван в Омск, где Колчак в присутствии Вологодского поставил Командующему Сибирской армией прямой вопрос, «желает ли он подчиниться его, Верх[овного] Главноком[андующего], приказаниям или отказывается».

«Гайда, – записывает в дневнике премьер-министр, – как бы несколько колеблясь или выбирая более удачные выражения для своего ответа, после некоторого раздумья ответил приблизительно так: “Я, В[аше] В[ысоко] Пр[евосходительство], всегда готов подчиниться Вашим приказаниям, но когда между Вами и мной ставятся два таких средостения, как с одной стороны ставка с людьми, распоряжения которых я считаю вредными для фронта, и с другой – ген[ерал] Дитерихс, я не могу оставаться на своем посту”. “Не можете. Тогда я буду считать Вас свободным от командования Сибирской армией”, сказал адмирал решительным тоном, но, как мне показалось, не без нотки сожаления, что ему приходится расставаться при таких обстоятельствах с генералом, заслуги которого перед русской армией и правительством так значительны». Спокойствие Александра Васильевича свидетельствует, очевидно, в пользу того, что решение его было взвешено и принято заранее, хотя процедура отставки Гайды и затянулась – сначала тот попросил отпуск, затем заявил о подчинении распоряжениям Верховного и в результате оставил свой пост «по болезни» лишь 7 июля.

Демарш Гайды, связанный с назначением Дитерихса, выглядит не вполне понятным. Трудно сказать, мог ли Гайда иметь какие-либо предубеждения, а если имел – то какие именно: в 1918 году Дитерихс был подчеркнуто лояльным «чешским добровольцем», а на русскую службу перешел вместе с самим Гайдой; разговор их во время майского кризиса, по воспоминаниям Иностранцева, был вполне доверительным и во всяком случае дружелюбным; наконец, на новой должности Дитерихс вообще никак себя еще не проявил, и потому «средостение», на которое жаловался Гайда, было пока лишь потенциальным. Но следует обратить внимание на немаловажную деталь – устойчивую репутацию Дитерихса как монархиста и «реакционера», действительно делавшую его кандидатуру одиозной и нежелательной в глазах даже не столько самого Гайды, сколько некоторых лиц из его окружения (в первую очередь – «начальника информационного отделения» штабс-капитана Н.В.Калашникова), исповедовавших социал-революционные взгляды и оказывавших на неопытного в политике генерала немалое влияние.

В связи с этим обратим внимание, что и майский конфликт разразился на третий день после назначения генерала Лебедева военным министром, и это также могло быть не случайным: Лебедев, как мы знаем, пользовался тою же репутацией реакционера. Кстати, и обращение Гайды к Вологодскому тогда могло, помимо всего прочего, подчеркивать политическую

составляющую всего конфликта. Не забудем здесь и подачу Гайдой Верховному Правителю меморандума «Резюме о военном наступлении», написанного Калашниковым и содержащего, среди прочего, политические требования созыва «Сибирского парламента», национализации земли и проч. Немалую степень политизированности демонстрировал и ближайший соратник Гайды, командующий Северною группой Сибирской армии генерал Пепеляев.

21 июня, на следующий день после объяснений Гайды с Колчаком, Пепеляев направил Командующему армией обширный рапорт, подписанный также начальником штаба Северной группы и генерал-квартирмейстером. Многословно и, пожалуй, излишне взволнованно в нем излагались нужды и заботы фронта, которые даже на фоне риторических преувеличений («Настала такая минута, когда не знаешь, что будет завтра, не будут ли части сдаваться в плен целиком», – при том, что летнее отступление Сибирской армии хотя и протекало с неизбежными потерями, но не принимало столь катастрофических форм) не теряли своего значения и смысла. Пепеляев считает необоснованным общий план развивавшегося весной наступления; винит Ставку в малом внимании к подготовке кадров, комплектованию фронтовых частей и их снабжению; сравнивает командные и боевые качества «старых начальников» и выдвигаемых молодых офицеров; в целом определяет сложившуюся обстановку как настолько тяжелую, что даже угрожает своею отставкой, делая это, правда, весьма осторожно и как будто оставляя себе возможность отступиться: «Я лично, как солдат, буду воевать всегда и при каких угодно условиях, но как старший начальник, ведущий в бой тысячи людей, могу лишь тогда оставаться на месте, когда верю в успех, без этих высказанных мною условий надежды на успех нет». Все это, включая угрозу отставкой, если и не было совсем уж в порядке вещей, то по крайней мере не очень выбивалось из общей практики служебных взаимоотношений, которые в годы Гражданской войны приобрели в целом более нервный характер. Но генерал, требующий спешно доложить об его рапорте лично Колчаку, от обсуждения операционных направлений, наличия подвод, ботинок и седел неожиданно переходит к требованиям, с основным содержанием документа связанным весьма слабо:

«Должен быть какой-то перелом, новый взрыв патриотизма, без которого мы все погибнем. Я верю, этот подъем настанет, как только само общество будет призвано к деятельности в форме возможно менее ограниченного самоуправления и будет допущено к кормилу государственной власти…

Необходимо:

1) объявить торжественно о созыве Учредительного собрания по освобождении всей России, не урезанного, а полноправного, которое само определит и решит дальнейшие судьбы России;

2) немедленно и торжественно правительству объявить, что отныне по всей России земля будет принадлежать только тому, кто лично трудится на ней, и отойдет крестьянам без всяких выкупов и урезываний;

3) немедленно урегулировать рабочий вопрос, обеспечив самих рабочих и их семьи житьем более сносным, чем при большевиках, – требовать работу, но и проявлять заботу во всех отношениях…

4) объявить всеобщую трудовую повинность без различия классов и состояния;

5) [осуществить] призыв на военную службу интеллигенции без всяких льгот и отсрочек – все равно должны защищать свою Родину;

6) невоенных обложить военным налогом, увеличивающимся соответственно их состоянию».

19 июля в Тюмени, на совещании у генерала Дитерихса, Пепеляев снова стал развивать какие-то политические прожекты. В ответ Колчак, квалифицировав происходящее как «глубокое моральное разложение», в письме от 28 июля дал Пепеляеву настоящую отповедь.

«Не мне, конечно, – писал Александр Васильевич, – мыслящему создание государственной власти только путем созыва Национального Учредительного собрания, не мне, принявшему перед Сенатом присягу в передаче этому собранию всей полноты власти и обязавшемуся в его немедленном созыве, как только будет уничтожен большевизм, говорить о целесообразности этого акта.

Вопрос поставлен Вами о немедленном его созыве в постыдные дни разложения части армии, той, на которую была возложена главная надежда.

Неужели же Вам, перед глазами которого прошли все революции, не видно смысла и сущности того, что произошло 19 июля в Тюмени?

Ведь это точное воспроизведение периода разложения армии при Керенском.

Ведь это точное повторение тех событий, которые определили созыв Учредительного собрания 1917 г., которое избрало председателем Чернова и запело интернационал…

Я считаю немедленный созыв Учредительного собрания, помимо фактической невозможности “немедленно” это сделать, гибелью всей огромной и успешной в общем борьбы с

большевизмом. Это будет победа эсеровщины, того разлагающего фактора государственности, который в лице Керенского и Ко естественно довел страну до большевизма.

На это я никогда не пойду.

Сибирская армия разложена эсеровщиной, может быть, незаметной для Вас, но мне отлично видимой со стороны. Гайда, может быть не отдавая себе отчета, создал обстановку, в которой под видом ложного демократизма в Сибирскую армию, в ее немолодой состав [111]проникло разложение, и последствия его теперь налицо…

Меня более всего удивляла Ваша полная неосведомленность о правительственной работе в области не только земельного и рабочего законодательства, но даже вопроса о материальном обеспечении войск, их семейств и проч.

Я пришел к убеждению и знаю, что мои приказы и правительственные распоряжения задерживаются в штабах Сибирской армии, и на почве незнания и непонимания велась определенная противоправительственная работа.

Все это уже пережито и испытано. Но я на путь ничтожного шутовства в стиле Керенского не могу вступить и обращаюсь к Вам как к солдату с приказанием немедленно прекратить во вверенной Вам армии работу, которая под красивыми лозунгами народовластия, народоправства неизменно приведет к новой вспышке большевизма. Я отдал сегодня приказ, в котором сжато сформулировал свои цели и задачи [112]. Он должен служить для Вас директивой для внушения войскам и разъяснением им, за что мы ведем борьбу. Если Вы этого сделать не сумеете, то что же сделает какой-то “земский собор”, в который при настоящих условиях войдут те же элементы, которые уже привели государство к гибели…

Как командующему армией я приказываю Вам всеми средствами бороться с политиканством и ложным демократизмом и выбросить из состава армии те элементы, которые являются по существу предателями и изменниками, иногда не отдающими себе отчета в этом».

Старший брат Пепеляева, омский политик, похоже, невысоко расценивал интеллект генерала. «Пепеляев, – писал о последнем через несколько лет Вологодский, – всегда был человеком невежественным в общих вопросах хозяйственной, экономической и финансовой жизни страны и крайне наивным в вопросах политических. Об этом мне говорил как-то в интимной беседе со мной его брат Виктор Н[иколаевич] Пепеляев. Он как-то, когда на Урале наша армия дрогнула, а Гайда затеял какую-то авантюру, сказал мне “я должен поехать к Анатолию, поставить его в курс

наших течений, а то я боюсь, что, всегда разбирающийся в политических вопросах плохо, он попадет под чье-нибудь дурное влияние. Время от времени его надо информировать, а мне он верит безусловно”». Возможно, что и лозунги «народовластия, народоправства» стали следствием чьих-либо влияний, а не были выношены сибирским героем. Но вопрос о политической составляющей той борьбы, которая развернулась под верховным управлением адмирала Колчака, независимо от пепеляевских требований представляется слишком серьезным, чтобы оставить его без внимания.

Глава 16
Политика на войне

Нам все-таки трудно признать полную правоту генерала Пепеляева, утверждавшего, что «нельзя рассчитывать на идейную победу над большевизмом до тех пор, пока к этому не приступит само общество»: идейная борьба идет в лучшем случае рука об руку с вооруженной, обычно же отстает от нее, и в России, освобожденной штыками русских войск, изживание большевизма было бы скорее всего вопросом не слишком продолжительного времени. Тем не менее понятна обеспокоенность Пепеляева «апатией общества к делу возрождения России» – «тыл загадочно молчит, борьбу с большевизмом ведет лишь одно правительство и люди, к нему примазавшиеся, деятели минуты и материальных интересов». Вряд ли последнее обвинение справедливо, и весьма вероятно, что оно стало следствием целенаправленной идейной обработки порывистого генерала его «революционно-демократическими» друзьями; но негодование по адресу «гнилого тыла» было свойственно отнюдь не ему одному и имело определенные основания.

Представления о тотальном, всеобъемлющем и всепроникающем характере развертывавшейся борьбы, несмотря ни на что, оставались чуждыми русскому обществу. Нечто подобное наблюдалось и в годы Великой войны, вызывая тогда же горькие обсуждения в Совете министров: «… У нас кричат – все для войны, но от удовольствий и пьяного времяпрепровождения отказаться не желают добровольно…» Похожие чувства звучат и в 1919 году в письме офицера-фронтовика: «Неужели не найдется у вас там в тылу человека граждански мужественного, который не убоится крикнуть во всю глотку всем этим тыловым негодяям, забывшим фронт и тех, за спиной которых они спокойно устроились, что пора проснуться, прекратить вакханалию, веселье в кабаках и личные дрязги и интриги из-за теплых местечек!» Но и не обращаясь к столь крайним проявлениям душевной глухоты и безразличия к русской трагедии, стоит задуматься, насколько серьезно подходили к идущей войне и необходимому напряжению всех сил общество, да и правительство адмирала Колчака?

Вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. По отношению к местному самоуправлению или организации промышленности «либерализм» Колчака и его кабинета представляется не слабостью или непониманием серьезности

обстановки, а принципиальным выбором, ставкой именно на то, что свободные народные силы самою этой свободой будут противостоять наступлению большевицкого государства и дезорганизующим тенденциям по эту сторону фронта. Надеждам не суждено было сбыться, но выбор Колчака из-за этого не должен быть ошельмован как слепота или слабоволие.

С другой стороны, подчас действительно кажется, что Российское Правительство не до конца понимало относительную важность рассматриваемых вопросов и тратило время, силы и средства на мероприятия, которые вполне могли быть отложены до конца войны. Вряд ли можно как-либо иначе расценивать, например, учреждение 19 августа 1919 года должности «инспектора военно-спортивных обществ» для каждого военного округа и штатов соответствующих управлений. Сомнительными кажутся и шаги в области образования и науки, в которых допустимо увидеть потакание «областническим» амбициям сибирской «общественности».

Оговоримся: сами по себе открытие Иркутского Государственного Университета (в составе историко-филологического и юридического факультетов, к которым в перспективе должны были добавиться физико-математический и медицинский) или Института исследования Сибири в Томске (Средне-Сибирское и Дальневосточное отделения, отделы: географический, бальнеологии и курортоведения, естественно-исторический, промышленно-технический, историко-этнографический и статистико-экономический) не могли бы встретить возражений. Однако сроки, в которые предполагалось разворачивание этих научных учреждений – постановление об Университете было принято 26 апреля, об Институте – 28 июня 1919 года, – в сопоставлении с картиной борьбы на фронте вызывают сомнения в их целесообразности для переживаемого момента. Трудно отвергнуть предположение, что сибирские патриоты, в том числе из состава Совета министров, поспешили воспользоваться пребыванием столицы в Омске для мероприятий, проводимых в местных сибирских интересах.

С другой стороны, работа интеллигенции в таких учреждениях была с государственной точки зрения, конечно, намного предпочтительнее, чем ее обращение к политиканству в составе земств или иных организаций, как мы знаем, нередко приобретавших в 1918–1919 годах явную «революционно-демократическую» окраску. Да и кроме этого тыловое население было охвачено комплексом мер, в которых и проявилась степень понимания Колчаком тотального характера войны.

Прежде всего, конечно, речь должна была идти о постановке

в строй всех имевших военное образование. Этому был посвящен указ Верховного Правителя от 13 марта 1919 года, которым объявлялось о незамедлительной (в недельный срок) явке и постановке «на особый учет» «всех генералов, адмиралов, штаб– и обер-офицеров, почему-либо до сего времени не поступивших на военную или морскую службу, всех отставных генералов, адмиралов, штаб– и обер-офицеров, всех офицерских чинов, находящихся на службе вне военного и морского ведомств, а равно освобожденных от призыва или уволенных от военной службы за болезнями или освобожденных согласно “Временного Положения об изъятиях, отсрочках и льготах по отправлению воинской повинности”»; то же касалось «всех военных врачей, медицинских и ветеринарных, и военных чиновников подобных указанным для офицеров категорий». Кроме того, 4 марта и 3 апреля «все молодые интеллигентные силы страны были призваны в ряды войск для вооруженной борьбы с большевизмом», и ожидавшийся в связи с этим отток служащих из гражданских учреждений заставил прибегнуть к такой мере, как введение «всеобщей гражданской трудовой повинности».

Утвержденное Верховным Правителем постановление Совета министров от 6 мая 1919 года, «исходя из убеждения, что и на поприще службы гражданской и общественной каждый гражданин обязан в настоящий решительный час… отдать свои знания, силы и опыт великому делу возрождения Родины», устанавливало: «Всеобщая гражданская трудовая повинность заключается в обязательной службе в учреждениях правительственных, земских и городских», для чего «Российские граждане обоего пола интеллигентных профессий или технического образования в возрасте от 18 до 55 лет» подлежали учету и могли быть призваны «при возникновении надобности в обеспечении лицами интеллигентных профессий или технического образования учреждений правительственных, земских и городских и невозможности комплектования их иным способом», – и повинность эта не осталась пустым звуком.

Так, 11 июня «вследствие необходимости пополнения личного состава судебных учреждений» был объявлен призыв (по министерству юстиции) лиц обоего пола в возрасте от 21 до 55 лет, получивших юридическое образование, а 11 августа – призыв «граждан мужского пола в возрасте от 25 до 55 лет… имеющих практическую подготовку к хозяйственной деятельности», на службу в учреждениях министерства снабжения и продовольствия. Отметим здесь, что в то время, как советская «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» объявляла о введении всеобщей трудовой повинности «в целях

уничтожения паразитических слоев общества и организации хозяйства», то есть основное значение большевики, как всегда, придавали насильственному видоизменению мира, – «колчаковская» повинность имела целью лишь наиболее полное использование профессиональных навыков и способностей граждан для нужд воюющего государства. Те же нужды, впрочем, зачастую требовали и приобретения совершенно новых навыков…

«В городах и крупных населенных пунктах, где введено военное положение, – гласило утвержденное адмиралом постановление Совета министров от 27 июня 1919 года, – привлечь, при недостатке милиции и наличного состава войск, мужское население в возрасте от 21 года до 45 лет к занятиям по ознакомлению с употреблением оружия для самоохраны и несения второстепенной караульной службы» («привлечение к отбыванию повинности по самоохране и караульной службе» предстояло в случае необходимости осуществлять военному министру по согласованию с министром внутренних дел). Эта мера имела целью не только мобилизовать тыловое население во всех отношениях, в том числе и в моральном, но и, в случае необходимости, высвободить последние резервы в виде запасных, комендантских и проч. частей. Разумеется, само осуществление такого призыва становилось тревожным симптомом, как, например, поздней осенью в сибирской столице, где Колчак указом от 2 ноября призвал «к несению караульной службы всех проживающих в г[ороде] Омске лиц мужского пола в возрасте от 18-ти до 35-ти лет включительно», за исключением железнодорожников, врачей, служащих почт и телеграфа, водопровода, «электрических сетей» и представителей некоторых других специальностей. Последняя мера оказалась неэффективной, но справедливость требует признать, что не более эффективными были и аналогичные действия, предпринимавшиеся большевиками. Апелляция к «сознательности» и «энтузиазму» масс вряд ли могла достигнуть успеха в России после двух с половиною лет смуты, когда энтузиазма у народа вообще поубавилось.

Общепринятая точка зрения, впрочем, скорее переоценивает пропаганду, агитацию и прочие методы стимулирования этого энтузиазма, в чем, как считается, «колчаковское государство» решительно проигрывало своим противникам. Последнее должно быть справедливым применительно к техническим возможностям Сибири и Дальнего Востока, и понятна невольная зависть, с которой обозревал Гинс привезенные с Юга России образцы тамошней пропагандистской продукции: «У нас в Сибири не было ни одной типографии, где бы можно было так удачно, во многих

красках, выполнить агитационные плакаты, не было художников, чтобы рисовать такие карикатуры, столько журналистов, чтобы выпускать так газеты и книжки». Однако утверждать, будто пропаганда, адресованная как войскам, так и мирному населению, да и за линию фронта, была в пренебрежении у Верховного Правителя, – значит погрешить против истины.

Не все просто и в вопросе об эффективности пропаганды. Совершенно непонятно, к примеру, почему статьи и речи Ленина, написанные тяжелым и запутанным языком, «интеллигентские» в худшем значении этого слова, должны были производить большее впечатление, чем растиражированные газетами и листовками горячие воззвания адмирала Колчака:

«Крестьяне и солдаты.

Неужели вы еще можете верить большевистским смутьянам и обманщикам?

Неужели вы еще не видите, что враги народа, захватив власть, разграбили достояние крестьян и горожан, обездолили рабочих своими лукавыми обещаниями, привели всех нас к нищете и Родину нашу к гибели?

Я и мое Правительство заявили вам, что мы считаем справедливым и необходимым отдать всю землю трудящемуся народу.

Я это сказал, и весь мир слышал мои слова, теперь я повторяю это вам, крестьяне и солдаты, и я не отступлюсь от своих слов. Помните это твердо и не верьте обманщикам-большевикам.

Помните также, что необходимо скорее разбить те банды, которые в слепоте и темноте своей защищают народных комиссаров, забыв Бога и народ. Помогайте же нашей Армии, честно бьющейся за спасение России и народа.

Каждый лишний день власти Совета Народных Комиссаров отдаляет тот час, когда русская кормилица-земля перейдет в руки земледельцев-крестьян, любящих свою Родину-мать и спасших ее в смутное время».

Заметим также, что «колчаковская» пропаганда была многообразной. Например, широко распубликованное обращение от 12 января 1919 года, подписанное Верховным Правителем и членами кабинета, явно адресовалось образованным слоям общества, не чуждым политической деятельности. «Все просвещенное в России безжалостно и зверски истребляется, – гласило оно. – В темноту и беспомощную слепоту повергается Русский народ, и именно тогда, когда ему особенно нужны люди знания и науки». Требуя: «При создавшихся условиях все силы должны быть обращены на служение фронту», – обращение

специально оговаривало возможность и желательность сотрудничества или по крайней мере сосуществования с различными политическими силами, согласными объединиться во имя патриотической идеи: «Государственный разум и национальная совесть подскажут всем деятелям крайних течений, что их будущее и будущее демократии вообще зависят от умения ограничить себя в настоящем, когда напрягаются последние усилия, чтобы спасти страну и свободу». Напротив, к крестьянам армейский пропагандистский аппарат обращался совсем иным языком и с другими аргументами:

> «Большевики заставляют крестьян пахать, боронить, сеять, жать, а распоряжаться хлебом не позволяют.
>
> Крестьянам оставляют только продовольственный паек и семена, а остальной хлеб увозят.
>
> Никаких запасов делать не позволяют.
>
> Найдут что-либо сверх пайка, отбирают.
>
> Случись на другой год неурожай, крестьянин хоть с голоду помирай…
>
> Если скажут, что крестьянину и жить на белом свете нельзя, – большевики ответят, что при большевистском порядке крестьян и быть не должно.
>
> Должны же быть только рабочие-пролетарии, у которых ничего своего не должно быть, ни земли, ни сохи, ни бороны, ни лошади, ни коровы…
>
> Не так поступает наше правительство.
>
> Хлеба у крестьян оно не отбирает, всякий волен распорядиться по-своему своим хлебом.
>
> Землю же наше правительство решило передать в руки крестьян, которые своим трудом обрабатывают свои поля…
>
> Наше правительство всеми мерами будет содействовать переходу земель в полную собственность трудящихся.
>
> Но окончательно вопрос о том, как наделить землей крестьян, решит Всероссийское Национальное Собрание.
>
> Собрание это будет состоять из лиц, избранных самим народом.
>
> Эти народные избранники выслушают от своих избирателей, как лучше разделить землю, и решат это дело по совести и справедливости так, как это выгодно крестьянам…
>
> Помогите же своему правительству в его борьбе с вашими врагами – большевиками.

Пока есть винтовки – вставайте в ряды армии.

Если придут большевики и будут отбирать от вас ваше имущество в коммуну, а вас сделают рабочими, рабами комиссаров, – вы сами будете восставать, но тогда не будет у вас ни ружей, ни пушек, ни пулеметов».

Впрочем, путь уговоров и пространных мотивировок нередко воспринимается как проявление слабости – и уже не уговаривая, а требуя, словами суровыми и лаконично-отрывистыми обращается «к населению» адмирал Колчак 10 августа:

«Наши армии, находящиеся в непрерывных боях с марта месяца, требуют отдыха и по моему приказанию отходят, не вступая в большие бои с противником.

В это время, когда армия занята огромной внутренней работой и боевой службой, я требую от граждан и населения полного спокойствия, выдержки и общей работы для армии.

К тем, кто будет препятствовать мне и Правительству в этой работе, я буду относиться как к пособникам большевиков.

С мятежниками и трусами буду поступать по законам и обычаям военного времени.

Я вместе с армией уверен в конечной нашей победе».

Мы видели и приказ Колчака с объявлением целей борьбы, и посвященные тому же декларации и заявления, и поэтому уже с недоверием отнесемся к распространенным заявлениям, будто «Белая армия не знала, за что воюет». Спору нет, в любой армии (и Красная в этом отношении отнюдь не была исключением!), тем более комплектуемой на основе массовых мобилизаций, присутствует немалая доля чинов индифферентных, апатичных, душевно и духовно глухих; но имевшие уши в 1919 году могли слышать и должны были услышать голос Верховного Правителя России.

С вопросом о «незнании целей войны» почти неразрывно связан вопрос об «аполитичности армии», которую обычно также выдают за одну из главных причин поражения Колчака. Действительно, принцип «армия вне политики» был провозглашен Верховным Правителем в первые же дни после принятия им полноты власти: так, уже 21 ноября 1918 года он обращался к войскам с приказом, который следовало «прочесть во всех ротах, эскадронах, сотнях, батареях и командах» (то есть донести буквально до каждого солдата и казака):

«Я требую, чтобы с начавшейся тяжелой боевой и созидательной работой на фронте и в тылу, – офицеры и солдаты изъяли бы из своей среды всякую политику и взаимную партийную борьбу, подрывающую устои Русского Государства и разлагающую нашу молодую Армию…

Всякую попытку извне и изнутри [113]втянуть Армию в политику приказываю пресекать всеми имеющимися в руках Начальников и офицеров средствами».

Те же мысли звучат и в приказе Верховного Главнокомандующего от 23 ноября 1918 года: «Я призываю Вас сплотиться около меня, как первого офицера и солдата, сковать свои ряды воинской дисциплиной, отказаться от всякой политики, партийности, отбросить мелкие личные счеты, интриги и вражду, уже приведшие нас однажды к гибели, и выполнить честно свой долг перед Родиной, с оружием в руках смыть тяжкий позор, на нее наброшенный, очистить ее от предателей и врагов и создать в ней условия мирной и спокойной жизни, когда временная Верховная Власть Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего могла бы передать судьбу Государства в руки народа, предоставив ему устроить Государственное Управление по своей воле, воле свободного, независимого народа, достойного занять подобающее место среди Великих Государств». При этом становится ясным, что приравнивание «аполитичности армии» к «незнанию армией своих целей» является в сущности подменой понятий: «армия вне политики» по Колчаку на самом деле означало «армия вне партийности», вне борьбы политических и политиканствующих группировок, вне дезорганизующих лозунгов и идей.

Это раскрывалось в утвержденном Верховным Правителем постановлении Совета министров от 4 марта 1919 года, гласившем: «Всем лицам, состоящим на военной и военно-морской службе, как то: офицерам, врачам, военным и военно-морским чиновникам, военному и морскому духовенству, кондукторам флота, всем солдатам и матросам, а равно и всем вольнонаемным служащим в строевых частях, штабах и управлениях военного и морского ведомства – воспрещается [114]: 1) входить в состав и принимать участие в каких бы то ни было союзах, группах, организациях, товариществах, партиях и тому подобное, образуемых с политической целью; 2) присутствовать на разного рода собраниях, обсуждающих политические вопросы, а также на каких бы [то] ни было тайных собраниях; 3) принимать какое-либо участие в противоправительственной

агитации и пропаганде; 4) публично произносить речи и суждения политического содержания; 5) принимать непосредственное участие или присутствовать на каких-либо сходках, митингах или манифестациях без разрешения непосредственного своего начальства; 6) участвовать без разрешения своего непосредственного начальства в каких-либо чествованиях, носящих публичный характер; 7) состоять на службе в городских, земских, общественных и частных учреждениях, предприятиях, коль скоро на это не будет дано разрешения непосредственного начальства; 8) заниматься без ведома и разрешения своего начальства литературной работой в повременной печати». Ну, а такая аполитичность на поверку представляла собою единственную гарантию цельности и, в конечном счете, боеспособности вооруженных сил Свободной России.

Забежим немного вперед. Даже крупные неудачи на фронте, даже случаи массовых переходов на сторону противника в войсках Верховного Правителя весной – летом 1919 года не надломили духа остававшихся в строю до тех пор, пока генералитет и офицерство сохраняли дисциплину, пока продолжалось организованное «сверху» сопротивление противнику. И напротив, когда войсковые командиры – от недавних героев Гайды, Зиневича, Ивакина, да и Пепеляева, до безымянных поручиков и штабс-капитанов – начали попытки вмешиваться в политику и делать вооруженную силу, находившуюся в их распоряжении, фактором не только боевым, но и внутриполитическим, – произошла катастрофа. Армии Колчака были, без сомнения, потрясены фронтовыми неудачами, но поставили крест на борьбе многих тысяч, еще стоявших под ружьем, тыловые мятежи, которые взорвали тыл изнутри, зачастую – под руководством офицеров, еще не снявших русские погоны (пожалуй, в этом смысле «политические» компоненты борьбы оказались на Востоке более значимыми, чем, скажем, на Юге, где генерал Деникин сумел до конца удержать свои войска и их начальников в повиновении).

Впрочем, список «погрешностей» адмирала Колчака, усердно составлявшийся как современниками, так и позднейшими авторами, далеко не исчерпывается перечисленным. Парадоксальным образом в вину Александру Васильевичу начинают ставить и то, что он был-де «слишком честен», а неприемлемость для Колчака большевицких методов «ораторского спектакля пустых обещаний» почему-то комментируется с «сожалением». Следует признаться, что мы не разделяем этих сожалений и честность адмирала считаем не его

недостатком, а преимуществом; с точки зрения же «реальной политики» Колчак, его правительственные и агитационные органы, по нашему мнению, дали неплохой пример, как апелляция к высоким человеческим чувствам может сочетаться с пониманием того, что природе человека присущи чувства не только высокие, но – слишком часто – и меркантильные.

Материальные интересы солдат сражающейся армии учитывались в утвержденном Колчаком постановлении Совета министров от 14 марта 1919 года, которое предписывало «предоставить военнослужащим Русской армии и флота, принимавшим участие в борьбе за возрождение России… преимущества и льготы по земельному и хозяйственному устройству в местностях, предназначенных для водворения переселенцев» (те же преимущества предоставлялись и семьям убитых). Верховным Правителем устанавливалось «преимущественное перед всеми остальными лицами, в течение десяти лет со дня издания сего закона, право устройства на всех открытых для водворения переселенческих участках» и «исключительное, в течение того же срока, право устройства на особых участках, предоставленных Министерством Земледелия для устройства только названных воинов и их семей». Земля передавалась «на праве собственности», а предоставляемые льготы включали приобретение с двухлетней рассрочкой «предметов сельско-хозяйственного и рабочего оборудования» из запасов министерства земледелия и бесплатное получение казенного леса, если на отведенных участках леса для построек не хватало. Напротив, трусливый солдат и тем более сознательный предатель подлежали наказанию, о чем гласил приказ Колчака от 14 мая:

«1) Все движимое имущество сдавшихся добровольно в плен или перешедших на сторону противника, а также лиц, добровольно служащих на стороне красных, конфисковывать в пользу казны.

2) Собственную землю лиц тех же категорий конфисковывать в распоряжение Правительства и передавать для удовлетворения нужд солдат и их семей, пострадавших во время настоящих военных действий.

3) Во время ведения операции упомянутых выше предателей и изменников в плен не брать, а расстреливать на месте без суда; при поимке же их в дальнейшем будущем [–] арестовывать и предавать военно-полевому суду».

Та же логика – верные своему долгу должны поощряться за счет противника – звучит и в указе Верховного Правителя от 21 июня, изданном после подавления значительных очагов красной

партизанщины: «Государственные земли, входящие в состав наделов селений Тасеева Канского уезда и Степно-Баджейского Красноярского уезда Енисейской губернии, изъять из пользования крестьян названных селений и обратить в земельный фонд, предназначенный для устройства воинов в порядке закона 14-го марта 1919 года».

Сочетание моральных и материальных способов влияния на подчиненных видим мы и в действиях Колчака в октябре, накануне катастрофы, по отношению к солдатам Воткинской дивизии, в значительной степени состоявшей из добровольцев – рабочих Воткинского завода (аналогичный состав имела и Ижевская дивизия). Во время поездки на фронт, оказавшись в расположении Воткинцев, адмирал обратился к солдатам с укором: «Я должен сказать вам откровенно, что в последнее время ваша былая слава померкла. Я давно не слыхал о вашем участии в боях. Между тем ижевцы, ваши родные братья, за последнее время участвовали в ряде боев и показали такую доблесть, что я везу им георгиевское знамя. Я хотел бы, чтобы и вы не отставали от них» (нам непонятно, почему Гинс – свидетель этой речи – почувствовал в ней «какую-то деланность и холодность»). Но наряду с этим упреком, постановлением Совета министров от 31 октября, утвержденным Колчаком, предписывалось «во внимание к особым заслугам, оказанным Воткинцами Родине, выдать на каждого эвакуировавшегося служащего, мастерового или рабочего Воткинского завода пособие… исходя при его исчислении из расчета шестисот рублей за каждый месяц, в течение коего тому или иному служащему, мастеровому или рабочему не было предоставлено работы»; таким образом, боевыми делами Воткинцев-добровольцев было заслужено поощрение и их землякам-беженцам.

В одном из процитированных нами документов уже прозвучали зловещие слова «в плен не брать», вообще считающиеся одним из лейтмотивов «беспрецедентных по жестокости» гражданских войн. Эту точку зрения как будто подтверждают и воспоминания Гинса, так передававшего слова адмирала: «Гражданская война должна быть беспощадной. Я приказываю начальникам частей расстреливать всех пленных коммунистов. Или мы их перестреляем, или они нас. Так было в Англии во время войны Алой и Белой розы, так неминуемо должно быть и у нас, и во всякой гражданской войне». Здесь следует оговориться, что даже по советским данным численность коммунистов в рядах трехмиллионной Красной Армии к тому моменту составляла 121000 человек, то есть всего 4 % (на всех фронтах и в тылу), – может быть, потому, что само членство в

партии являлось сознательным выбором, присоединением к лагерю разрушителей России, и зачисляли туда с большим разбором. Но если возмездие за такой выбор было с точки зрения Александра Васильевича хотя и суровым, но справедливым и, кажется, единственно возможным, – то гораздо менее осмысленной и целесообразной представляют обычно его политику по отношению к основной массе красноармейцев и красных командиров, в том числе бывших офицеров-«военспецов».

Генерал Пепеляев возлагал вину за неоправданную строгость на Лебедева, считая «роковым» его приказ «всех взятых… предавать суду»: «Приказ этот настолько не соответствует жизни, что мне непонятна цель, которой хотел достигнуть отдававший его». Вообще говоря, такой приказ и заложенная в нем «идеология» вполне соответствовали взглядам Лебедева, как мы знаем, исповедовавшего принципы «регулярства» (с которыми согласовывалась необходимость производить расследование деятельности офицеров, перешедших на большевицкую службу) и старавшегося глядеть на положение в стране без розовых очков. О последнем свидетельствует, в частности, подготовленное ближайшим сотрудником Лебедева, полковником Г.В.Леоновым, в конце января 1919 года приказание именем Колчака о формировании «при каждой стрелковой дивизии и отдельной стрелковой бригаде» по отдельному Егерскому батальону. В качестве причин формирования назывались недостатки войск, которые «не могут считаться сплоченными и безусловно надежными», сами же батальоны в руках начальников дивизий или бригад должны были «служить средством» —

> «а) Подавления в частях войск могущих возникнуть брожений и беспорядков;
>
> б) Понуждения частей войск к беспрекословному и точному исполнению боевых распоряжений, и
>
> в) Как последний резерв для развития боевого успеха или удержания занятых участков позиции».

Обратим внимание, что Ставка Верховного была озабочена самыми жесткими способами поддержания внутренней устойчивости войск по меньшей мере за три месяца до прискорбных случаев массовой сдачи или перехода к противнику, облегчивших красным их контрнаступление в конце апреля – мае; что, кроме того, к лету 1919 года далеко не во всех дивизиях были сформированы Егерские батальоны, а там, где были, – функции их сводились в основном к последней из перечисленных, и своей задачи, поставленной Лебедевым и Леоновым, они, в сущности, не выполняли; однако сейчас нам важно даже не это.

Относясь столь скептически к собственным войскам, начальник штаба Колчака (и, напомним, доброволец с ноября 1917 года!) просто обязан был сурово относиться и к взятым в плен или перебежавшим от красных «военспецам». Однако кроме начальника штаба Верховного Главнокомандующего был еще и сам Верховный Главнокомандующий, – а он обратился со специальным воззванием «к офицерам и солдатам красной армии»:

> «… К Вам, русское офицерство и солдаты, попавшим по несчастью в район, где царят несбыточные мечты, обращаюсь я; к Вам, доказавшим свою любовь [к] Родине на полях Пруссии и Галиции; к Вам, кого [115]дети, жены, матери, невесты, все близкие, изголодавшиеся, – своими страданиями заставили вступить в ряды тех, которые подняли меч против своего же брата…
>
> Пусть все, у кого бьется русское сердце, идет к нам без страха, так как не наказание ждет его, а братское объятие и привет [116].
>
> Я отдал приказ своей Русской Армии: всех добровольно переходящих к нам офицеров и солдат красной армии принимать с радостью, как несчастных братьев.
>
> Все добровольно пришедшие офицеры и солдаты – будут восстановлены в своих правах и не будут подвергнуты никаким взысканиям, а наоборот, им будет оказана всякая помощь».

В тот же день увидело свет и обращение от штаба Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего (то есть учреждения, подчиненного Лебедеву), призванное успокоить тех, кто поверил советской агитации, будто русские войска «уничтожают всех без исключения служащих в большевистских учреждениях, военных и гражданских»:

> «Власть, идущая с Востока, знает, к каким бедствиям привели большевики. Она, предавая виновных законному суду, сурово карает только тех, кто старательно работает вместе с большевиками, которые в глазах ее являются государственными преступниками…
>
> Все же граждане, любящие свою Родину, верящие, что восторжествует право и справедливость и что скоро будет восстановлена Великая Россия, не должны поддаваться провокации».

Можно заметить, как это делает Гинс, что обращения запоздали (они датированы 28 мая), однако он же свидетельствует: «Начались как раз неудачи, но офицеры переходили (на сторону войск Верховного Правителя. – А.К.). Они объясняли, что переходили намеренно во время неудач, чтобы больше было доверия к их искренности…» Но и в более ранний период распоряжения Лебедева и точка зрения Омска вряд ли способны были помешать самостоятельным войсковым начальникам поступать так, как они считали нужным. Например, Пепеляев писал: «В Перми ко мне присоединился 701 красный офицер, почти все они занимают командные должности, из них сформирована Пермская дивизия, боевая работа которой блестяща». Агитационные органы Сибирской армии также вели пропаганду в этом направлении, причем в зависимости от адресата формы ее варьировались.

Так, воззвание к «Российским Генералам, Адмиралам, Офицерам Армии и Флота, Военным Инженерам, Инженерам путей сообщения, Инженерам-технологам, Архитекторам, Техникам-строителям, Землемерам и всем образованным людям земли русской» – «стоявшим ранее во главе Великой и Мощной Нации Российской» – сочетало пафос («восстаньте, идите и победите», «начало трудно, но путь ясен и прям») с рациональными аргументами: «Вы ждете, чтобы иностранцы пришли и спасли Вас», – но «иностранцы, видя на обеих борющихся сторонах присутствие образованных классов населения, издалека рассуждая, не могут понять основных и глубоких причин нашей гражданской войны и того ярко и ясно сознаваемого всеми нами представления, что свобода, равенство и братство несовместимы с Советской властью». Лишь однажды в воззвании звучит угроза, но и она относится не к грядущему воздаянию тем, кто сотрудничал с большевиками, а к их предстоящей печальной судьбе на советской стороне, – и звучит при этом, как мы сейчас понимаем, подлинным пророчеством: «Все равно, рано или поздно Вас, если Вы только любите Россию, за одно это большевики будут уничтожать, и уж лучше встать против них с оружием в руках, чем бесславно быть избиваемыми…» Напротив, в обращениях к рядовым красноармейцам зачастую встречаются апелляции отнюдь не к патриотическим чувствам, а эксплуатация инстинкта самосохранения заставляет даже предположить, что не так уж и проигнорирован был «белой пропагандой» опыт пропаганды социалистической, шкурной, разложившей в 1917 году русскую армию:

«Товарищи, вас посылают на фронт, на смерть от пули или снаряда, посылают на муку и гибель.

– За что?

– За то, что кучка негодяев боится суда и казни и поэтому заставляет вас защищать их своею жизнью, да разве ваша жизнь дешевле жизни Лениных, Троцких и других мерзавцев и громил, которых все равно ждет виселица. Для чего вы должны умирать?

Для того, чтобы дать им лишний день сытой жизни. Не ходите на смерть. Живите в довольстве и мире между своими близкими. А когда вас силой гонят на смерть под пули, снаряды, штыки, которые разобьют вам голову, изуродуют вас и принесут вам смерть, то вы помните, товарищи, что стоит пробежать каких-нибудь версту, две, и вы спасены, вы живы, сыты, вам никто не грозит, и никакой комиссар, хоть [бы] вы ему по морде дали, до вас уже не доберется. Помните это, товарищи, – за фронтом безопасность».

Подобные мотивы звучат и в листовке «Осведверха», опубликованной в начале осени 1919 года. Подчеркивание в ней успехов на остальных антибольшевицких фронтах стремится к тому же психологическому эффекту, которого добьется в конце зимы 1920-го советская пропаганда, разрушившая Северный фронт генерала Миллера. Подобно тому, как большевицкие агитаторы подчеркивали, что все контрреволюционные армии потерпели поражение и «Северяне» остались в одиночестве, – «Осведверх» почти полугодом раньше взывал:

«Солдаты красной армии!

Почаще оглядывайтесь назад!

Там у вас в глубоком тылу Добровольческая армия Генерала Деникина шаг за шагом продвигается вглубь Советской России. Киев взят… Ваш флот в Кронштадте расстреливается; лучшие суда потоплены; город бомбардируется. Наша северная армия продвигается на Вологду… Железные дороги, идущие от Поволжья в Сибирь, каждую минуту могут быть перехвачены. И ваши войска, протянувшиеся тонкой кишкой вглубь Сибири, будут отрезаны.

Оглянитесь назад!

Не останавливается в своем движении вперед Армия, сражающаяся за народные права – за Учредительное Собрание. А навстречу ей из глубины России поднимаются крестьянские восстания…

Оглянитесь назад!

На гибель заманили вас сибирским хлебом народные комиссары.

Сдавайтесь, пока не поздно. У нас вас ждет братская встреча, а не расстрел».

Впрочем, нельзя не заметить, что если самостоятельность войсковых начальников в каких-то случаях оборачивалась милосердием к пленным и перебежчикам (при поддержке из Ставки или без такой поддержки), то та же самостоятельность в случае озлобленности или просто излишней суровости начальника могла привести и к обратному результату, и никакие распоряжения «сверху» не защитили бы в должной степени ни пленных, ни мирное население занимаемого войсками района.

Ущерб, наносимый мирным жителям, и вызываемое им недовольство также зачастую относят к причинам конечной неудачи русской контрреволюции. Стоит, впрочем, обратиться к размышлениям генерала А.А. фон Лампе, основанным на его собственном опыте строевого и штабного офицера:

«Я лично принимал участие в японской войне, имевшей безукоризненно налаженный тыл… я принимал участие в великой войне, на европейском фронте ее, – и должен установить следующее. Всегда и всюду, при самой дисциплинированной армии, при самом налаженном тыле, даже при психике, нравственно не поколебленной неудачами или революцией, – грабежи были, есть и будут… Да и что в этом удивительного? Природа войны настолько ужасна, обыденность ее настолько жестока, что человеческая натура, в основу которой, как мы, к сожалению, хорошо убедились, заложено столько гнусного, не может не отозваться на соблазн “безнаказанного” преступления… Если все это в полной мере применимо ко всякой войне, что лично для меня несомненно, то в какой же мере это подтверждается в войне гражданской [117], особенно жестокой хотя бы уже потому, что в ней каждый сам себе выбирает свой фронт борьбы и естественно усматривает в каждом, кого он видит по ту сторону боевой линии, в том числе и в обывателе, никакого участия в этой борьбе не принимающем, – врага…»

Подчеркнем, что «мирный обыватель» для солдата, воюющего месяцы, а то и годы без перерыва, начинал восприниматься как враг, и напрасно Гинс находил в таком отношении «непонятное

озорство», «неуважение к чужому труду и праву». Типично интеллигентское преувеличение, абсолютизация прискорбных фактов военного произвола помешало мемуаристу и оценить более объективно «обывателей», часто становившихся в те годы отнюдь не страдающею стороной, по отношению к которым весьма разумными представляются рассуждения современного историка:

> «Крестьянин любил [красных] партизан не более, чем казака с нагайкой, а мобилизации, правительственные и партизанские, – просто ненавидел. Но если уж деться было некуда, он предпочитал, чтобы его сын шел в партизаны, а не в солдаты. В солдаты – это угонят далеко, и счастье, если вернется в рваной шинели и с пустой котомкой. В партизаны же – это где-то здесь, недалеко, еще, может, что-нибудь и раздобудет для хозяйства. Ведь бывает же: заберут какую-нибудь станицу или городишко – и приносят домой кто ситцу, а кто и швейную машинку или еще что-нибудь…»

И по меньшей мере спорным становится, таким образом, вопрос, что было хуже – почти истерическая агрессивность солдата или расчетливое скопидомство «мирного обывателя»? Но понятно, что и одно, и другое наносило вред русскому делу не только «материальный» («солдатские грабежи озлобляют крестьян», «крестьянская партизанщина отвлекает войска с фронта»), но и – быть может, даже в первую очередь – моральный; и потому адмирал Колчак, видевший единственную возможность победы в восстановлении общенационального сознания и прекращении внутренней розни, наряду с жестоким противодействием грабительской партизанщине («Я знаю… о трех случаях сожжения деревень, – говорил он на допросе, – но эти случаи носили вполне военный характер, так как это были укрепленные пункты повстанцев… эти случаи сожжения я считаю необходимыми военными мерами») ставил в то же время задачей, чтобы действительно мирное население относилось к войскам «с уважением и благодарностью, видя в каждом офицере и солдате защитника»: «Войска и население должны видеть друг в друге братьев». С этой целью приказ Верховного Правителя от 6 мая 1919 года требовал:

> «Командующим армиями и отдельными корпусами установить порядок оплаты населению за забираемые продукты, фураж, подводы и проч.»;

«Строжайше воспретить бесплатное пользование чем бы то ни было от населения»;

«При уходе каждой части войск с места своего квартирования требовать от местных гражданских властей квитанции о благополучном квартировании.

Местные власти в случае каких-либо недоразумений с частями должны вносить в эти квитанции заявленные претензии… Об изложенном порядке широко оповестить население»;

«Для удовлетворения личных претензий населения к войскам учредить в армиях комиссии по разбору жалоб… В случае заявления жалоб уголовного характера комиссиям поступающую по этому делу переписку направлять подлежащему прокурору на распоряжение»;

«В каждом случае реквизицией не должно отбираться то, что необходимо для пропитания и работы населения» [118].

Горькое замечание генерала фон Лампе – «Борьба (с произволом войск. – А.К.) необходима, но не надо закрывать глаза и на то, что результатом этой борьбы будет всегда не уничтожение, а только уменьшение [119]размеров зла!» – остается, должно быть, справедливым. Но несомненно и искреннее стремление адмирала Колчака бороться с червоточиной вседозволенности, разъедавшей на войне людские души, и не останавливаться при этом перед решительными мерами. «По приказу Верховного Правителя недавно был расстрелян офицер, зарубивший крестьянина-подводчика и бивший мужиков нагайкой [120]», – оповещало в адресованной войскам листовке Осведомительное отделение Восточного фронта, и подобные объявления не хуже начальственных распоряжений должны были воздействовать на военную массу. С другой стороны, указание Колчака «всякого рода заслуженные расстрелы… производить подальше в тылу и не публично» как будто свидетельствует о нежелании Александра Васильевича развращать армию зрелищем казней и делать последние элементом устрашения, террора.

Таким образом, ни «недостатки агитации», ни «незнание целей войны», ни «чрезмерная суровость по отношению к противнику», ни «грабежи населения», несомненно будучи крайне отрицательными факторами, не представляются нам подлинною, определяющей причиною конечной неудачи адмирала Колчака. Причину же эту следует, как бы банально ни прозвучало такое

утверждение, искать на полях сражений и в штабах, где эти сражения планировались.

Глава 17
Уфа – Челябинск – Тобол – Омск

Мы уже знаем, насколько ответственным было решение Александра Васильевича принять должность Верховного Главнокомандующего и каковы были его взгляды на индивидуальный характер военного творчества. И на первый взгляд кажется, что именно оперативное творчество Колчака (или позиции, с которых он вмешивался в оперативное творчество своего штаба) не соответствовало требованиям Гражданской войны: ведь он считал «первой и основной функцией командующего» – «изучение и познание обстановки для составления ее оценки как фундамента по созданию военного замысла» («Служба Генерального Штаба»), в то время как в сознание русских генштабистов последних предвоенных выпусков из Академии закладывалась идея о необходимости «создавать обстановку, а не подчиняться ей». Настораживает и проблема выбора основного операционного направления на весеннюю кампанию 1919 года, поскольку стратегии Колчака (впрочем, самого Колчака при этом обычно пренебрежительно сбрасывают со счетов, представляя его марионеткою в руках Лебедева) часто приписывается неумение определить «основную идею» будущих операций или, хуже того, попытка выполнить сразу два стратегических плана. Так, генерал Филатьев пишет:

> «Для наступательных операций было только два разумных варианта:
>
> 1) Или выставить заслон в сторону Вятки и Казани и, держась здесь оборонительно, главные силы направить на Самару и южнее, чтобы у Царицына соединиться с Донцами и Добровольческой армией и затем совместно действовать на Москву, упирая свой правый фланг на Волгу.
>
> 2) Или же двинуться в направлении Казань – Вятка с тем, чтобы через Котлас связаться с Архангельском, усилиться оттуда людьми и перекинуть свою базу из Владивостока в Архангельск, чтобы быть ближе к Англии – источнику пополнений военным имуществом…
>
> … Был еще один, третий вариант, кроме двух указанных: двинуться одновременно и на Вятку, и на Самару… Именно он и был избран для сокрушения большевиков, что и привело Сибирские армии в

конечном результате к краху».

Не будем специально подчеркивать, что изложение «второго» варианта у Филатьева по меньшей мере неряшливо, – в действительности речь должна была идти не об операционном направлении Казань – Вятка, с не очень понятным исходным пунктом такого маршрута, а о Казани и Вятке как промежуточных рубежах (на пути к Москве) наступления по двум операционным направлениям. Не будем также придираться к изложению варианта «первого» – согласно Филатьеву (его явному сторонникуу), при реализации такого плана между «заслоном в сторону Вятки и Казани» и основной группировкою, переводимой на правый берег Волги (иначе войска не смогли бы опереться на реку своим правым флангом), образовывался бы разрыв еще более угрожающий, чем образовался в действительности между Западною и Сибирскою армиями. Суть замечаний Филатьева – не в «положительной», а в «отрицательной» их составляющей; не в предложении более рационального плана и даже не в выборе одного из имевшихся, поскольку представления генерала о них, как видим, довольно смутны, – а в обвинении колчаковской Ставки, будто она легкомысленно избрала путь двух генеральных наступлений по двум изолированным операционным направлениям.

Несколько по-иному представляет дело генерал Будберг, в отличие от Филатьева находившийся весною – летом 1919 года в Омске, но о мотивировках, которыми руководствовалась Ставка при разработке планов весеннего наступления, узнавший лишь post factum. Будберг утверждает, что в Ставке – «как говорят, со слов Лебедева» – не верили «в силу и устойчивость армии Деникина» и, сравнивая «южный» и «северный» театры возможного разворачивания операций, отдавали предпочтение последнему. Ссылаясь на «доклад Ставки», Будберг рассказывает:

> «… В докладе указывается, что население южных губерний по нижнему течению Волги тоже малонадежно для производства там прорыва и мобилизаций, так как там много рабочих и бродячей вольницы (заметим, что генерал Лебедев происходил „из дворян Саратовской губернии“, родился в Царицыне и, возможно, знал, что́ говорил. – А.К.); железные дороги Юга считаются также очень потрепанными и лишенными подвижного состава, что делает невозможным базирование на них при общем наступлении к Москве.
>
> Казанско-Вятский фронт ставочными стратегами оценивается по той же схеме несравненно более

благоприятным; считают, что население здесь крестьянское, более спокойное и, как уверяют, чуть ли не монархическое; железные дороги считаются менее потрепанными, а самое наступление прикрыто с севера малодоступными лесами и болотами».

Наряду с этим Будберг, уже открыто ссылаясь на сплетни «маленьких людей в Ставке», называет одним из главных и самых влиятельных сторонников «северного направления» – генерала Нокса, «мечтавшего о возможно скорой подаче английской помощи и снабжения через Котлас, где существовало прямое водное сообщение с Архангельском, куда уже прибыли значительные английские запасы». Наконец, лукаво оговорившись – «в возможность такой гадости я не верю», – Будберг все же не отказывает себе в удовольствии передать «такую гадость» – еще более злую сплетню, будто в основании выбора стратегического плана лежало стремление «избежать соединения с Деникиным, ибо младенцы, засевшие на все верхи, очень боятся, что тогда они все полетят и будут заменены старыми опытными специалистами». Как бы то ни было, автор «Дневника» отнюдь не поддерживает версию о двух независимых и даже расходящихся операционных направлениях, подводя читателя к выводу, будто направление было избрано одно – «северное».

Наконец, можно привести и примеры еще более радикальной оценки колчаковского стратегического планирования. Современный историк одним росчерком пера уничтожает стратегию омской Ставки буквально на корню: «Законы военного искусства непреложны и говорят о необходимости, как минимум, трехкратного превосходства над противником для успешного ведения наступления. При несоблюдении этого условия и отсутствии резервов для развития успеха операция приведет лишь к напрасной гибели людей, что и произошло весной – летом 1919 года. К началу наступления белые обладали лишь двойным превосходством в силах, причем учитывая нестроевых, а не только боевой состав. Реальное соотношение, скорее всего, было для них еще менее выигрышным» (если сравнивать те же подсчеты с оценками численности красных соединений Восточного фронта, сделанными по советским документам Какуриным, временное превосходство колчаковских войск не достигнет и полуторной отметки).

Возражение звучит как будто убедительно, а в своей апелляции к гуманистическому сознанию в части, касающейся «напрасной гибели людей», – и вовсе кажется неотразимым; однако на поверку оно отнюдь не столь безупречно. Продолжая

эти рассуждения, остается придти к выводу, что Гражданская война в России (да и не только она) была в принципе невозможна, поскольку противоборствующие стороны, крайне редко обладавшие желанным превосходством три к одному, вместо наступлений должны были замереть и каким-то не совсем понятным способом наращивать свои силы, – а война без наступлений ни к чему хорошему заведомо не приводит.

Можно и обратиться к опыту подлинного, а не кабинетного стратега – генерала Деникина, который писал о своей летней кампании 1919 года: «Мы занимали огромные пространства, потому что только следуя на плечах противника, не давая ему опомниться, устроиться, мы имели шансы сломить сопротивление превосходящих нас численно его сил [121]… В подъеме, вызванном победами, в маневре и в инерции поступательного движения была наша сила». С другой стороны, Деникин сам говорит о различии стратегий «внешней войны» и «войны гражданской», причем применительно к последней считает, что ее условия, «не опрокидывая самоценность незыблемых законов стратегии, нарушают их относительное значение», – и соответственно ослабляет этою оговоркой собственную позицию. Однако вот что пишет о «теории, самодовольно идущей вперед путем абсолютных заключений и правил», Клаузевиц, рассматривающий как раз наиболее принципиальные вопросы любой войны:

> «Теория обязана считаться с человеческой природой и отвести подобающее место мужеству, смелости и даже дерзости. Военное искусство имеет дело с живыми людьми и моральными силами; отсюда следует, что оно никогда не может достигнуть абсолютного и достоверного. Для неведомого всегда остается простор, и притом равно большой как в самых великих, так и в самых малых делах. Неведомому противопоставляются храбрость и вера в свои силы. Насколько велики последние, настолько велик может быть и риск – простор, предоставленный неведомому. Таким образом, мужество и вера в свои силы являются для войны существенными началами; поэтому теория должна выдвигать лишь такие законы, в сфере которых эти необходимые и благороднейшие военные добродетели могут свободно проявляться во всех своих степенях и видоизменениях. И в риске есть своя мудрость и даже осторожность, только измеряются они особым масштабом».

Обратим также внимание, что при разборе одного из

сражений «внешней», а отнюдь не гражданской Франко-Прусской войны Фош ставит пруссакам в заслугу применение «давно известного принципа: “Лучший способ обороняться заключается в том, чтобы атаковать”, принявшего в данном случае даже такой вид: “Чем мы слабее, тем больше мы атакуем”» и «непрерывное стремление к моральному превосходству» даже «без надежды на решительный успех». Правда, Фош говорит не о стратегии, а о тактике; однако и в приводимом им примере масштаб был отнюдь не малым (с обеих сторон участвовало семь корпусов, потери которых в общей сложности превысили тридцать тысяч человек), особенно по сравнению с масштабами русской Гражданской войны, которую можно со стратегической точки зрения определить как войну небольших армий на обширных пространствах; кроме того, сам Фош подчеркивает, что «непрерывные наступательные действия» тогда «спасли стратегический маневр». Поэтому вопрос должен стоять о том, насколько наступление, пусть даже недостаточно обеспеченное с точки зрения отвлеченных «непреложных законов», преследует цели, принципиальные для выполнения общих задач войны.

Главной задачей становился разгром живой силы противника, то есть оперативные соображения должны были превалировать над «отвлеченно-географическими» (захватом территорий, рубежей и даже продвижением к вражескому центру по кратчайшему направлению). С этой точки зрения наступление на Глазов – Вятку – Котлас, к тому же обещавшее значительно сократить пути доставки снабжения (существующие, как мы знаем, тянулись через всю Сибирь от Владивостока по единственной магистрали), также не теряло своего смысла, поскольку советские войска были распределены против «северного» и «южного» направлений почти поровну (по советским же данным, 49800 штыков и сабель и 47000 штыков и сабель соответственно). Кроме того, гипнотически на молодых генералов Сибирской армии мог действовать тот факт, что соединение с частями Северного фронта генерала Миллера на тактическом уровне… уже состоялось!

Еще в конце января – начале февраля 1919 года передовые колчаковские подразделения появились на Печоре, 21 марта произошла встреча с «архангельцами», а 26 апреля Командующий русскими войсками Северного фронта генерал В.В.Марушевский в ответ на приветственную телеграмму Гайды от 18 апреля передавал: «Прошу верить моему горячему желанию вести работу не только в связи, но и с прямым подчинением наших операций операциям сибиряков… Надеюсь в самом близком будущем видеть наших северных стрелков действительно плечом к плечу с

сибирцами». При согласованных наступлениях от Перми и Архангельска – на Вятку и Котлас соответственно не только облегчалось снабжение наступающих войск Гайды всем необходимым с Севера, но и создавался новый участок общего фронта, силы красных против которого были бы сравнительно невелики.

Однако Главное Командование, судя по всему, отнюдь не увлеклось «северною» перспективой и не собиралось переносить на Вятское направление центр тяжести весенних операций. С «северным вариантом» не согласуются ни директивы Колчака о передаче из Сибирской армии в Западную нескольких соединений, ни результаты совещания в Челябинске, состоявшегося 11 февраля под личным председательством Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего. Присутствовавший на совещании, где планы наступления с Колчаком обсуждали Гайда, Дутов и Ханжин, начальник штаба последнего генерал С.А.Щепихин вскоре свидетельствовал: «… Был принят план, который я назову средним, так как он учитывал нанесение главного удара по центру на Уфу», – и специально отмечал отказ от «плана Гайды» («нанесение главного удара в районе его армии»), «потому что слишком район удара удален от района, где нужна помощь». А когда многообещающее наступление на операционном направлении Уфа – Симбирск или Уфа – Самара с выходом к Волге фактически не было поддержано Гайдой, генерал Ханжин жаловался в Ставку 2 марта: «Западная армия, наносящая главный удар, вправе рассчитывать не только на полную связь с ее действиями операций соседних армий, но и на полную поддержку с их стороны, даже поступаясь частными интересами этих армий в пользу главного удара…» И хотя долю вины за образование разрыва в общем фронте можно возлагать и на самого Ханжина, – очевидно, что последствия независимо от поисков виновного должны были оказаться весьма неприятными.

Однако, говоря о фронте Западной армии как участке главного удара, нельзя забывать и об упоминавшейся – почти пятидесятитысячной! – советской группировке, противостоявшей войскам Гайды. Поэтому любое ослабление Сибирской армии представляется действием также очень рискованным, тем более что операционные направления Пермь – Вятка (или даже Пермь – Сарапул) и Уфа – Симбирск оказывались если и не изолированными, то по крайней мере слабо связанными между собою, а переброска войск с одного на другое – весьма затруднительною (напомним, что в 1916 году даже на театре с гораздо более развитою железнодорожною сетью усиление Юго-Западного фронта подкреплениями с Западного встречало

значительные трудности). Таким образом, заблаговременная – до начала наступления – крупномасштабная передача войск от Гайды Ханжину могла обернуться катастрофой у Сибиряков, а передача оперативная – в ходе наступления – вряд ли вообще была возможна.

Реальное, а не теоретическое взаимодействие, по-видимому, могло заключаться лишь в следующем: в то время как корпуса Ханжина, преодолевая сопротивление противника, изо всех сил рвались к Волге, Гайда сковывал бы северную советскую группировку, что в условиях маневренной войны он не мог делать иначе, как активными, наступательными операциями. Заметим, что и пресловутое «взаимодействие с Деникиным», в отсутствии которого так часто упрекают Колчака, осуществлялось тем же способом: «Переломный период кампании на Южном фронте, – подчеркивает Какурин, – отмечается прекращением притока к нему сколько-нибудь значительных [красных] подкреплений из глубокого тыла», в том числе дивизий стратегического резерва: «То обстоятельство, что эти дивизии не могли быть двинуты своевременно на Южный фронт, где их появление могло бы сыграть решающую роль, объясняется новой вспышкой энергии противника на Восточном фронте», – свидетельствует советский историк и «военспец». Между тем весеннее наступление армий Верховного Правителя практически никогда не рассматривается как существенный фактор, облегчивший положение Вооруженных Сил Юга России, которое в те месяцы было очень тяжелым.

Сознательно или бессознательно, но из анализа действительных и мнимых ошибок Колчака часто делается вывод о принципиальном превосходстве советской стратегии. Однако стратегический план руководства РСФСР на ту же кампанию вообще основывался на ложных предпосылках о «Западном театре и Украине» как основном фронте, где предполагалось столкновение с Антантой, а в перспективе – развитие международной революции или ее экспорт. Вооруженные силы Советской Республики в соответствии с этими взглядами предполагалось поделить пополам, причем одной половине предстояло оперировать на упомянутом театре, а другой – на всех остальных: Северном против Миллера, Восточном против Колчака и Южном против основных сил Деникина. «Намечаемая группировка сил», свидетельствует советский же автор, «сводилась к равномерному почти распределению их по фронтам без подчеркивания преимущественного значения какого-либо одного фронта».

Не лучше обстояли дела и на фронтовом уровне: между левым флангом 5-й и правым – 2-й советских армий зиял «слабо

наблюдаемый промежуток в 50–60 км», а дивизия 5-й армии, которой предстояло переходить в наступление, «была расположена на таком участке, на котором к ней со стороны противника не подходило ни одной дороги, что исключало вероятность значительных боевых действий на этом участке». Впрочем, войска Верховного Правителя просто упредили красное наступление, нанеся удар в стык упомянутых армий, и это в немалой степени предопределило успех дальнейших действий: в течение месяца «лучшие части» 5-й армии отходят, делая в сутки по 20–25 верст. Развитие успеха требовало непрерывности усилий, и прав был генерал Ханжин, когда писал: «Остановить наступление сейчас [–] значит дать возможность противнику устроиться. Нужно все время давить на него, делая хотя бы мельче переход, но ежедневно». Говоривший впоследствии с Деникиным «один из министров омского правительства» указывал, что понимание этой необходимости тогда, в дни успехов, было всеобщим и лишь потом сменилось поиском виновных: «Никто из генералов, политиков, иностранных представителей не противился дальнейшему наступлению. Потом ругали Лебедева…»

Стратегия, избранная командованием советского Восточного фронта, по свидетельству начальника штаба одной из армий, бывшего генерала Ф.Ф.Новицкого, имела целью «с одной стороны, нанесение решительного поражения вновь сформированным армиям Колчака путем обхода его левого фланга и выход на его тыл, а с другой – занятие Уральской и Оренбургской областей и установление связи с Туркестаном», то есть действия по расходящимся операционным направлениям; это же отмечает и Какурин, обращая внимание на «массивную группировку [красных] войск на оренбургском и уральском направлениях за счет ослабления группировки на уфимском направлении». Лишь 10 апреля успехи наступления Ханжина побудили советское командование к образованию нового мощного соединения в рамках Восточного фронта – «Южной группы», командование которой, при начальнике штаба Новицком, принял энергичный и волевой Фрунзе. Отметим кстати различие в терминологии: если «Северная группа» и «Южная группа» Колчака существовали в составе Сибирской армии, то «группы» советского фронта сами объединяли по нескольку армий (Северная – 2-ю и 3-ю, Южная – 1-ю, 4-ю, 5-ю и Туркестанскую).

В упорных боях, проведя опасный контрманевр, красным удалось остановить продвижение Западной армии, а затем и вынудить ее к отступлению. Значительную роль здесь сыграло и то, что к этому времени, как мы отмечали выше, командованию

РККА уже довелось столкнуться с неустойчивостью «регулярных» стратегических резервов и перейти к иным методам пополнения фронтовых частей, в то время как для армий Верховного Правителя тот же принцип подготовки резерва выявил свои отрицательные стороны в самые ответственные моменты напряжения сил. Нельзя также забывать, что мобилизационные ресурсы сторон были вообще несравнимы: центральные районы России (Московская, Петроградская, Новгородская, Вологодская, Тверская, Ярославская, Костромская, Смоленская, Владимирская, Нижегородская, Калужская, Тульская, Рязанская, Тамбовская, Пензенская губернии – все с высокой плотностью населения) служили резервуаром живой силы только для большевиков, проводивших там свои мобилизации свойственными им жестокими методами.

И все же своей задачи – «выиграть фланг» у армии Ханжина и выйти на ее коммуникации, следствием чего стала бы ликвидация главной колчаковской группировки и немедленное крушение всего фронта, – красным выполнить не удалось. Поражение Западной армии (после которого Ханжин был заменен генералом К.В.Сахаровым) нельзя было считать полным разгромом, что хорошо понял Троцкий, 25 июня раздраженно телеграфировавший Реввоенсовету Восточного фронта (копии – ЦК РКП (б), Полевому штабу Реввоенсовета Республики):

> «Последние недели донесения Востфронта отличаются крайней неопределенностью… … В оперативных донесениях совершенно не указывается количество пленных, перебежчиков и захваченных трофеев. Равным образом совершенно нет сведений о наших потерях… Вести о восстании в тылу Колчака непосредственного военного значения не имеют. Восстаний немало и в нашем тылу, что неизбежно в условиях гражданской войны. Разложение в армии Колчака должно выражаться с [122]большим количеством пленных…
>
> Командование Южгруппы требует винтовок, пулеметов, патронов, куда же делись трофеи…»

Любопытно, что в унисон со словами Председателя РВСР прозвучит вскоре критика бароном Будбергом победных реляций русского командования: «… Откинув шумиху трескучих фраз о тяжелых потерях красных, об истреблении целых полков и т. д., я вижу, что артиллерия красных уходит вовремя; что тех мелких трофеев, которые неизбежны при истреблении целых частей, нет; что те полки, которые сегодня показаны в реляции

уничтоженными, через несколько дней сами атакуют и заставляют нас отступать…» С тем же пришлось столкнуться и большевикам в конце июля, причем нельзя сказать, чтобы в их руководстве, как политическом, так и военном, никто не питал в связи с этим обоснованных опасений.

Несмотря на высказанное 1 июня мнение Троцкого – «необходимо обеспечить непрерывность нашего наступления путем непрерывности пополнений, снабжения», – Главнокомандующий вооруженными силами Республики Вацетис был весьма сдержан в своих предположениях и планах. Председатель РВСР, признавая, что «наступление на Востфронте должно непрерывно идти до заранее намеченной линии обороны, так как ясно, что до Владивостока мы дойти сейчас не сможем», очевидно, относил установление такой «линии» в будущее, к завершению одного из этапов предстоящего наступления. Главнокомандующий же 6 июня директивой Восточному фронту намечал создание опорных пунктов примерно по линии Уральск, Оренбург, Стерлитамак, Уфа, Бирск, Сарапул, Оса, Пермь, то есть фактически в ближнем тылу наступающих войск. А потому стоит прислушаться к воспоминаниям Троцкого, будто «Вацетис считал, что после первых наших крупных успехов против Колчака нам не следует зарываться слишком далеко на восток, по ту сторону Урала. Он хотел, чтоб Восточный фронт зазимовал на горном хребте» (возможно, Троцкий основывается на каких-либо устных обсуждениях, не успевших получить документальное воплощение). Однако командование фронтом во главе с Каменевым настояло на энергичном развитии наступления – кстати, также не имея «троекратного превосходства в силах» (а Вацетис вскоре был безосновательно обвинен в причастности к «белогвардейскому заговору» и три месяца просидел в тюрьме).

Впоследствии Вацетис писал: «Мне было совершенно ясно, что наступление Колчака на Среднюю Волгу носило характер грандиозной демонстрации, в основу замысла которой было положено стремление энергичным нажимом на Среднюю Волгу привлечь на Восточный фронт РСФСР большую часть наших вооруженных сил, а затем отходом увлечь их в Западную Сибирь, то есть подальше от нашего главного театра военных действий, в частности от нашего Южного фронта, с которым готовился расправиться Деникин». Представить себе столь бредовый план – стратегическое отступление и «заманивание» целых армий противника к собственной столице, – конечно, весьма сложно, и рассуждения Вацетиса «носили характер» всего лишь позднейших домыслов; однако на уровне тактическом разыграть сражение по «схеме Канн» – с ослабленным, подающимся назад центром,

дополненным мощными обходными группировками на флангах [123], – русское командование попыталось под Челябинском.

Инициаторами Челябинской операции были генералы Лебедев и Сахаров, и Будберг, разумеется, обратил против них весь свой гнев и сарказм, в очередной раз представляя Верховного Правителя безвольной марионеткой, куклой, в пустую голову которой вкладываются чужие идеи: «Лебедев сумел так начинить адмирала фаршем собственного изготовления, что тот узаконил себе чудовище, рожденное Лебедевым и Сахаровым, и глубоко огорчен неудачей “своей” операции». Этой карикатуре, однако, противоречат слова адмирала, сказанные 25 июля, в разгар операции, В.Н.Пепеляеву: «Генерал Дитерихс был против этих боев и за отход без боя от Челябинска, но я приказал дать бой. Это риск – в случае неудачи мы потеряем армию и имущество. Но без боев армия все равно будет потеряна из-за разложения. Я решил встряхнуть армию. Если бы вы знали, что́ я пережил за эти дни!» Таким образом, не отрицая разработки планов операции Лебедевым и Сахаровым, нельзя отнять и у Колчака права на волевое решение полководца – решение, которое представляется достаточно обоснованным и мотивированным. Одновременно с разворачиванием под Челябинском боевых действий Верховный Правитель обратился с воззванием «К населению России»:

> «В этот грозный час, когда наши армии, несмотря на утомление беспрерывными боями с марта месяца, – все же выполняют свой долг перед Родиной и выполнят его до конца, я обращаюсь к населению свободной от гнета комиссаров России: мы ведем с большевизмом смертельную борьбу, которая не может кончиться договором или соглашением, ибо в этой борьбе мы защищаем родину против интернационала, свободу против тирании и культуру против одичания. В этой борьбе у нас нет честных противников: есть шайки грабителей, руководимые международными отбросами. Против нас нет честных способов ведения борьбы: есть путь мучения безвинных, насилия над беззащитными и всеобщее разграбление. И укрыться от борьбы и ее последствий нет возможности, пока враг не уничтожен. Сбросьте же с себя позорные цепи безразличия к судьбе Родины, – вы, забывшие все, кроме собственного благополучия и честолюбия. Очнитесь же от смятения и паники и вы, трусливо пытающиеся укрыться бегством от большевиков. Поймите, что уже не о лишении вас вашего достояния поставлена ставка. В этой последней и

> страшной борьбе, которая сейчас развертывается, для вас выход [–] только победа или смерть. В дружной, спокойной и планомерной работе сплотитесь все вокруг армии, пополните ее ряды, окружите ее заботами и облегчите ее труды и бдительно и зорко охраняйте ее от внутренней вражеской разрушительной работы».

И хотя, как мы уже говорили, исход борьбы решают войска, а не листовки и не газеты, – основания надеяться на успех у русского командования были. Управление советской 5-й армией, продвигавшейся от Уфы на Челябинск, довольно плохо представляло себе силы противника, а главное – его готовность к контрнаступлению. Красный командующий армией, бывший офицер М.Н.Тухачевский, оставался со штабом в Уфе, за триста верст от развернувшихся событий, и вряд ли мог осуществлять эффективное руководство борьбой. «Неурядица в управлении дала возможность белым безнаказанно произвести перегруппировку», – утверждает советский автор, а другой (бывший начальник одной из стрелковых дивизий 5-й армии Г.Х.Эйхе) свидетельствует: «… В те тяжелые семидневные бои конца июля 1919 г. мы лишь ценой полного напряжения всех наших нравственных и физических сил пришли к победе под Челябинском».

Тухачевский не позаботился об армейском резерве, и пришлось спешно заворачивать от Екатеринбурга одну из недавно переданных ему дивизий, теперь выходившую во фланг «северной» группе генерала С.Н.Войцеховского (красный командующий впопыхах поставил невыполнимую задачу на выдвижение в новый район, и в заданные сроки дивизию еще отделяла от указанных рубежей сотня верст). «Канны» встретились с «Каннами», «клещи» – с «клещами» более широкого охвата. Заминки начались и у «южной» группы генерала Каппеля. Ряд новых частей из числа подготовленных в тылу резервов вновь, как и весною, проявил неустойчивость в бою (массовые сдачи в плен и переходы на сторону красных). И все же весы еще продолжали колебаться, и никто уже не сможет сказать, что́ произошло бы, не начни Войцеховский прикрываться от занесенного над ним удара и вытягивать войска из боев вместо того, чтобы продолжать наступление против главной группировки противника. Наряду с этим, как пишет советский автор, Тухачевскому пришлось «серьезно взяться за управление дивизиями… и реализовать блестящее оперативное положение, стихийно создавшееся на фронте армии». Войска Верховного Правителя, распрощавшись с надеждой вернуть Челябинск,

отошли за Тобол и далее – на рубеж городов Ишима и Петропавловска.

Троцкий, настороженно отмечая 5 августа: «… Разведывательные и оперативные сводки Восточного фронта так общи и, по существу, небрежны, что я до сих пор не составил себе вполне точного представления о том, разбили ли мы Колчака вконец или только побили его, дав ему все же возможность увести значительные силы на меридиан Омска», – в то же время начинал строить планы проложить «путь на Париж и Лондон… через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии» (для руководства этим предназначался Фрунзе, возглавивший Туркестанский фронт и в числе прочих ставивший фронту задачу «подготовки похода на Индию и Персию в целях удара английскому империализму»). Интересно, что в эти же недели в Омске составлялась грамота к хану Хивы, подписанная Колчаком 30 сентября. Верховный Правитель обещал оказать народам Туркестана и Хивы поддержку, в том числе хлебом, зачислял хана генерал-майором по Оренбургскому казачьему войску и сообщал, что рассчитывает на помощь Хивы против большевиков, для чего направляет военную миссию, дабы помочь в «формировании отрядов из Туркменских и Узбекских племен и для их военной подготовки»; таким образом в случае углубления советских войск в среднеазиатские пределы они могли быть скованы силами местного сопротивления.

Впрочем, в омской Ставке, конечно, не знали о планах Троцкого, а самим этим планам не суждено было осуществиться. Причиной был «сравнительно благополучный», по советской оценке, отход колчаковских войск из-под Челябинска и потери, понесенные там обеими сторонами. Генерал Сахаров свидетельствует о более чем пяти тысячах убитых, раненых и пленных из состава своей армии; красные источники, говоря о своих потерях, называют цифры от 3800 убитых, раненых и без вести пропавших до 15000 (!) убитых и раненых. Очевидно, что столь сильно расходящиеся данные не допускают «усреднения», но даже если принять на веру меньшее из показаний, следует обратить внимание на 900 «пропавших без вести» и задаться вопросом, куда могла деться эта без малого тысяча человек? Почему они не объявились, когда фронт ушел вперед, а они остались на «своей» советской территории? Не значит ли это, что таким образом красное командование завуалировало безвозвратные потери или… что даже в победных боях красные стрелки все-таки находили возможность сдаваться в плен, а то и перебегать к противнику?

Только что перенесшая «полное напряжение сил», 5-я армия

не сумела выполнить и следующую поставленную ей задачу: «теснить противника на своем фронте, стремясь отбросить его к югу от Сибирской магистрали». «… Красные армии, – отмечает Какурин, – в весенний и летний период кампании 1919 г. оказались в том положении, когда боевая ткань их организма изнашивалась гораздо скорее, чем она могла быть возобновлена притоком свежих резервов и пополнений из тыла, и эти причины, которые мы считаем основными, определяли собой последующий ход кампании на всех фронтах до тех пор, пока решительные результаты кампании на одном из них, а именно Восточном, не дали возможности за его счет и благодаря отказу от активности на нашем западном фронте создать достаточно мощные оперативные кулаки на важнейших направлениях». Однако остается не до конца понятным, что́ советский автор считает «решительными результатами» сибирской кампании, поскольку даже в сентябре 1919 года говорить о таковых было слишком рано.

Это блестяще продемонстрировал генерал Дитерихс, теперь действительно сосредоточивший в своих руках командование всеми силами фронта. Во время Челябинских боев его позиция выглядит довольно странной: как утверждает Будберг, «Дитерихс решительно протестовал против Челябинской операции, но безрезультатно». По-видимому, протесты были все же недостаточно решительными, и генерал обратился к реорганизации Сибирской армии (согласно приказу Колчака от 14 июля «все войска Сибирской и Западной отдельных армий» следовало «привести… к составу трех неотдельных армий»: на основе Сибирской создавались 1-я и 2-я, Западная переименовывалась в 3-ю), а после неутешительного финала операции – не настоял на разбирательстве и отстранении виновников во главе с Сахаровым. Подлинная картина протестов Дитерихса и связанных с ними обсуждений и споров неизвестна, взгляду же со стороны представляется грустная картина Главнокомандующего фронтом, у которого запросто забирают одну из трех армий и дивизии стратегического резерва для операции, не вызывающей у него ни малейшего сочувствия. Кажется, что в этой ситуации Дитерихсу следовало протестовать вплоть до угрозы отставкой или даже какими-либо антидисциплинарными действиями (как протестовал в свое время Гайда), тем более что он пользовался немалым авторитетом: еще 3 марта группа членов кабинета (Михайлов, Сукин, Гинс, адмирал Смирнов идр.) настоятельно рекомендовала Вологодскому доверить Дитерихсу пост министра внутренних дел, а Смирнов 1 июня даже просил Колчака заменить «каким-

либо из генералов» самого Вологодского, относительно возможных кандидатур замечая: «Имеются Дитерихс, Розанов, Сахаров». В июле – августе, однако, Дитерихс, уже облеченный полномочиями Главнокомандующего, не сумел или не захотел использовать свой авторитет для предотвращения, остановки или исправления последствий Челябинской операции.

Теперь же в руках Главнокомандующего фронтом находилась вся полнота оперативной власти, и он воспользовался ею, чтобы уже в конце августа организовать эффективное контрнаступление. Но если честь разработки плана неоспоримо принадлежит Дитерихсу и его штабу, то столь же неоспорима поддержка этой идеи Верховным Главнокомандующим, чьи взгляды на ведение войны представляются нам вполне самостоятельными и позволяют думать, что насторожившая в свое время оговорка об «обстановке» как «фундаменте военного замысла» была не более чем неудачным словоупотреблением: стратег Колчак не хуже самых энергичных своих подчиненных стремился сам создавать обстановку.

«Адмирал… нервно стал выбрасывать доводы о необходимости наступления как спасения от развала армий, о невозможности обороны ипр. ипр.», – рассказывает Будберг, датируя запись 23 августа (хотя в его «Дневнике», представляющем собою дневник лишь по форме, но не по существу, точная датировка и может оспариваться); а следующим днем он помечает разговор, в котором Колчак определенно считает «идею наступления» своей (Будберг противопоставляет ей план «все расстроенные дивизии отвести за [реку] Ишим, спешно отрекогносцировать и укрепить восточные берега и на укрепленных позициях задержать красных до тех пор, пока мы не произведем необходимые организационные реформы, выправим настроение и снабжение армий, наладим резервы и укомплектования» – стратегия весьма основательная, но ни разу в ходе Гражданской войны не приведшая к положительным результатам).

Впрочем, и план Дитерихса отличался основательностью, хотя и был проникнут духом активности и стремления навязать противнику свою волю. Стратегического резерва у Главнокомандующего фронтом уже не было, однако он сумел вывести часть войск из непосредственной боевой линии, пополнить их в районе Петропавловска, дать отдых, усилить тем, что удалось собрать в тылу, – и бросить на противника шесть относительно свежих дивизий.

29 августа начала наступление 1-я армия Пепеляева; 30-го Дитерихс подписал директиву, согласно которой на следующий

день предстояло двинуться вперед 2-й и 3-й армиям. В течение месяца советские войска, потерпев серьезное поражение, оказались отброшенными обратно за Тобол. Ничему не научившийся Тухачевский вновь остался со своим штабом за четыреста верст от места боев (теперь в Челябинске), и Эйхе впоследствии так описывал управление советскими войсками в ходе этой операции: «Истратив все свои резервы, командование армии в дальнейшем, до самого отхода наших войск за р[еку] Тобол, ограничивается тем, что стремится изменением направления ударов дивизий, координированием их действий добиться поражения белых, но наши войска устали, понесли большие потери, потеряли гибкость маневрирования, и это не могло не отражаться на своевременности приказов, не могло не влиять на упорство в достижении цели. Инициатива была в руках белых. При этих условиях стремление командарма [Тухачевского] руководить в быстро меняющейся обстановке своими тактическими указаниями приводило к бесконечному подталкиванию наших войск и еще большему изматыванию наших сил».

На что рассчитывало командование русской армии? Пленный офицер дал показания, что адмирал Колчак, объезжая фронт, обращался к солдатам: «Знайте, что исход Петропавловской операции решит судьбу мою или красных». Фраза, конечно, апокрифична, но ощущение исключительной важности всего, что происходило между Ишимом и Тоболом, действительно владело Верховным и генералом Дитерихсом. Последний писал: «Как бы ни было нам тяжело, но мы должны проявить максимальное упорство, дабы противник не мог взять ни одного человека с Восточного фронта, а наоборот, вез свои дивизии на нас. Если за октябрь месяц большевики не усилятся против Деникина, то он к середине октября займет Москву». Генерал Сахаров, правда, приписывает Дитерихсу оговорку, которая несколько противоречит духу самопожертвования, звучащему в процитированных словах («… Мне нужно только во что бы то ни стало продержаться до конца октября, когда Деникин возьмет Москву. Нам необходимо до этого времени сохранить Верховного Правителя и министров»), – но отношения между двумя генералами были вообще очень не простыми, и тон отзывов Сахарова о своем начальнике в целом оказывается скорее недоброжелательным.

Как бы то ни было, усилиться на Южном театре военных действий за счет Восточного большевикам действительно не удалось, а моральные силы их войск в Сибири были в значительной степени подорваны неожиданным контрударом

Дитерихса. «… Бывали случаи, когда наши части выбивались из занятых нами деревень одним только [артиллерийским] огнем»; «… имели место случаи, когда целые бригады отходили лишь вследствие обхода фланга и угрозы тылу со стороны прорвавшихся к нам в тыл казачьих частей», – свидетельствует Эйхе. Он же, опровергая сомнение скептика Будберга относительно достоверности победных реляций, рассказывает, как от одной из красных бригад «осталось 300 человек, которые были сведены в батальон», как другую бригаду «постигла такая же участь», как «попал в плен» целый полк и как ударный «кулак, с расчетом на удачные действия которого связывались надежды расстроить план белых, оказался разбитым еще до того, как он успел проявить себя и нанести хоть какой-либо урон белым». Однако наступательный порыв при движении от Ишима к Тоболу неизбежно выдыхался, резервов не было, а маневренное соединение, которому предстояло сыграть ключевую роль, с этой задачей не справилось.

Еще с конца июля стали звучать решения войсковых кругов и атаманов о массовой мобилизации казачества. Генерал Иванов-Ринов, Атаман Сибирского войска, взывал к казакам: «С Богом в душе и бодростью в сердце встанем, станичники, стеною, и я, Атаман, поведу Вас против врага своей головою», собираясь «разбить одним ударом голову большевизма» и обещая после победы «мирный труд и безмятежную жизнь». Возглавив Отдельный Сибирский казачий корпус и лично участвуя в боях, он первоначально добился тактических успехов и был награжден Колчаком орденом Святого Георгия IV-й степени… но развить успех рейдом по красным тылам у генерала уже не получилось. Удалось бы или нет уничтожить все советские дивизии, оказавшиеся между Тоболом и Ишимом, – спорный вопрос, но сделать это без конного рейда было явно невозможно.

Тем не менее успех проведенной Дитерихсом операции неоспорим. Потери 3-й армии, вынесшей основную тяжесть наступления, были немалыми – более восемнадцати с половиною тысяч убитыми и ранеными, – но и четыре (из шести действовавших) советские дивизии недосчитались более 5300 человек. К последней цифре необходимо добавить более 6700 больных (возможно, больные наравне с ранеными были включены и в сведения о потерях 3-й армии) и 2627 «пропавших без вести», которые в этих боях опять-таки не могли «пропасть» никуда, кроме плена (или просто оказаться «непоказанными» убитыми). Но успех Дитерихса часто становится основанием для безоговорочно положительной оценки и всех остальных его распоряжений, а это уже требует специального обсуждения.

Прежде всего генералу ставится в заслугу повышенное внимание, которое он придавал идеям добровольчества и религиозной войны. «… Дитерихс решил обратиться к пополнениям среди добровольцев, – читаем у современного историка. – Для Белой Сибири, в отличие от Белого Юга, этот источник комплектования не был традиционным. С 1918 г. сибирские армии усиливали свои ряды мобилизованными». И дело даже не в том, что по свидетельству Деникина к «правильной мобилизации» во всех областях, занятых его армией (лишь по традиции сохранявшей название Добровольческой), приступили со 2 августа 1918 года; не в том, что изначально Сибирская армия строилась на основе добровольческих частей, да и впоследствии, независимо ни от каких мобилизаций, никто не препятствовал добровольному вступлению в ее ряды; не в том, что «тыловой» доброволец, при всех своих благородных душевных качествах, далеко не всегда оказывается лучшим боевым материалом… а в том, что еще до «дитерихсовской» кампании с призывом к населению о поддержке армии и вступлении в ее ряды обращался в Перми генерал Пепеляев (а его представители вели агитацию и вербовку и в тыловых городах), – и потому противопоставление прежней политике – «новшеств» Дитерихса является по меньшей мере неоправданным.

Заметим кстати, что религиозные воззрения и личный идеализм Дитерихса отнюдь не мешали ему подходить к вопросу добровольчества с трезво-рациональной точки зрения, и как обвинять его в чрезмерном мистицизме, так и восхищаться этим мистицизмом вряд ли следует. 29 августа, выступая в Совете министров и высказывая мнение, «что части войск, в которых преобладает добровольческий элемент, отличаются наибольшей боеспособностью и наибольшим порядком внутренней жизни», генерал наряду с этим отмечал психологическую трудность для семейного человека уйти в армию и предлагал установить систему пособий, которые обеспечивали бы семьи добровольцев на время их службы.

Неоспоримо, что те меры, которые предпринимал генерал Пепеляев, да наверное и не он один (вспомним хотя бы призывы к казакам Иванова-Ринова), Дитерихс постарался поставить на твердые организационные рельсы, убедив в необходимости этого и Колчака. 1 сентября сообщалось: «… ВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ и ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ принимает на себя особое покровительство над делом формирования добровольческих дружин… ВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ и ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ПОВЕЛЕЛ, чтобы в деле сбора и снаряжения добровольческих частей всеми начальствующими

лицами было проявлено возможно больше сердечности и заботы для обеспечения успеха формирования». На первых порах, однако, дело ограничилось пропагандистской кампанией и… созданием особого «Управления Добровольческих формирований» во главе с генералом В.В.Голицыным.

Кроме того, «добровольчество по Пепеляеву» имело, если угодно, «земский» характер, «добровольчество по Дитерихсу» же получило сильную религиозную окраску. Не случайно одним из самых ярких и широко известных его примеров стало движение по организации «дружин Святого Креста», положение о которых было утверждено начальником штаба Верховного Главнокомандующего (формировались и магометанские части «Зеленого Знамени»). С другой стороны, идеи организации «христианских православных воинских частей по орденскому принципу (религиозному)» высказывались гораздо раньше, вызвав еще 2 апреля 1919 года обстоятельный ответ протоиерея Александра Касаткина, Главного Священника армии и флота (сама эта должность была учреждена 28 декабря 1918 года, то есть при адмирале Колчаке).

«В основу жизни воинских частей молодой нашей Армии, – писал тогда отец Александр, – положены начала воинской дисциплины, любви к РОДИНЕ, религиозности и нравственности…

В каждом полку имеются Священники, пользующиеся высоким пастырским авторитетом и зарекомендовавшие себя в деле учительства и нравственного влияния на части с самой лучшей стороны; Богослужения не только совершаются, но и посещаются воинскими чинами весьма усердно; молитвы утренние и вечерние введены; с пороками, неизбежными по греховности человеческой природы вообще, и пастыри, и начальствующие лица борются…

Таким образом, говорить о создании каких-то новых частей на принципах религиозности, нравственности, любви к РОДИНЕ и уважения к дисциплине не только излишне, но и вызывает чувство обиды за нашу доблестную Армию, которая так ярко проявляет и в своей жизни, и в борьбе с неприятелем эти высокие христианские и гражданские принципы».

Очевидно, что в донесениях, на которых основывал свое мнение протоиерей, присутствовала доля идеализации (ведь те же месяцы отмечены, наряду с проявлениями воинской доблести, случаями трусости и измены в войсках); однако и противопоставление «более православных» новых формирований – «менее православной» армии выглядит более чем спорным. Вряд ли такое противопоставление, хотя бы мысленно, делал сам

Дитерихс, но на волне добровольческой кампании именно оно могло рождаться при чтении, например, таких газетных сентенций: «Кто бывал в бою, тот знает, что в победу веришь только тогда, когда надеешься на верность соседа. Добровольческие отряды поэтому будут самостоятельными единицами». Основанием для подобных утверждений до некоторой степени становилось «Положение о дружинах Святого Креста», провозглашавшее: «В случае недостаточной численности для образования самостоятельной части (полка, дивизии и так далее) дружины Святого Креста входят в состав других действующих полков, предпочтительно добровольческих, в виде отдельных рот или отдельных батальонов, но никоим образом не распределяются между ротами полка», – а это вызывает вопросы и недоумение уже с военной точки зрения.

Получается, что осторожный и расчетливый генерал Дитерихс допускает возможность создания из тыловых добровольцев или беженцев (один из чаемых контингентов) целых полков и даже дивизий, которые вряд ли успели бы пройти серьезное обучение, и даже предполагает поместить их в боевую линию (потому что иначе формирование дивизий не имеет смысла). Сомнительным выглядит и принципиальное согласие «военного министерства» (информация была опубликована 24 августа) «по просьбе старообрядческой депутации» – «перечислить из разных частей войск офицеров и солдат-старообрядцев в Дружину Крестоносцев». Этим согласием, с одной стороны, старообрядцы признавались достаточно ценным элементом, чтобы войти в состав дружины, а с другой – их с легкостью изымали из действующих частей, таким образом ослабляя последние, в том числе и в морально-нравственном отношении. Печать скороспелости, на наш взгляд, лежит на всем «добровольческом проекте» генерала Дитерихса, в отличие от его оперативного плана на зимнюю боевую кампанию, который грешит скорее чрезмерною основательностью.

Генерал, похоже, окончательно укрепился в мысли, что идея сравнительно крупных резервов, получивших передышку в тылу и вводимых в бой неожиданно для противника, имеет универсальный характер, и вознамерился еще раз воплотить ее – уже в бóльших масштабах. Перед лицом возобновившегося 14 октября наступления советских войск с рубежа Тобола, не желая перемалывать свои дивизии в оборонительных боях, Дитерихс 25 октября отдал директиву, которой с фронта снималась фактически вся (!) 1-я армия во главе с самим генералом Пепеляевым. Она направлялась на пополнение в тыловые города (Томск, Каинск, Мариинск, Ачинск), составляя «группу резерва».

Другая группа из двух дивизий (одна еще в процессе разворачивания) и отдельной бригады должна была пополняться в Омске и Ново-Николаевске; возглавил ее генерал Войцеховский.

Нам еще предстоит увидеть, как полки, а главное – командиры бывшей Сибирской армии сыграют в тылу крайне негативную роль; но и без этого надежды на переформирование и пополнение столь больших масс в столь неустойчивой обстановке представляются мало обоснованными. Нечто подобное попытался проделать на Юге России барон Врангель, возглавивший в декабре 1919 года Добровольческую Армию: он «отдал самовольно приказ об отводе “кадров” кубанских дивизий на Кубань для формирования», – рассказывает Деникин, вынося вердикт, быть может, слишком суровый для Кубанцев, но вполне применимый к Сибирякам: «Дома они окончательно разложились». Очевидно, перед нами вновь один из психологических законов Гражданской войны, не допускающий укрепления войск вдали от боевой линии, – казалось бы, опровергнутый Дитерихсом под Петропавловском, но неумолимо сказавшийся в октябрьско-ноябрьском «маневре в глубину».

А на какие рубежи мог рассчитывать Дитерихс, готовясь остановить советское наступление? Весьма правдоподобно выглядят рассуждения современного историка: «… Существовал действительно прекрасный оборонительный рубеж – полоса Томской (или Щегловской) тайги. Это полоса сплошных девственных почти непроходимых лесов шириной примерно в 60–80 верст, которая в те времена тянулась сплошной стеной на юго-восток вплоть до Алтая. В полосе отступления белых войск поперек тайги с запада на восток шли лишь три дороги: на севере это был идущий на г[ород] Томск Большой Сибирский тракт, в центре – линия железной дороги, и на юге от г[орода] Щегловска шел Новый Переселенческий тракт. Дороги были узкие, а вне дорог в условиях зимы продвигаться было практически невозможно. Защищать, таким образом, требовалось лишь выходы этих дорог из тайги, для чего было необходимо небольшое количество свежей пехоты, богато снабженной пулеметами». Однако если принять версию, «что генерал Дитерихс, затевая 25 октября свой маневр, именно полосу Щегловской тайги наметил в качестве того последнего рубежа, на котором он в крайнем случае гарантированно сумеет остановить красных», – мы сразу же оказываемся перед очевидным фактом: столь выгодный рубеж с его «выходами дорог» лежал значительно восточнее столичного города Омска…

Общеизвестное до банальности положение Клаузевица о войне как «подлинном орудии политики, продолжении

политических отношений, проведении их другими средствами», на самом деле с точки зрения самого автора вовсе не облечено той непреложной категоричностью, с которой его повторяют многочисленные начетчики. Германский мыслитель отвергает мнение, будто «политическая цель [войны] становится деспотическим законодателем»: «ей приходится считаться с природой средства, которым она пользуется (то есть собственно войны. – А.К.), и соответственно самой часто подвергаться коренному изменению; все же политическая цель является тем, что прежде всего надо принимать в соображение». Основываясь на этих рассуждениях, мы приходим к заключению, что при общности глобальной военно-политической цели – освобождения России от большевизма, преодоления последствий революции – адмирал Колчак и генерал Дитерихс осенью 1919 года уже совершенно по-разному представляли себе ближайшие политические задачи.

Теперь мы, кажется, можем поверить утверждению Сахарова, будто Дитерихс стремился просто сохранить Верховного Правителя и кабинет министров до момента падения Советской власти под деникинскими ударами. Вряд ли идея безвластного, номинального правительства отвечала воззрениям Главнокомандующего фронтом, – но в данном случае, очевидно, и произошло то самое «коренное изменение» политических целей под влиянием «природы» разворачивавшихся военных действий. Напротив, Верховный Главнокомандующий, являющийся одновременно и Верховным Правителем, стремится сохранить за высшей государственной властью самостоятельное значение, не может сделать ее заложницей обстановки, складывающейся за тысячи верст на Юге России, и в этой ситуации не считает допустимым поступиться столицей.

Колчак прекрасно понимает, что пестрый политический лагерь его сторонников, сотрудников, подчиненных все еще очень далек от того патриотического единства, к которому призывают обращения Верховного и Совета министров вот уже почти год. Гинс вспоминал брошенную в октябре фразу адмирала: «Если я сниму военное положение, вас немедленно переарестуют большевики, или эсеры, или ваши же члены Экономического Совещания… или ваши губернаторы…» Падение столицы и превращение Российского Правительства в бутафорскую группу угрожало активизацией всех оппозиционеров и переходом их в действенно-враждебный лагерь; тыл, на передышку в котором уповал Дитерихс, мог при этом оказаться опаснее и страшнее всякого фронта; и потому допустить оставление Омска Верховный Правитель не хотел даже на уровне оперативной идеи. И 4 ноября

1919 года в кабинете Колчака состоялся разговор, так изложенный английским военным представителем со слов своего агента:

«Верховный был в необыкновенно нервном настроении и во время разговора с Дитерихсом и Сахаровым сломал несколько карандашей и чернильницу, пролив чернила на свой письменный стол. Верховный крайне немилостиво разговаривал с Дитерихсом, ставя ему в упрек, что все время его командования связано с исключительной неудачей, и что он в настоящее время убедился в полной его неспособности. Не дав Дитерихсу [сказать] ни слова в свое оправдание, верховный начал ему припоминать его уверения, ни на чем не основанные, о выступлении чехо-словаков с его назначением, отставки всех более или менее опытных генералов, что ему даже со стороны союзников пришлось неоднократно выслушивать о наивных начинаниях и приказах, исходящих от Дитерихса, что отступление армии и этим возможная сдача Омска – исключительная вина Дитерихса. Верховный также говорил о генерале Гайда, причем бросалось в глаза следующее: когда Дитерихс в свое оправдание начал говорить, что он получил тяжелое наследие от Гайды, который совершенно разложил свою армию, а он все-таки в сравнительно короткий срок установил боевую способность ее, и что отступление лишь причина превосходства в численности красных [124], – Колчак здесь потерял совершенно всякое самообладание, стал топать ногами и в точном смысле [слова] стал кричать, что это обычный прием самооправдания: конечно, всегда во всем другие виноваты. “Я вижу лишь одно, что генерал Гайда все-таки во всем прав. Вы оклеветали его из зависти, оклеветали Пепеляева, что они совместно хотят учинить переворот, да… переворот необходим… так продолжать невозможно… я знаю… Омск… – мне скажете, – что решительное сражение дадите между Омском и Ново-Николаевском… опять начинается та же история, что перед Екатеринбургом, Тюменью, Петропавловском и Ишимом. Омск немыслимо сдать. С потерею Омска – все потеряно. Как ваше мнение (обращается к генералу Сахарову)?” Сахаров в позе Наполеона (рассказал агент) стал развивать свой план обороны Омска с рытьем окопов и [устройством] проволочных заграждений в 6 верстах от Омска, говорил с такой уверенностью и притом в духе верховного, что тот сразу принял сторону Сахарова, забыв все его промахи в Челябинске, Кургане и под конец под Петропавловском и Ишимом. Утвердил план Сахарова и, обращаясь к генералу Дитерихсу, сказал: “Пора кончить, Михаил Константинович, с вашей теорией, пора перейти к делу, и я приказываю защищать Омск до последней

возможности”. “Ваше превосходительство, – сказал Дитерихс, – защищать Омск равносильно полному поражению и потере всей нашей армии. Я этой задачи на себя взять не могу и не имею на то нравственного права, зная состояние армии, а кроме того, после вашего высказанного мнения я прошу вас меня уволить и передать армию более достойному, чем я”.

Колчак: “Приказываю вам (обращаясь к Сахарову) вступить в обязанности главнокомандующего. Генерал Дитерихс сдаст вам свой штат [125], чтобы в первое время не терять вам дорогого времени [на] формирования его. (Обращается к Дитерихсу). Приказываю вам, генерал, немедля все сдать генералу Сахарову”. “Слушаюсь, – я так устал”»…

Нервозность адмирала как будто подталкивает к тому, чтобы все прозвучавшие обвинения сразу посчитать необоснованными; однако на самом деле неизвестно, что́ говорил в разное время Дитерихс Колчаку о Гайде, или Пепеляеве, или сдаче Екатеринбурга, или о Петропавловске, Ишиме и проч. И как бы то ни было, перед нами, пусть и принятое в столь ненормальной форме, оперативное решение Верховного Главнокомандующего – дать бой на подступах к столице и удерживать ее до последней возможности. Вручив Дитерихсу собственноручное предписание – «Согласно пожелания Вашего, предоставляю Вашему Превосходительству избрать себе дальнейшее назначение, будучи совершенно уверен, что деятельность Ваша послужит ко благу Родины нашей и пользе общего дела» (Дитерихс уехал в глубокий тыл), – Колчак призвал к командованию того из генералов, кто решительно говорил о возможности обороны.

Была ли в действительности какая-либо надежда на успех? На стороне красных был наступательный порыв, возможность мобилизаций в прифронтовой зоне (правда, качество мобилизованных при этом вряд ли следует оценивать высоко), численное превосходство (но отнюдь не трехкратное! – по сведениям русского штаба, соотношение составляло 83,5 тысячи штыков и сабель против 76,5 тысяч, а непосредственно на Омском направлении – 56 тысяч против 44,7 тысяч в пользу Красной Армии; правда, в последней преобладали пехотные части, игравшие основную роль в боевых действиях). На стороне русского командования оставалась главным образом решимость сражаться до конца, и, если бы она оставалась неизменной, этого было бы совсем не мало.

Советские войска, только что битые в междуречьи Тобола и Ишима, и в своем новом продвижении на восток шли отнюдь не триумфальным маршем. Положение их тыла вовсе нельзя было считать устойчивым (в частности, аннулирование «колчаковских»

денежных знаков сильно ударило по крестьянству и не могло не вызывать его недовольства). Возвращение на фронт 1-й армии Пепеляева значительно увеличило бы противостоящие красным силы по сравнению с первоначальными расчетами Дитерихса. Весы еще колебались, и нельзя совсем отвергать возможность того, что Каппель и Войцеховский совершили бы под Омском чудо; а остановка красного наступления в условиях начинающейся зимы, скорее всего, «заморозила» бы фронт на несколько месяцев. Но нужен был полководец…

Помимо Дитерихса, в Сибири с середины августа 1919 года находился генерал Н.Н.Головин – боевой офицер, известный теоретик и преподаватель, талантливый генштабист. После Октябрьского переворота он некоторое время числился на советской службе, затем, уехав на Украину, служил у Гетмана П.П.Скоропадского, затем – в русской заграничной миссии генерала Щербачева. В Омске на Головина возлагались большие надежды как на военного, а после его прибытия – и как на потенциального политического деятеля (Гинс из первого же разговора сделал вывод, что Головин был сторонником «сотрудничества с социалистами», и решил продвигать генерала на пост товарища Председателя Совета министров). Будберг не без удовлетворения отмечал влияние Головина: «Адмирал его слушается, ему доверяет и очень считается с его мнением». Сам Головин, однако, большого энтузиазма не проявил, избрал позицию человека, присматривающегося к будущему высокому посту, а в октябре благополучно отбыл заграницу для лечения.

Имя генерала Лебедева было ненавистно, кажется, уже всем, от Действующей Армии до его недавних коллег по кабинету. Из Командующих же армиями действительно оставался один Сахаров – пусть не самый авторитетный или прославленный, но как будто самый решительный и волевой. (Заметим, что в поисках объяснений, почему Сахаров пользовался таким влиянием, подчас заходили в область предположений совершенно фантастических: рассказывали даже, будто Сахаров «когда-то сидел в тюрьме у большевиков вместе с адмиралом Колчаком»!)

Передавали, что командование было предложено Верховным Правителем одновременно Каппелю, Войцеховскому и Сахарову, из которых согласился лишь последний (но это противоречит другим свидетельствам и слишком похоже на легенду). Передавали, что «в присутствии Каппеля и Войцеховского Сахаров дал торжественное обещание отстоять Омск». Сам же Сахаров в своих воспоминаниях был более осторожен и утверждал: на заседании Совета министров он «предупредил, что на защиту Омска рассчитывать нельзя, что, может быть, удастся собрать

резерв к востоку от Иртыша и там дать красным генеральное сражение». При этом, правда, непонятно, что́ имеет в виду Гинс, когда пишет: «Казалось, все было сделано для защиты Омска. Начальник гарнизона докладывал Совету министров, какие у него части, какие приняты меры, и выходило, что беспокоиться не о чем». Почему доклад делал «начальник гарнизона», когда сам же Гинс указывает, что «защита города была поручена» Войцеховскому («он показался мне глубоко сосредоточенным, как-то несоответственно явной молодости, и своим печальным и серьезным видом он резко отличался от других генералов»), – сказать сложно. Но версию Главнокомандующего фронтом как будто поддерживает Вологодский, рассказывая о совещании членов кабинета у Верховного 6 ноября: «Ген[ерал] Сахаров также пришел к заключению, что нам не удержать в руках Омск и придется все эвакуировать из Омска и отойти в глубокий тыл, вплоть до Оби» (то есть, по-видимому, на рубеж Томск, Ново-Николаевск, Барнаул). И тщетным оказывалось обращение Верховного Правителя «К населению города Омска», опубликованное четырьмя днями ранее:

«Наши Армии, – писал тогда Колчак, – под давлением численного превосходства врага отошли на р[еку] Ишим.

С этим отходом создается угроза городу Омску. Несмотря на героическое сопротивление и самопожертвование, наши Армии отходят потому, что они численно ослаблены и требуют пополнений.

Граждане города Омска! Армия защищала Вас, но теперь она требует от Вас выполнения долга перед Родиной.

Вы должны помочь Армии и выступать на защиту города, своих семейств и своего достояния с оружием в руках…

Я призываю граждан города Омска вступать в добровольческие части, находящиеся под знаком Св[ятого] Креста и Зеленого Знамени Пророка, и сделать это добровольно, пока я не объявлю обязательного общего призыва…

Призываю граждан города Омска к оружию для помощи Армии и защиты своего города».

На население столицы и остальных районов, еще остававшихся свободными, стремились воздействовать не только требованиями. Так, воодушевлению и укреплению моральных сил призвано было способствовать опубликованное еще 22 октября со ссылкой на «французское радио» сообщение, «что согласно полученной с Севера телеграмме войска генерала Юденича заняли Петроград» (увы, многие из тех, кто прочитал это в «колчаковских» газетах, опровержение вскоре узнали из газет советских…). Впрочем, у самого Колчака известия, правдивые или

ложные, об успехах русских войск на других театрах скорее вызывали озабоченность: «Они могут взять Омск, если Деникин придет в Москву, – вспоминал Гинс слова Александра Васильевича. – Я знаю, что большевики обрушатся тогда всей силой на Сибирь. Я боюсь, что мы тогда не выдержим…» Но, не ожидая для своего фронта ничего хорошего даже от побед на других фронтах, Верховный Правитель был готов не просто к сопротивлению до конца, но и к новому сражению, которому предстояло стать генеральным.

А что же Главнокомандующий фронтом и какова была подоплека перемены его позиции? Первоначально генерал Сахаров взялся за дело очень решительно. В день вступления в должность он отдал грозный приказ, в соответствии с которым в Омске и Ново-Николаевске следовало установить «сильные заставы и пункты для проверки документов всех проезжающих мужчин в возрасте от 18 до 45 лет». Правомочными признавались только разрешения на выезд из столицы, выданные министрами (штатским), командующими армиями (офицерам и военным чиновникам) и командующими корпусами (нижним чинам); не имевшие таких документов подлежали задержке и возвращению в свои части, а гражданские лица – направлению «в кадровые части» (запасные) или «в Инструкторские школы» (краткосрочные военно-учебные заведения для подготовки офицеров). Из Омска запрещалось вывозить теплую верхнюю одежду «более чем одну вещь на человека» – остальное следовало «реквизировать и сдавать Начгарнизонам для снабжения армии». Приказ явно говорил о намерении бросить на чашу весов все возможное и умереть или остановить противника. Тому же призвано было служить распоряжение остановить эвакуирующуюся в тыл армию Пепеляева и вернуть ее в боевую линию. Но…

Согласно воспоминаниям Сахарова, на совещании у Верховного Правителя генерал Пепеляев, подкрепляя свои слова крестным знамением, клялся, что возвратить армию невозможно: «… Если мои войска остановить теперь, то они взбунтуются». Странно, однако, что дальнейший разговор Сахаров описывает довольно сжато и невразумительно: «Около двух часов шел спор. Пепеляев пускал [в ход] все способы не доводов и убеждения, а прямо устрашения. В конце концов адмирал махнул рукой и согласился не останавливать армии Пепеляева, а направить ее в районы, указанные еще генералом Дитерихсом, то есть в города Томск, Ново-Николаевск и на восток до Иркутска». Как мы уже хорошо знаем, Александр Васильевич Колчак отнюдь не относился к людям, которых можно было безнаказанно пытаться «устрашить», и чрезвычайно неправдоподобно выглядит, что

такое поведение подчиненного не вызвало у адмирала вспышки гнева (вроде той, которая разразилась 4 ноября), – или что генерал Сахаров умолчал о такой вспышке, направленной против ненавистного ему Пепеляева. Можно предположить, что в действительности сам Главнокомандующий фронтом не противопоставил своей воли доводам (или «устрашениям») Командующего 1-й армией, а впоследствии переложил всю ответственность на Верховного Правителя.

Как представляется, вина генерала Сахарова заключается не в том, что он в день своего назначения подыграл намерению адмирала защищать столицу, а в том, что он до последнего момента по-настоящему не решался ни на отчаянную защиту, ни на мало-мальски планомерную эвакуацию. В сущности, «решения Сахарова», в отличие от противоположных друг другу решений Колчака и Дитерихса, просто не существовало, а была псевдо-решительная поза и путаница «приказов и контрприказов», ведущих, как известно, только к беспорядку. В результате 14 ноября Омск с его складами, содержимого которых не успели вывезти по забитым дорогам, был оставлен; Верховный Правитель и поезд с государственным золотым запасом покинули столицу накануне.

Наверное, роль адмирала Колчака как Верховного Главнокомандующего с этого момента можно считать оконченной. Оглядываясь же на недолгие месяцы (менее года), когда он занимал высший пост в военной иерархии Свободной России, кажется довольно правдоподобным парадоксальный вывод, что Александру Васильевичу мешал не недостаток знаний и навыков для ведения сухопутной борьбы, а… преувеличение этого недостатка в собственных глазах.

Обратим внимание: то и дело в критической обстановке один за другим военачальники – Гайда, Пепеляев, Сахаров… – обращаются к адмиралу как верховному арбитру, не подвергая сомнению его авторитет. Но Колчак как будто чувствует себя неуверенно и предпочитает половинчатые решения: не наказывать Гайду, но и не выполнять его требований; не отменять Челябинскую операцию, но и не заставлять Дитерихса сообразовать с нею действия всего фронта; не возвращать армию Пепеляева, но и не отстранять Сахарова с его планами… Мы видели, что на море Александр Васильевич был решителен, порою до самонадеянной несправедливости, – и потому склонность адмирала к компромиссам в «сибирский» период можно приписать как раз убеждению в том, в чем его столь настойчиво обвиняют многочисленные авторы: «моряк взялся за сухопутное дело, не будучи к нему подготовленным»…

Кажется, прояви Верховный Правитель и Верховный Главнокомандующий больше решительности и даже самоуверенности, – и у борьбы на Востоке России появился бы лишний шанс на успех. Компромисс же, вполне благотворный в политических, тыловых делах (например, в отношениях с Атаманом Семеновым), во фронтовых вопросах оборачивался явною неудачей. Это накладывалось и на ошибки в подборе людей и их расстановке на ответственные посты (скажем, вряд ли можно было ожидать успешного сотрудничества барона Будберга на должностях помощника военного министра и управляющего военным министерством с генералами Лебедевым, которого он ненавидел, и Дитерихсом, которого недолюбливал) и составляло главную слабость адмирала Колчака – Верховного Главнокомандующего. Он мог и должен был управлять войсками на стратегическом уровне, и в стратегических решениях, к которым склонялся Колчак, нет ничего изначально порочного или безграмотного; но управлять подчиненными он не всегда решался, предоставляя решения сухопутным генералам, хотя и не отказываясь брать ответственность на себя; и, быть может, как раз бремя этой ответственности и провоцировало его на те вспышки, которые и до сих пор слишком часто подменяют собой подлинный облик Александра Васильевича Колчака – правителя и главнокомандующего.

… А армия, надломленная, но не разгромленная, отходила на восток от Омска. Она отступала, но не бежала, пятилась, но не превращалась в дезорганизованную толпу. И в эти дни армии был нанесен новый сильнейший удар.

Удар в спину.

Глава 18
Враги, «союзники» и предатели

До сих пор, говоря об отношениях с иностранными союзниками, мы сознательно умалчивали, как складывалось взаимодействие с теми иностранцами, которые находились на территории России, – не дипломатами или миссиями, а воинскими контингентами, насчитывавшими тысячи штыков. Дело в том, что в своих действиях последние нередко были вполне автономны от далекого заграничного руководства, а в некоторых случаях поступали и явно вопреки имевшимся директивам.

В первую очередь это относится к чехам – героям весенне-летних переворотов и боев на Волге, в Сибири и на Дальнем Востоке. Их роль в этих событиях неоспорима, и не случайно Временное Сибирское Правительство 30 июня 1918 года специальною грамотой признавало, «что в общем ходе военных действий помощь чехо-словацких войск играет огромную роль». В то же время далеко не все было так радужно – эмигрантский автор рассказывает, например, что тайные переговоры офицерского подполья города Кургана с чехами накануне выступления были довольно неутешительными: «Чехи категорически отказались от [оказания] помощи белым живой силой, но согласились дать 50 русских винтовок с 60-ью патронами на каждую, два легких пулемета “Люис” с десятью дисками на каждый (470 патронов) и 50 ручных гранат, но с условием, что если переворот удастся и чехи будут поставлены перед совершившимся фактом свержения советской власти, тогда они признают новую власть в Кургане; но если белые потерпят поражение от красных, тогда чехи совместно с красными приступят к разоружению белых».

Рассказ звучит вполне правдоподобно: многих в чешском командовании и политическом руководстве (Отделении Национального совета в России), как мы уже знаем, больше всего волновала отправка через Владивосток в Европу. Если большевики становились на этом пути неустранимым препятствием, то следовало браться за оружие, если же была надежда на мирное решение – следовало склониться к нему. Даже после начала вооруженного выступления руководство чешских эшелонов, свергших Советскую власть в Пензе (здесь командовал поручик С.Чечек), в разговоре с германскими представителями, которые занимались отправкой на родину своих военнопленных,

проявило поистине выдающуюся умеренность. «Их план – пробиться к Владивостоку, – сообщали немцы в свое посольство в Москву. – По-доброму с чехами можно договориться, по-плохому – нет… Они антимилитаристы и антиимпериалисты… Нас просили передать об их доблестном поведении в Пензе, что они представляют народ, который заслуживает свободы… Они производят впечатление несчастных людей, которые не находят практического выхода из запутанной ситуации». Поведением пензенской группировки Чешско-Словацкого корпуса вообще опровергается советская версия о «белочешском контрреволюционном мятеже»: одержав победу, Чечек двинул свои эшелоны отнюдь не на запад – против большевиков в Москве, а на восток, за Волгу, к Тихому океану, в готовности «пробиваться» туда, если потребуется, даже силой.

Разумеется, настроения чехов не исчерпывались этим стремлением. В них присутствовала и искренняя благодарность России, в годы войны поддержавшей чехословацкую национальную идею, и осознание, что, восстанавливая «восточный фронт против германо-большевиков», они добавляют себе заслуг перед державами Антанты и помогают тем самым достижению своей будущей независимости. Поэтому, оказав активную помощь в освобождении Сибири и Урала, «чехо-войска» и после этого некоторое время продолжали сражаться плечом к плечу с русскими. Однако окончание Мировой войны радикально изменило точку зрения чешского руководства. Австро-Венгерская монархия была сокрушена, независимость нового государства – практически обеспечена, и стимулов для того, чтобы и дальше отдавать свои жизни в далекой России, становилось все меньше и меньше.

События 18 ноября 1918 года, хотя вряд ли пришлись по душе демократически настроенному командованию «чехо-войск», все же не стали главной причиной для фактического их отказа воевать. Представители «революционной демократии», пытавшиеся оказать сопротивление «колчаковскому перевороту», жаловались на чешского командующего, генерала Я.Сырового, блокировавшего центр сопротивления. Чехи способствовали освобождению арестованного было Чернова, но не захотели выступить против Колчака. Вообще с этих дней их позиция становится преимущественно эгоистичной, а следовательно, и воевать они дальше не желают (не случайно Гайда, рвавшийся воевать, переходит на русскую службу).

При взгляде со стороны братство по оружию оставалось нерушимым. Колчак 4 декабря 1918 года объявлял: «За великие заслуги Чехо-Словацких войск, оказанные ими нашей Родине,

приношу от лица Русской Армии глубокую благодарность всем генералам, офицерам и солдатам доблестных Чехо-Словацких частей», и награждал чешских солдат и офицеров. В свою очередь Отделение Национального совета в те же дни направляло приветственное письмо Гайде: «Брат генерал! Просим тебя, чтобы ты передал начальникам и солдатам русских войск северо-уральской группы наше сердечное поздравление по поводу достигнутых ими победных успехов в весьма трудном условии. Нам хорошо известны необычайные затруднения, в которых начала организоваться новая русская армия, и тем более мы ценим подвиги русских войск, которые сменяют наши полки, изнуренные несколькими месяцами непрерывных боев». Однако вежливые слова о «смене изнуренных чешских полков» получали на фронте самые уродливые последствия: так, начальник одной из русских дивизий 12 декабря 1918 года писал Колчаку:

> «… Чехи от наступления отказались. Оффициальные мотивы: против них нет немцев и мадьяр; русские в тылу ничего не делают; Национальный совет не признает Вас; не желают содействовать возвращению в России старого режима и проч. чепуха. Правда же в том, что просто не желают воевать.
>
> Тогда я поставил вопрос так: будут ли они наступать, если я, действуя вне линии жел[езной] дороги, буду заходить в тыл красным и зажимать последних в тиски между собой и чехами, т. е., вернее, будут ли они продвигаться вперед с целью забирать пленных и трофеи, которые я буду отрезывать?
>
> Ответ получил: нет, не будут…»

Весы еще колебались: посетивший Сибирь военный министр независимой Чехо-Словакии генерал М.Стефанек заявил, что «миссия чехословацкого совета и его отделения [в России] закончена. Их функции переходят к органам чехословацкого правительства, недавно избранного национальным собранием», после чего любые «непризнания» Колчака Отделением Национального совета теряли всякое значение. Генерал, облеченный званием «полномочного представителя Чехо-Словацкой Республики», был искренне возмущен позорным поведением своих соотечественников («сказал, что он может принять почетный караул лишь от честных войск, а от таких войск, которые ищут компромиссов и занимаются политикой, он принять не может») и демонстрировал это весьма ярко – у одного из упорствовавших «сорвал чешскую ленточку, приказал арестовать, лишил права возвращения на Родину и предложил

застрелиться».

Увы, самоубийства приходилось ожидать не от шкурников, а от тех доблестных героев-союзников, которые тяжело переживали разложение в собственных рядах, – как полковник И.В.Швец, покончивший с собой после отказа его подчиненных выполнить боевой приказ: «Быть может, он думал, что его поступок заставит образумиться покатившееся назад Чехословацкое войско. Но Швец ошибся. Легионеры похоронили его с музыкой, с речами, с биением себя в грудь, и продолжали уходить в тыл», – писал современник. А после того, как генерал Стефанек погиб в авиационной катастрофе, его преемник сразу же утешил тех, кому покойный запрещал возвращаться в Чехо-Словакию: «Пусть приезд наших послов будет для Вас вестью, что настанет конец старому и что неотвратимо приближается день, когда начнется последний поход, тот наипрекраснейший поход – поход домой»; послы же привезли и письмо от главы Чехо-Словацкого государства, профессора Т.Масарика, еще более откровенное, если только это было возможно:

> «Мы хотим и стараемся, чтобы Вы все как можно скорее возвратились домой…
>
> Политически я был бы счастлив, как и с самого начала, когда мы достигли размеров огромной военной силы, установить в отношении русских полный нейтралитет…»

«Нейтралитет» по Масарику вообще выглядит довольно странно. Еще 10 апреля 1918 года он составил меморандум для президента США, настаивая: «Союзники должны признать большевицкую власть, ибо малые народы Вост[очной] Европы нуждаются в сильной России, а посему союзники должны поддерживать Советскую Россию любой ценой и любыми средствами». Удивительно ли после этого, что «нейтралитет» у чехословаков, усвоивших позицию Масарика, в конце концов обернется ударами в спину русским войскам и найдет свою кульминацию в выдаче на смерть адмирала Колчака? Однако несправедливо было бы приписать эгоистические действия и побуждения только чехословацким контингентам. На самом деле, своекорыстием отличались практически все «союзники» (в кавычках или без кавычек), и совершенно справедливы наблюдения и вывод одного из старших офицеров штаба Верховного, сделанные в ноябре 1918 года:

> «1. Формирующиеся национальные части в большинстве случаев получают обмундирование, обувь,

снаряжение, вооружение из наших складов, что сильно отражается на снабжении и боевой подготовке русских частей.

2. Занимают в городах лучшие помещения и казармы, и вследствие этого наши части вынуждены размещаться скученно […] (дефект архивного документа. – А.К.). При таких условиях размещения страдает интенсивность занятий наших частей, и

3. Вследствие крупных политических событий в Германии и Австрии (окончание Мировой войны и произошедшие там революции. – А.К.), с уничтожением военного их могущества, основная идея национальных частей: “с оружием в руках бороться совместно с нами против насильников немцев за свою самобытность” не только изменилась, но и заменилась другою: “скорее возвратиться к себе домой”.

Надеяться на хорошую и совместную их работу с нашими частями на фронте нельзя (примеры – некоторые чешские части, сербский полк [имени] маиора Благотича отказались идти на фронт)…»

Упомянутый отказ принимать участие в боях со стороны Добровольческого полка Сербов, Хорватов и Словенцев имени майора Благотича (около 2500 штыков и шашек, что соответствовало численности иной русской дивизии!) его командованием откровенно объяснялся «необходимостью сохранить солдат для обезлюдевшей за время войны Сербии» – пока же чины полка, отмечает современник, «неся гарнизонную службу, при наличии массы свободного времени, разлагаются, бродят, как общее явление за последнее время, по городу и занимаются политикой и спекуляцией». А руководство Временного Юго-Славянского Национального совета в России в те же дни настаивало на предоставлении ему самых широких полномочий – и, конечно, финансирования! – для… дальнейших формирований, любезно – но, кажется, безосновательно – предполагая «возможность возврата на родину сербских и югославянских боевых частей по направлению юга России» (в будущую «Югославянскую Армию в России» предполагали включить даже «Болгар, примкнувших к юго-славянству»), дабы «вернуть их родине в виде боевой силы, попутно же оказать и России услугу»; пока же заботиться о возрождении далекой Сербии, как подразумевалось, должна была истекавшая кровью Сибирь…

Звучавшие среди командного состава русской армии

требования поскорее выпроводить бесполезных и чересчур дорогостоящих союзников домой или (генерал Лебедев) загнать их обратно в лагери военнопленных так и не были воплощены; но ничего этого нельзя было и предложить относительно еще одних союзников – американцев, чье поведение на Дальнем Востоке вызывало еще больше вопросов.

Даже основной документ, которым предстояло руководствоваться американским войскам, отправляемым в Россию, звучал крайне неопределенно. В меморандуме Государственного департамента США от 17 июля 1918 года, адресованном, в сущности, «всем, всем, всем» союзным державам и переданном генералу У.Грэвсу накануне его отъезда во Владивосток, крупицы смысла тонули в море расплывчатых формулировок:

> «После неоднократного и очень внимательного изучения положения в России правительство Соединенных штатов пришло к вполне определенному и твердому выводу, что военная интервенция в России могла бы лишь способствовать происходящим в этой стране печальным волнениям, а не устранить их, скорее повредить России, чем помочь ей, и не принесла бы пользы для выполнения нашего основного плана, т. е. для достижения победы над Германией. Ввиду этого правительство Соединенных штатов не может принять участия в такой интервенции или принципиально одобрить ее… Интервенция не избавит русский народ от переживаемых им бед, и его ресурсы уйдут на поддержание иностранных войск, а не на создание своих армий. В связи с этими обстоятельствами правительство Соединенных штатов считает, что военные действия в России допустимы только для того, чтобы помочь чехословакам консолидировать свои силы и вступить в успешное сотрудничество с родственными им славянами, а также для того, чтобы упрочить усилия русских, направленные к установлению самоуправления или к самозащите, поскольку сами русские будут выражать желание принять эту помощь».

«Внимательно прочитав этот документ и усвоив политическую линию Америки, я лег спать», – вспоминает генерал Грэвс, нам же остается только подивиться крепости нервов и проницательности американского военачальника. Более адекватно оценивает меморандум современный английский автор: «Эти туманные фразы почти бессмысленны. Какие русские?

Самооборона от кого? И кроме всего прочего, какое отношение имеет помощь чехам “начать успешное сотрудничество с братьями-славянами” (против некоторых из коих они отчаянно сражались уже несколько недель) к победе в войне с Германией?» И вполне серьезно и правдоподобно звучит диалог, напечатанный осенью 1918 года в филадельфийской газете, скорее всего, в качестве фельетона:

«Вопрос: Для чего мы находимся в Сибири?

Ответ: Мы в Сибири для того, чтобы помогать чехам.

В[опрос]. – А! так вот в чем дело! Хорошо. Как я вас понимаю, мы, значит, пойдем на Уральский фронт и обрушимся на большевиков.

О[твет]. – Ни в коем случае! Мы ничего не предпримем в этом роде.

В[опрос]. – Но почему нет? Разве мы здесь не для того, чтобы помогать чехам?

О[твет]. – Да, для этого. Но мы не должны вмешиваться в русские дела. И вы понимаете – большевики ведь русские.

В[опрос]. – Но разве американские войска не сражаются с большевиками в Архангельске? и разве там большевики не русские?

О[твет]. – Да, они тоже русские, но все же есть большая разница. В Архангельске нет ничего. Там только сражаются. Там нет дел, в которые можно было бы вмешаться. А здесь, здесь гибель дел, в которые можно вмешаться, и мы должны быть очень осторожны, чтобы не вмешаться в эти дела. Я надеюсь, вы меня понимаете?

В[опрос]. – Возможно, что я туп – но я не понимаю. Разве мы не вмешиваемся в русские дела, занимая ряд русских городов и возясь по Сибирской железной дороге?

О[твет]. – Что за дикая идея! Совсем не вмешиваемся.

В[опрос]. – Тогда, может быть, вы объясните, каким же образом мы помогаем чехам?

О[твет]. – С удовольствием. Мы помогаем чехам просто тем, что находимся здесь.

В[опрос]. – Тогда почему же чехи продолжают настаивать, чтобы мы сражались вместе с ними, и выражают все больше и больше неудовольствия, что мы им не помогаем?

О[твет]. – Это происходит просто-напросто потому, что чехи не понимают нашей политики.

В[опрос]. – Но разве наша политика не состоит в том, чтобы помогать чехам?

О[твет]. – Нет, наша политика совсем не в этом, а в невмешательстве в русские дела.

В[опрос]. – Значит, мы здесь не для того, чтобы помогать чехам, а для невмешательства в русские дела?

О[твет]. – Не совсем так…

В[опрос]. – Тогда почему мы не уезжаем домой?

О[твет]. – Потому что правительство не хочет, чтобы мы ехали домой.

В[опрос]. – Но почему же правительство не хочет, чтобы мы вернулись?

О[твет]. – Очень просто – потому что правительство хочет, чтобы мы оставались здесь и помогали бы чехам!»

Но если бы все ограничивалось дипломатическим туманом и его юмористическими истолкованиями, это было бы еще полбеды. На самом же деле американские политики и подчинявшиеся им военные имели в своей деятельности два мощных побудительных стимула: догматичный демократизм (не зря в марте 1918 года президент Вильсон телеграфировал в Москву 4-му Чрезвычайному всероссийскому съезду Советов: «Население Соединенных штатов всей душой на стороне русского народа в его попытках навсегда освободиться от монархического правительства и стать хозяином своей судьбы») и боязнь, что Япония усилит свои позиции в Тихоокеанском регионе. Соответственно генерал Грэвс не допустил участия своего контингента в войне и впоследствии откровенно писал об этом. Что же касается японцев – американское командование, конечно, не могло бороться с ними открыто, и тем сильнее были его злоба и желание повредить тем, кто считался «японскими ставленниками», – Атаманам Семенову и Калмыкову.

Грэвс не колеблется утверждать: «Солдаты Семенова и Калмыкова, находясь под защитой японских войск, наводняли страну подобно диким животным, убивали и грабили народ…»; «трудно представить, чтобы в эпоху современной цивилизации мог существовать человек, подобный Калмыкову»; «Семенов учредил нечто, называвшееся “станциями смерти” (нигде в дальнейшем смысл этого словосочетания не раскрывается. – А.К.), и открыто хвастался, что не может ночью уснуть, если не убьет кого-нибудь в течение дня», – и подобные высказывания на протяжении десятилетий цитировались как объективный обвинительный акт против дальневосточных Атаманов. Однако общая степень достоверности свидетельств Грэвса (или уровень его информированности) неплохо иллюстрируется, например, телеграммой: «Весьма достоверные сообщения подтверждают указания о том, что офицеры покидают войска и бегут в тыл, штабные офицеры предупреждают в этом бегстве строевых, а солдаты бросают свое оружие и амуницию, в некоторых случаях

тяжелую одежду, с тем чтобы быстрее двигаться в тыл», – отправленной им в США менее чем за месяц до победы Дитерихса в междуречьи Ишима и Тобола. У Атаманов же был к Грэвсу свой счет – не случайно тою же осенью 1919 года Калмыков отправил в Омск возмущенную телеграмму (быть может, переусердствовав в риторике и преувеличив роль бывших эмигрантов из Российской Империи, которые, согласно распространенному в Сибири мнению, оказывали слишком большое влияние на командование американского контингента):

> «Освободившись от гнета совдепии, Уссурийское казачье войско, твердо стоящее на страже упрочения русской государственности, неоднократно в течение года наталкивалось на новую непонятную преграду в деле борьбы за русскую государственность – на американские кольты и штыки, предшествуемые работой так называемых американских солдат, наличие коих неоднократно обнаруживалось в рядах красных банд…
>
> Произвол американского эшелона [126], имевший место в городе Имане 6 сентября сего [1919] года, выразившийся в насилии над учреждениями, железнодорожными служащими и “пленении” – воровстве трех казаков, вызвал мобилизацию по собственному почину двух ближайших поселков, и только искренне дружеское вмешательство японского командования, взявшего разрешение вопроса на себя, предотвратило сигнал к общему восстанию казаков. Как основной боец Уссурийского войска за возрождение Родины на Далекой Окраине, я не могу не понимать того удара в спину, которым явится вооруженный конфликт казаков с американцами, но, затративши все свои силы на святое дело борьбы за родину, отвечая перед самим собою и вверившим мне свои судьбы Уссурийским войском, отвечая морально перед русским народом и Правительством за допущение произвольного поругания русского имени жидами-эмигрантами, снимая с себя ответственность за минус общему делу – я, как активный борец за дорогую мне мать-Россию, как избранник Уссурийского казачьего войска, нераздельного члена тесной казачьей семьи, спасающей и возрождающей единую Великую Россию, заявляю: дальнейшего произвола американцев не потерплю и прошу во имя скорейшего закрепления государственности и порядка, во имя чести и достоинства и без того поруганной

России, во имя благополучной работы на благо общего дела, вверенного мне Войсковым Кругом Уссурийского войска, поставить американцев в рамки “торжественной” их декларации и, если возможно, вовсе избавить Уссурийский край от разлагающего нашу государственность на Востоке их пребывания».

Выспренность и многословие Атамана могут возбудить сомнения в его искренности и достоверности излагаемых фактов, однако существует и немало других свидетельств, подтверждающих правоту Калмыкова. Посмотрим хотя бы на телеграммы Сукина в Париж: «… Нежелание американских войск вступать в борьбу с большевиками делает непонятным их дальнейшее здесь пребывание. Правда, отказ подавлять восстания ими зачастую мотивируется отсутствием будто бы чисто большевистских выступлений, вместо которых они усматривают “народные волнения”. Однако задача поддержания порядка, казалось бы, требует подавления всякого мятежа. С другой стороны… падение дисциплины в американских отрядах и развивающиеся чувства взаимного недоброжелательства к русским создают натянутость, которая оценивается нами как явление, вредящее нашим политическим отношениям с Америкой» (18 апреля 1919 года); «Верховный Правитель указывает на невозможность оставления американских войск в Сибири, поскольку последним не будет дано инструкций открыто признать большевиков общим врагом, о чем должно быть гласно заявлено без всяких недомолвок» (10 мая); «Положение становится все более натянутым. Распущенность и деморализация американских войск не оставляют сомнений…» (14 мая). Неудивительно, что когда Грэвс пожелал принять под свой контроль железную дорогу от Верхнеудинска до Байкала (со стратегическими «кругобайкальскими тоннелями»), Колчак решительно восстал против таких притязаний. Согласно дневнику Вологодского, на совещании 17 мая «И.И.Сукин высказался в том смысле, что не следует доводить дело до конфликта и лучше уступить ген[ералу] Грэвсу в его требованиях (на этом же телеграммой от 14 мая настаивал генерал Хорват. – А.К.). Но Верх[овный] Правитель остался непреклонен, считая, во-первых, такое требование американцев унижением национального достоинства русских, а с другой стороны, опасаясь, что американские войска в районе своей охраны будут только культивировать большевизм, что они пытались делать уже во Владивостоке». Примерно в эти же дни была составлена сводка данных о деятельности американцев, которая пестрит

вопиющими фактами:

> «Представителями американской дипломатии и командования неоднократно делались заявления о невмешательстве Америки во внутренние дела России, о невозможности послать свои войска на подавление антиправительственных банд или, как они выражаются, “русских отрядов”. И действительно, по отношению к подавлению большевиков эти заверения строго соблюдались…
>
> … Невмешательство оказалось весьма условным и с явной тенденцией в пользу большевиков. Особенно ярко это сказалось в истории бунта в калмыковском отряде. Оно выразилось в покровительстве бунтовщикам, в участии американских солдат в самом бунте, попытке разоружить артиллерию Калмыкова; желании освободить арестованного русскими офицерами главаря бунта Шлыгина, арестовать которого удалось лишь благодаря находчивости русского офицера Клока, загородившего дорогу американцам с ручной гранатой в руке…
>
> Далее экспедиционным отрядом Иконникова в Пирятино были задержаны американский офицер Эйхетбергер [127], два солдата и военный врач, навлекшие на себя основательное подозрение в содействии большевикам (после окончания войны эти подозрения были подтверждены советскими авторами. – А.К.)…
>
> В Шкотовском же районе среди попавших в плен красных оказался солдат американской службы, задержанный с оружием в руках…
>
> В годовщину революции рабочие просили управляющего рудниками разрешить им манифестацию и, получив отказ, обратились в американский штаб. С разрешения американцев манифестация состоялась со знаменами, на которых красовались надписи: “Да здравствует Советская Федеративная Республика!” Во главе манифестации шел полковник американского штаба со своим адъютантом…»

«Невмешательство» по генералу Грэвсу хорошо иллюстрируется и его отказом пропустить в Сибирь американские поставки, в том числе четырнадцать тысяч винтовок, уже оплаченных русским золотом, «пока Колчак не примет решительных мер к обузданию Семенова и Калмыкова». Не считая себя вправе воевать с партизанами, которые выступали против

союзного Америке Российского Правительства, американский командующий, видимо, не считал вмешательством в русские дела нападки на должностных лиц, утвержденных тем же Правительством, и захват воинских грузов, в сущности, Америке уже не принадлежавших. Сделано это было в разгар боев между Ишимом и Тоболом, и английский представитель совершенно справедливо отмечал, что американцы «всячески стремятся создать Омскому правительству максимум затруднений в то время, когда оно больше всего нуждается в поддержке».

Англичане в тот момент вообще проявляли себя более надежными союзниками, но их влияние в Сибири было довольно невелико, да и официальный Лондон вовсе не считал себя обязанным разделять настроения генерала Нокса, писавшего еще в январе 1919 года: «Я признаю, что всем сердцем симпатизирую Колчаку, более мужественному и искренне патриотичному, чем кто-либо другой в Сибири. Его трудная миссия почти невыполнима из-за эгоизма японцев, тщеславия французов и безразличия остальных союзников». На общем фоне ярким контрастом виделись действия офицеров и солдат британской морской пехоты, добровольно отправившихся на фронт и сражавшихся в составе русской Речной боевой флотилии адмирала Смирнова (последний совмещал командование с постом морского министра): Колчак благодарил «всех офицеров и команды вооруженных судов “Кент” и “Суффолк”» специальным приказом. Впрочем, незадолго до падения Омска местные политиканы как будто нарочно делали все, чтобы разрушить и этот зыбкий союз.

Из Европы доходили смутные слухи о формировании в Берлине какого-то «Западно-Русского Правительства» и о действиях в Прибалтике русско-немецких отрядов (ими командовал уже знакомый нам Бермондт) – и в этой ситуации омские политические журналисты не нашли ничего лучшего, как «пугать» союзников по Антанте перспективой будущего альянса с Германией. Подобная игра (считать ее блефом или нет) была бы допустимой лишь в том случае, если бы Россия занимала достаточно сильную позицию; в ситуации же, когда исход борьбы в значительной степени зависел от союзнических поставок, такая «политическая интрига» оказывалась неумной и бессмысленной. Как вспоминает Гинс, «Нокс был взволнован и приехал спрашивать, правда ли, что в Омске процветает германофильство». Еще большее волнение и недовольство должен был проявить генерал Жанен: обратим внимание, что его отец происходил из Лотарингии, а мать из Эльзаса – областей, отторгнутых от Франции в результате Франко-Прусской войны,

когда будущему генералу было девять лет. Такое происхождение, вкупе с успешной карьерой во французской армии, кажется сильным аргументом в пользу крайней германофобии Жанена, а потому слухи, вылетавшие из омских околополитических кругов, должны были еще сильнее настроить его против Колчака.

Сам же адмирал, хотя Гинс и приписывает ему «какое-то отчаяние» в голосе при обсуждении вопроса о внешнеполитической ориентации, занимал вполне здравую и уравновешенную позицию. Не считая «Западно-Русский» кабинет и русско-немецкие отряды в Прибалтике чем-то самостоятельным и справедливо связывая их с общею линией германской политики в отношении России, Верховный Правитель на совещании 18 октября говорил: «Нам слишком мало известно о том, что творится в Германии, даже нельзя сказать, находимся ли в состоянии войны с Германией. Фактически мы с ней не воюем, формально мы с ней мира не заключали после того, как мы отреклись от Брест-литовского мира…» В отличие от точки зрения некоторых членов Совета министров, позиция Колчака отличалась скорее неприязнью к немцам (он и события в Прибалтике был склонен считать «обычной германской провокацией»); но узнали ли об этом представители союзников и насколько они в это поверили – сказать трудно, а ведь именно союзникам предстояло сыграть решающую роль в трагедии, развернувшейся вслед за оставлением Омска.

Впрочем, становилась угрожающей и внутриполитическая обстановка: оправдывались ожидания Колчака, что потеря столицы станет толчком к активным выступлениям оппозиционных сил. И в годовщину вступления адмирала на пост Верховного Правителя, 18 ноября 1919 года, эвакуировавшиеся из Омска министры узнали о мятеже, поднятом во Владивостоке под руководством генерала Гайды.

После своей отставки с должности Командующего Сибирскою армией генерал окончательно попал под влияние «революционно-демократических» кругов. «… Под давлением социалистической молодежи из офицеров своего штаба – Гайда стал готовиться к новому перевороту», – отмечает современник. – «Поезд Гайды… проехал от Екатеринбурга до Владивостока, будя политическую жизнь партий, земств, городов, призывая к восстанию, которое начнет он, генерал Гайда, во имя ликвидации диктатуры (правления адмирала Колчака. – А.К.), создания правительства борьбы с большевиками и немедленного созыва Учредительного собрания». В свою очередь, представители сибирских земств, не вняв призывам Верховного Правителя обратиться к упорной созидательной работе, предпочитали лелеять планы более

масштабные и эффектные: «Мы произведем переворот силами армии ген[ерала] Пепеляева и местных распропагандированных гарнизонов; мы поставим Гайду во главе сибирской армии и остановим ее [отступление] под Мариинском, если будет сдан Омск. Мы выбросим большевиков из Сибири и остановимся на Урале, не желая воевать с Советской Россией, мы создадим социалистическое правительство, которое немедленно приступит к созыву Земского собора…» Очевидно, Колчак был прав, когда в последнем разговоре с Гайдой «упрекал его, – согласно рассказу генерала Жанена, – в демократических тенденциях, в оказании покровительства социалистам-революционерам, в наличии в его армии и главном штабе офицеров прогрессивных убеждений». То, что было «демократическим» и «прогрессивным» в глазах французского военачальника, в действительности представляло смертельную угрозу всему делу борьбы на Востоке России.

Еще в августе, по прибытии во Владивосток, Гайда пугал иностранцев «реакционностью» омского кабинета и прямо настаивал: «У колчаковского правительства нет возможности удержаться, и если союзники поддержат его, то они совершат величайшую ошибку в истории». В течение последующих месяцев заговор под политическим руководством бывшего Председателя Сибирской Областной Думы И.А.Якушева окончательно оформился, и 16 ноября произошло открытое выступление.

Гайда, от которого его новые друзья многое скрывали (в частности, закулисные переговоры с большевицким подпольем), был, в сущности, поставлен перед фактом, но не поколебался возглавить мятеж, действуя, как всегда в бою, решительно и смело. Надеялся он и на благорасположение союзников, хотя в этом ошибся: японцы своими войсками блокировали район Владивостока, в котором происходили столкновения, а американцы и чехи (последними командовал уже произведенный в генералы Чечек), несмотря на сочувствие «демократии», вмешаться не рискнули. В результате утром 18 ноября мятеж был подавлен русскими частями, а самого Гайду, попавшего в плен, взяли под защиту соотечественники, и вскоре он благополучно отбыл в Европу.

Заметим здесь же, что в то время, как Командующий войсками Приамурского округа генерал Розанов проявлял нерешительность, а его подчиненные расправлялись с мятежом почти без генеральского участия, позиция столь рьяно критикуемых дальневосточных Атаманов оказалась твердой и патриотичной. При ликвидации выступления активно действовал бронепоезд «Калмыковец» (говорили, будто и сам Атаман, но эти сведения вызывают сомнения), а Семенов в Чите издал

специальный приказ, призывая к единению сил, – так же, как и в одном из своих предыдущих приказов, изданном уже после сдачи войсками Верховного Правителя своей столицы:

> «Дорогие станичники! Не посрамим старинной казачьей славы – всегдашней опоры и фундамента Государства Российского! Встанем все стальной щетиной пик и шашек в могучем стремлении поддержать и помочь нашему великому патриоту Верховному вождю адмиралу Колчаку в его благородном служении матушке-Родине».

Колчак же в неделю, последовавшую за отступлением из Омска, оказался перед необходимостью реформы управления и изменений в личном составе кабинета. Накануне октябрьско-ноябрьских поражений он склонился к учреждению на месте Экономического Совещания нового органа – «Государственного Земского Совещания», которое призвано было бы «помочь Правительству в переходе от неизбежно суровых начал военного управления… к новым началам жизни мирной, основанной на бдительной охране законности и твердых гарантиях гражданских свобод и благ личных и имущественных». Тогда, 16 сентября, Верховный Правитель вновь призывал к «прекращению партийной борьбы и признанию государственных целей и задач выше личных стремлений и самолюбий». Это были дни, когда разработанное Дитерихсом наступление вселяло надежды на возвращение военного счастья, и вовсе не следует считать проект Земского Совещания уступкой, сделанной кому-то на краю пропасти. В развитие высказанных ранее намерений, 5 ноября было утверждено «Положение о Государственном Земском Совещании», согласно которому это должен был быть законосовещательный орган для обсуждения государственного бюджета и законопроектов («кроме дел, относящихся до основных начал существующего государственного устройства»), но сам решений не выносящий и лишь сообщающий свою точку зрения Совету министров и Верховному Правителю. Не более четверти его состава назначалось бы указами Верховного, а остальные избирались бы «а) от сельского населения, б) от городского населения, в) от земств, г) от казачьих войск, д) от государственных высших учебных заведений, е) от приходских организаций православных, старообрядцев и мусульман, ж) от Всероссийского Земского Союза, з) от Всероссийского Союза Городов, и) от Торговли и Промышленности, к) от профессиональных рабочих организаций, л) от кооперации [128]»; выборам предстояло пройти «не позднее 1 января 1920 года».

Таким образом, намечалось определенное развитие «парламентаризма» внутри того государственного строя, который существовал под верховной властью адмирала Колчака. Однако со сдачей Омска общее положение изменилось слишком радикально.

Вряд ли адмирал собирался отказываться от своих планов и обещаний. Однако теперь он, по-видимому, предпочел бы тип управления, который генерал Деникин назвал «военно-походным». Вопреки распространенному мнению, Колчак отнюдь не держался ни за железную дорогу со своим салон-вагоном и «броневиками» (бронепоездами), ни даже за эшелон с государственным золотым запасом, эвакуированным из Омска. «Я буду разделять судьбу армии», – сказал он Гинсу, который звал его проехать вслед за Советом министров в Иркутск. «В трудную, наиболее тяжелую минуту я буду вместе с вами, возможно, и в ваших рядах», – говорил он солдатам еще в августе во время поездки на фронт. В дни отставки Дитерихса, готовясь к решающему бою за столицу, адмирал, как рассказывали, предполагал «отправить свой поезд вперед, самому [с] ружьем в руках отходить с конвоем, если это будет суждено». «Может быть, вам суждено повторить бессмертный поход Корнилова. Мы пойдем с вами», – говорил ему тогда же приехавший из Франции и включенный в состав кабинета С.Н.Третьяков (бывший министр в последнем составе Временного Правительства), сам ни в какой поход, естественно, не пошедший… В то же время никто не мог снять с Верховного Правителя его ответственности, и 21 ноября Колчак своим указом реформировал государственное управление, имея целью достижение большей компактности, которая отвечала бы сложившейся обстановке.

Указ провозглашал, на смену Совету Верховного Правителя, образование под председательством адмирала «Верховного Совещания в составе главнокомандующего фронтом, его помощников, начальника его штаба, генерал-квартирмейстера при Верховном Главнокомандующем, председателя Совета министров и министров военного, внутренних дел, иностранных дел, путей сообщения, финансов, снабжения и продовольствия, или их заместителей» для «разработки общих указаний по управлению страной для объединения деятельности отдельных ведомств и согласования их с работой армии». Генерал Филатьев, описывая сибирскую катастрофу, не преминул поиронизировать над «управлением страною из поездов, долженствовавших продвигаться на восток по мере безостановочного отступления армии», «управлением страною при помощи совещаний по телеграфу», но в действительности смысл указа был совсем в

другом.

Мотивировкой принятого Колчаком решения стала «необходимость пребывания при армии, доколе обстоятельства того требуют». Соответственно Верховный Правитель и формировал небольшой «деловой кабинет», дабы в одном вагоне с паровозом отправиться против общего течения, на запад, к войскам. Однако железная дорога была забита сплошною лентой составов; «тогда, – рассказывает Филатьев, – он решил ехать к армии на санях. От этого его удержали, объяснив, что армии, как он понимает, сейчас нет, а есть тоже лента, но саней, на которых войска двигаются по дорогам, а на ночь распыляются для ночлега по попутным деревням [129]», – и адмирал послушался «сухопутных» специалистов из своего штаба. Если бы вопреки советам Александр Васильевич настоял на своем, судьба его, возможно, оказалась бы иною…

Еще один проект реформы государственного устройства поступил несколькими днями позже от Атамана Семенова. «Я предлагал разделить всю территорию, освобожденную от большевиков, на две части: западную и восточную. В каждой из них во главе управления должен находиться Главноначальствующий: здесь на Востоке предполагалось, что это буду я или какое-нибудь другое лицо, пользующееся популярностью. Для западной же части я предложил генерала Пепеляева», – рассказывал он потом. Из дальнейшего, однако, следовало, что предлагалась в сущности децентрализация власти вплоть до ее разделения, с образованием при каждом Главноначальствующем собственного аппарата управления и даже собственного «совещательного органа», – власть же Верховного Правителя фактически становилась номинальной. В условиях, когда предполагаемое западное «наместничество» было расстроено и дезорганизовано неизмеримо сильнее, чем восточное, семеновский проект должен был показаться неприкрыто сепаратистским и в этом качестве вряд ли мог рассчитывать на одобрение Колчака. Но даже если бы адмирал и принял такое предложение, выбор генерала Пепеляева в качестве «западного» Главноначальствующего заставляет предположить, что ничего хорошего из этого все равно не получилось бы.

Колчак верил генералу, так же как и его брату, и даже, в поисках более сильной и волевой личности, чем довольно бесцветный Вологодский, 23 ноября назначил Пепеляева-политика Председателем Совета министров. Отставной премьер, похоже, вздохнул с облегчением – ему весьма импонировал Пепеляев, «волевой человек… имеющий к тому же за своей спиной брата-героя», и огорчало Вологодского только назначение

на должность председателя «Комиссии по выработке положения о выборах в Учредительное Собрание»: он предпочел бы остаться сенатором без должности и уехать в Швейцарию «по крайней мере на год», если, конечно, ему были бы на это выделены казенные деньги. Пепеляев, однако, пришел к власти с намерением проявлять свои волевые качества в направлении, весьма неожиданном для Колчака: по воспоминаниям Гинса, «он горел желанием демократизировать курс правительства, подчинить себе военные власти, а впоследствии добиться выезда Верховного Правителя из Сибири»; «Пепеляев готов был широко пойти навстречу и народному представительству. Еще в Омске он говорил о земском соборе». В Иркутске он даже тайно встретился с местными эсерами и излагал им основные направления политики, которую был намерен вести на посту премьер-министра:

«Я не могу, – говорил Пепеляев, – принять лозунг – долой гражданскую войну, ибо это значит мир с большевиками, а я формирую правительство борьбы с ними; я не могу согласиться на отрешение адмирала Колчака от звания Верховного правителя, ибо нам, хотя бы для иностранцев, нужен символ государственного единства России, и адмирал есть тот символ, носитель этой идеи. Я могу рекомендовать ему уехать к Деникину на юг России, если его имя стало так одиозно, но и только. Я говорил уже по [прямому] проводу с братом и обещаю, что высшее военное командование будет заменено новыми честными и способными людьми; я готов в состав правительства ввести лиц, которых вы мне укажете. Я твердо решил ликвидировать военный режим и перейти к новому гражданскому управлению. Я добьюсь признания законодательных прав Земского совещания и превращения его в Земский собор. Я сокращаю министерский аппарат, переходя от масштабов всероссийских к сибирским областным. Я предпринял уже шаги для заключения мира на всех внутренних фронтах, где действуют небольшевистские силы. Я отлично вижу ошибки прошлого; честно хочу их исправить и избегнуть в дальнейшем. Иду вам навстречу с открытой душой и прошу вашей помощи в трудной работе».

Эсеры, однако, не пожелали пожать протянутую руку – Пепеляеву слишком вредила его репутация одного из «творцов диктатуры» (официальная биографическая справка о нем, появившаяся в свое время в прессе, гласила: «… В[иктор] Н[иколаевич] убедился в призрачности и искусственности власти так называемой Директории и принял участие в той работе, которая привела к провозглашению власти Верховного Правителя»), да и деятельность на посту управляющего

министерством внутренних дел отнюдь не способствовала его популярности в кругах «революционной демократии». И все же, выезжая в Ставку Колчака (куда собрался и его брат-генерал) и оставляя своим заместителем Третьякова, Пепеляев не терял надежды на поворот политической линии. В поезде Верховного Правителя оба брата снова настаивали на созыве Земского Собора и ругали генерала Сахарова. Склоняясь к мысли об отставке последнего, адмирал 8 декабря телеграфировал находившемуся в Иркутске Дитерихсу с предложением вернуться на должность Главнокомандующего, но получил отказ. Жанен пишет: «Дитерихс [130]поставил абсолютным условием: “немедленный отъезд адмирала в армию Деникина”. Дитерихс открыто говорит, что у адмирала прогрессивный паралич. Министры подтверждают это на основании диагноза врачей».

Признаться, по-человечески не хочется, чтобы свидетельство Жанена оказалось правдивым и именно генерал Дитерихс был автором или распространителем гадкой сплетни, но и без этого действия бывшего Главнокомандующего выглядят предосудительными. В сущности, перед нами – попытка произвести «по телеграфу» переворот, и достойны внимания фразы из телеграфной беседы В.Н.Пепеляева с братом 26 ноября: «Я вызвал [в] Иркутск генерала Дитерихса… До разговора с ним я абсолютно не могу выехать». Очевидно, что монархист Дитерихс и стремительно «левевшие» братья Пепеляевы совершенно по-разному представляли себе Земский Собор, но в действиях, направленных (называя вещи своими именами) против адмирала Колчака, они оказывались союзниками.

После ответа Дитерихса Верховный Правитель вызвал к прямому проводу генерала Каппеля и сообщил о намерении вручить ему Главное Командование: «Я уверен, что ваша огромная боевая опытность, широкие знания военного дела и популярное в армии имя помогут вам справиться с этой трудной задачей». Каппель возразил, что не считает себя достаточно подготовленным, и предложил кандидатуры Дитерихса, Семенова, Филатьева и Войцеховского (с оговоркой, что последний также не считает себя достойным). «Я вас знаю единственным лицом, которому могу вверить фронт», – отвечал Колчак.

Владимиру Оскаровичу Каппелю, герою летних боев 1918 года на Волге, сильно повредило его тогдашнее подчинение самарскому Комитету членов Учредительного Собрания. Несмотря на недоверие социалистов, отмечавших, что Каппель «никогда не скрывал своих монархических убеждений», за отважным офицером (в генералы его произвел Болдырев) долго

тянулось подозрение в связях с «революционною демократией». Родилась даже легенда, что Ставка из неприязни к Каппелю хотела зимой 1918/1919 года свернуть все подчиненные ему части в бригаду, отмена же этого проекта принадлежала якобы лично Верховному Правителю: «… Каппель был вызван в Омск и имел личную встречу с адмиралом Колчаком. Известно, что окружение Верховного Правителя заранее настраивало его против Каппеля. Но при личной встрече все недоразумения быстро рассеялись, и Владимир Оскарович произвел на адмирала самое лучшее впечатление». Однако Колчак определенно говорил в феврале 1920 года: «С Каппелем я не встречался до февраля или марта 1919 г., но по сведениям и отзывам об нем относился к нему с большим уважением, как к выдающемуся деятелю из молодых офицеров»; сохранение же «каппелевцев» в виде армейского корпуса было утверждено приказом от 3 января 1919 года на основании разработок начальника штаба от декабря 1918-го (что, кстати, мало согласуется с расхожими версиями о недоброжелательстве к Каппелю генерала Лебедева и чуть ли не вредительстве со стороны последнего).

Едва ли не первые действия тридцатишестилетнего генерала на посту Главнокомандующего (правда, пока не боевые) оказались направленными не против врага, наступавшего на фронте, а против «своих» же, дезорганизующих тыл. Братья Пепеляевы от убеждений перешли к ультиматумам, 9 декабря потребовав созвать «Сибирский Земский Собор, в лице которого сам народ возьмет в свои руки устройство Сибири и изберет сибирское правительство». Братья приложили и проект указа Верховного Правителя («в целях подъема усилий народных я, оставляя за собой объединение всех сил, борющихся за единую Россию, передаю дело борьбы Сибири с большевиками в руки самих сибиряков» и проч.) и «для успокоения офицерства объявили Сахарова задержанным впредь до решения совмином [131]вопроса о расследовании его действий [в] связи [с] обороной Омска». Телеграмма Колчаку начиналась с отчаянного «умоляем вас в последний раз», но заканчивалась угрожающе: «Время не ждет, и мы говорим вам теперь, что во имя родины мы решимся на все. Нас рассудит Бог и народ». «Мы не были уверены, что Пепеляевы не совершат какого-нибудь насилия над Верховным Правителем. Поступки и телеграммы премьера казались дикими», – описывает Гинс настроения остававшихся в Иркутске министров.

Впрочем, по мнению того же Гинса, «Пепеляев (политик. – А.К.) обладал психикой, напоминавшей взрывчатое вещество. Взорвется – и кончено… Долго гореть ровным пламенем он не

мог». Хватило лишь твердой позиции Каппеля, который потребовал освобождения Сахарова из-под ареста («У нас есть Верховный правитель, и генерала Сахарова можно арестовать только по его приказу!»), и строгого запроса адмирала, что́ означает концовка скандальной телеграммы. Премьер еще бодрился: «Нашу телеграмму, отбрасывая юридическую ее природу, нужно понимать как последнюю попытку спасти верховного правителя помимо его воли и все дело», – но, получив: «Верховный правитель, которому была доложена вся лента переговоров, считает, что ответ Виктора Николаевича Пепеляева не есть ответ верховному правителю на поставленные им председателю совета министров вопросы», – сник и успокоился. Пепеляев «остыл, догнал поезд адмирала, – рассказывает Гинс, – и, следуя за ним по пятам, не только не проявлял никакого расхождения с Верховным Правителем, но скорее поддерживал его». Внутренняя оппозиция на время затихла, но все грознее вырисовывалась угроза со стороны иностранцев.

Еще 13 ноября политические руководители чехословацкого контингента в России, Б.Павлу и В.Гирса, составили в Иркутске меморандум, обращенный к союзным державам. Обрушившись на «колчаковскую» администрацию («Под защитой чехо-словацких штыков местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных русских граждан целыми сотнями, расстрелы без суда представителей демократии по простому подозрению в политической неблагонадежности составляют обычное явление…»), они сетовали на собственный «нейтралитет», который якобы делал их пассивными свидетелями и «соучастниками преступлений», и ультимативно заявляли: «Мы сами не видим иного выхода из этого положения, как лишь в немедленном возвращении домой из этой страны, которая была поручена нашей охране, и в том, чтобы до осуществления этого возвращения нам была предоставлена свобода к воспрепятствованию бесправия и преступлений [132], с какой бы стороны они ни исходили».

Некоторые союзники предпочитали смотреть на происходившее в Сибири глазами авторов меморандума или даже занимать позицию более радикальную (так, генерал Грэвс писал: «Когда же чехи поняли, что поражение большевизма означает не только крах всех видов либерализма, но и создание вместо правительственной власти, принадлежащей народу, правительственной власти из тех, кто держал ее в своих руках и при династии Романовых и кто по всей вероятности имел склонность к восстановлению монархии в России, – они не могли

более выступать заодно с Англией, Францией и Японией»). Напротив, русские, более адекватно представлявшие себе обстановку, отказывали чехам даже в праве упрекать местные власти в жестокостях. И.И.Серебренников, еще в декабре 1918 года в ходе реорганизации кабинета выбывший из числа министров, возмущался: «Прочтя весь меморандум, можно было подумать, что чехи – это невинные младенцы, сущие ангелы во плоти. Разве подписавшие меморандум Б.Павлу и д[окто]р Гирса не знали, что чешская контрразведка произвела немалое количество расстрелов “представителей демократии”, что за нею числится немало трупов? Разве они не знали, что совсем незадолго до опубликования меморандума чехи участвовали в подавлении мятежа заключенных в Александровской каторжной тюрьме вблизи Иркутска? Разве чехи не усмиряли бунтов вдоль линии Сибирской магистрали, беспощадно расправляясь с бунтовщиками?» И еще более красноречиво обличается лицемерие чешских политиков их собственной недавней позицией по вопросу о возвращении на общий фронт.

Ведь еще 26 октября представитель их командования в личной беседе сообщил председателю русского Совета министров «условия, при которых чехи могли бы направиться на фронт против большевиков не добровольческими только отрядами, но всеми силами своих регулярных войск»: «жалование серебром, обеспечение их сбережений (до 15 мил[лионов] р[ублей]), положенных в сберегат[ельные] кассы Сибири, путем удовлетворения их более ходкими денежными знаками [133]… предоставление некоторых льгот им в наделении их в Сибири землей и предоставление им [134]некоторых преимуществ в торгово-промышленном отношении» (заметим, что еще 8 июля постановлением Совета министров «ограничение в праве иностранцев на приобретение недвижимых имуществ» в ряде областей Азиатской России отменялось для граждан Чехо-Словацкой Республики, «принимавших непосредственное участие в боях с большевиками», а также их прямых потомков, при условии фактического переселения в Россию и подчинения российским законам). Тот же Павлу, который менее чем через полтора месяца подпишет пресловутый меморандум, 3 октября обращался к генералу Сыровому с настоятельным ходатайством о формировании добровольческих частей и сетовал: «Мы делаем величайшую глупость тем, что не готовимся нанести последний удар большевикам». «Соглашаюсь с отправкой войска домой через запад… Не смеем упустить выгодный момент», – отвечал Сыровой 4 октября. Однако из Праги ответили воспрещением и предписали эвакуироваться через Владивосток, а за последующий

месяц командование и политическое руководство чешского контингента успело проникнуться возмущением против «ужасающей» русской администрации.

Но почему же чешский ультиматум о «немедленном возвращении домой» представлял такую угрозу русскому делу? К сожалению, иностранцы имели полную возможность контролировать Сибирскую магистраль. Согласно опубликованному 16 марта 1919 года сообщению «от Российского Правительства», «охрана железных дорог» была «вверена союзным военным силам» в рамках деятельности вновь созданного «особого Междусоюзного Комитета», которому предстояло осуществлять наблюдение и контроль за работой железных дорог, их техническим оборудованием и эксплуатацией. С русской точки зрения права этого органа могли показаться ущемлением национальных интересов, с иностранной – они выглядели, кажется, недостаточными (Грэвс возмущался: «… Предусматривалось, что председателем Межсоюзнического комитета должен быть русский. Колчак набросился на это, как кошка на мышь, и немедленно назначил председателем своего министра путей сообщения…»), но до определенной степени его деятельность должна быть оценена как благотворная: так, например, создание Комитета скорее всего способствовало поставкам железнодорожного имущества (а ведь только одним рейсом из США в июле было отправлено «12 паровозов, 38 т запасных частей к ним, 12 комплектов паровозных тормозов, 450 вагонов, 127 т запасных частей к ним, 800 комплектов вагонных тормозов, 26 т разного мелкого железнодорожного оборудования»!), да и о деятельности чехов по охране дороги даже недоброжелательно относившийся к ним современник пишет: «Задержка транспорта из-за злостного вредительства Сибирской дороги прекратилась».

В грамоте «Чехо-Словацким войскам в России» от 6 марта, подписанной Колчаком и всеми министрами, отмечалось: «Выполнив свою боевую задачу, чехо-словацкая армия, уступившая свое место на фронте нашим войскам, продолжает и сейчас служить для нас источником помощи и ценного содействия: чехо-словацкие эшелоны двигаются на восток и принимают на себя охрану железной дороги, позволяя таким образом освободить для фронта русские войска, которым по праву должно принадлежать теперь поле битвы». В свою очередь, начальник одной из чешских дивизий подполковник Прхал (он считался честным солдатом и союзником) 28 апреля предупреждал «о твердом решении чехословацких и других союзных войск не допускать никакой порчи железнодорожного

пути, никаких насилий над мирным населением» и о переходе под чешский контроль полосы шириною по десять верст с обеих сторон железнодорожного пути. Однако теперь, в ноябре – декабре, этот контроль сыграл роковую роль в судьбе русской армии.

Используя свое положение, чехословаки завладели практически всем подвижным составом и, двигаясь к Владивостоку, оставляли без паровозов русские эшелоны. При одноколейном пути и значительной длине перегонов это приводило к мгновенному образованию «пробок», расчистить которые из-за недостатка разъездов и локомотивов не представлялось возможным. Заторы росли, как снежный ком, обрекая на гибель в первую очередь беженцев, больных и раненых и вынуждая остатки боеспособных войск продолжать движение походным порядком.

«Я пишу протест против бесчинств чехов – они отбирают паровозы у эшелонов с ранеными, с эвакуированными семьями, люди замерзают в них. Возможно, что в результате мы все погибнем, но я не могу иначе», – такие слова Колчака запомнила сопровождавшая его в отступлении от Омска А.В.Тимирева, и телеграмма Верховного Правителя генералу Жанену от 24 ноября действительно могла вызвать крайне негативную реакцию иностранцев, уже ставших хозяевами магистрали. «До сих пор правильность движения нарушалась и нарушается вмешательством чешских эшелонов [в] работу железнодорожников, требование[м] чехов пропускать только чешские эшелоны, оставляя наши без движения, что уже привело наши эшелоны к западу от Ново-Николаевска к полной остановке и к тому, что хвостовые эшелоны оказались в линии боевого фронта. Продление такого положения приведет к полному прекращению движения русских эшелонов и к гибели многих из них. В таком случае я буду считать себя вправе принять крайние меры и не остановлюсь перед ними…» – заявлял Колчак. Еще более резким был ответ на меморандум Павлу и Гирсы.

Ранее тон, в котором разговаривали с чехами, был подчеркнуто дружелюбным, и даже приказ, отданный в память о генерале М.В.Алексееве в годовщину его смерти, отличался довольно странной «панславистской» риторикой (покойный генерал был назван «вождем славянства», и ему почему-то приписывалась «идея объединения славянства как единый залог возможности достижения прочного мира на всем земном шаре», что он якобы и «проповедовал» «словом, делом, печатным трудом»). Теперь же адмирал более не чувствовал себя скованным дипломатическим этикетом и гневно бросал союзникам суровые

упреки.

В протесте, датированном 25 ноября, Колчак характеризует меморандум как «поступок политического интриганства и шантажа со стороны лиц, его подписавших», и называет его целью – «стремление получить санкцию великих держав на вмешательство вооруженной силой в русские внутренние дела». «Допуская возможность такого вмешательства, – пишет Верховный Правитель, – я заявляю, что малейшие шаги в этом смысле будут мною рассматриваться как враждебный акт, фактически оказывающий помощь большевикам, и я отвечу на него вооруженной силой и борьбой, не останавливаясь ни перед чем». Авторов же меморандума адмирал требовал отозвать «и, если угодно, то прислать представителей, которые по крайней мере умели бы себя вести прилично». Колчак, как видим, по-прежнему ничего и никого не боялся… но испугались его министры.

Пепеляев и Сукин одолевали Верховного Правителя настоятельными просьбами «отменить» протест, «считая по условиям момента совершенно необходимым сближение с чехами». «… Мы, не достигнув чего-либо положительного, бросим всю массу чехов в объятия наших врагов», – увещевал премьер-министр. Адмирал сначала отвечал довольно резко – «Я возрождаю Россию и, в противном случае, не остановлюсь ни перед чем, чтобы силой усмирить чехов, наших военнопленных», – однако к вечеру 30 ноября склонился к компромиссному варианту, «приостановив протест со всеми вытекающими отсюда последствиями», но потребовав «привлечь внимание чешских представителей на необходимость приостановить и с их стороны передачу их меморандума [союзным] кабинетам, что, несомненно, даст прочную почву для содружественной нашей работы». Вместе с тем у Верховного Правителя, похоже, все более усиливается недоверие к своим сотрудникам. Его последний начальник штаба, генерал М.И.Занкевич, в написанных по горячим следам воспоминаниях определенно подчеркивает, что Колчак, сначала заботившийся о поддержании «непосредственной связи с армией» («На всех больших станциях поезд останавливался на продолжительное время. Адмирал совещался с командным составом армии, с местными властями»), – на станции Тайга, где проходили столь нервные переговоры с Пепеляевыми, «решил отделиться от армии и возможно скорее продвинуться в Иркутск, дабы предупредить надвигавшуюся в этом городе революцию» (значит, в способности своих министров предотвратить ее он не верил). Это было еще одно из цепи решений, имевших роковые последствия.

Вместо «содружественной работы» чехи не преминули продемонстрировать свою силу: в Красноярске они задержали поезд Верховного Правителя, простоявший там, по свидетельству Занкевича, целых шесть дней. Можно только удивляться выдержке и хладнокровию Александра Васильевича – тот неврастеник, ломающий карандаши и швыряющий чернильницы, которого заботливо рисуют всевозможные мемуары, должен был бы просто сойти с ума в тягостной обстановке, уже напоминающей плен. Колчак же, напротив, не теряет головы и, принимая решения, старается взвешивать аргументы и выбирать разумную линию поведения. Так было с назначением, данным Атаману Семенову, хотя именно в этом случае размышления и колебания адмирала вели скорее к потере времени и вряд ли могут считаться оправданными.

21 декабря началось восстание на Черемховских угольных копях, в ночь на 22-е перекинувшееся в Иркутск. Очевидно, не надеясь на Совет министров, 23 декабря Верховный Правитель назначил Семенова Главнокомандующим всеми вооруженными силами в тылу, с производством в генерал-лейтенанты и подчинением ему Командующих военными округами. Семенов вспоминал, что в разговоре по прямому проводу со станции Татарская Колчак, сообщив об этом назначении, не только приказал подготовить соображения о дальнейшем ведении борьбы, но и якобы «предупредил меня о возможности передачи мне всей полноты государственной власти в Сибири и на Д[альнем] В[остоке]… Предвидя неизбежность крушения, адмирал предполагал, как можно было понять из этого последнего моего разговора с ним, выехать заграницу для переговоров с иностранными политическими деятелями с целью склонить [их] в пользу возобновления борьбы с красными в более широких масштабах». Атаман утверждал, что тогда же он предложил Колчаку «бросить поезд и двигаться на лошадях в Урянхай, куда я вышлю надежный отряд монгол и казаков, под охраной которого Верховный Правитель мог бы выйти снова на линию железной дороги восточнее Байкала», но адмирал отказался; впрочем, похоже, не все было так просто и так гладко…

Направившийся 19 декабря в Читу «для переговоров с атаманом Семеновым» Третьяков (как мы помним, он замещал Пепеляева после отъезда премьера из Иркутска) писал позднее адмиралу, что из первой беседы, состоявшейся 23-го, «выяснилось, что Семенов вполне лойяльно относится к Вам и Правительству, не предпринимает никаких действий в порядке революционном и готов помочь тяжелому положению

Правительства», но в течение следующих пяти дней «отношение Читы ко мне лично сильно изменилось в худшую сторону» и более того – «за последние дни в Чите стало намечаться новое настроение, а именно, стали думать о возможности уже путем революционным создать власть». Последнее обвинение, впрочем, звучит не очень достоверно в устах министра, стремящегося под любым предлогом побыстрее сбежать в безопасный Харбин; упомянутая же Третьяковым декабрьская лояльность Семенова тем замечательнее, что она подвергалась немалым испытаниям.

Дело в том, что к решению о новом назначении Атамана и о выдвижении его войск в Иркутск Верховный Правитель начал склоняться еще 19 декабря, после того, как его поезд был задержан в Красноярске. Об этом свидетельствовала телеграмма Колчака Главнокомандующему союзными контингентами в Забайкальи, японскому генералу Оой: «Я пред[по]лагаю объединить Забайкальскую область, приамурский и иркутский военные округа под властью одного лица с правами главнокомандующего»; «мой выбор останавливается на атамане Семенове. Мне было бы желательно знать ваш взгляд на это назначение. Не откажите также телеграфировать мне, могу ли я рассчитывать на вашу поддержку, если бы назначение атамана Семенова встретило противодействие со стороны каких-либо держав?» – но наметившееся было улучшение отношений с чехами (как вскоре оказалось, мнимое) и вновь появившаяся надежда на быстрое продвижение поезда Верховного Правителя на Восток побудили адмирала отложить это решение.

Представитель Семенова в Ставке, полковник Сыробоярский, докладывал своему начальнику, что 21 декабря Колчак уже говорил ему: «Не могу же я здесь, в пути, в поезде отдавать такой серьезный и важный приказ, а главное – я совершенно не вижу, что́ может дать существенного это назначение и что́ изменит или увеличит [оно] в реальных действиях атамана? Я считаю, что если атаман Семенов имеет реальные силы, то он и без этого приказа может захватить Иркутск и воздействовать на чехов, а если нет, то и приказ не поможет с его высокими правами и полномочиями, и что преждевременным, не вполне обдуманным шагом можно лишь испортить все дело и подорвать авторитет и верховной власти, и атамана Семенова. Я вообще не придаю никакого значения приказам, назначениям, полномочиям… если есть сила, то и без этого можно сделать все, вызываемое обстановкой, по собственной инициативе».

Адмиралу, должно быть, приходилось действовать с оглядкой на многих своих приближенных и большинство союзников, для которых назначение Семенова было неприемлемым. В свою

очередь, Атаман продолжал настаивать на официальном подтверждении его новых полномочий, мотивируя это желанием «учесть все силы и использовать их соответствующим образом». Однако объяснение не выглядит достаточно убедительным, и позволительно предположить, что истинные причины крылись в горьком опыте годичной давности, когда Григорий Михайлович в течение полугода находился в ложном положении человека, громогласно объявленного изменником и продолжавшего тем не менее осуществлять военную и частично – гражданскую администрацию на значительной территории. Если бы Атаман сейчас сумел вооруженной рукою навести порядок в тылу, не получив на то официальных полномочий, его многочисленные недоброжелатели, скорее всего, не упустили бы случая обвинить Семенова в очередном «самоуправстве», если не в «действиях революционным путем», а вера в заступничество Верховного Правителя могла быть весьма зыбкой. Настойчивые ходатайства вызывали раздражение Колчака – «Это просто какое-то вымогательство данного назначения», – а драгоценное время уходило…

Как бы то ни было, назначение в конце концов все-таки состоялось и вызвало среди союзников немалое беспокойство. Тот же Сыробоярский позже писал генералу Жанену: «Вы, Главнокомандующий союзных армий, со дня своего приезда [в Россию], не зная обстановки, осуждали Атамана Семенова из-за его недоразумения с Верховной властью, а теперь со всей Вашей армией готовы видеть в нем врага за то, что он остался верен той власти, в подчинении которой Вы ранее его лично убеждали и от которой Вы так быстро отвернулись», – и эти упреки вполне соответствовали явно обозначившемуся недоброжелательству иностранцев к тем русским, которые оставались верными своему долгу. Еще 11 декабря генерал Жанен занес в свой дневник совершенно фантастическую сплетню, будто бы Адмирал призывал Атамана «двинуться сюда (в Иркутск. – А.К.), чтобы повесить министров, обещая ему даже часть вагонов с золотом, которые он (Колчак. – А.К.) за собой тащит». Не более правдоподобные сообщения получил от офицера своей разведки генерал Грэвс: «На ст[анции] Татарская адмирал Колчак обратился к полякам с просьбой защитить его от ареста его собственными солдатами и был вывезен с этого участка в польском блиндированном вагоне… Семенов послал чехам телеграмму с запросом, пропускать ли в Иркутск поезд с высшим русским командованием, больными, ранеными, их семействами, а также с остатками золотого запаса».

Вопрос о золотом запасе России, вернее – о контроле над

ним, вообще становился в те дни камнем преткновения. На золото с вожделением смотрели и враги, и союзники, и мятежная «революционная демократия», а Жанен 2 января 1920 года даже открыто связал судьбу Колчака с позицией, занятой им относительно государственных ценностей: «При отъезде моем из Омска я предложил адмиралу взять поезда с золотом под мою охрану, но… адмирал это отклонил… доверия не было… теперь же будет трудно сделать что-нибудь, во всяком случае то, что касается его личности…»

В связи с недоверием Верховного Правителя к иностранцам нередко приводится фраза, будто бы сказанная Колчаком их дипломатическим представителям: «Я вам не верю и скорее оставлю золото большевикам, чем передам союзникам». Мы не имеем оснований полностью отвергать подлинность этих слов, которые могли вырваться у адмирала в запальчивости; однако нельзя и не отметить, что известность они должны были приобрести, выйдя из тех же дипломатических кругов, фактически уже склонявшихся к предательству и заинтересованных в моральном самообелении (а может быть, это произошло и post factum, когда предательство совершилось), – а также, что по аналогичному поводу адмирал Колчак, уже находясь в руках своих врагов и будучи спрошен об отношении к японцам, ответил со всею определенностью: «Фразу, которая мне приписывается – “лучше большевики, чем японцы”, – я нигде не произносил». И потому попытки представлять Верховного Правителя России в последние месяцы его жизни внутренне примиряющимся с противником кажутся голословными.

Это подтверждается и словами, которые были сказаны Колчаком генералу Ноксу несколькими месяцами ранее: «Если я передам золото международной охране, а со мной случится какое-нибудь несчастье, вы скажете, что это золото принадлежит русскому народу, и отдадите его любому новому правительству, которое вам понравится. Пока золото у меня, я могу бороться с большевизмом еще три года, даже если вы, союзники, меня покинете». Слова оказались пророческими, тем более в ситуации, когда сам Нокс (один из наиболее честных союзников) уже покинул Россию. Можно только гадать, смог бы (и даже – захотел бы?) он сделать что-либо в той кризисной ситуации, которая сложилась в декабре – январе, но отъезд английского генерала лишил русских даже надежды на его помощь и влияние.

К остальным же иностранцам отношение было намного хуже. Сведения американцев, предполагавших сговор Семенова с чехами против русского командования, были не более чем обыкновенной «уткой»: Атаман вполне разделял негодование

против «союзников» (это слово уже начинали оправданно ставить в кавычки), наиболее выразительно проявившееся в истории с вызовами на дуэль, которые, если верить источникам, в те недели сыпались на генерала Сырового один за другим.

Наиболее известен вызов генерала Каппеля:

> «Сейчас мною получено известие, что вашим распоряжением об остановке движения всех русских эшелонов задержан на станции Красноярск поезд Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего всех русских армий, с попыткой отобрать силой паровоз, причем у одного из его составов даже арестован начальник эшелона.
>
> Верховному Правителю и Верховному Главнокомандующему нанесен ряд оскорблений и угроз, и этим нанесено оскорбление всей русской армии. Ваше распоряжение о непропуске русских эшелонов есть ничто иное, как игнорирование интересов русской армии, в силу чего она уже потеряла 120 составов с эвакуированными ранеными, больными, женами и детьми сражающихся на фронте офицеров и солдат…
>
> Я, как главнокомандующий армиями Восточного фронта, требую от вас немедленного извинения перед Верховным Правителем и армией за нанесенное вами оскорбление и немедленного пропуска эшелонов Верховного Правителя и Председателя Совета Министров по назначению, а также отмены распоряжения об остановке русских эшелонов.
>
> Я не считаю себя вправе вовлекать измученный русский народ и его армию в новое испытание, но если вы, опираясь на штыки тех чехов, с которыми мы вместе выступали и, уважая друг друга, дрались в одних рядах во имя общей цели, решились нанести оскорбление русской армии и ее Верховному Главнокомандующему, то я, как главнокомандующий русской армии, в защиту ее чести и достоинства требую от вас удовлетворения путем дуэли со мной».

Более краткий, но по сути своей совпадающий с приведенным выше вариант был приведен в 1939 году в газетной статье памяти Каппеля, и там же пересказывалась еще одна телеграмма, усилившая напряжение, которое охватило войска после беспрецедентного каппелевского вызова:

> «Главнокомандующему Русской Армией ген[ералу]

Каппель, копия ген[ералу] Сыровому, Кабинету Министров, Союзному Командованию.

Ваше Превосходительство, Вы в данный грозный и ответственный момент нужны для Армии. Я вместо Вас встану к барьеру и вызываю генерала Сырового, дабы ответить за оскорбление, которое нанесено его частями доблестной Российской Армии, героически сражающейся сейчас с красными под Вашим командованием. —

Атаман Семенов»

Другой источник утверждает, будто Атаман заявил, «что он заменит Каппеля у барьера, если исход дуэли будет для того роковым», но эти разночтения, в сущности, не так важны. Негодовали и другие – генерал Войцеховский, в 1918 году служивший в «чехо-войсках», «напоминая о своих заслугах перед чехами (знаменитое руководительство ими в уральских боях)… требует пропуска адмирала и говорит, что в случае отказа будет пробиваться силой; если же это ему не удастся, то он потребует от Сырового удовлетворения путем дуэли»; широкую известность получает и открытое письмо польского офицера (польские части, также преданные чехословацким командованием, принуждены были сдаться большевикам), гневно взывавшего к Сыровому:

«Не я, а беспристрастная история соберет все факты и заклеймит позорным клеймом, клеймом предателя, Ваши деяния.

Я же лично, как поляк, офицер и славянин, обращаюсь к Вам: к барьеру, генерал! Пусть дух славянства решит наш спор – иначе, генерал, я называю Вас трусом и подлецом, достойным быть убитым в спину».

Впрочем, генерал Жанен «не разрешил» своему подчиненному дуэли и даже позволил себе неуместную иронию в адрес Каппеля, находившегося в рядах своей армии («Во время нашего отступления из России [в 1812 году] маршал Ней сражался со своими солдатами плечом к плечу и не докучал никому вызовами на дуэль»), – сам же Сыровой постыдно промолчал.

А тем временем поезд Колчака и эшелон с золотым запасом медленно двигались на восток, и все новые тревожные известия догоняли их с запада. После отъезда из Красноярска там началось что-то непонятное: принявший командование «войсками Енисейской губернии» старый соратник генерала Пепеляева, командир 1-го Сибирского корпуса генерал Зиневич, который

оказался в Красноярске во исполнение плана Дитерихса об отводе 1-й армии в тыл, «передал управление гражданской части в руки советов общественных организаций в лице председателя земской управы». Требования, предъявленные им верховной власти в переговорах по прямому проводу 26 декабря, не отличались определенностью, за исключением одного: Зиневич настоятельно просил присылки денежных знаков, как будто не стесняясь тем, что в городе, в сущности, уже произошел переворот в пользу «революционной демократии». Более определенно генерал высказался 28 декабря в «открытом письме» Верховному Правителю (копии – Семенову, Калмыкову, Розанову, иностранным миссиям), потребовав «найти в себе достаточно сил и мужества отказаться от власти, которая фактически уже не существует, и передать дело строительства родины Земскому Собору», ставя Колчаку в вину «обстановку безвластия, безначалия и дикого произвола» и «мрак реакции». Впрочем, адмирал еще накануне подозревал что-то подобное, отдавая генералу Каппелю свою, наверное, последнюю оперативную директиву:

> «1) Отводить войска за Енисей, так как устойчивость, видимо, окончательно потеряна, а минусинский фронт угрожает тылу армии.
>
> 2) Все силы употребить на сохранение боеспособности и неразложившиеся части свести в одну сильную группу, чтобы обеспечить отход ее на восток.
>
> 3) Приведение в порядок Красноярска и других городов, где происходят эсеровские перевороты, всецело зависит от той силы, которой вы располагаете. Если есть надежные, верные части, то надо занять ими Красноярск и разоружить восставших. Необходимо всячески избегать столкновений с чехами и занимать город не со стороны желдорог и станций, которые захвачены чехами…»

Множественное число применительно к «эсеровским переворотам» было вполне оправданным. Даже против недавнего кумира, генерала Пепеляева, поднимали мятежи его собственные войска. К чести самого Пепеляева стоит сказать, что он не последовал примерам Гайды и Зиневича и, несмотря на свои «демократические» и «соборные» иллюзии, не стал искать сомнительных лавров вождя мятежников. Двусмысленный «последний приказ» генерала («Сибирская армия распускается по домам для тайной работы – до того момента, пока грозный час всенародного мщения не позовет ее вновь для борьбы за освобождение Сибири», «я появлюсь в Сибири среди верных и

храбрых войск, когда это время наступит, – и я верю, что это время скоро придет») известен лишь по эмигрантской публикации, автор которой явно симпатизирует «революционной демократии» и тем советчикам, которые еще летом предлагали Пепеляеву «послать в Омск одну или две дивизии, разогнать ставку и взять власть в свои руки». Возможно также, что генерал, которому было, наверное, тяжело расстаться с ореолом героя и «вождя Сибирской армии», просто предпочел приукрасить события, прикрыв измену своих подчиненных бело-зеленым «сибирским» флагом – символом снегов и тайги…

А для адмирала Колчака измена Сибиряков имела еще одно чрезвычайно важное последствие: Зиневич прервал телеграфную связь с отступающей армией Каппеля. Верховный Правитель и Верховный Главнокомандующий оказался окончательно отрезанным от тех, кто несмотря ни на что оставался верным солдатскому долгу. Сам адмирал в Нижнеудинске, где также вспыхнул мятеж, был остановлен чехами почти на две недели. Это еще нельзя назвать арестом – Колчака и его конвой никто не разоружал и не интернировал, – но станция Нижнеудинск была объявлена «нейтральной», а чешские кордоны, отделявшие «колчаковские» поезда от мятежников, больше не выглядели союзниками. Генерал Занкевич на основании инструкций о «нейтралитете», полученных чехами от Жанена, утверждает, «что союзники уже не рассматривали адмирала как Верховного Правителя», – и до последнего акта трагедии оставался всего один шаг.

… Не пройдет и месяца, и это странное состояние – между свободой и пленом – сменится пленом явным, а победители составят подробную опись вещей, находившихся в вагоне Верховного Правителя. Не будут забыты ни ордена, ни чайный сервиз, ни вязальные спицы Анны Васильевны, ни «один карандаш», ни безделушки вроде «модели из кости куска хлеба с двумя мышами». И среди вещей дотошный составитель описи найдет лишь одну книгу, сопровождавшую Александра Васильевича Колчака в его последнем путешествии.

Этою книгой было Евангелие.

Заключение
Капитан не покидает корабль

От армии, находившейся на западе, Верховный Правитель был отрезан красноярским мятежом, а от семеновских войск на востоке – иркутскими событиями. Часть иркутского гарнизона перешла на сторону повстанцев, которых возглавлял так называемый «Политический Центр» из представителей «революционной демократии», другая колебалась, и в этой ситуации союзное командование, используя силу находившихся в городе чехов, заняло такую позицию, что транспортные проблемы отошли на второй план. Явное предательство иностранцев нашло отражение в телеграмме, 27 декабря направленной Атаманом Семеновым Жанену:

«… Вами объявлено нейтральной зоной все Глазковское предместье города Иркутска, где находятся преступники и изменники родины – повстанцы, а когда правительственный командный состав иркутского военного округа во имя выполнения лежащего на нем служебного долга и долга перед родиной предпринимает меры к подавлению бунта и восстания, то вы, ваше превосходительство, приказываете чешским войскам открыть огонь по правительственным войскам, по району, занятому мирным гражданским населением, которое осталось верным правительству… Кроме этого, я усматриваю, что этим распоряжением чешские войска противопоставляются правительственным войскам. С чешскими же войсками у меня установлены самые дружественные братские отношения. Своей предыдущей телеграммой я уже гарантировал свободный беспрепятственный проезд на восток как союзным миссиям, так и чешским войскам. Категорически заявляя, что к выполнению этого мною будут приняты самые энергичные меры, вновь настоятельно прошу ваше превосходительство или о немедленном удалении из нейтральной зоны повстанцев, или не чинить препятствий к выполнению подчиненными мне войсками моего приказа о немедленном подавлении преступного бунта и о восстановлении порядка».

Впрочем, взаимоотношения Атамана с чехами были далеки от нарисованной им идиллической картины. В телеграмме генералу Сыровому от 21 декабря он после комплиментов «героической, совместной с русским народом, борьбе во имя общеславянских идей» быстро перешел на совсем иной тон:

«Я требую немедленного и беспрепятственного пропуска вами до Иркутска поездов с высшим русским командованием, ранеными воинами, семьями бойцов и ценностями, составляющими последнее народное достояние государства Российского.

В случае неисполнения вами этого требования я, с болью в сердце, пойду и всей имеющейся в моем распоряжении вооруженной силой заставлю вас исполнить ваш долг перед человечеством и замученной сестрой – Россией».

Предупреждение прозвучало вполне внушительно – возглавлявший чехословацкую правительственную делегацию сенатор Ф.Крейчи с содроганием пересказывал и комментировал эту «ноту» Семенова: «В случае, если эти требования не были бы исполнены нами, Семенов грозит нас к этому принудить, хотя говорит – и скрепя сердце, но сделает это всеми средствами, какие имеет в руках»; «угроза, с которой нельзя не считаться. Воинские силы атамана против наших ничего не стоят, но в его руках Байкальские туннели, и что мы принуждены, во всяком случае, проехать его территорией в Забайкалье, а это действительно орудие против нас». А глава технического совета Междусоюзного Железнодорожного Комитета, американский инженер Дж. Стивенс, 24 декабря сообщал в Вашингтон, будто «Колчак обратился по телеграфу к Семенову с просьбой задержать эвакуацию чехов, не останавливаясь даже перед взрывом тоннелей… Семенов телеграфировал командованию чехов, что он заставит их подчиниться Колчаку». Действительно, перспектива порчи железнодорожных сооружений, будучи вполне реальной, должна была крайне нервировать союзников: в этом случае пришлось бы оставить все благоприобретенное на Урале и в Сибири имущество, от которого ломились чешские эшелоны, и двигаться к Тихому океану походным порядком. Не меньшее волнение вселяло в союзные сердца и то обстоятельство, что к моменту получения Жаненом телеграммы Атамана в непосредственной близости от Иркутска уже появились семеновские бронепоезда.

Еще при получении первых известий о задержании чехами поезда Верховного Правителя Григорий Михайлович принял меры к оказанию помощи Колчаку. Наскоро собранному сводному бронепоездному дивизиону был отдан приказ прорываться на запад до соединения с адмиралом, не останавливаясь перед применением оружия и забирая с собой в качестве подкреплений любые воинские части с линии железной дороги. Вслед за

авангардом двинулся отряд генерала Л.Н.Скипетрова, в подчинение которому передавались не только бронепоезда, но и все оставшиеся верными Правительству войска иркутского гарнизона. Об этом же к утру 27 декабря было сообщено в Иркутск (принявший команду над мятежниками штабс-капитан Калашников из бывшего штаба Гайды запретил прерывать телеграфную связь), и находившиеся там министры и генералы не без облегчения почувствовали себя свободными от значительной доли ответственности.

Пожалуй, подчинение иркутских властей так пока и не прибывшему генералу Скипетрову сыграло негативную роль. Старшие начальники фактически устранились от руководства, а «дважды обезглавленное» правительство (замещавший премьера Третьяков, как мы помним, заблаговременно проскочил в Читу то ли за помощью, то ли в поисках собственного спасения) растерянно сформировало триумвират, иронически окрещенный «троекторией», в составе министра внутренних дел А.А.Червен-Водали, военного министра генерала М.В.Ханжина и управляющего министерством путей сообщения А.М.Ларионова, которые, без большой уверенности в своих силах и полномочиях, колебались, что же им делать.

31 декабря и в последующие дни отряд «семеновцев» сделал попытку прорваться в Иркутск, однако встретил явное сопротивление не только мятежников, но и «союзников». Бронепоезда были остановлены пущенным навстречу паровозом, который разбил переднюю орудийную площадку и, сойдя с рельсов, загромоздил пути. Позднее участник событий утверждал, что таран был делом рук «братьев-чехов», и, хотя этот вопрос и остается спорным, очевидно одно: если бы контролировавшие дорогу иностранцы захотели бы помешать диверсии, от кого бы она ни исходила, – они были бы безусловно в состоянии сделать это. Но союзники уже явно предпочитали «революционную демократию» – «колчаковской диктатуре»; это же проявилось и после прибытия основных сил Скипетрова (впрочем, весьма немногочисленных). Участник событий вспоминает: «Красные (имеются в виду мятежники. – А.К.) всюду перемешались с чехами. Чехи были спереди, по бокам, в тылу. Чешские телефонисты передавали о всех передвижениях “семеновцев” на вокзал и оттуда в оперативный штаб красных. Занявшие вокзал русские солдаты, по настойчивому повторному требованию союзного командования, должны были очистить его и отходить под натиском чехов и красных…»

Генерал Жанен категорически потребовал остановить боевые действия, «грозил стереть с лица земли все русские войска от

Иркутска до Владивостока. Кричал, стучал кулаками и говорил, что в его распоряжении 80000 чехов, которые в своем стремлении к морю сломят все на своем пути, и что им не страшны даже японские дивизии, стоящие на Д[альнем] Востоке». Последнее, пожалуй, звучит спорно, – потом стало известно, что генерал Сыровой распорядился «избегать всяких конфликтов с семеновцами, если они будут поддерживаться японскими войсками», но… японцы оказались, в общем, такими же «союзниками», как и все прочие, а их «четыре эшелона, следовавших в Иркутск, напугавшие и чехов, и русских, оказались почти с пустыми вагонами», как передавали друг другу иркутяне уже к вечеру 31 декабря.

Конечно, значительная доля вины в неудаче лежит на генерале Скипетрове, не выполнившем ясно сформулированных распоряжений Атамана – пробиться на выручку Колчаку или хотя бы настоять перед союзниками на беспрепятственном пропуске поезда Верховного Правителя в Забайкалье. На его стороне был азарт первых стычек, ярость оскорбленных в своих национальных чувствах «семеновцев», наконец, угроза подрыва тоннелей – фактор, с которым пришлось бы посчитаться даже самоуверенным чехам. Но при этом от Скипетрова требовались свойства характера, которыми он, очевидно, не обладал, – гражданское мужество, упорство и твердость; по-видимому, назначение в такую экспедицию именно этого генерала следует признать серьезной ошибкой Григория Михайловича. В то же время нельзя забывать и о роли остатков Российского Правительства – «троектории», которая на переговорах с союзными представителями проявила еще меньше воли и упорства.

«Дело не может продолжаться таким образом, войска Семенова абсолютно не способны защищать свое правительство… – обличал на этих переговорах французский генерал, сам сделавший все возможное именно для такого развития событий. – Они бы принесли гораздо больше пользы, если бы остались спокойно в Чите, здесь же они только мешают движению… Они не способны драться… они только и могут разрушать путь… Лучший способ… с этим прикончить [135], т. е. чтобы они ушли… вот уже четыре дня, как исправляют путь, потом портят его, опять исправляют, и вновь наблюдаются повреждения». В свою очередь, «троектория», устами Червен-Водали провозгласившая вечером 2 января: «У нас только одна цель: это остановить кровопролитие и хотя бы на сутки (за которые к мятежникам могли подойти подкрепления от красных партизан. – А.К.) отсрочить бой», – безвольно приняла главное условие, навязанное «союзниками»: в продолжение переговоров с

Политцентром «никакие военные действия не должны быть предприняты ни правительственными войсками, ни войсками атамана Семенова (и ни слова о мятежниках! – А.К.)».

На переговорах же немедленно выяснилось, что требования «революционной демократии» сводятся, по существу, к капитуляции перед их войсками и… к отставке Верховного Правителя. Но «троектория» и сама, по собственной воле и еще до получения ультиматума, днем 2 января заявила о намерении предложить адмиралу «всецело передать свою власть генералу Деникину»; при любезном содействии Сырового, предоставившего чешский прямой провод, телеграмма об этом была отправлена в Нижнеудинск Колчаку.

> «Положение в Иркутске после упорных боев гарнизона и забайкальских частей против повстанцев заставляет нас в согласии с командованием решиться на отход на восток, выговаривая через посредство союзного командования охрану порядка и безопасности города и перевода на восток антибольшевистского центра, государственных ценностей и тех из войсковых частей, которые этого пожелают, – говорилось в телеграмме. – Непременным условием вынужденных переговоров об отступлении является ваше отречение, так как дальнейшее существование в Сибири возглавляемой вами российской власти невозможно. Совмин единогласно постановил настаивать на том, чтобы вы отказались от прав верховного правителя, передав их генералу Деникину, и указ об этом передали через чехоштаб предсовмину для распубликования. Это даст возможность согласить идею единой всероссийской власти, охранить государственные ценности и предупредить эксцессы и кровопролитие, которые создадут анархию и ускорят торжество большевизма на всей территории. Настаиваем на издании вами этого акта, обеспечивающего от окончательной гибели русское дело…»

В действительности «русское дело» было окончательно подорвано, если не погублено, именно такими заявлениями. Пойдя фактически на переворот (министры «решили, [что] если Колчак не ответит на сделанное предложение, то правительство объявит себя верховной властью»), «троектория» могла после этого сколько угодно обсуждать, будет ли Политцентр считать себя «всероссийской» или автономно-сибирской властью и может ли Совет министров «передавать» ему полномочия или лишь

самоликвидироваться, – главный эффект был уже достигнут: остатки подлинной власти в Иркутске исчезли.

Таким образом, даже если считать, что адмирал Колчак в те дни был надломлен роковыми неудачами, постигшей Армию катастрофой, унижениями, которые приходилось переносить от недавних союзников, – капитулянтскую позицию занял все же не он, а его министры; не оправдывает их и давление со стороны союзных представителей, считавших необходимым уход Колчака с политической сцены. Существует свидетельство, согласно которому Жанен вскоре рассказывал, будто «предлагал Верховному правителю полную гарантию личной безопасности при проезде через Иркутск при непременном условии, что Колчак проследует как простой смертный»; кроме того, он якобы имел сведения о намерении адмирала отречься по прибытии в Верхнеудинск, но не доверял его слову.

Верхнеудинск (передовой пункт свободной территории, контролируемой Семеновым, а не иностранцами) фигурирует и в еще одних французских мемуарах. Рассказывается, будто генерал Дитерихс говорил: «Расстрел Колчака справедлив, это надо было бы сделать, если бы он мог прибыть в Верхнеудинск». Фраза была опубликована как во французской, так и в русской эмигрантской литературе, но Дитерихс никак не прокомментировал и не опроверг ее, – и кажется, что отставка полностью лишила генерала душевного равновесия. Вряд ли в лучшем состоянии был и Жанен, с неудовольствием писавший в дневнике о своих коллегах – иностранных дипломатах: «Они не смогли даже добиться у него (Колчака. – А.К.) отречения в такой форме, которой можно было бы поверить…» Но было ли вообще «отречение»… отречением?

По утверждению В.Н.Пепеляева, адмирал прямо «выдвигал вопрос отречения в пользу Деникина» еще в начале декабря 1919 года. До этого проблема преемственности государственной власти оставалась нерешенной, и даже в тяжелые ноябрьские дни Верховный Правитель пошел лишь на «предоставление ген[ералу] Деникину всей полноты власти на занятой им территории» и – звучащее как завещание – изъявление «полной уверенности», «что я никогда не разойдусь с ним в основаниях нашей общей работы по возрождению России». Советский историк, правда, утверждает, что «15 декабря был издан указ о назначении генерала Деникина преемником верховной власти», – возможно, основываясь при этом на беглом упоминании в книге бывшего Главнокомандующего Вооруженными Силами Юга России: «… Актом от 2 декабря 1919 г. [136]предрешалась и “передача верховной всероссийской власти ген[ералу] Деникину”», но это

указание остается слишком неопределенным.

Другому советскому автору принадлежит еще одна версия развития событий, не подтвержденная документально. Согласно ей, в ночь на 5 января адмирал «решительно подписывает» указ о передаче власти Деникину, после чего следует душераздирающий рассказ о том, как представитель Атамана Семенова чуть ли не угрозами добивается поддержки у окружения Колчака и вынуждает адмирала, уже «отрекшегося» и сдавшего власть («Итак – кончено! Тяжесть и ответственность власти переданы другому. Теперь Колчак – обыкновенный русский офицер…»), написать новый указ – не имеющий законной силы и вообще «поддельный». Это и есть документ, известный как указ Верховного Правителя от 4 января 1920 года:

«Ввиду предрешения мною вопроса о передаче ВЕРХОВНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ власти Главнокомандующему вооруженными силами юга РОССИИ Генерал Лейтенанту Деникину, впредь до получения его указаний, в целях сохранения на нашей РОССИЙСКОЙ Восточной Окраине оплота Государственности на началах неразрывного единства со всей РОССИЕЙ:

1) Предоставляю Главнокомандующему вооруженными силами Дальнего Востока и Иркутского военного округа Генерал Лейтенанту Атаману Семенову всю полноту военной и гражданской власти на всей территории РОССИЙСКОЙ Восточной Окраины, объединенной РОССИЙСКОЙ ВЕРХОВНОЙ властью.

2) Поручаю Генерал Лейтенанту Атаману Семенову образовать органы Государственного Управления в пределах распространения его полноты власти».

Заметим, однако, что версия о «недействительности» указа выдвигалась в 1920-е годы, когда активно выступавший в эмиграции Атаман подкреплял свои позиции ссылкой на законную преемственность от покойного Колчака, а большевики, естественно, были заинтересованы в подрыве семеновского авторитета любыми путями; автором же версии был уже известный нам Парфенов-Алтайский с его репутацией фальсификатора. Все это, наряду с памфлетно-ерническим тоном повествования, заставляет с подозрением относиться к голословным утверждениям, – и единственным документом, относящимся к вопросу о «передаче» или «преемственности» власти, как бы то ни было, пока остается неоднократно публиковавшийся, в том числе и факсимильно, указ от 4 января.

Но ведь он вовсе не является формальным отречением! В сущности, полномочия, предоставляемые им Семенову, ничем не отличаются от тех, которыми ранее был облечен Деникин, и лишь отражают тяжесть ситуации, когда не только Юг России, но и

Забайкалье с Приморьем оказались отрезанными от правительственного центра (то есть вагона Верховного Правителя). Что же касается верховной власти, – речь идет исключительно о предрешении вопроса ее наследования, а отнюдь не о состоявшейся сдаче своего поста. И если объективно значение приведенных выше соображений, кажется, не так уж и велико – в ближайшие же часы Верховный Правитель выбыл из строя, и «предрешение» приобрело статус завещания, – то субъективно, применительно к личности Александра Васильевича, дело обстоит совсем не так: поскольку нам не известно официального акта об отказе адмирала Колчака от власти, можно предположить, что и в самой безвыходной ситуации, блокированный «союзниками» и почти уже переданный ими в руки мятежников и красных партизан, он был верен морскому закону – до конца оставаться на капитанском мостике тонущего корабля.

Не собирался адмирал и безвольно терпеть свое «нижнеудинское сидение», послушно ожидая милости союзного командования, тем более что и милость-то предлагалась весьма относительная. В начале января, когда из Иркутска поступили сведения, что там, как пишет генерал Занкевич, «успех окончательно склонился на сторону восставших», союзники предложили Колчаку гарантию безопасности и чешскую охрану при условии его следования на восток в одном-единственном вагоне – «вывоз же всего адмиральского поезда не считается возможным». В поезде Верховного Правителя и на охранявшем его «броневике» (бронепоезд или артиллерийская бронеплощадка) находилось около шестидесяти офицеров и чиновников и пятисот нижних чинов конвоя, – и Александр Васильевич ответил, что «не может бросить на растерзание толпы своих подчиненных», а если вывести на восток весь поезд союзники считают решительно невозможным – он «разделит участь со своими подчиненными, как бы ужасна она ни была».

Всегда сам выбиравший свою судьбу, адмирал Колчак и теперь склоняется к рискованному, даже авантюрному решению, – но решению, обещающему свободу и самостоятельность действий. Можно было двинуться по старому тракту на юг, к границе, и далее – в пределы Монголии (как мы помним, Атаман Семенов утверждал, будто еще раньше предлагал нечто подобное). Но путь предстоял не близкий и тяжелый, сохранялась угроза преследования со стороны нижнеудинских мятежников или красных партизан, и Колчак благородно предложил своему конвою «полную свободу действий», одновременно сказав, что один в Иркутск уезжать не

собирается (о монгольских планах пока молчали). «На другой день, – свидетельствует Занкевич, – все солдаты конвоя, за исключением нескольких человек, перешли в город к большевикам (мятежникам. – А.К.). Измена конвоя нанесла огромный моральный удар адмиралу, он как-то весь поседел за одну ночь».

По этому поводу не преминул высказаться генерал Филатьев: «Зачем только было спрашивать: конвой был на службе, приказал бы ему выступать, не вводя в соблазн, и пошли бы без разговоров». Однако Александр Васильевич был не только военным, но и опытным путешественником, и прекрасно понимал, что в подобной экспедиции каждый участник должен быть надежным, – тем более, когда существовал не менее сильный «соблазн»: столкнувшись с трудностями, не просто повернуть вспять, но и выдать своих офицеров врагу (именно так погибнет, например, барон Унгерн полтора года спустя). Впрочем, и лишившись большей части предполагавшегося отряда, адмирал был готов в поход – но, уже накануне выступления, «один из старших морских офицеров» с броневика, по воспоминаниям Занкевича, неожиданно обратился к адмиралу:

«“Ваше высокопревосходительство, ведь союзники соглашаются вас вывезти”. “Да”. “Так почему бы вам, ваше высокопревосходительство, не уехать в вагоне; а нам без вас гораздо легче будет уйти, за нами одними никто гнаться не станет, да и для вас так будет легче и удобнее”. “Значит, вы меня бросаете”, – вспылил адмирал. “Никак нет, если вы прикажете, мы пойдем с вами”.

Когда мы остались одни, – рассказывает Занкевич, – адмирал с горечью сказал: “Все меня бросили”. После долгого молчания он прибавил: “Делать нечего, надо ехать”. Потом он сказал: “Продадут меня эти союзнички”».

Послушаем вновь Филатьева, без долгих размышлений охарактеризовавшего мотив Колчака как «пустячный»: «Колчак утратил всякую энергию и активность, – считает он, – почему и остановился на самом пассивном и в то же время наиболее обидном даже для его личного самолюбия решении». Правда, основываясь только на воспоминаниях Занкевича, Филатьев пересказывает их в искаженном виде («будет более безопасно, если Колчак сядет в чешский поезд, а офицеры пойдут одни через Монголию»), да и вообще над подлинным смыслом возражения «морского офицера» следует задуматься.

Дело в том, что, как следует из тех же воспоминаний Занкевича, Александр Васильевич в конце концов отправился на восток в «чешском поезде» отнюдь не один. «Дабы разместить

адмирала и 60 офицеров, – свидетельствует генерал, – пришлось взять пульмановский вагон 2-го класса, в коем адмиралу было отведено маленькое купэ, а в остальных купэ по 8–10 человек размещались офицеры; некоторым пришлось за неимением места расположиться в коридоре на полу». Таким образом, получается, что все офицеры, заполнявшие поезд Верховного Правителя, теперь оказались в его вагоне; и значит, подоплека просьбы «морского офицера» заключалась отнюдь не в желании пробиваться в Монголию самостоятельно, как пытается представить дело Филатьев (у которого в связи с этим появляется новая возможность унизить Колчака), и даже не в намерении разбегаться поодиночке. Окружение Верховного Правителя вообще не желало каких-либо активных действий – оно хотело, чтобы всех вывезли союзники; но союзники вели речь об одном адмирале… и потому за него, как за якорь спасения, хватаются все. И адмирал, спасая своих подчиненных, идет в «союзный» вагон с горьким предчувствием: «Продадут меня эти союзнички».

Отметим мимоходом новую мудрую сентенцию генерала Филатьева: категорически осудив в свое время намерение Верховного Правителя проехать санным обозом к отступающей армии, теперь он вдруг считает наилучшим выходом именно «пересесть в сани и двинуться на запад навстречу армии Каппеля». «При расстоянии между Красноярском и Нижне-Удинском в 500 верст, двигаясь навстречу друг другу, можно было встретиться… уже через пять дней», – комментирует он это «спасительное» решение, непостижимым образом забывая, что Красноярск был занят мятежниками, а при разгуле красной партизанщины каждая из пятисот верст могла с легкостью стать для маленького обоза последней.

Филатьев не понимает и еще одной довольно простой вещи. «Нет, не хочу я быть обязанным спасением этим чехам», – ответил Колчак на предложение генерала Занкевича укрыться под видом солдата в одном из чешских эшелонов. «Зачем же в таком случае он вслед за этим пересел к чехам», – удивляется Филатьев, игнорируя тот факт, что гарантами безопасности адмирала выступили все союзные державы (в лице «общесоюзного» командующего Жанена), и прицепленный к чешскому поезду вагон был украшен флагами Англии, Франции, США, Японии и Чехословакии. Из этого вагона Верховный Правитель России и был вечером 15 января 1920 года выдан в Иркутске местному «революционному правительству» – Политическому Центру.

В исторической литературе охотно приводятся произносимые с бóльшим или меньшим драматизмом слова Александра Васильевича о предательстве («Значит, союзники меня предают?»,

«Где гарантии Жанена?» и проч.). Подобная фраза вполне могла вырваться у адмирала… но о возможности и даже, наверное, о ближайшей перспективе именно такого исхода он должен был догадаться еще на полпути к Иркутску, на станции Зима, куда к местному чешскому коменданту явились «увешанные, что называется, с головы до ног» оружием представители партизанского командования и потребовали выдать им Колчака из проходящего поезда, угрожая в случае отказа «взять его силой». Партизаны блефовали – сил, да и решимости, у них не хватало, – и, может быть, блефовал чешский полковник, спокойно сообщивший, что адмирал следует «в распоряжение высшего союзного командования», – «а если хотите драться, то я готов»; но, как бы то ни было, единственное, что выторговал «командующий Зиминским фронтом красных войск» И.М.Новокшонов, – разрешение, сдав оружие, посмотреть на Колчака. Партизан вспоминал впоследствии:

> «Отворив дверь, я вошел в полутемное купэ. На маленьком подоконном столике горела свеча, бросая слабый свет на сидевшего у окна человека с газетой в руках.
>
> Это был Колчак.
>
> Он был одет в черный френч с адмиральскими погонами, без пояса.
>
> Чисто выбритое лицо, как мне показалось, имело утомленный вид.
>
> При моем входе он, опустив газету на колени, пристально посмотрел на меня (Новокшонов был обильно украшен красными лентами. – А.К.), затем встал, намереваясь что-то сказать, но, увидав стоявших в дверях чешских офицеров, сел на прежнее место и вновь углубился в чтение».

После такой «аудиенции» самые худшие подозрения должны были перерасти в уверенность – и действительно, недавние союзники отступились от адмирала, несмотря даже на то, что Политцентр, захватив власть, открыто провозгласил: «Атаманы Семенов и Калмыков, генерал Розанов и адмирал Колчак объявляются врагами народа». Эта декларация новой власти не оставляла места для сомнений, но иностранцы остались глухи, а рассказы о намерениях отдельных «союзников» все-таки помочь адмиралу противоречат друг другу: так, японцы говорили, будто изъявляли готовность принять его под свою охрану, но чехи ответили, что Колчак уже выдан, французы передавали, что сами предложили то же японцам, а последние «отказали, ссылаясь на

неимение на то инструкций»… Предали все – и даже те, кто не участвовал в выдаче лично, предпочитая скорейшее отбытие на восток, в Харбин и далее – к Тихому океану.

Но каковы были мотивы преступления? Разумеется, можно назвать и банальную трусость чехословацкого командования, как и смотревшего на все глазами чехов генерала Жанена. Действия красных партизан еще не угрожали, но могли угрожать ходу их эвакуации (особенно – вывозу богатой «военной добычи»), а в то, что Атаман Семенов действительно решится подорвать тоннели, похоже, все-таки не очень верили. Можно было сколько угодно переживать за партизан, с которыми боролись «семеновцы», и обличать «жестокости и произвол» Атамана, но в глубине души чувствовать, что именно Семенов защищает порядок и спокойную жизнь, а партизаны представляют собою беззаконные банды, от которых можно ожидать чего угодно (судьба несчастного города Николаевска-на-Амуре, фактически уничтоженного вышедшими из тайги бандитами, вскоре станет тому подтверждением). И правда, Семенов не только не решится на принятие крайних мер, но и воспретит своему подчиненному, барону Унгерну, отомстить за Колчака и пустить под откос поезд одного из старших иностранных военачальников, о чем «бешеный барон» уже будет отдавать подробные распоряжения.

Но трусость бывает разного уровня, и помимо животного страха за свое существование и комфорт можно предположить в Жанене и Сыровом мотивы и более «высокого» порядка. Адмирал Колчак был Верховным Правителем страны, переживающей катастрофу, и Верховным Главнокомандующим армии, совершающей тяжелейшее отступление. Но он все же оставался Верховным Правителем и Верховным Главнокомандующим, человеком, с которым всего лишь полгода назад как с равным вели переписку главы великих держав, и на фоне обмена нотами Вильсона, Клемансо и Ллойд-Джорджа с Колчаком – не только дивизионный генерал Жанен и чехословацкий генерал (еще предстояло определить, что это такое) Сыровой, но и сам «президент независимого чехословацкого государства» Масарик выглядели актерами второго плана. И если сохранялась хоть доля опасности, что, ступив на «твердую землю», Верховный Правитель возвысит свой голос против беззаконий, творившихся под руководством Сырового и при попустительстве Жанена, – желанным выходом для обоих становилось, чтобы адмирал Колчак «отрекся», а еще лучше – сгинул бы в какой-нибудь «демократической» тюрьме.

«Демократизм» играл здесь не последнюю роль. «… Союзники оценивают русские правительства с точки зрения приемлемости

их для западных демократий», – отмечал русский дипломат, «общественное мнение» же о Колчаке и его режиме было отнюдь не однозначным. Руку к этому приложили и соотечественники – если Великий Князь Кирилл Владимирович (кстати, сам морской офицер) в интервью парижской газете говорил: «Единственный наш долг в настоящее время – сомкнуться вокруг Колчака. В нем воплощается идея воскресения нашей Родины. Его невозможно подозревать в реакционных замыслах», – то Керенский в беседе с сотрудником газеты лондонской не сдерживал эмоций: «Благодаря Колчаку общественная и экономическая жизнь в Сибири была уничтожена»; «нет преступления, которого не совершали бы агенты Колчака по отношению к населению», – и даже: «Отставка генерала Дитерихса, блестящего офицера и человека консервативного настроения, бывшего начальника моего генерального штаба (? – А.К.), может послужить указанием на испорченность режима Колчака. Он вышел в отставку, потому что считал невозможным создать при таком режиме армию, способную бороться с большевиками». Ссылаясь на сведения, полученные от бывшего главы «Сибоблдумы» Якушева, бывший глава Временного Правительства требовал: «В настоящую минуту – одно лишь необходимо для русского народа – это чтобы его оставили в покое и позволили ему самому выйти из ужасного положения» (то есть предоставили свободу рук большевикам с их налаженным репрессивным аппаратом и многочисленной армией); «помощь Деникину, Колчаку и К-о должна быть немедленно прекращена» (интервью было опубликовано за несколько дней до владивостокского мятежа Гайды и Якушева). На таком фоне Жанену с Сыровым было не очень сложно разыграть «демократическую» карту, и они это с успехом проделали.

Оправданным оказался и расчет на устранение Колчака с политической сцены. Только в этот момент становится по-настоящему понятно, сколь многое в действительности держалось на «адмирале, взявшемся не за свое дело»: в отсутствие Александра Васильевича перестают существовать последние остатки правительственной власти. Оказавшийся во главе кабинета Третьяков (Пепеляев был выдан и заключен под стражу вместе с Верховным Правителем) 22 января из Харбина написал Колчаку, фактически «в никуда», ибо вряд ли адмирал мог получить это послание, письмо о сложении своих званий, – наряду с выспренным (и фальшивым) «я верю, что Господь сохранит Вас», содержащее явную ложь: «… Я еду в Японию и постараюсь выяснить настроение там, знаю, что поездка эта ничего не даст, но все-таки постараюсь узнать хоть настроение

правящих кругов. Кроме того, я сказал Хорвату, что в любой момент я готов вернуться, если здесь начнется опять созидательная государственная работа, т. к. участвовать в комбинациях Семенова я, естественно, не могу»; на самом же деле несколькими днями ранее Третьяков телеграфировал своей жене в Париж: «Еду из Харбина [в] Иокогаму, оттуда [во] Францию».

На восток устремился и военный министр генерал Ханжин, самый прозорливый из «троектории», в отличие от двух других ее членов заблаговременно скрывшийся из Иркутска (Червен-Водали и Ларионов были вскоре расстреляны по приговору уже советского «ревтрибунала»); в Забайкальи, попросив у Атамана Семенова разрешение на выезд и личный вагон, он благополучно отбыл в Маньчжурию. Сам Атаман, возможно, опасавшийся новых обвинений в «мятеже», лишь 10 января решился заявить о временном «осуществлении Государственной власти во вверенном мне раионе» в связи с иркутскими событиями и изолированностью Совета министров. Указ же Верховного Правителя от 4 января Семенов получил еще позже, 20 января объявив о принятии, в соответствии с ним, «полноты власти на территории Восточной окраины». С достаточной авторитетностью протестовать против «союзных» беззаконий было некому, и чешская эвакуация завершилась благополучно для чехов (в качестве дополнительной страховки перед большевиками они даже передали последним золотой запас России).

Впрочем, перед отъездом иностранцы нанесли еще один удар, 9–10 января одновременно напав врасплох и разоружив «семеновские» части в нескольких пунктах восточнее Иркутска. Захваченных офицеров продержали заложниками до тех пор, пока поезда «союзных» дипломатов и Жанена не проследовали через «опасный» участок от тоннелей до атаманской Читы. Дальнейшая судьба заложников не оказалась трагической только вследствие нового демарша Атамана, который, «взяв под угрозу обстрела» поезд Сырового, потребовал освободить их и не чинить препятствий войскам Каппеля, двигавшимся на восток. Однако надежды на новые попытки освободить Колчака со стороны «семеновцев» теперь приходилось оставить.

Надежда сохранялась на одного Каппеля, но трудно сказать, насколько она была обоснованной. Безупречно честный (что, наверное, и предопределило выбор, сделанный Верховным Правителем), непреклонный в исполнении долга, кумир тех, кто знал его и видел в бою, – генерал Каппель, похоже, несмотря на академическое образование и стаж штабной службы, представлял собою скорее тип партизана, а не Главнокомандующего армиями, которые в начале отступления от Омска еще сохраняли

«некоторую видимость боевого фронта в сторону основного врага – регулярной красной армии». Генерал Ф.А.Пучков, в те дни командовавший одною из лучших дивизий (8-й Камской, весной 1919 года заслужившей почетное шефство адмирала Колчака), писал впоследствии: «Управление фронтом чувствовалось лишь очень слабо, благодаря, быть может, особенностям ген[ерала] Каппеля, личная доблесть которого не могла возместить отсутствия в нем умения разобраться в создавшемся хаосе, проявить необходимое предвидение событий и показать железную руку при водворении порядка. Следует сказать, однако, что задача была явно непосильной для ординарного человека, ибо расстройство в управлении армиями и корпусами дошло до предела, не завися часто от внутреннего порядка в самих частях, так как боеспособный элемент временами буквально растворялся в море обозов, шедших на восток хаотически, без приказов и определенной цели».

В свое время, на Тоболе, Каппелю приписывали даже отчаянное намерение «в крайнем случае» прорваться «в конном строю на юг к Деникину». Возможно, отправною точкой для подобных рассказов послужило дезертирство одного конного дивизиона, пробившегося на соединение с уральскими казаками; Каппель якобы знал о планах этого похода и даже обдумывал, не присоединиться ли к авантюристам, но чувство долга победило. Справедливы или нет рассказы о подобных намерениях генерала, но в часы катастрофы, ожидавшей его войска под Красноярском, он и вправду действует не как Главнокомандующий фронтом, пусть и отступающим, а как драгунский корнет, которым он был пятнадцать лет назад.

В первые дни января генерал (уже бывший генерал!) Зиневич связался по прямому проводу с командованием наступающих красных войск. Командир советской бригады, оговариваясь, что красноярский гарнизон «все же будет считаться плененной частью, а отнюдь не самостоятельной гарнизонной единицей», обещал «полную неприкосновенность» и передавал: «Вас рассчитываем видеть в числе своих частей… с Каппелем же война до окончательного разгрома», – на что бывший генерал и радетель Земского Собора отвечал: «Я, как идейный борец за народное счастье, заявляю, для меня такие условия приемлемы». И 5 января красноярские мятежники преградили путь отступающим.

С тридцатью конниками Главнокомандующий сделал попытку выйти во фланг подходившему красноармейскому авангарду, «но, – рассказывает современный историк, – лошади завязли в глубоком снегу, отряд уклонился от курса, заблудился

и вышел в расположение своих войск лишь поздно вечером и далеко за Красноярском». Командование фактически принял на себя ближайший помощник Каппеля генерал Войцеховский, которому и удалось организовать прорыв мимо Красноярска на восток тех, кто не желал «милости победителей» и решился идти до конца (тысячи отчаявшихся двинулись в Красноярск сдаваться или в мешанине того кошмарного дня попали в плен случайно).

Однако затем Войцеховским и соединившимся, наконец, со своими войсками Каппелем был принят, похоже, ошибочный план дальнейших действий: двигаться вдоль рек Енисея и Кана или по установившемуся на них льду. «Принятое решение, – вспоминал участвовавший в совещании генерал Пучков, не снимая и с себя доли ответственности, – впоследствии оказалось совершенно неправильным. Преследования со стороны Красноярска не было в течение нескольких дней; головные части красной армии, сравнительно слабого состава, буквально утонули в том море людей и повозок, которое осталось в районе Красноярска… Красноярский гарнизон, пестрого состава, со свежесформированными частями, мог действовать только накоротке и безусловно не был пригоден для операций в поле. Это делало наш отход вдоль железной дороги безопасным на несколько дней и избавляло нас от тяжестей похода по р[еке] Кану…» Предугадать все это заранее было, конечно, очень сложно, если вообще возможно, – но, как бы то ни было, удлинение и усложнение маршрута делало все более призрачными шансы успеть к Иркутску на помощь адмиралу Колчаку…

Условия содержания Александра Васильевича в иркутской тюрьме кажутся суровыми, но не чрезмерно жестокими. Ему даже разрешали совместные прогулки с Анной Васильевной, которая «самоарестовалась» – последовала за любимым человеком в заключение. Допросы (с 20 января по 6 февраля их было девять), насколько можно судить по сохранившимся протоколам, велись в сравнительно спокойном тоне. И тем не менее адмирал вряд ли строил какие-либо иллюзии…

«Конечно, меня убьют, но если бы этого не случилось – только бы нам не расставаться», – вспоминала Анна Васильевна последнюю записку, полученную от него. А самая последняя до нее уже не дошла. «Как отнестись к ультиматуму Войцеховского, не знаю, скорее думаю, что из этого ничего не выйдет или же будет ускорение неизбежного конца… Я только думаю о тебе и твоей участи – единственно, что меня тревожит. О себе не беспокоюсь – ибо все известно заранее…» – и, среди слов любви и нежности, вдруг прорвавшееся напоминанием о войне, о мятежах,

о недавнем, но уже прошлом: «Гайду я простил».

Войцеховский упомянут не зря. Остатки армий Восточного фронта, потеряв в тяжелейшем походе по реке Кан генерала Каппеля (он провалился с конем под лед, обморозил ноги, а 26 января скончался от воспаления легких), под командованием Войцеховского продолжали движение вперед. 30 января они, неожиданно поддержанные чехами, смели вражеский заслон у станции Зима и, после короткого отдыха, 3 февраля рванулись на Иркутск.

Под Иркутском Войцеховский появился, имея довольно незначительные силы. «… При подсчете выяснилось, – рассказывает Пучков, – что вся 3-ья армия, правда, очень слабого состава, могла бы дать не более двух тысяч бойцов. 2-ая армия… была значительно сильнее, но я не думаю, чтобы в этот день ген[ерал] Войцеховский мог рассчитывать более чем на пять-шесть тысяч бойцов, и это из общего числа в 22–24 тысячи людей. Нужно добавить, что и эта горсть людей была растянута вдоль дороги на огромном протяжении и понадобилось бы не менее суток, чтобы подтянуть их к месту боя. Вся армия везла четыре действующих и семь разобранных орудий с ограниченным запасом снарядов; в большинстве дивизий было не больше двух-трех действующих пулеметов с ничтожным числом патронов; еще беднее были запасы патронов у стрелков…» Тем не менее генерал свидетельствует: «… При малейшей надежде найти Верховного Правителя в городе армия атаковала бы Иркутск немедленно же с подходом к нему». Требование об освобождении адмирала было выдвинуто Войцеховским в ответ на запрос «союзников», на каких условиях он «согласен не брать Иркутск и обойти город» (чехи выступали в роли посредников).

Очевидно, что Войцеховский обязан был предъявить это требование; не менее очевидно, что оно подтолкнуло к дальнейшим действиям большевиков, которые к тому времени спокойно и деловито отстранили Политцентр от власти (а тот покорно сдал свои полномочия большевицкому Ревкому, объявив об этом декларацией от 22 января); очевидно и то, что вопрос о судьбе Колчака был решен давно и независимо ни от каких внешних поводов и обстоятельств.

И в датированном 6 февраля постановлении Ревкома мотивы настолько неважны, что выглядят просто несерьезно: «Обысками в городе обнаружены во многих местах склады оружия, бомб, пулеметных лент ипр. и таинственное передвижение по городу этих предметов боевого снаряжения (? – А.К.). По городу разбрасываются портреты Колчака и т. д.» Не придумав ничего «и т. д.», большевики голословно заявили, будто «в городе

существует тайная организация», имеющая целью освобождение адмирала, а потому Ревком постановляет расстрелять Колчака и Пепеляева (последнего – не очень понятно, почему, ибо неудачливый премьер-министр ни для кого не мог стать тем знаменем, каким был и оставался Верховный Правитель). На подлиннике документа была сделана расписка об исполнении постановления «7 февраля 1920 года, [в] 5 часов утра».

«… Наша агентурная разведка и Чешская информация установили окончательно факт расстрела Верховного Правителя, – вспоминает генерал Пучков. – Выяснилось также отсутствие в городе значительных групп белых, нуждающихся в нашей выручке (ответ на постановление Ревкома! – А.К.)… Отпадали, таким образом, все серьезные соображения в пользу атаки города…» Совещание старших начальников армии, которую недавно называли «колчаковской», а теперь стали называть «каппелевской», приняло решение обойти Иркутск без боя (генерал Филатьев не преминул по этому поводу сделать еще одно безответственное заявление, будто «в Иркутске красных почти не было» и «город можно было взять с любой стороны», причина же отказа от этого взятия якобы заключалась в уверенности, что «начнется погром и грабеж, и мы потеряем последнюю власть над солдатом»). Со смертью адмирала оставалось только идти дальше, на соединение с Атаманом Семеновым…

… И все-таки пока еще рано поставить точку в биографии Александра Васильевича Колчака. Рано, ибо последние три недели его жизни отмечены нагнетанием вокруг пленника удушающей атмосферы какого-то бреда, и об этом нельзя умолчать. Даже допросы Колчака производят впечатление чего-то иррационального – искусственного и трудно объяснимого затягивания времени, причем не «подследственным», который и на краю могилы держится с полным самообладанием и достоинством, а «следователями», которые, заранее запланировав в «Проекте сводки вопросов по допросу адмирала Колчака» уделить основное внимание его антибольшевицкой деятельности, на деле приблизились только к первым шагам адмирала на посту Верховного Правителя, до этого подробно расспрашивая и фиксируя рассказ Александра Васильевича о научной работе, военно-морском строительстве, отношении к покойному Государю и монархии и проч. Допрашивающие как будто не знают, чего они хотят, или же ожидают чего-то – распоряжений из Москвы?

А распоряжения не замедлили. Телеграммой, зашифрованной включительно до подписи Председателя Совнаркома (то есть те,

кто эту телеграмму принимал, не должны были знать даже о само́м факте получения шифровки непосредственно от Ленина), Реввоенсовету наступающей 5-й армии предписывалось: «Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ничего, а после занятия нами (регулярной Красной Армией. – А.К.) Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснением, что местные власти до нашего прихода поступали так и так под влиянием угрозы Каппеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске». Невозможно интерпретировать приведенный текст иначе как приказ о бессудном и тайном убийстве, – но сознательно напускаемый туман ставит нас перед новыми вопросами.

Колчак был открытым и смертельным врагом Советской власти, руководившим военными действиями против нее и не отказывавшимся от ответственности за их ведение и результаты. «Международное мнение», несомненно, закрыло бы глаза на любые «суды» и «приговоры» над Верховным Правителем, с официальным признанием которого столь предусмотрительно промедлили великие державы. Практически в тот же период большевики не колебались устраивать открытые «суды» и над людьми, менее «виновными» перед ними («суд над колчаковскими министрами», «процесс социалистов-революционеров», «церковные» процессы). И тем не менее центральная власть не только не решается «судить» адмирала, но и трусливо прячется за спину местных революционеров, даже в сверхсекретной телеграмме предпочитая изъясняться обиняками (впрочем, весьма прозрачно) и более всего заботясь, чтобы все было сделано «архи-надежно». И сегодня, читая изворотливое ленинское «поступали так и так» («Шифром… Подпись тоже шифром…»), уместно спросить: почему же Ленин, отделенный тысячами верст и сотнями тысяч штыков, так панически боится уже пленного Колчака?

Менее всего расположены мы углубляться в анализ душевных движений большевицкого вождя, но одно кажется несомненным: вся эта таинственность имеет иррациональные корни, страх приобретает характер едва ли не мистический, и в связи с этим невозможно игнорировать тот факт, что убийство Верховного Правителя России было совершено в день (7 февраля – по старому стилю 25 января) установленного еще в 1918 году Священным Собором Православной Российской Церкви всероссийского «ежегодного молитвенного поминовения… всех усопших в нынешнюю лютую годину гонений исповедников и мучеников»: представители богоборческой власти, вольно или невольно, сделали все, чтобы воин Александр был причислен к сонму

мучеников за Веру и Отечество.

И недаром смерть адмирала сразу породила немало легенд. Капитан 2-го ранга Лукин передает чей-то рассказ, как в большевицкой столице, «когда в Москву пришла весть об убиении Колчака и на одном из собраний кто-то стал поносить его, матросы оборвали говорившего»: «Вы не смеете так отзываться о Колчаке. Он дрался против нас и должен был быть казнен, но он герой и молодчина…» В эмиграции передавали, будто командовавший убийцами большевик признавался в недоверии к собственным подчиненным, подпадавшим под обаяние личности адмирала: «Еще минута, и, пожалуй, они могли уже меня расстрелять по приказу Колчака». И даже в мемуарах большевицкого «коменданта Иркутска» И.Н.Бурсака, лично руководившего убийством, невольно нарисована достаточно величественная и жутко-живописная картина: «Полнолуние, светлая морозная ночь. Колчак и Пепеляев стоят на бугорке. На мое предложение завязать глаза Колчак отвечает отказом…» Но нельзя не упомянуть и о зловещих слухах, выползавших из чрезвычаек и относящихся к последним часам жизни Александра Васильевича.

По свидетельству одного из современников, возглавлявший «следственную комиссию» С.Г.Чудновский «определенно заявил, что адмирал не был расстрелян: “Казнь ему мы придумали чувствительную и экономную”» (в другой версии рассказа: «Мы его не расстреляли… Казнь придумана почувствительнее и экономнее»), – и даже если сохранять надежду на иносказательное толкование этих глумливых слов или считать весь рассказ апокрифическим, документы как будто свидетельствуют о лживости многократно опубликованных советских описаний смерти Колчака на берегу реки Ушаковки (приток Ангары). Датированная 7 февраля 1920 года – днем убийства – «опись вещей» адмирала (в том числе предметов одежды – шуба, шапка, френч…), как справедливо замечает современный историк, заставляет задать простой вопрос: «… Неужели главный чекист Иркутска снимал с трупа перед утоплением в полынье вещи, упомянутые в описи? Или Колчака и Пепеляева действительно не выводили за пределы тюрьмы?» В 1920 году адмирал Смирнов считал, что «адмирал Колчак и В.Н.Пепеляев были выведены из камер заключения во двор иркутской тюрьмы и застрелены из револьвера. Пуля попала в шею адмирала, и так как он не скончался сразу, то был добит ударом штыка в грудь» (позже он отказался от этой версии в пользу «традиционной»). Отметим также, что и в конце 1920-х годов жители Иркутска не верили не только в советские рассказы

об убийстве, но и в «похороны» адмирала подо льдом Ангары: «… Несколько лет назад, – указывает Мельгунов, – даже советская печать передавала сообщение о паломничестве, которое наблюдается в Иркутске на сокрытую могилу “Верховного правителя”. Население уверено, что могила эта вблизи насыпи у тюремного рва точно опознана…» «Опознание» трудно признать правдоподобным: как бы ни убивали адмирала, копать могилу в промерзшей земле было намного труднее, чем действительно спустить тела Колчака и Пепеляева под лед. Но показательно само появление легенды – и в любом случае лейтмотивом звучат слова, сказанные одним из цареубийц: «Мир никогда не узнает об этом».

Мы не случайно вспомнили о цареубийстве и о последовавшем за ним тщательном сокрытии преступниками следов своего преступления. Той же мрачной таинственностью была отмечена и инсценировка «похищения неизвестными» Великого Князя Михаила Александровича, чья подлинная судьба еще долгое время была загадкой («похитители» были убийцами из местных органов Советской власти; заметим, что и Анне Васильевне утром 7 февраля тюремщик говорил: «Его увезли, даю Вам честное слово»), и кончина Святителя Тихона, о которой вскоре писал Священномученик Архиепископ Иоанн Рижский и Латвийский: «Пошли толки и предположения; создалось впечатление неясности и таинственности обстоятельств смерти Патриарха. Определенно, даже в печати, стали раздаваться голоса, что смерть Патриарха мученическая… Официальные источники, по крайней мере те, которые доступны нам, по-видимому ничего не предпринимают, чтобы рассеять молву о мученической кончине Патриарха». И дело даже не в подлинных фактах (которые, возможно, и вправду никогда не станут известными), а в том зловещем тумане, которым окружала Советская власть последние часы земной жизни Государя, наследовавшего Ему Великого Князя, Предстоятеля Церкви – и Верховного вождя боровшихся за Россию армий. К тайне обаяния имени Колчака, которая сопровождала его всю жизнь и о которой мы не раз говорили на этих страницах, Советская власть позаботилась добавить и свою, темную и жуткую тайну…

И все-таки не ей суждено было одержать победу. Образ адмирала перешел в историю, окруженный романтическим и героическим ореолом, существуя отдельно и независимо не только от всего, что говорилось и писалось большевиками, но и от тех черт реального Александра Васильевича Колчака, которые как бы «принижали» или «приземляли» его. Пожалуй, чаще и громче всего звучали слова о Верховном Правителе как

трагической, светлой и жертвенной фигуре, наиболее емко сформулированные И.А.Буниным:

> «Настанет день, когда дети наши, мысленно созерцая позор и ужас наших дней, многое простят России за то, что все же не один Каин владычествовал во мраке этих дней, что и Авель был среди сынов ее.
>
> Настанет время, когда золотыми письменами, на вечную славу и память, будет начертано Его имя в летописи Русской Земли».

Но не забудем, что в первые месяцы (а может быть, и годы) после сибирской катастрофы было и другое. Почувствовавшие советский гнет неожиданно стали рисовать картины грядущего избавления не в духе анархического «мужицкого рая», жизни «по своей воле»: сквозь наступавшую тьму «владычества Каина» мерещился мощный герой, который и должен был вновь возглавить борьбу, как возглавлял он ее недавно, – и с волнением слушал в уральской глуши ссыльный офицер гневные речи крестьянина, ненавидящего «коммунаров»: «Я сам у Колчака служил!. И вот вернулся зря в село… Но Колчак придет иш-шо! Мы их всех тут живьем спалим»; «… Вытряхнем усе, как придет Колчак… У пух разобьем все!»

«Я слушаю его, – рассказывает мемуарист, – и только радуюсь такому настроению крестьян, и уж не хочу разочаровывать его и крестьян, что адмирал Колчак расстрелян красными, чтобы не ослаблять “их надежды”…» И был он, наверное, прав, хотя сама жизнь разбивала такие надежды жестоко и быстро. Был прав, потому что в наивном ожидании возвращения Колчака (быть может, вчерашними дезертирами) сейчас, десятилетия спустя, проглядывается больше, чем просто надежда и наивность.

В самые смутные и мятущиеся годы свои, больная или юродивая, Россия с озлоблением или благоговением бредила Колчаком. И она не могла забыть своего адмирала после его смерти – вопреки его смерти.

Верховного Правителя России, в России навсегда оставшегося.

Апрель 2007 – июль 2008 года

Москва

Краткая библиография

Литературу об адмирале Колчаке можно охарактеризовать словами летописца о Русской Земле: «велика и обильна, а порядка в ней нет». И если в эмиграции даже общее уважение и сочувствие к Верховному Правителю России и скорбь о его трагической судьбе не мешали созданию объективных произведений, а разброс мнений и оценок – от панегиристов М.И.Смирнова и С.Н.Тимирева до памфлетистов А.П.Будберга и Д.В.Филатьева – лишь способствует воссозданию сегодняшним историком картины событий, то наши современники слишком часто оказываются в плену собственных эмоций или предпочитают двигаться по наезженной дороге штампов и стереотипов.

Обаяние имени Колчака, которое вернулось на родину спустя семь десятилетий лжи и забвения, оказалось очень сильным, но немедленно вызвало и обратную реакцию – появление публикаций, авторы которых, мотивированно или нет критикуя адмирала, не могут скрыть владеющей ими неприязни, причем неприязнь порой подменяет собою и вытесняет то разумное, что действительно могло бы помочь постижению личности Александра Васильевича. Не меньше и повторяющих друг друга работ, затверженно возвращающихся к одним и тем же эпизодам, без которых, разумеется, нельзя обойтись, но которыми отнюдь не исчерпывается биография Колчака.

Приводимый ниже список источников и литературы отнюдь не претендует на полноту. В него включены лишь основные труды, к которым автор чаще всего обращался в своей работе над настоящей книгой, и некоторые сравнительно малоизвестные публикации, заслуживающие большего внимания читателей. Много ценнейшей информации содержится в документах, листовках, газетах того периода, и тщательное изучение этих источников еще остается делом будущего. Литература из приведенного списка далеко не однородна и не единомысленна, и читатель, решивший ознакомиться с ней, встретится с многочисленными противоречиями, а может быть, и убедится в том, что действительно исчерпывающая научная биография Александра Васильевича Колчака еще не написана…

Документы и статьи А.В.Колчака

Колчак В.И., Колчак А.В.Избранные труды. СПб.: «Судостроение», 2001.

«Злостные для русского дела события»: Записка А.В.Колчака, 1918 г. // Исторический архив. М., 1998. № 3. С. 70–83.

Письмо Верховного Правителя Адмирала А.В.Колчака Донскому Атаману Генералу А.П.Богаевскому [от 28 июня 1919 года] // Белый Архив: Сборники материалов по истории и литературе войны, революции, большевизма, белого движения и т. п. [Т.] I.Париж, 1926. С. 136–137.

Справочные и библиографические издания, сборники и отдельные публикации документов

Адмирал А.В.Колчак и гибель линейного корабля «Императрица Мария» // Русское прошлое. Кн. 5. СПб., 1994. С. 62–76.

Атаман Семенов: Вопросы государственного строительства: Сборник документов и материалов. Чита: «Поиск», 2002.

Белое движение: Каталог коллекции листовок (1917–1920 гг.) / Российская Национальная Библиотека. СПб.: [Издательство РНБ], 2000.

Верховный Правитель России: документы и материалы следственного дела адмирала А.В.Колчака. М., 2003.

Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В.Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны: Биографический справочник. М.: «Русский путь», 2003.

Колчак и интервенция на Дальнем Востоке: Документы и материалы. Владивосток, 1995.

«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…». М.: «Прогресс»; «Традиция»; «Русский путь», [1996].

Милая химера в адмиральской форме: Письма А.В.Тимиревой А.В.Колчаку, 18 июля 1916 г. – 17–18 мая 1917 г. СПб.: [«Дмитрий Буланин»], 2002.

Подготовка и начало интервенции на Дальнем Востоке России. (Октябрь 1917 – октябрь 1918 г.): Документы и материалы. Владивосток, 1997.

Последние дни колчаковщины: [Сборник документов] / Центрархив. М.; Л.: Государственное издательство, 1926.

«Россия погибнет в волнах новой анархии» // Военно-исторический журнал. М., 1996. № 6. С. 79–83.

Мемуарные источники и литература

Адмирал Колчак и Атаман Семенов. [Б. м.]: Издание русских патриотов, 1919.

Айрапетов О.Р.На Восточном направлении: Судьба Босфорской экспедиции в правление императора Николая II // Последняя война императорской России: Сборник статей. М.: «Три квадрата», 2002. С. 158–261.

Бубнов А.Д.В Царской Ставке. СПб.: «Облик», 1995. (Русское военно-морское зарубежье; Вып. 5).

Будберг А.П.Дневник // Архив Русской Революции, издаваемый И.В.Гессеном. [Т.] 12. Берлин, 1923. С. 197–290; [Т.] 13. 1924. С. 197–312; [Т.] 14. 1924. С. 225–341; [Т.] 15. 1924. С. 254–345.

Волков Е.В.Судьба колчаковского генерала: Страницы жизни М.В.Ханжина. Екатеринбург: «Уральский рабочий», 1999.

Вологодский П.В.Во власти и в изгнании: Дневник премьер-министра антибольшевистских правительств и эмигранта в Китае (1918–1925 гг.). Рязань, 2006. (Новейшая российская история: исследования и документы; Т. 9).

Ганин А.В.Атаман А.И.Дутов. М.: Центрполиграф, 2006. (Россия забытая и неизвестная. На великом переломе).

Генерал Дитерихс: [Сборник]. М.: «Посев», 2004. (Военно-историческая серия «Белые воины»).

Гинс Г.К.Сибирь, союзники и Колчак: Поворотный момент русской истории, 1918–1920: (Впечатления и мысли члена Омского Правительства). М.: «Айрис Пресс», 2008. (Белая Россия).

Грэвс У.-С.Американская авантюра в Сибири (1918–1920) / Перевод с английского. М.: Государственное военное издательство, 1932.

Деникин А.И.Очерки Русской Смуты: В 3 кн. Кн.2, 3. М.: «Айрис Пресс», 2003. (Белая Россия).

Дмитриев Н.И.Экономические перспективы России глазами правительства адмирала А.В.Колчака // Белая Россия: Опыт исторической ретроспекции. СПб.; М.: «Посев», 2002. (Библиотечка россиеведения; Вып. № 7).

Егоров Н.Д.Церковь и Белая армия // Военная Быль. № 8 (137). М., 1996. С. 44–48.

За спиной Колчака: Документы и материалы. М.: «Аграф», 2005.

Занкевич М.И.Обстоятельства, сопровождавшие выдачу адмирала Колчака революционному правительству в Иркутске // Белое Дело: Летопись Белой Борьбы. [Кн.] 2. [Берлин]: «Медный Всадник», [1927]. С. 148–157.

Зырянов П.Н.Адмирал Колчак: Верховный Правитель России. М.: «Молодая Гвардия», 2006. (Жизнь замечательных людей; Вып. 1172 (972)).

Иностранцев М.А.Первое поручение адмирала Колчака // Белое Дело: Летопись Белой Борьбы. [Кн.] 1. [Берлин]: «Медный Всадник», [1926]. С. 95–108.

Исторические портреты: А.В.Колчак, Н.Н.Юденич, Г.М.Семенов… М.: «АСТ»; «Астрель»; «Транзит-книга», 2004. (Белое движение).

К 30-летию убийства Адмирала А.В.Колчака / С.Б. // За правду. 1950. № 62, 18 февраля. С. 2.

Какурин Н.Е.Как сражалась революция: В 2 т. 2-е изд., уточненное. Т. 2: 1919–1920 гг. М.: Политиздат, 1990.

Какурин Н.Е.Стратегический очерк гражданской войны. М.; Л.: Государственное военное издательство, 1926.

Князев В. В.Жизнь для всех и смерть за всех: Записки личного адъютанта Верховного Правителя Адмирала А.В.Колчака. [Б. м.]: «ТАЛ»; «СтромВятка», 1991.

Козлов Д.Ю., Подсобляев Е.Ф., Грибовский В.Ю. «Должен признать… что к делу развития морской силы Колчак имел громадное влияние»: К вопросу об эффективности управления силами флота вице-адмиралом А.В.Колчаком // Военно-исторический журнал. 2006. № 2. С. 28–36.

Козлов Д.Ю.Цель – шведская руда: Действия надводных сил флота Балтийского моря на неприятельских коммуникациях в кампанию 1916 года. М.: «Цейхгауз», 2008. (Сражения Великой Войны).

Колчаковщина: Из мемуаров активных деятелей белогвардейщины. Л.: «Красная Газета», 1930.

Котомкин А.Е.О Чехословацких Легионерах в Сибири, 1918–1920: Воспоминания и документы. 3-е изд. [Orange (USA)]: «Antiquary», 1987.

Кузнецов Н.А.Александр Васильевич Колчак. М.: «Цейхгауз», 2007. (Военные биографии).

Лукин А.П.Флот: Русские моряки во время Великой войны и революции: В 2 т. Париж, [1934]. (Библиотека «Иллюстрированной России»; Русская Морская Зарубежная Библиотека; №№ 28, 29).

Мельгунов С.П.Трагедия адмирала Колчака: Из истории гражданской войны на Волге, Урале и в Сибири: В 2 кн. М.: «Айрис-пресс», 2004. (Белая Россия).

Наташин К.Адмирал Колчак // Донская Волна: Еженедельник истории, литературы и сатиры. Ростов-на-Дону, 1919. № 7 (35). С. 3–6.

Новицкий Ф.Ф.Против Колчака и на путях к Туркестану // Гражданская война, 1918–1921. Т. 1: Боевая жизнь Красной Армии. М.: «Военный Вестник», 1928. С. 164–189.

Новокшонов И.М.Вокруг ареста Колчака: (Воспоминания) // Из колчаковщины. М.: Издательство Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1931. (Дешевая историко-революционная библиотека; № 50 (334)). С. 26–48.

Орехов В. В.Трагедия адмирала Колчака // Часовой. № 249 (2). Bruxelles, февраль 1950. С. 3.

Пилкин В. К.В Белой борьбе на Северо-Западе: Дневник, 1918–1920. М.: «Русский путь», 2005.

Плотников И.Ф.К вопросу о выработке и реализации плана генерального наступления Русской армии А.В.Колчака весной 1919 г. // История Белой Сибири: Тезисы 4-й научной конференции. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. С. 91–93.

Савченко С.Н.Русско-китайский речной конфликт на Амуре в октябре 1919 г.: (Обстрел атаманом И.П.Калмыковым китайских канонерок у г. Хабаровска) // Российский флот на Тихом океане: История и современность. Вып. 2. Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 1996. С. 75–78.

Семенов Г. М.О себе: Воспоминания, мысли и выводы. [Харбин?], 1938.

Серебренников И.И.Гражданская война в России: Великий отход. М.: «АСТ»; «Ермак», [2003]. (Военно-историческая библиотека).

Сибирь в период гражданской войны / Составитель С.П.Звягин, под редакцией А.Н.Никитина, С.П.Звягина. Кемерово, 1995.

Синюков В. В.Александр Васильевич Колчак: от исследователя Арктики до Верховного правителя России. 2-е изд. М.: [«Кнорус»; «Корвет»], 2004.

Смирнов М.И.Адмирал Александр Васильевич Колчак: (Краткий биографический очерк). [Б. м.]: издание Военно-Морского Союза, [1930]. (Русская Морская Зарубежная Библиотека; № 16).

Таскаев М.В.Печорский фронт в 1919 году // Белая Армия. Белое Дело: Исторический научно-популярный альманах. № 4. Екатеринбург, 1997. С. 74–96.

Тимирев С.Н.Воспоминания морского офицера: Балтийский флот во время войны и революции (1914–1918 гг.). Нью-Йорк: издание Американского Общества для изучения русской морской истории, 1961. (Русская Морская Зарубежная Библиотека; № 78).

Филатьев Д.В.Катастрофа Белого движения в Сибири, 1918–1922: Впечатления очевидца. Paris: YMCA-Press, 1985.

Флеминг П.Судьба адмирала Колчака, 1917–1920 / Перевод с английского. М.: «Центрполиграф», 2006. (Россия в переломный момент истории).

Эйхе Г.Х. 5-я армия в борьбе за Западную Сибирь // Гражданская война, 1918–1921. Т. 1: Боевая жизнь Красной Армии. М.: «Военный Вестник», 1928. С. 190.

notes

Примечания

1

До 1/14 февраля 1918 года все даты приводятся по Юлианскому календарю («старый стиль»), начиная с указанной даты – по Григорианскому («новый стиль»).

2

Полный состав Георгиевской Думы при штабе Сибирской армии, ходатайствовавшей перед А.В.Колчаком о принятии им ордена Святого Георгия III-й степени: генерал Гайда (председатель), генерал Пепеляев, генерал Вержбицкий, генерал Зиневич, генерал Богословский, генерал Томашевский, полковник Лабунцов.

3

Имеются в виду фантастические фигуры, являющиеся элементами декора собора Парижской Богоматери.

В первоисточнике – «Якутска и Иркутска».

«Макаров отомщен» (франц.).

6

В публикации первоисточника – «долговременно укреплениями».

7

Стол – структурное подразделение в управляющих органах военного и морского ведомств.

8

Так у А. В. Колчака.

9

Так у А. В. Колчака. По смыслу – «хотя бы (к примеру) один минный флот».

10

Имеется в виду недостаточная скорость движения.

11

Узел – единица скорости, равная одной морской миле в час.

12

Узел – единица скорости, равная одной морской миле в час.

13

Гофкригсрат – придворный военный совет, учреждение, существовавшее в Австрии до середины XIX века и имевшее репутацию косного и стесняющего действия командующих войсками.

14

Далее публикатор не разобрал в рукописи три слова.

15

Последняя фраза в черновике зачеркнута; однако, даже если Колчак и не счел нужным сообщать эту мысль адресату, его собственные чувства она должна была выражать.

16

Так в переводе. По смыслу – «даже победоносная война…»

17

В русском переводе Каролины Павловой эта мысль смягчена:

«… Война ужасна,
Как Божий бич, но, так же как и он,
Небесное она определенье»
(Ф. Шиллер. Смерть Валленштейна. Акт II, явление 2)

Противопоставление Мольтке основано на том, что в отличие от честолюбивого герцога Валленштейна – сурового воина и скрытного политика, готового на двуличие и предательство, – полковник Пикколомини (вымышленный персонаж) – благородный и чистосердечный романтический герой.

18

Всюду в цитате – курсив Г. Мольтке.

Курсив А. В. Колчака.

20

Так в публикации. Возможно чтение «соседним государством».

21

«Новик» – эскадренный миноносец; «истребитель» в данном контексте, должно быть, калька с английского термина «destroyer», обозначающего тот же класс боевых кораблей.

Авторы, очевидно, употребляют здесь новый стиль.

23

Военное преступление (франц.).

Так в первоисточнике.

25

Кабельтов – 1/10 морской мили.

26

Выделено в первоисточнике.

27

Всюду в цитате – курсив А. В. Колчака.

Выделено А. В. Тимиревой.

В публикации – «вверенного».

30

Линия поведения (франц.).

31

В первоисточнике – «выраженный».

32

Так в документе. Возможно, следует читать «повиновение».

33

Разрядка первоисточника.

В первоисточнике ошибочно – «1920 г.».

35

Черновики писем А. В. Колчака к А. В. Тимиревой не без основания иногда называют своеобразным «дневником» адмирала.

Все подчеркивания в цитате – А. П. Лукина.

37

В публикации ошибочно – «23-го».

Выделено А. П. Лукиным.

39

Имеются в виду события 1914 года, когда семья Колчака поспешно эвакуировалась из этого города.

40

Оговорка – как мы помним, сын Ростислав оставался единственным ребенком в семье Колчаков.

41

В то время в России было принято называть США «Северо-Американскими Соединенными Штатами».

Так он называл себя сам.

43

Столица нейтральной Норвегии. Ныне – Осло.

В состав «Русской морской комиссии в Американском флоте», кроме Колчака и Смирнова, входили капитан 2-го ранга Д. Б. Колечицкий, старшие лейтенанты В. В. Безуар и А. М. Мезенцев и лейтенанты И. Э. Вуич и В. С. Макаров (сын прославленного адмирала).

45

Имеются в виду события второй декады августа, повлекшие сдачу Риги деморализованными революцией русскими войсками.

Так в первоисточнике.

47

Через (лат.).

Рекламы (англ.). Курсив первоисточника.

49

Война за демократию (англ.).

50

Нет ни Востока, ни Запада, ни границ, ни происхождения, ни родины, когда двое сильных встают лицом к лицу, хотя бы они и пришли с разных концов земли (англ.).

51

В первоисточнике – ошибочно «выражаюсь».

52

Так в публикации документа. Возможно, следует читать: «… когда слова стыд, позор, негодование…».

53

В современном переводе – всюду «Денстервил». Мы используем более традиционное написание.

Сражаться, драться (англ.).

Так в документе.

Судно, совершавшее рейсы в Индию; именно на нем Колчак и его спутники прибыли из Шанхая в Сингапур.

Так в первоисточнике.

Так в первоисточнике.

Курсив первоисточника.

С 5 апреля во Владивостоке находился незначительный союзный (в первую очередь японский) контингент, введенный в город в ответ на убийство, быть может провокационное, двух японских подданных. На структуру власти, где уживались земство, городское самоуправление и большевицкий Совдеп, военное присутствие союзников влияния не оказало. Летом японцы появились и в отряде Атамана Семенова, однако это были добровольческие подразделения небольшой численности.

В первоисточнике – «того же отряда».

Софии Федоровне при Советской власти приходилось жить под чужим именем; сына она в 1919 году смогла переправить заграницу, а вскоре и сама при содействии англичан покинула Россию, перебравшись затем вместе с Ростиславом в Париж.

Относительно С.Н. и А.В.Тимиревых существует утверждение, что брак их был расторгнут Владивостокской консисторией в 1918 году.

«Алмазов» и «Ринов» были их псевдонимами, сохраненными как память о подпольной борьбе. Оба офицера вскоре были за свои заслуги произведены Временным Сибирским Правительством в генералы.

В тексте документа исправлены явные ошибки, которые могли возникнуть вследствие его зашифрования и последующей расшифровки.

Так в первоисточнике. В действительности «П.П.» – инициалы Иванова-Ринова.

Так в первоисточнике.

Курсив автора.

Курсив первоисточника.

В публикации – «против большевистского фронта».

71

В газетной публикации – «… и выборах».

72

Так в газетной публикации. По смыслу – «предупреждаю»

73

Так в документе.

В документе – «настолько».

75

В документе – «из них».

В документе – «передачу».

Так в документе.

Так в документе.

Так в первоисточнике.

Так в цитировании документа современным историком.

81

В литературе часто встречается ошибочное «№ 60».

В первоисточнике ошибочно – «Хорошкин».

83

В документе пункты «Б» и «В» ошибочно начинаются со слов «Мероприятия, необходимые…»

Согласно этой статье, земства и городские самоуправления должны были намечать кандидатов, утверждение которых производилось Верховным Правителем.

85

В газетной публикации – «святых», но это скорее всего опечатка.

В публикации – «находящегося».

87

Другой вариант перевода – «Союзные и Соучаствующие Державы».

88

В 1910–1911 годах Жанен находился при Императорской Николаевской Военной Академии, но, конечно, не «окончил» ее в том смысле, какое имело это слово для русских офицеров.

«Курень» можно определить и как полк, и как отдельный батальон. В условиях, когда численность воинских частей редко соответствовала каким бы то ни было штатам, различия в терминологии не играли большой роли.

Все подчеркивания – первоисточника.

91

В цитате сохранены основные особенности первоисточника.

Выделено в газетной публикации.

93

Я служу (нем.).

В публикации документа – «ни представителем…»

95

Так в первоисточнике. «Закономерность» в тогдашнем лексиконе часто означала «законность».

Возможно, правильнее был бы перевод «самодержавной».

Курсив наш.

98

В газетном сообщении – «различные же нормальные», но это представляется явной опечаткой.

Так в первоисточнике.

В первоисточнике – «такому выполнению».

101

Термин предложен А.В.Ломкиным.

Все выделения в цитате – первоисточника.

103

В первоисточнике – «большее».

104

В газетной публикации – ошибочно «предлагаем».

105

В первоисточнике – «ходящими».

Все подчеркивания в цитате принадлежат первоисточнику.

107

Курсив наш.

Всюду в цитате – курсив первоисточника.

109

Так в первоисточнике.

110

Имеется в виду не город Вятка, а, очевидно, территория Вятской губернии.

111

Так в публикации документа. Возможно, следует читать «в ее молодой состав».

112

По-видимому, речь идет о приказе от 26 июля, о котором говорилось в предыдущей главе.

113

В документе – «и внутри».

114

Выделено в первоисточнике.

115

В газетной публикации – «у кого».

116

Так в публикации. По смыслу следует скорее читать – «Пусть тот, у кого бьется русское сердце…»

117

Всюду в цитате – курсив первоисточника.

Подчеркнем, что реквизиция – это закупка у населения продуктов и проч., но совершаемая по твердой цене (а не рыночной), установленной командованием, как предполагается, при участии местного населения или с учетом мнения последнего. Представления о реквизициях как грабежах сложились не без участия советской историографии («реквизиции на практике не отличались от конфискаций»).

119

Курсив первоисточника.

120

Выделено в первоисточнике.

121

Курсив наш.

122

Так в публикации документа.

123

Примерно по такой схеме разворачивалась битва при Каннах в 216 году до Рождества Христова, где карфагенский полководец Ганнибал двойным глубоким охватом флангов сумел полностью уничтожить численно превосходившую римскую армию Теренция Варрона. Термин «Канны» для обозначения способа ведения военных действий был введен А. фон Шлиффеном и получил широкое распространение в начале XX века.

124

Так в первоисточнике. Очевидно, следует читать: «… что причина отступления – лишь превосходство в численности красных».

125

Так в первоисточнике. Возможно, следует читать «штаб».

Всюду в цитате – курсив первоисточника.

127

Правильно – «Эйхельбергер».

128

В газетной публикации документа пункты «к» и «л» переставлены.

129

В первоисточнике – «по попутным дорогам», но это представляется явной ошибкой.

130

В советском переводе – всюду ошибочно «Дидерикс».

131

В первоисточнике – «совмина».

132

Так в первоисточнике.

133

В годы Гражданской войны население с разной степенью доверия относилось к денежным знакам различных образцов. Смысл просьбы чехов заключался в том, чтобы им было гарантировано обеспечение их вкладов совершенно определенными купюрами, которые они считали наиболее надежными (рубли, отпечатанные по русским заказам в США).

В первоисточнике – «предоставлением им».

135

Так в стенограмме. Если и оговорка, то какая красноречивая!

136

Деникин, как правило, использует старый календарный стиль.